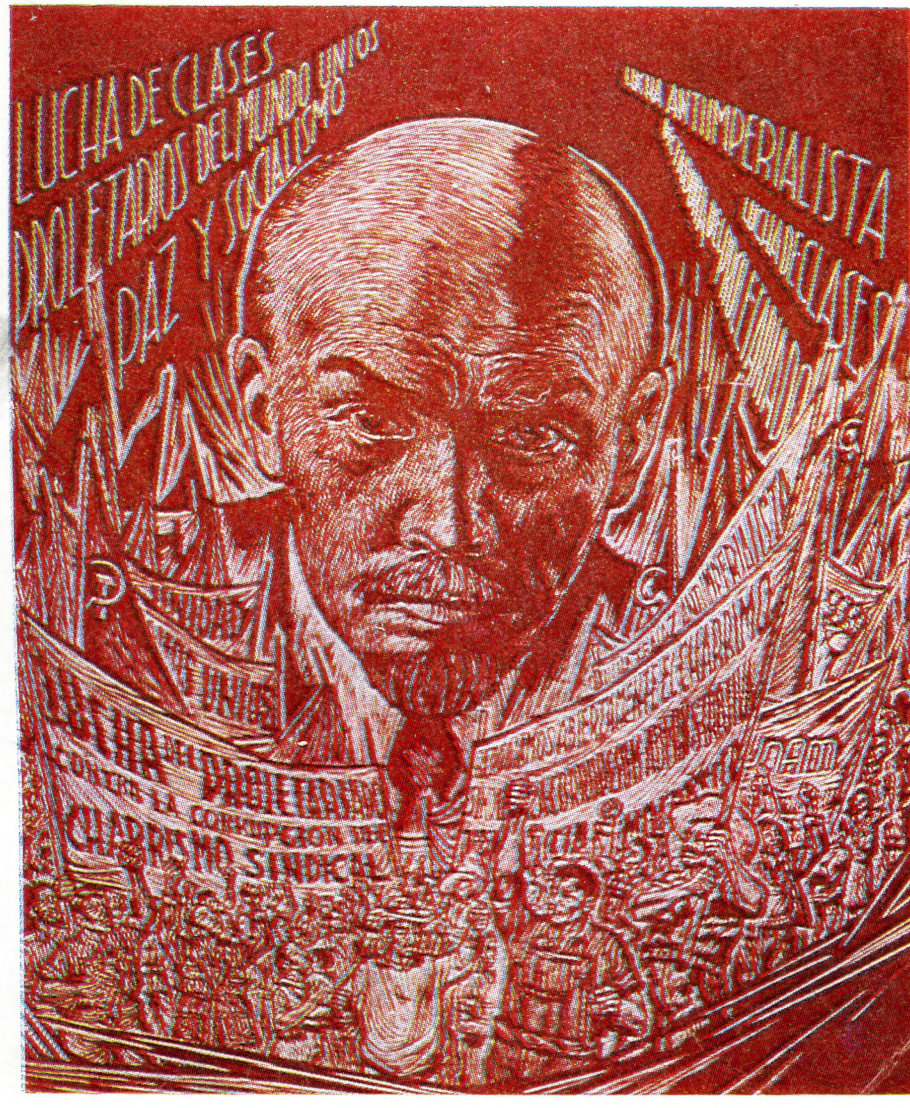
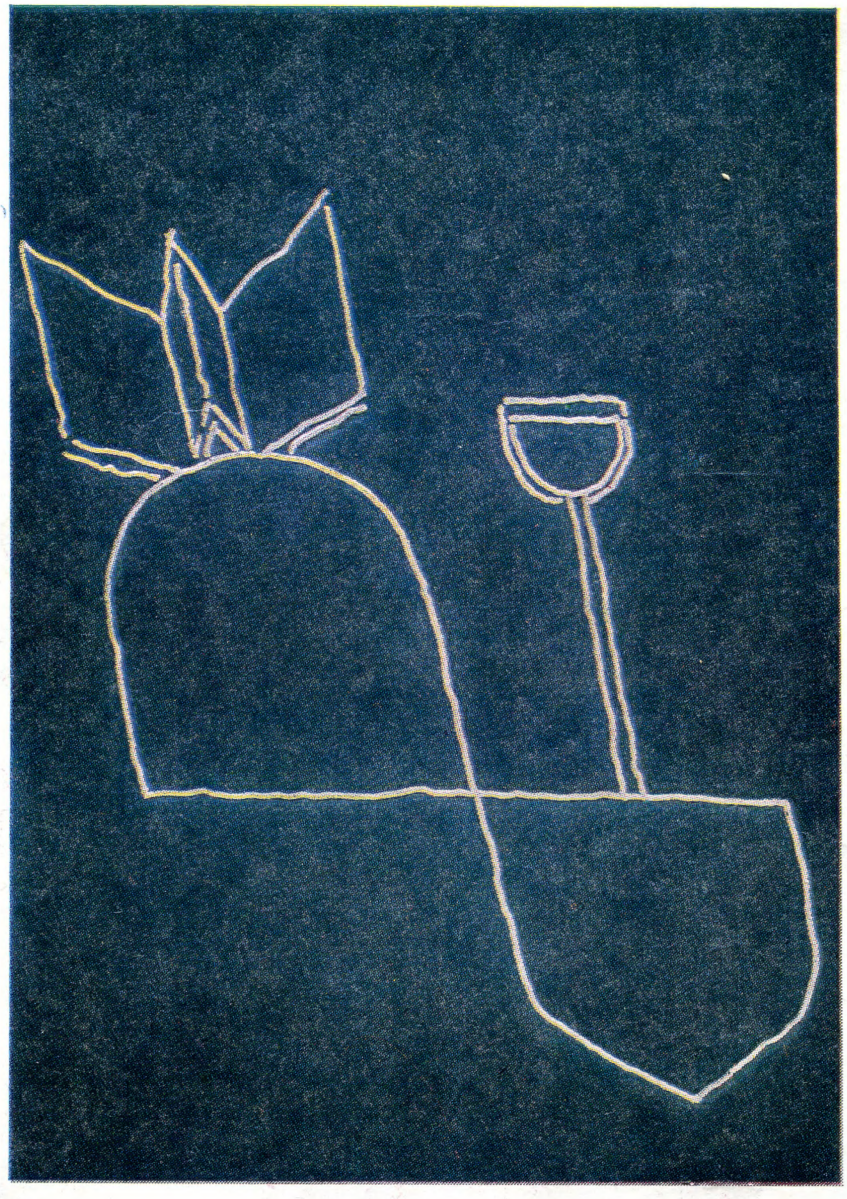
ISSN 0130 – 6545

11. 1982

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА





Вели Мауно Мартикайнен (Финляндия). «Нет — войне!»

Цветные иллюстрации номера — плакаты зарубежных художников, посвященные борьбе за мир

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

11 ноябрь 1982

Содержание

СТЕФАН ХЕРМЛИН — Вечерний свет *(Перевод с немецкого Г. Громана)* 3

ДЮЛА ИЙЕШ — Стихи *(Предисловие О. Россиянова. Перевод с венгерского Н. Горской)* 37

АНТОНИО СКАРМЕТА — Восстание *(Повесть. Перевод с испанского Юрия Павлова. Вступление С. Мамонтова)* 44

Литературное наследие

ВАЛЬТЕР фон дер ФОГЕЛЬВЕЙДЕ — Любовная лирика *(Перевод с немецкого и вступление Вильгельма Левика)* 131

Литературные иллюстрации

МАКС ФРИШ — Синяя Борода *(Повесть. Перевод с немецкого и послесловие Е. Кацевой)* 137

Критика

Анкета «Иностранной литературы»

Ответственность таланта. Слово — писателям мира *(Мария Корти, Пауль Джорджеску, Гунасена Витана, Андре Ремакль, Глория Гуардиа, Шандор Шомоди Тот, Ангелика Мехтель, Ефрем Каранфилов)* 188

С. ПРОЖОГИНА — Обвинение (Капиталистический Запад в творчестве франкоязычных писателей-североафриканцев) 195

Литературные портреты

Вал. РУШКИС — Рассказ о друге (В гостях у Сары Лидман) 201

Трибуна переводчика

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ — Размышления над переводами Шекспира *(Перевод с болгарского Н. Глен)* 207

Культура и современность

Феликс Бурташов — Путь к свободному завтра 213

Публицистика

ГАНС-ПЕТЕР де ЛОРЕНТ — Охота за ведьмами *(Главы из книги. Перевод с немецкого Евг. Факторовича. Послесловие Алексея Григорьева)* 216

Антирубрика

МУЗАФФЕР ИЗГЮ — Чемпион по оплеухам *(Перевод с турецкого Радия Фиша)* ◆ Э. М. ДЕЛАФИЛД — Британский характер *(Перевод с английского Татьяны Чистяковой)* 234

Наши гости

Ал. Злобин — Роберт Лаури (США) 239

Среди книг

Издано в СССР

И. Попов — Пусть не гаснет Трубка Мира!.. ◆ «Бюллетеню» — двадцать лет 241

Издано за рубежом

В. Иорданский — Дневник заключенного из камеры № 16 ◆ Н. Матяш — Итог или начало 244

Из месяца в месяц 249

На 1-й странице обложки — плакат мексиканского художника АДОЛЬФО КИНТЕРОСА из серии «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

На 4-й странице — плакат болгарского художника НИКОЛЫ НИКОЛОВА «НЕТ!».

© «Иностранная литература», 1982.

СТЕФАН ХЕРМЛИН

Вечерний свет

■

Перевод с немецкого Г. ГРОМАНА

Если глядеть на дороги в вечернем свете,
можно увидеть, что они ведут домой.

Роберт Вальзер

В начале два гобоя и один oboe da caccia [1] на фоне струнных и continuo [2] вступают с темой, которую, начиная с двадцать четвертого такта, хор повторяет гомофонно [3]. От леса веет прохладой. Как быстро кончился день. Спустились сумерки, в их складках таится глубокая тьма. Кто-то задаст вопрос, но ответа не будет, а если ответят, то начнут спрашивать снова. Начиная с alla breve [4], хор в быстром темпе поет фугу. Потом альт берет все более низкие, протяженные звуки. В темноте гаснут лица, и знаки труда, и светлые краски улиц; ни одно окно не светится, не видно ни соседнего дома, ни селенья. Струнные описывают крест: «Соль, ре, си-бемоль, фа-диез [5]. Останься с нами».

«Кто любит радостно бродить,— пели мы,— пойдет навстречу солнцу» [6]. Солнце стояло высоко над восточным хребтом, когда мы шли по мосту через Инн. На мосту, как раз посреди широкой, бесконечно длинной долины, я на минуту остановился, не слыша возгласов учителей. Там, в глубине, в серо-зеленой воде, я видел стаи форе-

[1] Охотничий гобой *(итал.) (Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Continuo, или basso continuo *(итал.)* — генерал-бас, партия аккомпанирующих инструментов в произведениях старинной музыки, куда входили орган, клавесин, виолончель и контрабас.

[3] В унисон. Весь этот отрывок представляет собой поэтическую интерпретацию Шестой кантаты И. С. Баха, написанной на евангельский текст: «Останься с нами, ибо день уже склонился к вечеру».

[4] Ускоренный музыкальный такт.

[5] Это сочетание нот считалось символом креста, одной из важнейших риторических фигур в музыке барокко (XVII—XVIII вв.).

[6] Популярная песня на слова поэта Эмануэля Гейбеля (1815—1884).

© Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig, 1979.

СТЕФАН ХЕРМЛИН — STEPHAN HERMLIN (род. в 1915 г.).

Немецкий поэт и прозаик (ГДР). Член Академии искусств ГДР, лауреат национальных литературных премий. Автор поэтических книг «Двенадцать баллад о больших городах» («Zwölf Balladen von den grossen Städten», 1945), «22 баллады» («22 Balladen», 1947), «Полет голубя» («Der Flug der Taube», 1952), «Стихотворения» («Dichtungen», 1981), сборника «Рассказы» («Erzählungen», 1966). Известен и как литературный критик, публицист и переводчик.

На русский язык переведены сборник рассказов «Первая шеренга», сборник стихов «Полет голубя», радиопьеса «Скарданелли» и др. произведения. В 1974 г. вышло «Избранное» С. Хермлина. Книга «Вечерний свет» издана в 1979 г. в Лейпциге («Abendlicht», Leipzig, Verlag Philipp Reclam jun.).

лей, а вдали к югу — замыкавшую долину гору Ла Марнья[1], которую я считал своей и никогда не забывал. «А высокое небо, как широ́ко оно»[2], каким же тихим тогда было небо, его еще не отметил реактивный след, оно влекло мой взгляд вверх, за дальнюю гору, потом бросало его из бездны в бездну, ибо бездна была не только подо мной, в воде, она окружала меня со всех сторон, она звалась еще и тишиной, и нигде она не была глубже, чем в той синеве надо мной, куда я взлетал, куда я падал. Мой взгляд искал, как всегда, облака, которые странствовали, как и я, точно такие же, как за тысячу лет до меня и через тысячу лет после, такие же скорбно непостоянные, они поведали мне о том, что этот миг никогда уже больше не повторится.

Солнце палило все сильнее, оно горело в тревожной синеве высоко над горным склоном, над лесами, в тени которых я бродил, срывая альпийские розы и пряча их в рюкзак; они не увянут, они еще долго будут цвести, эти стойкие цветы, они долго будут пламенеть в моей памяти и после того, как я дома займу ими все стаканы.

Из чащи послышался голос кукушки, не надо было считать, сколько она прокукует, передо мной была бесконечная жизнь. Все выше поднимался купол неба, люди появлялись редко, но их спокойное дружелюбное присутствие угадывалось в крепких, вековых домах, на опрятных улицах, где иногда поскрипывала телега; вдалеке под лиственницами стоял пастух, опираясь на посох. Каждый час по долине проезжала электричка; ее шум и грохот быстро стихали.

Вечером, после школы и дневного отдыха, я шел мимо дома Планта[3], по лугам, вниз по реке к игольчато-острой церковной башне Сканфа[4], где меня ждал старый священник, читавший со мной Корнелия Непота[5]. Стенные часы тикали медленно и упрямо. Окутанный табачным дымом и теплым светом, падавшим на мою книгу столбиком пляшущей пыли, я, сонный и умиротворенный, слушал священника, объяснявшего мне грамматические правила. На обратном пути я любил постоять возле крестьян, собравшихся на деревенской улице. Стараясь не выглядеть чересчур любопытным, я все же прислушивался к звукам их ладинской[6] или германской речи; иногда кто-нибудь из них бросал на меня равнодушно-приветливый взгляд. Я разглядывал их могучие фигуры, их крупные, загорелые руки; их речь я понимал только наполовину. По воскресеньям они, празднично одетые, стояли у церкви, на женщинах были здешние черно-красные, с золотой каймой наряды. Эти люди внушали мне робость; они властвовали над полями, ракитами, лугами, животными, в любой день в любое время года они твердо знали, что им надо делать; тропы, которые они пролагали в долине, места, где они останавливались,— эти линии и точки составляли единое целое, какой-то единый замысел. Они знали то, что мне не было известно и что я хотел знать.

Но мой взгляд снова устремлялся ввысь, где над одной голубой кручей таинственно вздымалась другая, красноватый свет мерцал на западе над горными цепями, первые бледные звезды проступали между очертаниями облаков, и, со страхом оборачиваясь, я видел

---

[1] Вершина в Альпах, в восточной части Швейцарии.

[2] Строка из песенного цикла Франца Шуберта на слова поэта-романтика Вильгельма Мюллера (1794—1827) «Прекрасная мельничиха».

[3] Известный дворянский род, на протяжении столетий игравший видную роль в истории Швейцарии.

[4] Сканф — деревня в долине Энгадина, в восточной части Швейцарии.

[5] Корнелий Непот (род. около 100 г. до н. э., ум. после 32 г. до н. э.) — римский писатель, автор классических жизнеописаний.

[6] Ладины — одна из древних ретороманских народностей; живут в Швейцарии и в итальянском Тироле.

вечернего орла, кружившего в вышине над мрачной треугольной вершиной Пис д'Эсана [1].

Это медленное, неуверенное узнавание собственного тела, места, времени года и, может быть, даже часа. Что же со мной было?.. Сквозь прорезь окна видны три холодно блещущие звезды. Зима. А только что я чувствовал тепло, нет, даже жар, опаляющий, удушающий, как в пустыне. И я был в открытом море, вернее над морем, ибо я летел, совсем беззвучно, в какой-то машине, которую я совсем не знал, но мог управлять ею. Я летел над почти неподвижным свинцовым библейским морем, какое видел несколько десятилетий назад, во время наводнения в Фере. Моя машина летела быстро, она была на удивление послушной, я мог в одно мгновение с высоты космического полета спикировать вниз и промчаться прямо над самой водой.

Подо мной застывшая гладь или, точнее, медленное, едва заметное, ленивое дыхание воды в странном свете, который льется неизвестно откуда. Ветер стих. Ни берега, ни острова, ни корабля. Но что-то говорит мне, что я должен лететь над Ламаншем, примерно там, где он соединяется с Северным морем. Почему же я не вижу никаких примет — ни Гарвича, ни Голландии, быть может, я нахожусь дальше к западу, над открытым океаном. Но вот сейчас я уже могу с моей высоты разглядеть то, что медленно колышется на волнах,— лодку или плот, и когда я снижаюсь, то вижу — это крыло самолета, несущая плоскость «спитфайра», и поперек нее лежит на спине человек, я догадываюсь, что мне предстоит, минуту спустя я узнаю своего брата. Он лежит рядом со своей кокардой, он одет в свою «Мае West» [2] и шлем с наушниками, его бледное лицо немного распухло, но почти такое же, как было при жизни, и когда я спускаюсь еще ниже, то вижу, что он держит в руке что-то белое, листок бумаги, записку. Я тут же вновь набираю высоту — надо позвать на помощь, вернее, попросить похоронить его, вырыть ему могилу, и пусть эскадрилья проводит его прощальным салютом. Неизвестно почему, я поворачиваю на восток, а не на запад. И вот подо мной уже суша, я могу ясно различить побережье континента, я снова стал космонавтом, ни одно облако не заслоняет мне видимость, я снова чувствую вокруг себя опаляющую пустыню, теперь уже пахнет пожаром, неужели подо мной горят леса?.. Я снова лечу очень низко, почти задеваю вершины деревьев, нигде ничего не горит, все неподвижно, хотя я пролетаю сейчас над полуразрушенными или разрушенными городами и деревнями, но пожары уже давно потухли. Нигде никого нет, я лечу над медленными реками, текущими на север меж пологих берегов, я лечу над громадными свежевспаханными полями, потом снова над скоплением длинных одноэтажных домов, не то это казармы, не то бараки, а вот высокие стройные трубы заводских цехов, но нигде никого, ни души, все неподвижно, все тонет в мертвой, не спадающей жаре. Описав большую дугу, я вновь возвращаюсь на запад, далеко внизу появляется море, все так же качается мертвый летчик на крыле, все так же держит он белый листок в руке, на нем что-то написано, я спускаюсь ниже, чтобы прочесть, что там написано, но это не записка, это листок календаря, и на нем дата: 22 июня. И в это мгновение я слышу вопль, свой собственный крик, ибо листок календаря или, вернее, та сила, что вложила его в руку моего брата, убеждает меня, что эта дата навеки исторгнута из времени. Этого дня нет, никогда не будет, есть только 21 июня, за ним наступит 23-е, и 23-е будет такое же, как 21-е, так

[1] Одна из альпийских вершин близ Энгадина.

[2] Так английские летчики в годы второй мировой войны шутливо называли летную форменную куртку (в честь популярной американской киноактрисы 30-х годов).

было всеми решено, и отныне все дни будут похожи друг на друга — этим безмолвием и безветрием, этой жарой и ленивым колыханьем воды, освещенной безвременным светом.

Годы в горах дались мне нелегко: после долгого одиночества я медленно привыкал к незнакомым детям. Я скучал по моим домашним учителям, по моей гувернантке, горничным, по всем людям, которые ежедневно окружали меня, пока я не попал в интернат. Они неизменно были со мной рядом, исполненные непостижимой мудрости и опыта, постоянной заботы обо мне, подчас строго настаивавшие на своем требовании, но всегда приветливые, доверявшие мне. Все это время я не видел своих родителей, только однажды они появились, молодые и сияющие,— вернулись из Италии; они взяли меня с собой в Suvretta-House[1], мы поужинали в окружении совсем незнакомых людей, на следующий день был национальный праздник; когда стемнело, на горных вершинах зажглись костры, нам пришлось петь в зале перед гостями отеля, и я увидел своих родителей в вечерних туалетах, среди других празднично одетых гостей, мы пели «О, Зампах, город малый», мы в интернате, как это ни забавно, были здешними патриотами, хотя все были иностранцами, потом мои родители куда-то исчезли, и я снова увидел их очень нескоро.

Нас обучали хорошо, по новейшим принципам, я полюбил моих учителей, хотя они не могли заменить мне отсутствующих близких людей. Больше всего я любил фрейлейн Цендер. Однажды она сидела и беседовала с другими учителями и учительницами, а я доверчиво стоял рядом, их лица были серьезны, даже печальны. Фрейлейн Цендер вдруг повернулась ко мне и спросила: «Сколько мне лет, как ты думаешь?..» Все смотрели на меня с ожиданием. Мне было трудно определять возраст взрослых, даже невозможно, я медлил. «Интернат погубил нашу молодость»,— тихо сказала фрейлейн Цендер. Впервые я смутно почувствовал, что в жизни может быть что-то упущенное, несбывшееся, что существует раскаяние.

Самую большую радость мне доставляло посещение воскресной школы. Нас обучали прекрасным хоралам Пауля Герхардта[2], читали притчи из Нового завета, и мы должны были их пересказывать. Кто хорошо учился, получал картинки, на которых были изображены эпизоды из Священного писания. Эти пестрые, ярко разрисованные картинки вдруг показались мне самым красивым из всего, что я когда-либо видел, гораздо красивее, чем картины, окружавшие меня дома. Всю неделю я мечтал о картинках, которые получу в воскресенье. Воскресными вечерами я сидел в своей комнатушке под самой крышей и рассматривал эти восхитительные картинки, я видел вдали город Эммаус, а на переднем плане Клеофанта, который выходит навстречу Христу. Внизу стояла подпись: «Останься с нами, ибо день уже склонился к вечеру».

Зима, к нашей радости, длилась долго, она начиналась в октябре и кончалась в апреле. Снег был такой глубокий, что сторожу иной раз приходилось разгребать сугробы у дверей дома. Нам предлагали кататься на лыжах, надо сказать, что почти все мы любили и умели ходить на лыжах. У некоторых мальчиков постарше были санки «skeleton», и мы долго смотрели им вслед, когда они уходили на Кресту[3].

Вечером я читал в постели «Оливера Твиста», старательно заслоняя свечу, чтобы учитель во время вечернего обхода не заметил ее с порога. Потом я лежал в темноте, смотрел из натопленной комнаты

[1] Отель в Санкт-Морице (Швейцария).

[2] Пауль Герхардт (1607—1676) — немецкий поэт, автор духовных песен, исполняемых и поныне.

[3] Креста — ледовый желоб близ Санкт-Морица, здесь происходят состязания по санному спорту.

в морозную ночь на крупные звезды и размышлял о судьбе Оливера Твиста. Меня охватывало мучительное сострадание к бедным детям, к счастью, такие дети встречались мне только в книгах. Эти ночи были почти бесшумны, лишь изредка в долине слышался свисток паровоза. Потом пришла весна, и окаменевшие водопады в ущельях начали снова шуметь. Ночью я и во сне слышал грохот лавин, а проснувшись однажды, увидел, что голубые и желтые крокусы сплошным ковром покрыли луга до самых утесов. И хотя это было очень красиво, меня это поразило как острая боль. Я стал уже частью зимнего мира, однообразной белизны, примирявшей все, что было в разладе друг с другом, белизны, над которой еще ярче голубело небо, а тишина только изредка прерывалась, она не нарушалась близкими и дальними голосами, которые теперь так отчетливо и звучно спускались вниз к долине.

Из ранних читательских впечатлений мне запомнились два, хотя и по совершенно разным причинам. Первое относится к книге или книгам, которые я прочел совсем рано, мне было лет шесть или восемь. Я вспоминаю «Тысячу и одну ночь», но тут же всплывают в памяти и «Книжка с картинками — без картинок» Андерсена и «Кожаный чулок» [1], эти совсем разные книги в моей памяти почти сливаются друг с другом, их границы едва различимы, это, видимо, связано с тем, что для меня в них важны не столько действия и персонажи, сколько природа, ландшафт, время дня, сама атмосфера, в которой герои жили, совершали поступки.

Этот интерес не к сюжету, а к атмосфере рассказа или, иначе говоря, стремление вычитывать в каждой книге еще нечто иное, свое, подкрепляли и иллюстрации — создателей их я давно позабыл, если вообще когда-либо знал. В моем издании сказок братьев Гримм — я читал их постоянно — на картинке был зеленый склон холма, над которым высилось бледно-голубое, усеянное белыми облаками небо. По этому склону поднимались, на нем лежали герои сказок, лежали безмолвно, и мне тоже хотелось молчать. Уже взрослым я увидел восточные города (но не Багдад), и везде я искал переулки, базары, где жизнь текла медленно, весело и зловеще. С тех пор как я впервые прочел «Тысячу и одну ночь», ночные базары неизменно дышали для меня рубиново-алым жаром, маленький продавец воды неизменно нырял в густую тень, неизменное, незримое солнце сияло на ярко-синем небе над теснинами улиц, овеянных утренней свежестью. Среди нищеты, разрухи и вторгшейся сюда безобразной техники я долго стоял рядом со сказителями на перекрестках улиц. Их языка я не понимал; только в глазах их оборванных слушателей жили картины и образы моего детства. Я долго искал свет, который когда-то так ясно увидел. Я его не нашел.

В тринадцать лет я случайно прочел «Манифест Коммунистической партии», последствия сказались позднее. Тогда меня подкупал в нем высокий поэтический стиль, позднее — и убедительность доводов. Я не раз перечитывал его, по меньшей мере раз двадцать за мою жизнь. В трех разных странах я слушал лекции о «Манифесте» моего учителя Германа Дункера [2]; Дункер, который знал наизусть это произведение от первого до последнего слова, был одним из тех уже ушедших от нас людей, которые волнуясь, со слезами на глазах говорили о марксистской теории. Это знаменитое сочинение открыло мне путь к более обширным и сложным произведениям марксистской литературы, но я снова и снова к нему возвращался. Я давно был уверен, что знаю его хорошо, когда, примерно лет в пятьдесят, вдруг сделал поразительное открытие. Среди фраз, в которых, как мне

[1] Роман Фенимора Купера.

[2] Герман Дункер (1874—1960) — один из основателей КПГ, видный пропагандист идей научного социализма, впоследствии член ЦК СЕПГ.

казалось, я уже давно не сомневался, была и одна, звучавшая следующим образом: «На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие всех является условием свободного развития каждого». Я не знаю, когда я начал читать эту фразу так, как она здесь написана. Так я ее читал, так она для меня звучала, ибо она в этом виде соответствовала моему тогдашнему миропониманию. Как же велико́ было мое удивление, даже ужас, когда я много лет спустя обнаружил, что эта фраза в действительности имеет обратный смысл. «...в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех» [1].

Мне было ясно, что я и тут вычитал в тексте нечто иное, вложил в него свои собственные представления, свою собственную незрелость, но то, что в других случаях было позволено и даже подразумевалось, ибо там слово было связано с другими словами, даже с чем-то несказа́нным, тут обернулось нелепостью, я неверно понял прозрение, пророчество. И все же к моему ужасу примешивалось облегчение. Глазам моим вдруг явилась книга, которую я ждал давно, на которую я надеялся.

Мои родственники меня не интересовали, я не любил никого из них, за исключением дяди Герберта, младшего брата моего отца. Дядя Герберт был у нас редким гостем, он появлялся всего два-три раза в год, всегда в обществе могучего черного пса — ньюфаундленда, который тихо усаживался в прихожей. Мой брат и я поднимали радостный крик при появлении дяди — он всегда приносил нам чудесные книги или такую механическую игрушку, какой мы еще не видели. Мы смеялись над его черной широкополой шляпой, дядя, довольный, улыбался нам. Иногда вместе с ним являлся художник С., чьи привлекательные картины в серых и серо-голубых тонах высоко ценил мой отец. Несколько раз С. гостил вместе с дядей у нас. Дом был большой, и гости бывали у нас часто.

Отец не любил громко выражать свои чувства, но он так и светился радостью, когда к нам приезжал дядя Герберт. Дядя был похож на моего отца, тоже голубоглазый, тоже среднего роста, только пошире в плечах и немного склонен к полноте, а в его улыбке чувствовалась затаенная слабость. Когда он приходил, моя мать, и без того редко бывавшая дома, казалась еще озабоченнее, чем всегда,— с ее губ слетали магические имена модиста Герсона, ювелира Маркуса, парикмахера Карстена. Едва дядя Герберт успевал немного закусить с дороги, отец запирался с ним наедине в своем рабочем кабинете, откуда нельзя было услышать ни звука. Когда они снова появлялись, оба садились за рояль и играли «Фантазию фа минор» Шуберта и другие пьесы в четыре руки. Мне казалось, что музицирование или, вернее, сама музыка продолжала их разговор. Дядя Герберт играл хорошо, как и отец. Когда отца не было дома, он играл один. Из своего багажа он всегда доставал целую кипу нот, он играл композиторов, которых никто у нас не играл, более или менее новых, таких, как Скрябин, Равель и англичанин по имени Сирил Скотт. Пока он играл, я смотрел на его руки, на пальцы, пожелтевшие от курения — оба брата были заядлые курильщики, они часто курили даже за фортепьяно, но сигареты дяди Герберта были не такие, как у моего отца, у них был особый сладкий аромат. Иногда, когда я играл, дядя тихо входил в комнату, слушал меня, хвалил мои успехи. Я заметил, что он разбирается и в игре на скрипке, он учил меня правильно держать подбородок и левую руку, чтобы улучшить мое вибрато.

Никогда я не слышал от него громкого слова, и ничего, кроме любви и доброты, не выражали черты его лица. Однажды я задал

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Полн. собр. соч., изд. 2-е, т. 4, с. 447.

ему один вопрос, и едва приметное волнение дяди Герберта встревожило меня. Так как он всегда приезжал к нам один или с С., я спросил его, женат ли он. Нет, ответил дядя Герберт со своей обычной, на сей раз слегка натянутой улыбкой. Он погладил меня по голове и сел за рояль.

Я заметил, что слуги обращаются с дядей Гербертом преувеличенно вежливо, словно бы в глубине души потешаясь над ним. Он, казалось, не замечал этого, тихо благодарил за любую помощь или ответ; я видел, что он при этом опускает глаза.

Однажды я сказал своей гувернантке, что я люблю дядю Герберта не меньше, чем отца. Она сжала губы и сурово отвернулась. «Твой дядя славный и добрый,— холодно сказала она чуть погодя,— но для жизни он не приспособлен». Я захотел узнать, что это значит. «Он умеет только играть на рояле и тратить чужие деньги. Господин,— она всегда называла моих родителей «господин» и «госпожа»,— господин содержит его за свой счет, он все за него оплачивает, это прямо беда, ведь твой дядя — сущий ребенок... С господином его и сравнивать нельзя. И вообще...» Этим загадочным «и вообще» она завершила свое назидание, которое мало подействовало на меня. Мне казалось, что теперь я еще больше полюбил дядю Герберта, раз он, по ее словам, сущий ребенок.

Примерно тогда же я стал невольным свидетелем спора между родителями, которому я не придал бы значения, если бы речь не шла, как я сразу догадался, о дяде Герберте. Я сидел в углу комнаты на полу, с открытой книгой, когда мои родители прошли в кабинет. Они не могли меня видеть. Мать резко выговаривала что-то отцу, который порывисто опустился в кресло. «Хоть раз посчитайся и со мной,— донесся до меня голос матери,— ты ведь отлично знаешь, что на таких, как он, нельзя положиться». И по своей странной привычке она повторила эту фразу по-английски: «People like him are rather unreliable, you know». «Помолчи,— ответил ей тихий голос отца,— пожалуйста, сейчас помолчи...» Я на цыпочках вышел из комнаты, не замеченный ими.

Мне было, кажется, лет девять, и дядя Герберт уже давно не навещал нас, когда однажды во время урока в доме начался переполох. Я слышал, как забегали по комнатам, хлопнула дверь, раздались приглушенные голоса и плач. Я выбежал из комнаты, вслед за мной неслись протесты моего учителя, его призывы к порядку. В коридоре мне встретилась гувернантка с красными заплаканными глазами, она плакала по любому поводу. «Твой дядя Герберт умер,— прошептала она,— какое несчастье...» Я прокрался к кабинету отца и тихо отворил дверь. Отец стоял посреди комнаты без кровинки в лице и смотрел на меня невидящим взглядом.

Дядя Герберт застрелился где-то в чужой стране. Отец поехал на его похороны. Больше о нем не говорили, понемногу все его забыли, и я тоже. И только изредка в сумерках, когда я сидел один в пустой комнате с роялем, мне слышалась странная музыка, звучавшая под его незримыми руками.

Не в силах шевельнуться, я лежал в темноте. Это было не так, как обычно, когда я бежал, чувствуя, что мой шаг становится все тяжелее, ноги наливаются свинцом, а незримые преследователи — все ближе. Я лежал на спине, не связанный, но неподвижный, словно у меня не было ни мускулов, ни жил, и возле меня не слышно было ничьих шагов, только что-то почти беззвучно скользило, подкрадывалось, шуршало, напирало и мелькала тень непостижимых слов, слабее шепота. Меня никто не преследовал, меня давно уже догнали, я выдан, незримые взгляды скользят по мне, меня рассматривают, оценивают, со мной вот-вот расправятся, спорят только о том, как именно и где. Да, речь шла о расправе, эта мысль уже превратилась

в уверенность, меня, прежнего, не желают больше терпеть, я должен был стать другим, меня следует заменить, как кусок усталого металла, я слышал голос: «Je est un autre» [1], не знаю, была ли это цитата или это был голос самого Рембо. Они наделят меня иными чувствами, иными рефлексами, иным восприятием, они хотят сделать меня из умного тупым, из несгибаемого — податливым, из сострадающего — жестоким. Я вскрикнул, услышав свой вопрос: «Так где же я?» — и тут же услышал ответ, мой ли, чужой ли, загадочный, непонятный: «Тебя усыпили».

Летом 1931 года, идя в школу, я заметил, что у газетного киоска собрались люди. Я подошел и, постояв немного, понял, что тут спорят о политике. В витрине киоска виднелись названия всех берлинских газет, от национал-социалистского «Ангриффа» до коммунистической «Роте фане». Тут стояли безработные, ничтожное пособие, которое они получали, не позволяло большинству из них купить газету; здесь сквозь стекло витрины они могли читать хотя бы важнейшие новости.

У меня вошло в привычку ежедневно останавливаться на этом месте и слушать их споры, подчас очень горячие. Неудержимо растущий интерес к политическим событиям захватил и меня: я быстро понял, что спорящие принадлежат к трем разным группам: социал-демократы, коммунисты и национал-социалисты; другие взгляды здесь не были представлены. Дома начали удивляться: я все чаще опаздывал к обеду. Я оправдывался тем, что у меня теперь будто бы больше времени отнимает спорт и школьный кружок.

Почти все, проводившие время у газетного киоска, были рабочими или мелкими служащими, они едва интересовались тем, что до сих пор интересовало меня, и даже ничего об этом не знали, но и я чувствовал, что они знают много такого, что от меня было скрыто. Мне и в голову не приходило встревать в их разговоры. Шли недели, а я оставался безмолвным слушателем.

Я заметил, что социал-демократы и коммунисты, хоть иной раз и подкалывали друг друга злыми или ироническими замечаниями, были, в общем, едины по отношению к национал-социалистам. Из всех аргументов, которые я здесь слышал, самые убедительные для меня были у коммунистов. Мне нравились коммунисты, которых я видел здесь ежедневно, я чувствовал: в них было что-то надежное и радостное, хотя им, конечно, жилось нелегко.

Я понял, что бледнею, когда один из них вдруг заговорил со мной. Это было накануне летних каникул. Правда, я и раньше ловил на себе равнодушные или дружеские взгляды, но незнакомец подошел прямо ко мне, прямо в лицо мне смотрели бледно-голубые глаза, и жесткий голос спросил: «А ты кто же будешь?.. Наверно, гимназист, да?» В голосе звучала ирония, но не враждебность, звучал металл, но вовсе не благородный, скорее похожий на скрипучую жесть, это был голос человека, которого не проведешь на мякине, бодрый, трезвый, храбрый, некрасивый, я люблю голоса берлинцев, а в этом звучала и меланхолия, которая стесняется самой себя. Когда он заговорил со мной, я почувствовал, что возмущение этим внезапным и бесцеремонным «ты» борется во мне с необъяснимой радостью. Я рассказал, кто я, в какую хожу гимназию, где живу и что я — против фашистов. Мы немного поговорили еще о чем-то, и тут незнакомец неожиданно спросил меня: «Знаешь что... Хочешь вступить в наш союз?» Он вытащил из кармана куртки листок, смятый, не слишком чистый, и протянул его мне. Текст был не отпечатан, а оттиснут бледными, стертыми буквами на множительном аппарате, и там значилось, что нижеподписавшийся является отныне членом Коммунистического Союза молодежи Германии. Тогда еще можно было всту-

[1] «Я — другой» *(франц.)*. Хермлин цитирует французского поэта Артюра Рембо.

пать вот так, прямо на улице, не было поручителей и обсуждения, и только что вступившему в Союз никто не вручал цветов. Я никогда еще не состоял ни в какой политической организации, не был членом ни спортивного, ни туристического клуба. Я посмотрел на измятый блеклый листок и поставил подпись. Улица медленно и безостановочно вращалась вокруг меня.

Я тогда еще не знал, что моя подпись означает очень многое: обязательство бороться на стороне угнетенных, терпеть неприязненное отношение многих из тех, кто был до этого мне близок, быть упорным, хладнокровным, молчаливым, учиться и учить других, выдерживать самые различные испытания, ценить суть дела больше, чем слова.

Впоследствии я часто спрашивал себя, почему я так упорно держался за эту подпись на невзрачном листке, видя вокруг себя многих, отказавшихся от такой же подписи или попросту забывших о ней. Были и у меня минуты, когда голос, казавшийся голосом разума, убеждал меня: стоит ли считаться с подписью, вызванной доброй волей, которая столь часто обманывалась впоследствии, остался ли я, мог ли я остаться тем же, кто когда-то подписал все это. Но другой голос упорно оспаривал его: борьба угнетенных — это борьба угнетенных, даже если в ней проявлялось высокомерие и сомнение, недоверие и упорство в ошибках, эта борьба ведет к новым тяготам, даже к дурным делам, она длится вечно, но она отмечена благородной печатью стремления к человечности, к свободе и равенству для всех. Я всегда чувствовал, что пожертвовал бы лучшим, что есть во мне, если бы отрекся от подписи, которую я поставил в полдень ничем не примечательного дня на ничем не примечательной берлинской улице.

Мне шел седьмой год, когда я с матерью уехал из дома, впервые мы уехали с ней вдвоем, у меня вдруг начались какие-то странные боли в ноге, я стал хромать, домашний врач считал, что может развиться суставной туберкулез, правда, пока это были только предположения, но он советовал поехать в санаторий профессора Вайднера, в Лошвиц под Дрезденом. Купол лета сиял над домом, в котором мы снимали квартиру с большой верандой. Врачи под руководством профессора подробно исследовали меня, был сделан рентген. Нет, оснований для беспокойства не было, посмотрим, что дальше, все должно быть хорошо. Мать часто бывала в гостях, встречалась в Дрездене со знакомыми из Берлина или из-за границы, а к обеду всегда возвращалась. Какие-то элегантные молодые люди наносили нам краткие визиты, они вежливо говорили с матерью и искательно со мной, но вскоре прощались, каждое утро горничная вносила поднос с несколькими визитными карточками, мать просматривала их и надменно усмехалась, наши комнаты наполнялись цветами, их приносили целыми корзинами, мы не замечали, как они увядали, так как их все время сменяли новые. Однажды приехал отец, он поцеловал меня, спросил про здоровье, пошутил с матерью насчет цветов и молодых людей, но ему не хотелось оставаться здесь надолго. Здесь он не мог играть на рояле, и в Берлине, как он сказал, его ждал некий господин Бляйхрёдер, с которым необходимо было встретиться. С ним приехал наш кучер Генрих вместе с лошадьми и черным экипажем, чтобы мать могла ездить в гости.

К ужину на нашей веранде всегда появлялся профессор Вайднер, высокий, краснолицый мужчина с белой головой и в белом халате; он любил немного посидеть с нами, деликатно клал на каждый кусочек редиски крошечный кусочек масла и сам кормил меня. Всего чудеснее был завтрак, чаще всего тоже на веранде, но иногда и в парке под нашими окнами, где за большим столом, под зонтами от солнца, собиралось много наших знакомых, я осторожно ступал по шурша-

щему гравию, молодые люди были в галстуках из пестрого шелка и теннисных брюках, звучал звонкий смех моей матери, у нее были светло-рыжие волосы, нежный цвет лица, как у многих ее соотечественниц [1], я сидел между ней и актрисой Полой Негри, восхищаясь ее домашними туфлями на меховой подкладке.

Но больше всего я любил лежать в своей комнате и читать. Я взял с собой много книг — Андерсена, и «Путешествие Петерхена на Луну», и «Грезы у французских каминов». Но я уже читал и газеты, каждый день мне приносили «Берлинер цайтунг», где был самый обширный спортивный отдел, ведь я интересовался спортом, и в этом отец меня поддерживал, он брал меня с собой на бега и на бокс. Иногда мой взгляд случайно падал на политические новости, хотя обычно эти страницы я просто перелистывал. Но в один из этих летних дней мое внимание приковала кричащая строка на первой странице: министр иностранных дел Вальтер Ратенау [2] был убит. Важности этого события я, конечно, не понимал, я даже не знал, что это значит: «министр иностранных дел». Но долгое время все вокруг меня только об этом и говорили. И если до сих пор я спокойно, почти без волнения, узнавал о каком-нибудь злодеянии, ибо оно неизменно совершалось только в мире моих книг, где в конце концов все кончалось хорошо и страшное делалось нестрашным, то теперь я почувствовал, что свершилось что-то в самом деле непоправимое, и прямо на том рубеже, который так надежно отделял меня от всего опасного в жизни. В эти дни я случайно услышал, что мой отец знал, хотя и не близко, этого Ратенау, это еще больше усугубило мой страх: между мной и убитым была какая-то связь, впервые на меня упала тень той действительности, о которой я до сих пор не догадывался.

В последующие дни я прочитал подробности о покушении и его последствиях: рабочие объявили всеобщую забастовку, полиция преследовала убийц, которые оказались офицерами, она настигла их в крепости в Саксонии, они не хотели ей сдаваться и в конце концов застрелились. Мои страхи настолько возросли, что однажды, когда мать опять куда-то уехала, у меня начались судороги, мне представилось, что вся страна, все города кишат убийцами в масках, я был уверен, что они напали на мою мать. Подоспевшие врачи и сестры ничего не смогли поделать со мной, я успокоился, только когда мать вернулась домой.

Министр иностранных дел был похоронен, убийцы и их сообщники были мертвы или же арестованы, над беседами наших друзей, над улыбками моей матери вновь засиял зеленый и золотой купол лета. Неважно, что моя мать жила не только для меня, что к нам постоянно тянулись чужие; качаясь на стуле, в своем белом матросском костюме, шурша гравием, я чувствовал сладкую, усыпляющую скуку, ничего не могло случиться, ничего со мной не могло случиться, никто не желал мне зла, как же добры были взрослые и как умны, как хорошо они разбирались в непонятном для меня мире, для меня на столе всегда был и хлеб, и молоко, меня ждала моя скрипка и книга, а к вечеру — моя постель. Кто-то приносил мне все необходимое, кто-то помогал одеваться, кто-то спрашивал у меня урок, и так было всегда, такова была моя жизнь, от которой я чувствовал себя усталым и счастливым. Я высоко закидывал голову, в вышине надо мной расходились облака, они уже никогда не будут такими, как в эту минуту. Мы вернемся обратно в Берлин, и мать, хотя и не часто, будет брать меня с собой в «Эспланаду» [3], чтобы показать своим знакомым, и там вокруг меня будет тот же гул: жужжание пчел и ос над тарелкой с пирожными, гул приветливых гостей, и я буду без

[1] Мать Хермлина была англичанкой.

[2] Вальтер Ратенау (1867—1922) — либеральный политик, министр иностранных дел в первые годы Веймарской республики.

[3] Фешенебельный отель в Берлине.

неприязни слушать музыку капеллы и эти ужасные portamenti [1] первой скрипки, и к нам будет доноситься дальний шум с Потсдамской площади, и будут тени на небе, тени на веках. Я был уже почти здоров, совсем здоров, в одно прекрасное утро боль ушла внезапно, как и началась, я мог ходить, бегать, прыгать, боль навсегда исчезла, туберкулеза не было, профессор Вайднер оказался прав.

Я был здоров и вместе с матерью, Генрихом и лошадьми двинулся в обратный путь — на север республики, которая умирала, еще не начав жить по-настоящему.

С той поры, когда я стал читать Маркса и Ленина и вступил в ряды рабочего движения, у меня возникло одно серьезное затруднение. Если убедительность этой теории во всех областях человеческой жизни становилась мне все яснее, то в области искусства ничего столь же убедительного я обнаружить не мог. Я находил у классиков марксизма важные, подчас поразительные замечания об искусстве, даже если они были высказаны совсем по другому поводу, например в связи с освещением экономических процессов. Но не все их преемники сумели развить эти идеи; тексты цитировали, с ними обращались как со Священным писанием, тогда как настоящая работа должна была бы начаться с того, чтобы найти научный подход к этим идеям, объяснить многие вопросы, осмыслить их исторически. К моему изумлению, я проявил тяготение к теории, но чисто пассивное, мне никогда не приходило в голову внести свой вклад в создание новой эстетики. Существенно для меня было то, что чтение множества трудов по социологии искусства, которые вскоре составили целую библиотеку, все меньше и меньше меня удовлетворяло, согласиться с авторами было трудно, скорее я испытывал раздражение. Вот почему у меня все чаще рождались опасения и страхи, годами и десятилетиями я носил их в себе и не мог ни с кем ими поделиться. Бывали минуты — особенно если мне предстояло выполнить серьезное задание, сопряженное с риском,— когда я считал себя потерянным, недостойным человеком, которому, в отличие от товарищей, не дано понять и принять простую, ясную для всех истину. Так случилось и в то время, когда действовали новоявленные экзегеты [2], каждый из которых стремился перещеголять другого по части проклятий и новых ограничений. Искусство нашего века все чаще и чаще объявляли гнилостной трясиной, великие имена в литературе, музыке, живописи становились символами воплощенного зла, третьестепенных академических эпигонов производили в гении, упорно искали корень зла, один ревностный ученый зашел так далеко, что назвал декадентами Флобера и Бодлера. Теории и категории возникали из пустоты, обосновать их было нельзя, все притворялись, будто они давно доказаны, все, не скупясь, употребляли слово «научный», все шли вперед, на свет рождались новые школы, семинары, лекции, отделы, журналы, конференции, академии; профессора читали курс, студенты становились профессорами и напрасно ждали того мальчика из андерсеновской сказки, который крикнет: «А король-то голый!».

Я, пожалуй, преувеличиваю. Эти химеры еще живут, но они уже состарились, и современники все меньше обращают на них внимание. Когда ослабели мои страхи, когда они исчезли совсем, мне уже не вспомнить. Если я теперь освободился от них, это, конечно, не только моя заслуга. Способность рабочего движения обновляться поразительна, я это почувствовал и на самом себе. Но, вспоминая прошлое, я уже не могу отвлечься от мысли, что, пытаясь прийти к согласию

[1] Музыкальный термин, означающий скользящие переходы от одного тона к другому.

[2] Толкователи Священного писания; здесь — в ироническом, переносном значении — догматики.

со всеми в вопросе, который был попросту неверно поставлен, я потерял за эти тридцать лет много сил, и это, вероятно, мешало мне писать больше и лучше. Я думаю об этом без тени сострадания к себе. Я был таким же, как и рабочее движение, к которому я примкнул, я разделял его зрелость и его незрелость, его величие и его слабости. Новые поколения, наверное, будет объединять то, из-за чего я был еще одинок.

Однажды, в детстве, я, сидя, как обычно, рядом с гувернанткой на дальнем конце обеденного стола, увидел, как незнакомый господин что-то оживленно говорил моему отцу, этот господин запомнился мне своим иностранным выговором. Отец слушал его внимательно и с большим интересом. Я, разумеется, помалкивал, зная, что дети за столом не должны мешать разговору взрослых. Да я и не прислушивался к разговору, который не слишком меня касался и не слишком интересовал. Обед кончился, и, когда незнакомец попрощался, отец сказал, что этот человек — русский, знаменитый художник Кандинский. «Он предлагает мне свою картину,— сказал отец,— но я не люблю его картин. Не люблю, потому что я их не понимаю». Бывали минуты, когда мой отец именно так, очень серьезно, негромко и мечтательно, говорил со мной, словно нисколько не сомневался, что я пойму его. «Но разве это важно,— продолжал он немного погодя,— разве это что-нибудь значит в вопросах искусства: «люблю», «не люблю»? Мне кажется, он большой мастер. Не всегда легко судить о произведениях искусства, иногда надо уметь выждать. Быть может, придет время и я пойму Кандинского. Перед искусством надо благоговеть...» Вскоре после этого разговора он повел меня во дворец кронпринца и показал висевшие там картины Кандинского.

Иногда отец звал меня в самую большую комнату у нас в доме, где в шкафу в строгом порядке хранились листы рисунков и акварелей, которые он не мог развесить по стенам. У моего отца было немало и других работ, но собирал он главным образом немецких художников начала девятнадцатого века. Он показывал мне какую-нибудь деталь в рисунке Каспара Давида Фридриха, графику Рунге, маньеристский этюд Блехена. Лишь изредка пояснял что-то. Я всегда чувствовал: он верит, что я пойму и его, и художников, которых он мне показывает. В комнате царила тишина, прекрасный матовый свет лился сквозь стекла, я был восхищен, счастлив. Теперь я знаю: скупые слова отца, то, что им было сказано и показано, все это больше значило для меня, чем все софизмы, над которыми я столь долго бился впоследствии. Его молчание учило меня терпимости. Но мы живем во времена нетерпимости.

Об Эрихе М., с которым я дружил, я не вспоминал по крайней мере семь лет; семь лет тому назад я видел его в последний раз и потом как-то быстро забыл его. Он был младшим сыном в семье рабочих, я очень любил когда-то сидеть у них в каморке. Я тогда проводил много времени в каморках берлинских рабочих, встречался с новыми людьми, перед которыми робел, хотя они и были со мной приветливы; в них было для меня что-то таинственное, даже если они говорили о самом будничном. Отец Эриха сражался в рядах спартаковцев, он мало говорил, выглядел изнуренным, у него, как сказал Эрих, были слабые легкие. Оба брата Эриха работали в Советском Союзе, на электрозаводе. То была эпоха первой пятилетки, я с немым восхищением разглядывал в журналах фотографии городов, которые проектировали Ле Корбюзье и Эрнст Май; я читал «Москауэр рундшау», еженедельник, издававшийся на плохой бумаге, но зато на отличном немецком языке. Когда братья Эриха проводили свой отпуск в Берлине, я уговаривал их прийти к нам в комсомольскую ячейку. Как хороши были эти вечера! Мы едва могли их дождаться и радовались встречам уже заранее. Почти все мои молодые това-

рищи были безработными, многие ребята и девушки из ремесленных школ попали прямо на биржу труда и уже не могли с ней расстаться, вечно слонялись там, так и не получая работы. Я был сперва для них чужаком; меня встречали недоверчивыми или ироническими взглядами. Но вскоре я выдержал испытание, то было время необъявленной гражданской войны, и я не уклонялся от стычек со штурмовиками из СА и полицейскими. Кстати сказать, я боялся не сражений на улицах и в залах собраний. Куда больше я робел перед так называемой агитацией на дому — звонки в чужую дверь, необходимость заговаривать с людьми, которых видишь в первый раз в жизни. Я старался побороть страх, который внушали мне такие встречи, с трудом одолевал его, но ненадолго. Мои друзья об этом не догадывались. Они уже доверяли мне, считали своим. Когда к нам приходили братья Эриха, наше восторженное любопытство не знало границ. Мы не уставали обо всем их расспрашивать. Они рассказывали о московских буднях, о громадных трудовых достижениях, о нужде и лишениях, не боясь откровенно говорить обо всех недостатках. Они называли точные цифры: свои планы, встречные планы, свой паек. Нужда и голод не могли уронить Советский Союз в наших глазах: то было наследие старого, изжившего себя общества, войны и гражданской войны, навязанной Советам. И у нас сейчас был голод — следствие обжорства немногих. А там страна, не знавшая безработицы, готовила изобилие для всех. Там не хватало жилья, но уже создавались города, которые я в своих мечтах, а позднее в своем стихотворении, назвал белыми городами, ведь я видел их белыми и прекрасными — на фотографиях в журнале «СССР на стройке» и в «Арбайтер-иллюстрирте»; у нас было достаточно жилья, но ежедневно выселяли сотни людей, которые не могли оплатить квартиру. Мы смеялись над статьями в буржуазных газетах о бедствиях русских, смеялись от всего сердца, мы ведь знали, что у них дела пойдут на лад, а у нас капитализму уже приходит конец.

Начинался февраль, прошло лишь несколько дней после захвата власти Гитлером, когда я, идя по улочке близ Кайзераллее, услышал дробь барабанов и пение. Я остановился и минуту спустя увидел отряд гитлерюгенда, который с пением свернул на эту улочку. На дурном немецком языке, обычном для солдатских песен, они горланили:

Чтобы отечество цвело в своей красе,
солдаты умирали, штурмуя Ла Бассе...

Песни этой я никогда раньше не слышал. Ее мелодия и слова запали мне в память на долгие годы, как и быстрый взмах руки левофланговых при повороте за угол, а левофланговый во втором ряду, в коричневой рубашке и в коричневой шапочке, громко распевавший песню, был мой друг Эрих М. Он увидел меня, и кровь бросилась ему в лицо, а я в то же мгновение почувствовал, что бледнею. Он смотрел прямо перед собой. Всего несколько дней, а может быть часов, оказалось достаточно, чтобы он так изменился. Мне было семнадцать лет, и я не мог этого понять и только потом, значительно позже, понял все. Он был первым, за ним последовали многие. Желание примкнуть к сильным неукротимо. Сколько раз на полях битвы те, кому грозило поражение, переходили под вражьи знамена...

Прошло более семи лет после этой уличной сцены, и я внезапно вспомнил Эриха М., о котором, как раньше уже говорил, давно и думать забыл. Была ночь, мы лежали в овраге, в последние дни мы почти всегда были на марше, то и дело меняя направление. Мы уже не знали точно, где мы находимся, к нашей части присоединялись отставшие солдаты, а иногда штатские, они так же внезапно исчезали, как и появлялись. Все эти дни невдалеке от нас скрежетали танки, и днем небо было черно от самолетов, мы слышали дальние

бомбардировки, эскадрилья «моранов»[1] спасалась от нескольких «мессершмиттов», война, покончившая с нашей прежней жизнью, теперь и сама кончалась, а мы еще не успели осознать ее до конца. В опустевшей деревне я увидел плакат на стене: „Nous vaincrons, parce que nous sommes le plus forts"[2]. Немецкие танковые колонны могли появиться отовсюду, говорили, будто они двигались и с юга. Главный удар немцы наносили уже не с севера. Они атаковали со стороны Мезьера и Мормальского леса, то есть с восточного направления. Они прорывались к побережью, отсекли британские войска от французских. Я видел звезды на небе, круг света от карманного фонарика на карте неподалеку от меня, слышал негромкие голоса офицеров совсем рядом, это было как в детстве, когда разговоры взрослых звучали где-то поблизости, разговоры, которых я не понимал и не хотел понимать, звучание которых мне нравилось, а смысл был безразличен. Только одна фраза из непонятного разговора пробилась сквозь мою глубокую усталость. «Они взяли Лан,— сказал кто-то,— и Бетюн, и Ла Бассе». Обнажилось чудовищное однообразие истории, каждые двадцать лет звучали одни и те же, в иное время нигде не упоминавшиеся названия, снова и снова, как осыпи, возникали на пути все те же роковые события; деревни и малые города, казалось, существовали лишь для того, чтобы быть завоеванными и разрушенными, и люди жили, страдая, в предвиденье грядущих страданий.

От тумана, который никак не рассеивался, темный осенний день казался еще темнее, а к вечеру, когда я поехал на трамвае к Люстгартену, туман стал еще гуще. Трамвай остановился и замер, пассажиры словно только этого и ждали, почти все, как и я, вышли из вагона и потянулись в ту же сторону, что и я; никто здесь не знал друг друга, но я был одним из многих, и неясная отрада и чувство удовлетворения переполняли меня. Вокруг меня волновались поношенные пальто и куртки, в стороне растянулась цепь шупо[3], которые охраняли границу парка. Где-то в дали, которая все отодвигалась от меня, остался мой дом, моя семья, круг людей, в котором я привык жить.

Впервые я участвовал в массовом митинге. Перед балюстрадой замка горели факелы. Говорил Вильгельм Флорин[4]. Я смотрел на монотонное, серое пространство, которое открывалось за отчаянными, застывшими жестами голых деревьев; стоя неподалеку от оратора, я видел, как нелегко ему было заставить себя слушать, усилителей не было, и даже если он кричал, его крик был слышен всего на несколько метров. У иных ораторов, переживших это время, сохранилась привычка говорить очень громко и тогда, когда благодаря технике большое напряжение голоса стало излишним. Если оратор делал короткую паузу, издалека доносилось резкое звучание дудок. Я слышал их тогда в первый, но не в последний раз, и хотя я ежедневно общался с великой музыкой, но плач и крик этого инструмента, на котором чаще всего играли плохо, почти без полутонов, я никогда не мог слышать без глубокого волнения, без страха и надежды. В его неприкрытой грубости звучали беда и мука и безъязыкий порыв к достоинству и красоте, которые должны стать уделом всех. Дудки заиграли «Смело, товарищи, в ногу», ради этой утонувшей в тумане толпы созидали свои храмы Бах и Моцарт, даже если сами они и не знали этого; пронзительная фальшь звука еще сильнее обнажала смысл строфы:

Свергнем могучей рукою
Гнет роковой навсегда

[1] Французские военные самолеты.

[2] Мы победим, потому что мы сильнее *(франц.)*.

[3] Так называли полицейских в годы Веймарской республики (от немецкого: «Schutzpolizei»).

[4] Вильгельм Флорин (1894—1944) — деятель немецкого и международного рабочего движения, в 1935—1943 гг.— член Президиума Исполкома Коминтерна.

И водрузим над землею
Красное знамя труда!

Прошло всего два с небольшим года после этой манифестации, и я стоял вечером неподалеку от Бранденбургских ворот. В полдень рейхспрезидент назначил Гитлера главой правительства. Несколько часов после этого мы с одним моим другом пытались раздавать возле завода «Аскания» листовки, призывавшие ко всеобщей стачке, вопреки решению профсоюзов. Полиции не было видно. Но уже многие из рабочих, проходивших мимо, не желали брать листовки. Кое-кто брал, читал заглавие и отбрасывал листовку прочь. «Поздно, паренек»,— сказал кто-то. Слухи разносились по городу с невиданной скоростью. Шептали, что наступающая ночь будет давно обещанной ночью длинных ножей. Тогда мы еще не знали, что таких ночей будет много. К вечеру я сменил квартиру. Подруга, жившая в мансарде, дала мне приют. Через приоткрытый люк я разглядывал крыши, по которым пришлось бы бежать в случае опасности. Сейчас я видел отсюда шествие с факелами. Прожекторы патетически вырывали на миг из морозной тьмы отряды СА, СС, «Стального шлема» и снова СА, СС, «Стального шлема», все они непрерывно пели, «Германия превыше всего» и песня Хорста Весселя сменяли друг друга, пели и другие песни, ветер насилия, безрассудно-мстительный, возник из незримых глубин, он кружил во тьме, словно сыплющий искрами дым, над полубезумными массами, эти песни все мы учили еще в школах республики.

Битвы клич уже звучит издалека,
Все узнают, как крепка у нас рука,
Буря злее,
Будь смелее...

Колонны маршировали по Вильгельмштрассе, где за освещенными окнами слабоумный старик гупо отбивал такт, а рядом с ним «избавитель» в строгом сюртуке выбрасывал руку в приветствии[1]. Я слышал дыханье, хрип, рев. То, что бушевало, кричало и пело, было во хмелю, но не от того алкоголя, который разливают в кабаках. Неподалеку от меня двое хорошо одетых людей, явно незнакомых друг с другом, внезапно обнялись. При свете факелов я видел их большие, залитые слезами лица. «Германия свободна!» — залопотал один, и другой повторил: «Германия свободна!» Какой-то голос во мне повторял упорно и монотонно: «Я не ваш, я не хочу быть вашим!» За гремящей тьмой я чувствовал кроткую терпимость моей страны, беззвучной была непобедимая печаль ее музыки, безмолвные стихи ее поэтов, ее прорицания и пророчества, ее долгая и смутная история, загадочно замкнутые в себе лики ее природы, простая отвага моих товарищей. Я был одинок, и ангелы отечества стояли за мною.

Когда косые лучи освещали Эль Гезиру и я ел голубей и разглядывал усыпанные рубинами кинжалы на поясе пирующих шейхов когда под бесконечным дождем мокли изгороди в Мариенбаде и я вместе с братом когда я ехал петляя на автомашине и видел как перед правым передним колесом вдоль улицы бежит ленточка пулеметных очередей когда я закутанный в одеяло лежал возле рыцарских погребений а у побережья стреляли тюленебойные суда когда Казальс[2] играл концерт Шумана в зале переполненном ранеными когда я в ночном цюрихском поезде уставился на чемпиона в тяжелом весе Джузеппе Спаллу а он погладил меня по голове когда я по дороге на Корберу[3] встретил раненого без нижней челюсти когда мы

[1] Имеются в виду Гинденбург и Гитлер.

[2] Пабло Казальс (1876—1973) — выдающийся испанский виолончелист и композитор.

[3] Деревня в провинции Таррагона, где в 1938 г. шли ожесточенные бои между республиканской армией и франкистскими мятежниками.

остановились перед небольшим palais[1] возле французского посольства и Макс Либерман повел нас вверх по лестнице и показал нам рисунки Менцеля[2] и Дега когда я сказал «доброе утро» а чиновник молча показал карандашом на табличку *«Здесь приветствуют только германским приветствием»* когда мы входили в Ларнакскую гавань[3] когда Стравинский дирижировал «Жар-птицей» и я громко спросил почему оркестр филармонии так фальшивит когда я на грузовике garde mobile[4] познакомился с красивой рыжеволосой Г. из Нюрнберга а ночью стоял рядом с ее носилками и их втолкнули в поезд уходящий в Дранси потому что она была еще жива когда мне сказали что у моей скрипки есть душа и я не знал что под этим подразумевали деревянный колышек когда С. шел рядом по двору Кремля и не поднимая головы показал глазами наверх и сказал: «Он живет там наверху» когда я вечером ехал на трамвае через поля в Орадур-сюр-Глан[5] и меня ослепил отблеск солнца в стеклах булочной а люди шли спокойно словно ничего не случилось когда я-всегда-видел-один-и-тот-же-сон в котором с дальним глухим громом раздвигались стеклянные двери между комнатами а за ними стоял белый безликий призрак перед которым я в безмолвии не дыша падал на колени когда я звался Нойбертом[6] когда...

Среди страшных известий, неясных тревог, умиротворяющих речей родился новый обскурантизм. За одну ночь возникали секты, они разрастались, выставляли в витринах киосков яркие страницы своих еженедельников. Гороскоп начал управлять жизнью миллионов. Вождь самой влиятельной из этих сект[7], когда бы он ни затевал свои сборища, мог заполнить своими приверженцами берлинский Дворец спорта. Он имел связь с духами Фридриха Великого и Бисмарка; они извещали через него, как своего наместника на земле, что будущее принадлежит национальным силам. Листок этой секты отличался особенно фантастическими, притягивающими взгляд заголовками. В последнее или предпоследнее лето перед катастрофой я однажды утром увидел там такой заголовок: «19 августа Англия погрузится в море». Соответствующая статья разъясняла, что господь бог не потерпит более бесчисленных грехов британских плутократов, и прежде всего совершенных по отношению к Германии; он решил, что остров должен исчезнуть в пучине. Это свирепое предсказание позабавило меня, но вскоре мне стало не до смеха.

С некоторым нетерпением я ждал назначенного дня и последующего номера газеты. Во мне росло чувство неотвратимого поражения, когда я читал краткое сообщение о том, что Англия точно в назначенный срок погрузилась в море. Я понял: разубеждать тех, кто поверил,— напрасный труд. Можно было бы, конечно, указать на то, что все остальные газеты, невзирая на это известие, продолжают печатать сообщения из Англии, и даже показать английские газеты с их светской хроникой и итогами турнира в Уимблдоне или пригласить съездить вместе в Англию, чтобы собственными глазами убедиться, что остров находится на прежнем месте. Но все это было бы отвергнуто с молчаливой улыбкой превосходства. Ибо для тех, кто решил отныне во всем следовать за вожатым и таким образом

[1] Дворец *(франц.)*.

[2] Макс Либерман (1847—1935) — художник, друг семьи поэта; Адольф Менцель (1815—1905) — немецкий художник.

[3] Ларнак — город в Египте.

[4] В годы второй мировой войны так назывались отряды французского ополчения.

[5] Поселок во Франции, население которого 10 июня 1944 года было целиком уничтожено эсэсовцами.

[6] Одна из подпольных кличек Хермлина в годы борьбы с фашизмом.

[7] Имеется в виду националистическая секта «Белая гора», называвшаяся так по имени ее руководителя Йозефа Вайссенберга (чья фамилия означает в переводе с немецкого «белая гора»). Секта была тесно связана с германской национальной правой партией, поддерживавшей нацистов во время их борьбы за власть.

жить в истине, любое опровержение покажется обманом и дьявольским деянием — будь то нежелательное сообщение в газете или паром, причаливающий в Фолкстоне или в Дувре. Именно возражения других, их численное превосходство, упорство в опровержениях укрепили бы ослепленных в сознании своей правоты, ибо есть слепая гордость немногих, которым как раз их малочисленность и отсутствие убедительных доводов представляется залогом того, что они одни владеют истиной. Не обращая внимания на других, они будут отныне жить в действительности, которую придумали себе сами, и я с ужасом ощущал, что привычный для меня мир раздробился на множество безумных миров, каждый из них будет теперь властно утверждать только себя, и между ними уже не может быть ни общности, ни понимания.

В то время было изобретено выражение «страшная сказка»; первым его применил министр пропаганды; оно было ярче, чем бледные, затасканные понятия «ложь» и «клевета». Новый словесный оборот означал недопустимость разглашения тайны, которую знали все. Недопустимо было сообщать о фактах за пределами узкого круга, для которого они предназначались. Вскоре стали пытать людей, распространявших ложь, будто в Германии пытают.

Я уже привык жить среди безумных. Я мог бы всю жизнь наблюдать, как безумие росло, как оно поражало другие страны. Только этим и можно объяснить, почему спустя десятилетия после войны тысячи людей утверждали, будто они ничего не знали о фашистских злодеяниях. Когда настойчиво уверяют, будто то, что ты видишь, попросту не существует, ибо, поверив своим глазам, поплатишься головой, то приходится выбирать между смертью и безумием.

После войны я встретился с подругой юности; мы не виделись пятнадцать лет. Я проговорил с ней весь вечер. Мы ничего не подозревали, ни о чем не догадывались, уверяла она, о, если бы ей хоть что-нибудь было известно о преступлениях, о которых она узнала после войны... Я напомнил ей о моем друге Г., задержанном тогда штурмовиками из СА, две недели он провел в застенке, потом ему удалось бежать. Она своими глазами видела, как Г. у меня дома снял рубашку, чтобы показать нам свою спину, она была вся в синяках от ударов. Помню, как она переменилась в лице, когда я вызвал у нее в памяти эту сцену. Ее чудесный взгляд, когда-то завороживший меня, был теперь взглядом женщины, с трудом просыпающейся от глубокого сна. Я услышал — как бы из далекой дали — ее прерывистый голос: «Это верно... ты прав... я припоминаю...» Сострадание боролось во мне с ужасом; я попрощался.

Летом или осенью 1933 года я, сидя в одном берлинском кафе, наблюдал за компанией элегантных молодых людей за соседним столиком, которые по очереди рассматривали иллюстрированный журнал и отпускали насмешливые или злобные замечания. Передо мной тоже лежал последний номер «Берлинер иллюстрирте», на многих страницах этого журнала, выходившего миллионным тиражом, был напечатан репортаж о концентрационном лагере Ораниенбург. Я видел на фото заключенных, которые волокли уличный каток, видел пылающие или потухшие глаза незнакомых друзей и товарищей, а сопроводительный текст возвещал, что путем сурового труда и дисциплины их надлежало вернуть в ряды народного сообщества. «Мы еще чересчур миндальничаем со всей этой швалью»,— заметил кто-то за соседним столиком. Много лет спустя я спрашивал себя, сколько миллионов людей прочли этот репортаж, скольким они еще рассказали о прочитанном. За соседним столиком обменивались замечаниями о еврейско-большевистской сволочи, об этих бритых головах, об этих лицах, словно почерневших от огня. Кто-то отпустил шутку,

остальные разразились адским смехом. „Di rider finirai pria dell' aurora" [1],— пела статуя командора.

Если кто-нибудь, наклонившись к нему, спрашивал, кем он хочет стать, когда вырастет, он отвечал с несокрушимой серьезностью, что хочет быть летчиком. Это вызывало у взрослых бурные возгласы недоверия и предостережения, в то время летчиков считали отчаянными людьми; но мой отец смеялся, довольный, ему нравилось летное дело, сам он летал еще до первой мировой войны. «Если ты, Фреди, и вправду хочешь стать летчиком,— говорил он,— то так оно и будет». Кое-кто из друзей упрекал его за потачку опасным замыслам юнца, которого надо бы, наоборот, от них оттворить. Иногда летом, когда мы с братом и гувернанткой проводили дни на Балтийском море, низко над нами с бешеной скоростью проносился гидроплан, купальщики поднимали головы, машина садилась на воду, поворачивала к берегу и останавливалась неподалеку от нас. Отец, в высоких сапогах, выпрыгивал из нее, мы восторженно его приветствовали, поиграв с нами час-другой на берегу, он улетал обратно к берлинским озерам. Фреди не любил играть подолгу. Он садился на мокрый песок, у самой воды, где замирали последние слабые волны, и смотрел серьезно и сосредоточенно на качающийся гидроплан. Так он смотрел на все, будь то листок, жук или улитка на его ладони. Взгляд его никогда не был беглым или рассеянным.

Он был на два года моложе меня и гораздо ниже ростом, но необычайно обаятелен и бесконечно мне предан. Он придумал для меня уменьшительное имя и обращался со мной так, словно я был младшим и более ранимым. Чего я ни захочу, он со всем соглашался, играл в те игры, которые нравились мне, выходил из комнаты, если чувствовал, что он мне мешает или я не хочу его видеть. Часто он расспрашивал о книге или музыкальной пьесе, интересовавшей меня, я презрительно обрывал его. Я был в том возрасте, когда у детей вдруг пробуждается жестокость. Иногда я бил его, однажды даже избил до крови, мы были дома одни, он нехотя, осторожно сопротивлялся, не желая сделать мне больно. Один-единственный раз он вздумал перечить мне. У нас был общий аквариум с золотыми рыбками, и я предложил разрезать их, чтобы поглядеть, что же у них там внутри. «Нет, нельзя,— сказал он и серьезно посмотрел на меня,— они ведь живые». Он взрослел быстрее меня и скоро стал сильным и ловким, мы оба любили спорт. Когда я уже делал успехи в игре на скрипке, отец решил, что Фреди надо брать уроки игры на виолончели, но из этого ничего не вышло, хотя у него был хороший слух и учитель считал его талантливым. Он так часто пропускал занятия, что когда однажды совсем от них отказался, все к этому отнеслись спокойно.

Школа, которую он посещал, тоже, видимо, ему не подходила, он оставил ее и учился в технических училищах в Германии и в Англии. Отношения наши улучшились, он ревностно читал книги, следуя моим советам, ходил на концерты; когда я стал коммунистом, он первый узнал мою тайну и горячо похвалил меня за это. «Только этим людям и стоит верить»,— сказал он, возвращая взятую у меня книгу «Государство и революция». Техника совсем заворожила его, но он был первым, кому я, начав писать стихи, показывал их. Он всегда был отважным, постепенно в характере его появилась какая-то удаль, внушавшая мне смутный страх. Он начал ездить на мотоцикле, купил себе тяжелый «Нортон» и со скоростью в восемьдесят миль гонял по английским дорогам. «Но все-таки это не то,— говорил он,— я еще буду летать».

[1] «Ты перестанешь смеяться прежде, чем взойдет заря» *(итал.)* — из оперы Моцарта «Дон Жуан».

Тем временем он начал учиться летному делу. Теперь мы оба были юношами, он на полголовы выше меня, а я все еще был для него братом, о котором надо заботиться, потому что в жизни ему придется нелегко. Он был статным, суровость как-то сочеталась в нем с приветливостью, он всем нравился, женщины провожали его взглядом, один знакомый дал ему почему-то прозвище Великодушный. Однажды в компании друзей мы лежали на пляже и начали в шутку бороться друг с другом, он был теперь гораздо сильнее и скоро одолел меня. Когда мы поднялись, он засмеялся нежным и довольным смехом. Нет, он не хвастался своей победой, не вспоминал о тех часах нашего детства, которые я ему испортил, он был счастлив, что теперь у него появилась еще одна причина охранять меня и защищать.

Когда началась война, ему удалось попасть в RAF[1]. Это было нелегко, он ведь родился в Германии, но за него поручились два члена палаты общин, и ему дали задание перегонять бомбардировщики, которые производили в Канаде, через океан, в Англию. Но это ему не нравилось. Он хотел стать летчиком-истребителем и добился этого. Затем я попал в плен в стране, тоже оказавшейся в плену, и ничего не слыхал о нем, пока полгода спустя не получил от него тайного известия. Он требовал, чтобы я точно описал ему мой распорядок дня и особенно подробно — местность, где я жил. Я догадался о том, что он задумал, и невольно улыбнулся его наивности. Иногда в оккупированной стране отыскивали известных политических или военных деятелей, близких к генералу[2], и похищали их на самолете. Я никому не был известен, я был просто немецким эмигрантом, одним из многих.

И все же я выполнил его просьбу, шутки ради я нарисовал небольшую карту, сообщил ему мой распорядок дня, отметив, где и в какие часы я обычно бываю. Он ответил, что уже приступает к своей затее. Недели две спустя он сообщил мне, что начальство отклонило его просьбу, но вскорости он вновь обратится с ней, и закончил письмо обычными словами одобрения: «Keep your chin up!»[3]. Меня позабавило его явное огорчение — чего же он мог ожидать?.. Затем я уже никогда ничего больше о нем не слыхал. Лишь после войны я узнал, что он погиб в боях еще в начале 1943 года.

Кое-что мне рассказали о нем, передали его дневник и даже его последнее письмо ко мне, которое он не отправил, может быть потому, что прежней возможности поддерживать связь уже не было. В эскадрилье его любили, он хорошо летал и яростно атаковал врага, его прозвали starlet[4]. Краткие дневниковые заметки, которые попали ко мне, были проникнуты неутолимой тоской по Германии, той тоской, о которой нет смысла говорить большинству немцев, им ее не понять. Это — чувство отверженных, отторгнутых, изгнанных, или, как их иногда еще зовут, граждан мира. В письме ко мне был описан сон молодого человека, который ушел на войну в надежде, что она будет последней; во сне он видит себя в бесконечных просторах вместе с другими мертвецами из разных стран, число их все растет и растет, они шепчутся на загадочном языке, «and I realized,— так заканчивалось письмо,— that I had died in vain»[5].

Иногда я подолгу не вспоминаю о нем. Когда я просыпаюсь ночью, не могу больше уснуть и в безмолвной темноте откуда-то долетает гул одинокого самолета, я чувствую, что он близко. И снова я смотрю на волнистые пашни и луга, из-за лесов Сен-Пьер-де-Фюрсака доносится гром снижающегося «спитфайра». Скоро он будет здесь, он назовет меня по имени, которое придумал для меня в раннем дет-

[1] Королевский воздушный флот (Royal Air Force) — официальное название британских военно-воздушных сил.

[2] Имеется в виду генерал Шарль де Голль.

[3] Не вешай носа! *(англ.)*.

[4] Звездочка *(англ.)*.

[5] «И я понял, что я умер напрасно» *(англ.)*.

стве, он умчит меня в другую страну, страну без ненависти и страха, в страну, которой нет на свете, в страну близ самого солнца, мой Великодушный, мой единственный друг.

Я вошел в зал близ Бурбонского дворца. Земля все еще дрожала, выстрелы в Испании затихли, вслед за Судетами дошла очередь до Праги, Мемельский край и Албания[1] были захвачены, я уже видел, как падают бомбы, нарушаются клятвы, распадаются союзы, я не сводил глаз с моих друзей, мы вели жесточайшее из всех сражений, чтобы преградить путь войне, государственные деятели произносили речи, в них следовало искать фразу, подчас придаточное предложение, где затаилась темная, как бы ненароком брошенная угроза. Легко было пасть духом, я уже видел вокруг себя многих растерявшихся, и отчаявшихся, и циников. Я не отчаялся, во мне звучали слова Лютера: «Грядет победа наша»[2]. Я жил с таким чувством, что я — боец передового отряда, указывающего единственно возможный путь человечеству, и хотя я часто цитировал слова Розы Люксембург: «Социализм — или варварство», эта альтернатива мне казалась невероятной, я не понимал ее и грозное «или» оставлял без внимания; достаточно назвать великую цель, считал я, и все страшное потеряет свою злую силу.

Я вошел в зал, я весь горел огнем неколебимой веры, мы созвали конгресс против войны и фашизма, второй и последний, нам оставалось еще три-четыре месяца, вокруг меня звучали все языки Европы, мне казалось, что каждая улыбка обращена ко мне, добрая, сочувственная, доверительная, возможно потому, что я был так молод, я был одним из самых молодых делегатов. Я видел Поля Низана[3]; нахмурив лоб, он облокотился о стол президиума, я видел Андерсена-Нексе, я видел Арагона, которому я дважды в неделю доставлял на Rue 4 Septembre[4] сведения об испанских беженцах. Казалось, по залу плыли облака, бурная радость овладела мной, я отыскал стол своих друзей, табличка с надписью «Allemagne»[5] стояла посреди круглого стола, увидел знакомые лица, Рудольф Леонгард[6], Франц Далем[7], Зигфрид Редель[8] махали мне рукой. Генрих Манн указал мне на пустой стул рядом со своим, он назвал меня «молодым человеком», я онемел от радости и смущения; как много мертвых собралось вокруг меня, и почему же депутат Редель держит в руках свою голову...

Город жил тогда в атмосфере непрерывного праздника и напряженного ожидания больших перемен. Всегда откуда-нибудь доносился старинный прусский звук флейт и барабанов, большие и малые отряды людей, одетых в мундиры со знаменосцем впереди, то и дело проходили по улицам, прохожие собирались кучками, они приветствовали знамена римским приветствием, большинство — с радостью, горе тому, кто не участвовал в этом. Из громкоговорителей неслись

[1] Мемель — ныне г. Клайпеда Литовской ССР; в 1939 г. Мемельский край был захвачен Германией. Тогда же фашистская Италия оккупировала Албанию.

[2] Строка из псалма Мартина Лютера «Господь — надежный наш оплот», который Ф. Энгельс назвал «Марсельезой XVI столетия».

[3] Поль Низан (1905—1940) — французский писатель.

[4] Улица в Париже.

[5] Германия *(франц.)*.

[6] Рудольф Леонгард (1889—1953) — немецкий поэт и драматург. Живя во Франции, участвовал в Сопротивлении; был заключен в концлагерь Ле Верне.

[7] Франц Далем (1892—1981) — видный деятель коммунистического движения. В 1937 г. возглавил политическое руководство интернациональных бригад в Испании; в 1939—1945 гг.— узник фашистских лагерей. После 1945 г.— член правительства ГДР.

[8] Зигфрид Редель (1893—1943) — депутат рейхстага от КПГ в 1924—1933 гг., после фашистского переворота эмигрировал во Францию. В 1942 г. выдан французскими властями; был казнен по приговору гитлеровского трибунала в тюрьме Плётцензее 10 мая 1943 года.

лающие или отчетливо произносимые призывы. Раза три в неделю надо было по разным поводам вывешивать флаги, многие вообще не снимали флаги с домов, таких становилось все больше и больше. Никогда раньше не закладывали столько фундаментов, не строили столько новых улиц и мостов.

Ибо здесь не только праздновали праздники, здесь упорно и яростно работали, здесь, в трудовом городе, где треть населения долгие годы была лишена работы. Что тут ни говори, утверждали многие, но все прочие только болтали и обещали, а этот займется делом. Конечно, делом, возражали другие, да вот только каким? Над улицами вздувались транспаранты, возвещавшие готическим шрифтом, что фюрер, сам переживший войну, ничего, кроме мира, не желает. Из Парижа и Лондона уже прибывали представители общества ветеранов войны и убеждались в миролюбии новой Германии. Те, кто замечал во всем происходящем ростки новой войны, были в меньшинстве; их стало еще меньше, когда оказалось, что первые дерзости нового режима в адрес других держав вызывают лишь робкий протест. Эти дерзости сопровождались демонстрацией растущей военной силы. Не очевидно ли, так говорили с торжествующим видом всем предостерегающим и сомневающимся, что новое войско предназначено быть не орудием войны, а лишь средством политического нажима, что оно, в ходе утверждения нового порядка в Европе, немыслимого без германской гегемонии, своей грозной непобедимостью подавит всякую мысль о сопротивлении и тем самым станет на деле прочной гарантией мира. Никогда еще школьные учителя не цитировали так часто свое любимое: „Si vis pacem" [1]. Призыв Ленина раскрыть тайну войны обрел на этом фоне особую роковую глубину. Он освещал далекое будущее. Война неизменно притворялась миром.

Этой весной целый поток иностранцев хлынул в обновленную страну — они так много слышали о ее драматических метаморфозах, ее жестокая энергия внушала им страх и восхищение. Мой кузен Джефри, корреспондент лондонской газеты, приехал в Берлин. Он был лет на пять старше меня, я встречался с ним как-то в раннем детстве в Англии, тогда он едва замечал меня. Я жил на Штайнплац и однажды долго гулял с ним под вечер между Тиргартеном и Тауэнцинштрассе. Мы лениво наслаждались вешним теплом, заходили в кафе, разглядывали отлично одетых, отлично выглядевших посетителей. Никто здесь не удивлялся, что мы говорили на иностранном языке. Я дал Джефри выговориться, он, верно, решил, что я умею хорошо слушать, но то, что он говорил, до меня едва доходило, я всегда ощущал потерянность, одиночество, если со мной не было друзей и соратников, никто, кроме нас, не знал, что происходит, никто не знал правды. Где-то совсем близко стальные прутья со свистом вонзались в живое тело, стены подвалов заглушали стоны истязуемых. Ходили слухи, что сын кайзера [2] принц Август Вильгельм, один из высших офицеров СА, бесчинствует где-то поблизости. За городом и вблизи других городов, среди пустошей и лесов, уже были построены первые корпуса лагерей. Тысячи уже погибли в застенках и лагерях, но никто ничего не замечал. Миллионы других были живы, и концлагерь им не грозил; они работали, ходили в кино, загорали на берегу озера Ваннзее, заглядывались на женщин, ездили в театры и на концерты, читали сообщения о последних скачках в Мариендорфе и Хоппегартене.

День был чудесный, такой же чудесный, как все дни от сотворения мира. Поблизости девочки играли в старинную игру «рай или ад». Страшнее всего было то, что внешне ничего как будто бы не изменилось, жизнь текла так же весело и ровно, а ведь, собственно гово-

[1] Имеется в виду латинское изречение: «Si vis pacem, para bellum» («Хочешь мира — готовься к войне»).

[2] Речь идет о германском императоре Вильгельме II, свергнутом Ноябрьской революцией 1918 г.

ря, все, даже детские игры, должны были перемениться. Я хорошо знал, что меня ждет, если я сейчас встану и поеду в Груневальд,— я уже чувствовал легкий ветерок, смолистый запах сосен, меня окружало неизменное безучастие природы. Она пребудет вечно, останется той же, лишь мы переменимся, не сможем, не сумеем больше жить. Уже и сейчас я был не тем, кем казался. Я казался прохожим, завсегдатаем кафе, одним из многих, я беззаботно болтал и, судя по всему, просто наслаждался хорошей погодой. На самом же деле я был отверженным, тайным врагом этого порядка, я был чужим и незнакомым даже для моего родственника, который сидел напротив меня.

Если уж говорить о явлениях малоприятных, сказал Джефри, то надо признать, что и Англия за них в ответе: все же Антанта обошлась с Германией недальновидно и мстительно. Нечего удивляться, что великий народ в конце концов потерял терпение. Германия, возразил я, потеряла терпение как раз тогда, когда боязливая республика или то, что от этой республики еще оставалось, преодолела в результате больших усилий самые дурные последствия Версаля. Теперь мы сами готовим другим еще небывалый Версаль. До этого пока не дошло, сказал Джефри, теперь все зависит от того, сумеет ли бывшая Антанта проявить должное внимание по отношению к новой Германии. Из этого внимания возникнет и взаимопонимание. «За наш счет,— сказал я,— и за счет Восточной Европы». Польша и Чехословакия находятся под защитой Франции, возразил мой кузен, да и, кстати сказать, нельзя осуждать древний, культурный народ, одаренный усердием, духом изобретательства, любовью к порядку, если он возьмет под свою опеку давно заброшенные, почти безлюдные страны: это даже может пойти всем на пользу. Впрочем, он готов согласиться, что решительные усилия государства победить и безработицу и нужду новыми, смелыми методами и одновременно преодолеть дискриминацию со стороны других государств могут иметь и определенные неприятные последствия. Но все это — внутренние дела, в которые другим государствам нельзя вмешиваться. Необходимо твердо усвоить одно: нравственные нормы, как ни важны они для человеческого общежития, не могут распространяться с одинаковой силой везде и всюду. У революций есть свои законы, нужно признать за ними известное право на эксцессы и дать им время справиться с детскими болезнями. Безусловно, у многих здешних вождей дурные манеры, сказал Джефри, но если мы проявим терпимость, они со временем избавятся от них. Я ничего не сказал. Я видел, что он мерит посетителей кафе и прохожих взглядом, в котором чувствовалась внимательность, интерес, но и нечто, похожее на отвращение. Такое выражение можно заметить у иных посетителей зоологического сада перед клетками хищников.

Кстати, добавил Джефри, за рубежом весьма неприятно поражены тем, как новая власть обращается с евреями. Это и в самом деле достойно сожаления. Если бы ты был немцем, сказал я, тебе бы не простили твою еврейскую родню, не заходи так далеко в своих критических рассуждениях, пойми, что надо быть объективным. С минуту он помолчал. Его взгляд выдавал раздражение и обиду. Ну, уж если я с такой иронией требую от него объективности, возразил он, то я и сам не стану отрицать, что евреям подчас не хватает такта и сдержанности, что они — конечно, не все, но все-таки многие — слишком лезут вперед и поэтому вызывают недовольство. Если в течение целых столетий, сказал я, им поневоле приходилось сдерживать себя — от одного погрома до другого,— то в более поздние времена относительной эмансипации у них естественно возникает соблазн ослабить путы этого странного самоограничения. Мы узнаем, что мы равноправны, и в конце концов начинаем в это верить. Однако вскоре выясняется, что нам нужно совершить нечто необы-

чайное, если мы хотим, чтобы нас принимали всерьез. Конечно, можно назвать «Капитал», или психоанализ, или «В поисках утраченного времени»[1] (не говоря уже об успехах в музыке или в естественных науках) способом вылезти вперед, но такое отменное определение дает ясно понять, кто именно так говорит и какие у него представления о равноправии. К сожалению, сказал Джефри, варварство и теперь играет определенную роль в истории, особенно когда требуется, чтобы застоявшаяся кровь древних цивилизаций заструилась быстрее. Я вспомнил о знаменитом поэте, который несколько лет назад одобрил мои поэтические опыты, а теперь воскликнул вслед моим друзьям, эмигрантам: пусть едут, история переживает мутацию, народ желает переродиться. Кровь древних цивилизаций и в самом деле струится быстрее, сказал я, это кровь молодых рабочих, которых ведут на эшафот. Джефри и я поднялись одновременно. Было видно, что я ему окончательно надоел.

Первое мая было объявлено государственным праздником, он именовался теперь «Днем труда». Я видел, как сотни тысяч берлинских рабочих шагают к Темпельгофскому полю. Их партии были распущены. Избранные ими руководители были в заключении, убиты или эмигрировали; здания их профсоюзов были захвачены и разграблены; стоя на тротуаре, я видел, как они проходят мимо, теперь они стали трудовой дружиной, предприниматели, которые шли во главе колонн, назывались вождями производства, новые названия, как утверждалось, соответствовали древним германским обычаям, и все они, шагавшие мимо, назывались народным сообществом, ибо новое правительство заявило, что классов больше не существует. Все они были теперь против еврейского марксизма и капиталистов-грабителей, но за капиталистов-строителей, за германских предпринимателей — Круппа и Рёхлинга.

Рабочие маршировали под ясным, холодным майским солнцем, вокруг них вздымался незримый Рим, казалось, я видел, как полководцы, о которых мы читали в учебниках, ведут побежденные народы по своей столице. Рабочие выглядели так же, как всегда, только опытный глаз мог заметить еле уловимые перемены в их одежде, жестах, осанке. Было видно, что они так же плохо питаются, на них были поношенные, опрятные костюмы и шапочки вроде бескозырок, по ним сразу узнавали пролетариев. Шапочки были украшены еле приметным узким ремешком, чаще всего черным, лакированным, у многих был кожаный ремешок с застежками. Такой ремешок обычно носили коммунисты и социал-демократы, у национал-социалистов был другой, с пряжкой посредине. Это небольшое различие теперь особенно бросалось в глаза; и то, казалось бы, незначительное обстоятельство, что рабочих в шапочках с пряжкой посредине было намного больше, чем прежде, таило в себе роковую весть о проигранной битве и обо всем, что следует за ней: о стыде, летаргии, вынужденном или добровольном приспособленчестве. Из карманов побежденных торчали нацистские газеты; там они могли найти не только брань и торжествующую издевку победителей, но и призыв к предательству под видом лицемерного сострадания: «Вот до чего довели вас ваши вожди. А сами они отлично устроились в Москве и в Париже». Мысль о позоре и обмане усугублялась сознанием своего бессилия, дух растления веял над городом, который ревел голосами сотен громкоговорителей и духовых оркестров. Я со страхом почувствовал, что на миг это растленье заразило меня самого; как гнилостный болотный огонек, во мне всколыхнулось желание примкнуть к марширующим, чтобы и меня увлекло вместе с ними, чтобы и меня подчинила себе та же власть, которая правила ими. Что-то во мне со-

[1] Роман французского писателя Марселя Пруста (1871—1922).

противлялось искусителю. Уста проходивших мимо, те уста, что еще недавно пели песню спартаковцев, уже распевали новые слова на прежнюю мелодию. Разве властители могли быть неправы, если они победили...

Если те, о ком только что шла речь, и предали свое назначение, то нельзя забывать о том, что они, самые многочисленные, были и самыми слабыми, больше всех угнетены, больше всех зависимы. Те, кому нельзя было жить, не продавая свою рабочую силу, согрешили сами перед собой, оказавшись неготовыми и неспособными объединиться. Они оплатили свою неуступчивость, свое упрямство, свою заносчивость десятками тысяч убитых и замученных и, кроме того, еще унижением, ибо утратили право называть себя пролетариями.

Но покорность овладела не только ими, она захватила все слои населения, еще не запрещенные партии, церкви, газеты, союзы, университеты, суды, издательства, она день ото дня становилась откровеннее, бесстыднее, навязчивее. Покорность была тысячеликой; объявились и перебежчики, причем самые разнообразные: у одних просто пелена «упала с глаз», в то время как другие, известные всем как члены той или иной демократической партии, вынимали из кармана второй партбилет, наглядное свидетельство, что они являлись давно испытанными борцами за победоносное возрождение, находились и такие, кто прятал свои убеждения, как вешают в шкаф летний костюм на зиму, и при этом еще заверял, подмигивая, что, когда настанут другие времена, на него можно будет положиться.

Мы слышали речи, мы читали статьи, которых никак нельзя было ожидать от авторов или ораторов всего несколько дней тому назад: они ведь считались левыми. Те, кто не успел еще овладеть фашистским жаргоном или у кого еще сохранились остатки стыда, старались все же ввернуть какое-либо словечко или расхожую фразу, которая дала бы понять, что они, пусть с известными оговорками, постигали и одобряли глубокий смысл происходящего; им всегда удавалось вставить что-нибудь вроде «обращения к нашим народным ценностям», «возвышения нации», «долгожданного пробуждения народной сути» или попросту «крови». Так было в те недели и дни, которые оставались до предписанной полной унификации.

Из моих школьных приятелей, среди которых у меня почти не было друзей — слишком глубоко разделяла нас противоположность взглядов,— я виделся, окончив гимназию, лишь с немногими и чаще всего случайно.

К Гёцу фон Р., сыну рейхсверовского генерала, я чувствовал симпатию. Ростом он был пониже меня, круглолицый, приветливый, он любил посмеяться над национал-социалистами. Коммунистов он не высмеивал, относился к ним серьезно, называл себя их противником, но интересовался марксистской теорией и Советским Союзом, его отец хорошо знал эту страну — он был одним из тех высокопоставленных офицеров, которые встречались по службе с командирами Красной Армии. Гёц фон Р. считал жизненно важным вопросом союз Германии с Россией, невзирая на ее политический строй. До прихода Гитлера к власти я ему постоянно давал читать журнал «Ауфбрух», издававшийся бывшими офицерами и активными деятелями правых партий, которые стали коммунистами. Среди издателей числился и бывший деятель Фрейкора [1] Беппо Рёмер и писатели Людвиг Ренн и Бодо Узе, с которыми я потом познакомился и лично. Обстоятельства сложились так, что вскоре я потерял Гёца фон Р. из виду. В нашу последнюю встречу он предложил укрыть меня в доме своих родителей, если мне будет грозить опасность. Я усмехнулся и поблагодарил его. За год до конца войны я услышал его имя ночью по лондонскому

[1] Фрейкор (в буквальном переводе: «добровольческий корпус») — один из реакционных союзов немецкого офицерства в 20-е годы.

радио: передали, что американские моряки потопили немецкую подводную лодку, ее командир, капитан-лейтенант Гёц фон Р., взят в плен.

С Б. у меня сложились странные отношения. Он был сыном офицера, павшего на фронте в первую мировую войну; его мать, не очень состоятельная, многим пожертвовала, чтобы он мог учиться в школе и получить музыкальное образование. Он стал членом гитлерюгенда и СА в то самое время, когда я оказался единственным учеником в нашей гимназии, вступившим в комсомол. Б. ненавидел марксистов, евреев и иностранцев. Но он, ученик Вильгельма Кемпфа [1], еще и блестяще играл на рояле. Однажды мы с ним подрались, но, поскольку я занимался боксом, я сразу же дал ему отпор, после этого он предпочитал со мной не ссориться. Он был из породы тех низких людей, которые любят держаться сворой, и только тогда, как собаки в своре, бывают смелыми и опасными. Вскоре эти своры, громко распевая: «Когда брызнет с ножа еврейская кровь, мы отлично себя почувствуем вновь», овладели Германией. Но пока еще до этого не дошло, и мы долго и серьезно беседовали на музыкальные темы.

Весной 1935 года мы не раз встречались на тех вечерах, где Клаудио Аррау исполнял все сочинения Баха для клавира. Аррау, не раз выступавший вместе с моим учителем музыки, был одним из очень немногих зарубежных музыкантов, которых тогда еще можно было услышать в Германии. В перерывах я беседовал с Б. Восторжествовавшая в стране власть, казалось, давала ему возможность наконец-то отомстить мне. Но он не изменил своей обычной манеры держаться со мной с тех пор, как мы простились, окончив школу. Мы спорили о том, возможно ли то или иное сочетание звуков исполнять legato. Впрочем, я время от времени ловил на себе мутный, искаженный ненавистью взгляд его косо посаженных глаз. Впервые я задумался тогда о подлинном и мнимом перемирии, которое могут установить великие творения искусства между непримиримыми врагами, равно искушенными в искусстве. И позже я не раз встречался с этим феноменом, но не избавился от подозрения, что по крайней мере одна из сторон должна заблуждаться.

Г. тоже был испытанным старым бойцом, выражаясь языком того времени. Он был разумен и в отличие от Б. нисколько не коварен, скорее даже приветлив и прямодушен. Было в нем что-то мечтательное, и к тому же он страдал какой-то таинственной болезнью: посреди урока ни с того ни с сего лицо его вдруг покрывала страшная бледность, он цепенел, на вопросы не отвечал и начинал медленно крениться набок, пока сосед по парте не подхватывал его. Урок прерывался, мы удрученно глядели на Г., но через две-три минуты он приходил в себя и продолжал слушать учителя, словно бы ничего и не произошло. Этот болезненный и добросердечный юноша с большими духовными запросами был совсем непохож на штурмовика из СА, каким его обычно представляешь, и все же он именно им и был. Мы не дружили и не могли дружить, но мы симпатизировали друг другу, иногда в шутку один из нас спрашивал, не довелось ли нам стрелять друг в друга прошлой ночью, во время этих коротких перестрелок на ночных улицах вначале обычно стреляли по фонарям, и в темноте мелькали только тени.

Я встретился с Г. незадолго до того, как покинул Германию, на Виттенбергплац. Мы погуляли немного, он начал говорить о политике и через несколько минут без обиняков спросил меня: «Ты все еще коммунист?» Я помедлил с ответом, но подпольщик быстро понимает, кому из собеседников и насколько он может доверять. Я сказал Г., что он меня знает, я не меняю своих убеждений как перчатки. Он не удивился, только кивнул и сказал: «Я так и думал. Но я стал другим». Теперь удивился я. «Ты уже не национал-социалист?» — спросил я.

[1] Выдающийся немецкий пианист, органист и композитор, особенно прославился как исполнитель Бетховена.

«Нет, почему,— возразил он тихо,— но мы должны создать новое движение. Адольф Гитлер предал нас. Социальной революции не произошло». Он был одним из тех, кто искренне верил в революционность этой контрреволюции, и одним из немногих, кто решил сделать выводы из своего разочарования. Мы пожали друг другу руки. Его я тоже больше не видел.

Волна истории прошумела над моими школьными приятелями. Она унесла в небытие и моих друзей. Фриц К. был рассыльным небольшой берлинской фирмы; невысокий, белокурый, крепкий, обаятельный нахал, он был на редкость остер на язык. Я напрасно пытался заинтересовать его книгами и ставил ему в пример нашего общего друга Генриха; Генрих читал ревностно и неутомимо, то Шекспира, то Дарвина, во мне он видел сотрудника общественной библиотеки, и я с восторгом принимал эту роль. Но Фрицу не хватало усидчивости для чтения, и осуждать его за это было нельзя, он всегда умел ввернуть такое словцо, что нельзя было не рассмеяться, ему больше нравилось ходить на собрания и демонстрации; он был весел, отважен и верен, настоящий берлинский Гаврош. Он пал одним из первых на новой войне, под Варшавой.

Вальтер Н. мне нравился. Каменщик по профессии, сильный и статный, он много размышлял, но говорил мало, так как заикался. Вскоре после гитлеровского переворота я разыскал его и предложил заняться нелегальной работой. Он отказался. Он заявил мне, что трудовой фронт предложил ему обучаться на бесплатных курсах, после чего он сможет сдать экзамены и стать десятником. «Ты ведь понимаешь, что такой случай я не могу упустить. Я тут же получу работу, впервые за три года. А если я стану десятником, то смогу гораздо больше сделать для нашего дела. Ведь мы — за то, чтобы наши люди повышали квалификацию». Вальтер Н. маршировал вместе с миллионами других на Восток, попал в советский плен и был освобожден вскоре после окончания войны. Все еще могло хорошо кончиться, но в поезде, который вез его домой, он выпил воды из тендера, и, когда поезд пересекал границу, он уже метался в тифу, после чего не прожил и трех дней.

Альберт Г. родился в том же городе, что и я, сражался в Испании. Спускаясь по холму, только что отбитому у неприятеля, он заметил раненого франкистского офицера, который знаками дал ему понять, что хочет сдаться. Когда Альберт приблизился, тот вытащил пистолет и выстрелил ему в пах с кратчайшего расстояния. Альберт застрелил фашиста, потом унесли его самого; как и многих тяжелораненых из интербригады, его увезли в Советский Союз, рана зажила, но он перестал быть мужчиной. Когда началась война против Советского Союза, он пошел добровольцем в парашютный десант, который сбросили над Германией. Как и другие, он пропал без вести. Только после войны в архивах гестапо найдено его дело, краткие сведения о его гибели. Лишь благодаря подколотой фотографии мы узнали, что это и был Альберт Г. Под пыткой он не выдал даже своего имени. Так, без имени, он и был казнен.

Я условился о встрече с Э., которого давно не видел. Я получил от него записку, где было указано время и место нашей встречи. По дороге я пытался припомнить, где и когда мы виделись с ним в последний раз, но не смог: так бесконечно давно все это было. Уже спустились сумерки, когда я пришел на условленное место и с удивлением обнаружил, что очутился в саду, знакомом мне с детских лет. В сгущающейся тьме, фосфоресцируя, светился гравий на узких дорожках, я увидел изгородь из тиса, похожую на черную тень, в беседке на черном фоне белела скамья, меня вдруг осенило, что ведь Э. много лет назад погиб под Гандесой [1]. Я был один, уже совсем стем-

[1] Старинный город на северо-востоке Испании, здесь происходили сражения между республиканскими войсками и франкистскими мятежниками.

нело, мне стало страшно, и я окликнул его по имени. Мне никто не ответил: во тьме, окружавшей меня, словно опускался занавес — один за другим, еще больше ее затемняя.

В мои детские годы я никогда не был в северных кварталах Берлина, я немного узнал их за три коротких года, от захвата власти национал-социалистами до моего отъезда из Германии.

Как-то в конце лета я оказался на Шёнхаузераллее, напротив большой пивоварни, длинное здание которой теперь приспособили для иных целей, неподалеку от того места, где рельсы наземной железной дороги уходят под землю. Я купил в лавке пакетик вишен и сел на одну из скамеек, что были расставлены там полукругом. Крайняя скамья справа была окрашена свежей желтой краской — вековой цвет позора. Недавно были оглашены нюрнбергские законы. «Только для евреев» — значилось черными буквами на спинке желтой скамьи. В этом квартале жило немало бедных евреев, по большей части ремесленников и торговцев. Одно из старинных еврейских кладбищ города было в нескольких шагах отсюда; там был недавно погребен друг нашей семьи, художник Макс Либерман.

Я посидел немного и тут увидел, как двое рослых мужчин медленно идут в мою сторону, пересекая насыпь надземки. Они были не просто рослые, это были великаны, похожие на атлантов у входа в дома бисмарковских времен, на их могучих телах ладно сидели кожаные фартуки с латунным узором. Я сразу понял, кто они такие. В те времена пары или четверки лошадей развозили бочки с пивом в гостиницы или харчевни; на козлах огромных возов торжественно восседали атлеты, которые правили крупными лошадьми бельгийской или ольденбургской породы. Кони, не уступающие ни мощью, ни достоинством возницам, были всегда красиво убраны, в их гривы вплетены ленты, медная сбруя блестела. Два белокурых краснолицых кучера явно собирались провести здесь обеденный перерыв. В руках они держали бутылки пива и пакеты с завтраком, меня они не удостоили даже взглядом. Один из них уже хотел было сесть на соседнюю скамью, когда другой движением руки остановил его. «Нет, Карл,— сказал он низким голосом, который словно с натугой вырывался из его груди и похож был на тихое рычанье,— не здесь. Вон там наше место». И оба прошли дальше и опустились на скамейку с надписью «Только для евреев». Неспешно, не глядя по сторонам, приступили они к своей трапезе, их лица были непроницаемы; лишь изредка, ворчливо, они перебрасывались короткими фразами. Мне пришлось отвернуться.

Я когда-то читал у Ленина, что даже малейший налет антисемитизма свидетельствует о реакционности той или иной группировки или личности. Эта его мысль показалась мне точной, как формула, как математическое уравнение. Где бы ни появлялась эта подлая зараза, там уже не могло быть, какие бы высокие слова ни произносились, никакого социализма. И вот теперь миллионы людей добровольно предавались безумию, именующему себя «национальным социализмом».

Я знал, что этим двоим я ничего не скажу. Но я никогда не забуду этих неторопливых людей, их усталого презрения к ничтожеству своего времени, их безмолвного благородства. Одинокие среди своих собратьев, они бросили вызов черни.

Дёрдю Шомьо [1]

Вечером я спустился с холма, на котором стоял дом, прошел через небольшую рощицу, мимо домика садовника, где ворковали голуби. По ту сторону дороги был лодочный причал, и я сел на нем, чтобы писать стихи. Справа от меня был Ферхский мост, передо мной

[1] Дёрдь Шомьо — современный венгерский поэт и критик.

текла Гафель[1], под вечер сперва побледневшая, потом потемневшая. Кое-где низко опустившееся солнце воспламеняло воду; ярко озаренные им, по воде плыли маленькие, проворные нырки. В близких и дальних криках птиц звучала усталость и нерешительность.

Я писал стихи с одиннадцати или двенадцати лет. Чаще всего они напоминали чужие стихи, которые мне нравились, и мысли, в них выраженные. Меня занимала поэтическая форма, я пробовал свои силы в восьмистрочных стансах и в сонетах. Но еще только пробуя силы, я уже понимал, что все это никуда не годится. Я чувствовал, что мои мысли не стоили того, чтобы их записывать, и что, с другой стороны, мне не удавалось вместить мои чувства и мысли в избранную мною форму. Время от времени я уничтожал все, что у меня накапливалось, и все же детское тщеславие побуждало меня кое-что показывать моим родителям или их друзьям. Но желанная похвала, на которую они не скупились, всегда смущала меня.

В тот вечер в Ферхе у меня не было ясного замысла, я не думал ни о размерах, ни о строфах. Сгустились сумерки, птичьи крики затихли. Я глядел на стихи, которые только что написал. Я не знал, хороши ли эти строки, но я чувствовал, что это мое первое стихотворение. Мне было тогда пятнадцать лет.

Тем, что эти стихи у меня есть, я обязан случаю. Через год они были напечатаны в небольшой антологии, которую я, по прошествии нескольких десятилетий, уже после войны, обнаружил у букиниста. Несколько других напечатанных стихотворений затерялись, как раз те, которые я никому не показывал, кроме своего брата.

На причале близ Ферха я впервые узнал, как рождаются стихи. У меня не было ни замысла, ни цели, я не думал о чередовании рифм, уже вечерело, я чувствовал скрытое волнение, которое, наверное, началось еще до того, как я его заметил, тихое, но более внятное, чем плеск мелких волн о сваи причала, ритмический прилив и отлив в душе и дуновенье усталости, подобное тому, какое веяло над темнеющими водами. Два-три бессвязных слова возникали на его зыбком дне.

С этой минуты я начал серьезно относиться к своим стихам, и тем не менее не слишком серьезно, от этого меня уберегла все возрастающая убежденность в том, что в области поэзии и музыки, тем более в Германии, едва ли можно превзойти уже достигнутое. Но замечание одного поэта, что за всю жизнь достаточно написать шесть настоящих строчек, заставило меня задуматься. Ему, кстати сказать, возражал другой поэт. Но поскольку я знал, что тот каждое свое слово, а на слова он отнюдь не скупился, мысленно видит перед собой как бы высеченным на мраморе, его возражения на меня мало подействовали. То, что сказал первый, мне казалось гораздо важнее, он подал мне некоторую надежду.

Писать стихи вошло у меня в привычку. Казалось, они уже существовали, мне надо только позвать их, когда я захочу. То, что я писал, не могло не зависеть от обстоятельств моей жизни, от политических целей, которых я хотел добиться вместе с другими, от того общества, за которое я долго боролся. Легче всего стихи мне давались в возрасте от двадцати двух до тридцати лет — тридцать мне исполнилось, когда окончилась война; за несколько месяцев до этого в Цюрихе вышла первая книга моих стихов. Помню, что как-то днем я прошел по Банхофштрассе и в витрине каждого книжного магазина увидел свою книгу. Я был радостно взволнован, словно наконец-то выполнил долг, который давно меня тяготил. Такого наивного удовлетворения я больше уже никогда не испытывал.

Я читал о себе немало лестного, но вскоре прозвучали и упреки, что я, при всей моей одаренности, неисправимый приверженец формализма и излишней затрудненности. Началось время, которое иные пытались определить затрепанным словом «сложное». По собствен-

[1] Река близ Берлина.

ному почину я не раз пытался перемениться. Одно время возобладало желание быть полезным. Моя приятельница, иностранка, которой я сказал об этом, резко мне возразила: в том смысле, какой я имею в виду, поэзия вообще не может приносить пользу, и меньше всего моим воображаемым читателям. Ее истинная «польза», хотя применять это понятие здесь абсурдно, состоит в том, что она дает новые, неповторимые имена тому, что уже знакомо, делает людей моложе, воскрешает забытое. Пока она говорила, я чувствовал, что все меньше слежу за ее словами. Я понимал, в чем-то она права, но видел, что поэзия, в том числе и моя, зависит от общественной необходимости; я не мог быть в стороне от своего времени, отвергая «чистую» поэзию, я одобрял «нечистую». Я встречался в разные годы во многих странах с поэтами, приверженцами «чистой» поэзии, с иными из них дружил.

Слова моей приятельницы звучали для меня все тише и тише, и я видел долгий кровавый след, который оставила поэзия со времен Цюй Юаня и Овидия, и далее — Андре Шенье и Гёльдерлина, этот след тянулся от безжизненной харрарской пустыни до наших дней, сквозь изгнание, неволю и смерть. Я стоял у ямы, куда стекала кровь, а потом должен был сойти в мир теней, и я вспоминал дни, когда поэзия хранила меня от очерствения, от существования без цели, когда я носил в кармане три маленьких томика и заставлял себя постоянно их читать в годы войны, когда за мной охотились враги, три книги, Гёльдерлин, Шелли, Бодлер, были моей библиотекой.

Тем временем мало-помалу стихи, которые я привык писать, исчезли из моей жизни. Они улетучились, как тихая боль, к которой привыкаешь и без которой вдруг просыпаешься утром с изумлением и ощущением какой-то пустоты. Никто за это не в ответе, кроме меня самого. То, что прежде во мне говорило, умолкло, когда во мне начало звучать множество споривших друг с другом голосов. Иногда беспричинно начинался прилив и отлив, знакомый мне с давнего вечера на причале в Ферхе, и я наблюдал за ним, погрузившись в раздумья. Я не шевелился и только чувствовал, как он приходит и уходит.

Сюда, сюда...[1] Что там началось, что это будет? О, высокое небо, о, нежный взгляд. *Сюда, сюда.* В последний раз. Все вы и ты, и ты тоже, *сюда, сюда, и лодку качает вода.* Вы помните, ты еще помнишь... Но только не давайте им громко играть. Тише, еще тише, пусть никто не услышит и даже не дышит. Из глубоких глубин мы предвидели это, говорит этот голос, пора, уходи, теперь будем спать, be a nice boy, will you[2], высокая стеклянная дверь вращается, голоса затихают, вот снова тема вступления, первыми фразами они еще не вполне довольны, как чудесно запевает рояль, эта музыка здесь неуместна, напрасно ее исступленная, безутешная жалоба притворяется салонной мелодией, и зачем этот парафраз знаменитой мазурки, и даже посвящение «Памяти великого художника»[3] не может скрыть того, что происходит, и взявши за руку N, я вхожу в свою комнату, там стоит моя постель, струится ровный свет, *славный покой, славный покой, мои очи закрой.* И теплый медленный дождь, который падает с неподвижного светло-серого неба на полузакрытые веки, пока я, почти невидимый, лежу у изгороди близ дороги, передо мной пустынные луга, а над ними плывут дальние шумы деревьев. Ветер утих, и я поднимаю взгляд к застывшим кронам деревьев, возвысившимся над пеленой дождя, над бормотаньем вод, водосточных желобов, ручьев,

[1] Строчки, выделенные курсивом в этом отрывке,— цитаты из песенного цикла Ф. Шуберта «Прекрасная мельничиха».

[2] Ты будешь послушным мальчиком, да? *(англ.).*

[3] Трио П. И. Чайковского для скрипки, виолончели и фортепиано «Памяти великого художника» написано после кончины Н. Г. Рубинштейна.

потоков. *Путник усталый, ты дома теперь.* Но это не дождь шумит там, за дверью, это вы, возможно ли это, так близко, а я и не знал, а вот и голос нашей знакомой Э., ей вторит мой отец, *отрока пусть усыпляет волна,* и эти бледные, с розовой каемкой, складки гвоздик на клумбах меж рядами подстриженных тополей, и вода струится на спины вздымающихся из бассейна коней, которые рвутся к виднеющейся вдали крепости. На ее серый камень ложится вечернее облако с розовато-зеленого неба. Какое счастье, что сон всегда был так близок, что можно было бежать к нему, и тогда, и там, и здесь, и сейчас,— о, это ты, иное, желанное, ты, близкая даль, небо, которое темнеет, и непрерывно меняющиеся облака, границы пейзажа, которые отступают, волны вершин с замками на них, а дальше Пиренеи, где-то на севере невидимый собор, давно отзвучавшие битвы, тени, которые движутся по склону холма, *пусть не разбудит его твоя тень.* Но в доме царила тишина. Она была еще более глубокой от дальнего колокольного звона, был слышен только шелест книжных страниц, тихие шаги за дверью, перед окнами еще волновалось зеленое пламя каштанов, а в моем полусне уже шел непрерывный снег, кто же там тихо пел возле меня, что пел этот голос, что пели у моей колыбели?.. О, сладкий голос дрозда; за снегопадом и листвой возникало время, оно всегда было новым временем, наказаньем и наградой, всегда было порогом невиданного, неудержимого, наконец-то наступающего грядущего. Внезапно новое время встало рядом, оно было моим, я был наделен счастьем действовать в нем, я о нем не знал, не догадывался, но теперь оно было везде, казалось, я ждал только его, за лесами тишины я слышал его водопады, я ринулся в его течения и стремнины, у меня не было выбора, время, умчавшее меня, было веком Августа,[1] позади оставались гибнущие, ветшающие республики с их строгой былой красотой, впереди были вторжения варваров; взор времени, пустой, как у статуи, не замечал нагроможденных им руин. Тысячи голосов окружали меня, они кричали и хрипели, они манили и убеждали, они обещали и насмехались, я слушал и отвечал, мне было все равно, был ли я услышан, солнце миновало зенит, наступила старость без болезней, я вышел из тени живой изгороди, снова и снова я слышал песню: *Все без любви мертво, лежи у сердца моего,* мне надо было посмотреть на часы, не время ли возвращаться домой, у меня нет часов, я, наверное, забыл их, они лежат где-нибудь в моей комнате, и все еще звучит тихий призыв: *Сюда, сюда.* Ночь идет по горам. Нет, мы еще не расходимся, давайте сыграем еще небольшое трио Бетховена, больших не надо, небольшое, соч. 11, на это у нас еще хватит времени, я уже лег, вот моя постель, я проснулся и смотрю вверх сквозь квадрат окна, вторая часть начинается с восходящей кварты, за второй следует восходящая квинта. Я открываю глаза, мир может стать добрым, и вы сможете терпеть то, что вы терпите, не бледнея, не вскрикивая, dites ces mots Ma Vie Et retenez vos larmes[2], ночь, ночь, и снова голос Э., взгляд вверх сквозь квадрат окна, *взошла луна, уплыл туман,* ночь над лесом, молчанье, которое растет над шумом, и сильное, неудержимое качанье лодки, и пристальный взгляд вверх, *а высокое небо, как широ́ко оно.*

Иногда я навещал своего отца. После нашего последнего столкновения, когда я отказался поехать в Кембридж и на вопрос о причине отказа ответил ему, что решается судьба революции в Германии и я хочу быть с рабочими, он перестал спорить со мной о политике. Иногда я уговаривал его уехать за границу. Он улыбался и смотрел куда-то в сторону: «Зачем?» Немного погодя он добавлял: «Конечно,

[1] Правление римского императора Августа традиционно считается временем расцвета античного Рима, его государственной мощи.

[2] «Жизнь моя, скажите эти слова и сдержите слезы» *(франц.)* — строка из стихотворения Арагона.

Германия — тюрьма, но тюрьма комфортабельная». «Кстати говоря,— продолжал он,— я уже давно не зарабатывал так много денег. Одного у этих господ не отнимешь: они заботятся о хозяйстве». Он спросил меня: не нуждаюсь ли я в чем-нибудь, я успокоил его: мне хватает моего заработка. По его лицу я видел, что ему не хотелось больше говорить, он сел за рояль, и мы стали играть сонаты Моцарта.

Он всегда говорил неохотно, была в нем сдержанная, рассеянная приветливость, он был так углублен в свое молчание и мечты, что не мог сразу вернуться к действительности, даже если кто-нибудь настойчиво заговаривал с ним, задавал ему вопросы. Тогда в его глазах появлялся страх, который все возрастал, и так как в молодости подобное уже случалось и со мной, мне не нужно было объяснять его поведение. «Ты весь в него»,— говорили мне с ранних лет. Мне не надо было спрашивать, что с ним происходит, так как я был его двойником, и, хотя жизнь вела нас совсем разными путями, я всегда чувствовал, что близок ему. Быть может, он это знал, меня утешает это предположение теперь, когда наши долгие, но отрывочные разговоры вот уже несколько десятилетий назад окончились с его смертью каменным безмолвием.

Как и прежде, он играл два часа в день в утренних сумерках из «Хорошо темперированного клавира», задолго до завтрака и до прихода секретарши. Его игра на рояле была, как всегда, изумительна; сейчас он играл еще больше, чем когда-либо. Настали времена, которые он должен был терпеть, презирая их. Он и раньше мог жить только благодаря музыке, теперь он проводил с ней большую часть дня. Иногда он приглашал меня музицировать вместе с ним, я неплохо играл на скрипке, но не так хорошо, как он. И все-таки он хвалил меня, ибо я, как он выражался, понимал то, что я играл. Камерные концерты, которые вошли у нас в обычай в прошлые годы, хотя состав исполнителей часто менялся, теперь почти прекратились — наши друзья и партнеры уехали или предпочитали больше с нами не знаться. Как-то нам с отцом встретился на одной из наших редких совместных прогулок наш друг, одаренный молодой немецкий композитор. Он многие годы был принят в нашем доме и был из числа артистов, которым помогал мой отец. Теперь он ускорил шаг, чтобы ему не пришлось с нами здороваться. Он больше никогда не появлялся у нас, как я узнал позже. В своем искусстве он не сделал уступок национал-социализму; лучшее его произведение было во время войны впервые исполнено знаменитым оркестром и на следующий день запрещено министром пропаганды. Много лет спустя я повстречал его снова. Он с большим участием говорил о моей семье и обо мне, спросил об отце. Я сказал ему, что отца увезли в «хрустальную ночь»[1] в Заксенхаузен. Между ним и мною ничего дурного не произошло. Он просто начиная с какой-то минуты не пожелал нас больше знать. И только гораздо позже я понял: сознание, что ты кому-то чем-то обязан, только у сильных людей проявляется как должно, для слабых же оно совершенно невыносимо и даже побуждает их к агрессивным действиям против тех, кому они должны быть благодарны. Этот человек был не из самых сильных и не из слабых, он принадлежал к тому большинству, которое составляет третью категорию. Впоследствии мне пришлось по необходимости встречаться с ним довольно часто. Мы никогда не упоминали о том, как он уклонился от встречи с нами и исчез. Иногда в его глазах мелькало затравленное, напряженное выражение, словно и он знал, что я все знаю и помню. Это выражение меня смущало. У меня не было желания устыдить его, но я не мог и развеять его подозрения. Подобные встречи усугубляли мое новое ощущение жизни: то мне хотелось кричать, то я впадал в полное равнодушие. Пожалуй, так проявля-

[1] «Хрустальная ночь» — ночь с 9 на 10 ноября 1938 г., когда по всей Германии прокатилась волна еврейских погромов.

лась растерянность, овладевшая мною, и вместе с тем инстинкт самосохранения, нечто такое, что позволяло мне жить дальше.

О том, что случилось позднее с моим отцом, я знаю очень мало, от немногих свидетелей. Мой друг, молодой рабочий-металлист, видел в Заксенхаузене, как он в декабре в легкой тиковой куртке дробил камни. Все знали, что мой отец, сказал мой друг, никогда раньше не работал физически; он видел, как отец, не жалуясь, носил тяжелые грузы, в лагерь он был доставлен при особенно страшных обстоятельствах. По отношению к СС он до конца держался необычно — дисциплинированно, вежливо и презрительно.

Еще раньше он познал глубокое одиночество в стране, которую не хотел покидать. Он сидел за роялем или расхаживал взад и вперед по комнате среди картин, собранных им за долгие годы. В это время я был уже за границей. Когда я вспоминаю о нем, он видится мне не таким, каким стал в свои последние годы, когда мы, собственно говоря, жили врозь. Я вижу его моложавым, быстрым, элегантным, среди элегантных людей, а сам я, маленький, молчаливый и незаметный, стою где-то сзади, рядом с гувернанткой. Возле нее кто-то сказал: «Какой красивый мужчина!» Я удивился: как он может быть красивым, он просто — мой отец. У нас часто собирались гости. Если они приходили днем, им иногда хотелось увидеть нас с братом, и нас обоих или меня одного вели в комнаты, где сидели гости, те приветствовали нас радостными возгласами и вскоре о нас забывали. Однажды взгляд отца, беседовавшего с кем-то из гостей, упал на меня, я, потерянный, стоял в углу. Он прервал разговор, схватил меня за руку и увел в другую комнату, тут он внезапно притянул меня к себе, крепко сжал в своих объятьях и поцеловал безмолвно и отчаянно. Это был сладкий и внушающий страх миг, я задыхался в этом испепеляющем поцелуе, я вырвался,— в тот день он был плохо выбрит, и я уколо́лся о его щеку. Он поставил меня на землю и увел в детскую, и когда я поднял на него взгляд, то в смущении увидел в первый и последний раз в жизни на его глазах слезы.

Вот я вижу, как он снова быстро входит в детскую, что случалось редко. Это было примерно год или два спустя, мне было тогда лет шесть. Он велит мне протянуть обе руки, он принес нам новые игрушки. Оказалось, что это два маленьких металлических предмета, два ордена́, которые он получил на войне. Мы не знали, что с ними делать, и они еще долго лежали в ящике вместе с нашими плюшевыми зверьками и деревянными автомобильчиками. Позднее я узнал, что отец, в 1914 году разделявший яростный национализм большинства своих сограждан, вернулся с войны повзрослевшим, прозревшим. Он крайне редко запрещал что-нибудь мне или брату, но нам было запрещено иметь оловянных солдатиков, и мы горько и безрассудно жалели об этом. Он ударил меня всего один раз: мне было лет тринадцать, и я за столом, где шел разговор, не помню о чем, но, верно, о политике, сказал, что мы вернем себе наше кровное, то есть Эльзас-Лотарингию. Отец побледнел при этих словах, молча поднялся с места, подошел к моему стулу и ударил меня по лицу, а затем вышел из комнаты. Лишь позднее я обратил внимание, что он никогда не упоминал о войне, а если другие заводили о ней разговор, надолго умолкал.

Но много позже, тогда, когда он, уже совсем одинокий и погруженный в музыку, жил в ожидании катастрофы, он изменил почти всем своим привычкам. Он не ждал, пока ему предложат выйти из клуба, он сам объявил о своем выходе. Картин он больше не покупал, наоборот, многие продавал; я не спрашивал его о них, и если в мои редкие посещения замечал ту или иную утрату, я мирился с ней; пока еще я мог любоваться красивым и зловещим Одилоном

Редоном[1]; в дыму виднелись цветы, какие никогда не цветут на земле; еще висел в большой комнате портрет моих родителей, написанный Коринтом[2]. После второй мировой войны, когда я давно уже забыл о картинах моего отца, я увидел в музее Осло того Мунка[3], который многие годы висел над его письменным столом. Был изображен силуэт мужчины у окна затемненной комнаты, который смотрит, как по темному морю под окном проплывает ярко освещенный корабль. Но не только картин не хватало, мой отец продавал и лошадей, он больше не ездил верхом, и было бы странно, если бы он хранил верность этой привычке теперь, когда в Тиргартене резвились конные штурмовые отряды. У меня уже давно не было лошади; отец был разочарован, обнаружив, что я не люблю ездить верхом и делаю это, собственно говоря, только ради него. Сам он был замечательным наездником и всегда брал барьеры на дистанции.

В детстве я ежедневно встречал его, выходя на прогулку в сопровождении гувернантки. В ясную погоду мне разрешалось брать с собой мой маленький велосипед, и я ехал прямо возле дорожки для верховой езды, которая шла параллельно Шарлоттенбургскому шоссе, вверх и вниз по маленьким земляным холмикам, которые были насыпаны у корней могучих деревьев перед фронтоном Высшей технической школы. Он скакал нам навстречу английской рысью, видимый издали сквозь ряды деревьев; он всегда ездил один; легкий туман, освещенный невидимым солнцем, клубился между осенними деревьями, с которых плыл вниз лист за листом, как парус. Я с восторгом смотрел, как он с веселой небрежностью сидит в седле. «Папа!» — кричал я. Но он не отвечал, скакал дальше, смотрел со знакомой усмешкой вниз на нас или немного в сторону и только поднимал хлыстик к краю своей шляпы. Мы молча стояли и смотрели ему вслед, у нас за спиной шуршали редкие машины по асфальту, а мы смотрели, как всадник и конь тают в золотом тумане.

Мне снилось, будто я шел по рельсам венского трамвая к расположенной неподалеку, в черте города, станции горной дороги, которая ведет от Санкт А, к северной горной цепи. Я чувствовал себя еще ребенком, но ясно видел современные автомобили на стоянке горной дороги и удивлялся, что я, оказывается, давно стал взрослым и уже не очень молод. В тот миг, когда я получил в окошечке билет, во мне созрело решение, и оно было неколебимо, хотя я и старался о нем не думать. Моя кабина уже поплыла вверх, она была переполнена туристами в штормовках, на мне тоже были горные ботинки — беглый взгляд убедил меня в этом, затем я выглянул наружу, автомобили и гостиницы быстро уменьшались в размерах, окно было открыто, я держал связку ключей в руке и уронил ее в бездну, никто этого не заметил. Люди вокруг меня смеялись и болтали, многие выходили из кабины уже на первой или второй остановке, и нас, ехавших до конечной станции на вершине, было немного.

День был безоблачный, я видел туристов с подзорными трубами, в которые можно было рассматривать горную цепь Альп до Бернины и даже до Монблана, я отошел в сторону, люди на платформе скрылись из виду, никто не смотрел мне вслед, я перелез через перила и спрыгнул на заснеженный утес, до которого было еще метра два. Я быстро удалялся от станции в сторону гребня гор, немного погодя обернулся, никто меня не видел.

До гребня я добрался легко, он остался позади; горы, которые я видел ежедневно, долина, деревни, все это исчезло, было почти забыто, передо мной раскинулась новая местность, сперва небольшое заснеженное поле, за ним новый, незнакомый мне горный хребет,

[1] Одилон Редон (1840—1916) — французский живописец и график.

[2] Ловис Коринт (1858—1925) — немецкий живописец и график, известен как мастер портрета.

[3] Эдвард Мунк (1863—1944) — норвежский художник.

цепи гор тянулись до самого горизонта, ниже темнели леса. Ни телеграфных проводов, ни стальных мачт, ни домов, грозно и благотворно мне открывалось великое уединение. Я шел в северном направлении, намереваясь держаться все на той же высоте, я не хотел спускаться, а когда мне приходилось сворачивать на дорогу, которая шла вниз, я стремился сразу же снова набрать высоту. И это мне давалось легко. Глубокой, влекущей голубизной синело небо.

Я не смотрел на солнце и заметил наступление вечера только тогда, когда от удлинявшихся теней повеяло холодом. Мне не было холодно, я отлично чувствовал себя в теплой одежде и ботинках, и вес моего рюкзака с провизией был мне приятен, надо мной замерцали звезды, большие и неподвижные, я уселся в нише ближней скалы, достал мои припасы, поел немного и быстро уснул.

Так прошли и следующие дни. Я шагал через горы и не чувствовал ни скуки, ни усталости, ни страха, меня не удивляло, что я никого не встречаю, мне не хотелось встреч, горы были пустынны. Тихое веянье ветра, движенье света по стволу искалеченного дерева прямо передо мной, паренье хищной птицы вдали — этого мне было довольно.

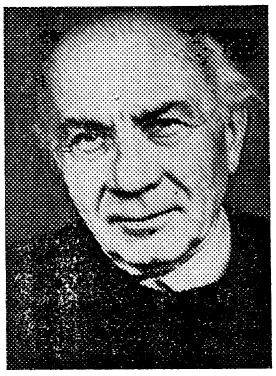
Я не знал, сколько времени прошло, когда я спустился к предгорьям. Высокие стены отступили, появились лесистые холмы, вдали мне открылась морская бухта. На берегу я увидел, словно через увеличительное стекло, дальний город, в тени кустарника пахал землю крестьянин [1], невдалеке стоял пастух, опершись на посох, таких пастухов я часто видел в детстве, в горах, над пенящейся водой вздувались паруса и блестела влажная нога тонущего, а на горизонте заходило солнце без лучей.

Но вскоре стало светлее. Я спустился ниже, заходящее солнце спряталось за скалами, и море уже скрылось из виду, только один залив, отделенный от всей пучины длинным мысом и дальними горами, был виден на переднем плане и казался спокойным озером, по которому под вечер плывут рыбаки. По небу разлилась та нежная, победительная синева, которая окружала меня на арене в Падуе, ближе к черте горизонта она постепенно переходила в страстный розовый цвет, там медленно тянулась цепь облаков, озаренных сверху белым светом, на земле мерцали золотые искры между тенями, которые бросали на поляну могучие кроны деревьев [2]. На поляне двумя или тремя группами сидели мужчины и женщины, полунагие или одетые в красные, белые, желтые одежды, в задумчивом, недвижном покое, позади них, слева, возвышался небольшой замок. Я почуял теплый ветер, я слышал шепот, чей-то голос повторял: «Всегда, всегда, всегда...» Быть может, это был мой собственный голос, тишина вошла в мое сердце, я растворился в ней.

■

[1] Хермлин поэтически интерпретирует известную картину нидерландского живописца Питера Брейгеля Старшего (род. около 1530 г., умер в 1569 г.) «Падение Икара».

[2] Здесь дана поэтическая интерпретация картины французского живописца Клода Лоррена (1600—1682) «Бракосочетание Исаака».



ДЮЛА ИЙЕШ

Перевод с венгерского Н. ГОРСКОЙ

Дюле Ийешу восемьдесят лет

Поэт — и расцветающая вишня за окном. Каждый раз неожиданное будничное чудо: «Значит, снова? Снова почка?!» («Весенний урок»).

Ты со своими заботами и посаженное тобой, когда-то маленькое, но начавшее свою отдельную хлопотливую жизнь и вот уже само преподносящее тебе урок деревце. Пастух, из года в год — неким извечным примером всем нам — сторожащий свою отару («Бегущая статуя»). Давно забытый каменщик — и творенье его рук, которое легко преодолевает века, словно побеждая само земное притяженье («Античная арка»). Ийеш любит подобные простые и вместе с тем таящие глубокий смысл явления — откровения бытия. Здесь его истинное лирическое призвание и мастерство: непринужденно раскрыть и донести философскую суть окружающих и сопровождающих нас, казалось бы, ничем не примечательных вещей и происшествий.

Вспомним, с какой мудрой и вместе виртуозно прозрачной простотой смыкал Ийеш будни и поэзию, прошлое и настоящее через образ «рукоятей» в известном одноименном стихотворении еще 1961 года:

Задумывается рука
над смыслом рукоятей.
Блестит поверхность черенка
от всех рукопожатий...

Кто их характер шлифовал,
помог сформироваться?
Я с ними бы потолковал
и мог бы столковаться...

(Перевод Д. Самойлова)

Будто вековой завет, хранят немудреные орудия труда деятельную память поколений, сближая нас преемственно-созидательным смыслом своего существования. И вызывая самого труженика-поэта на дружеский разговор с их безвестными создателями, чьих орудий касается он с такой доверительной проникновенностью. Недаром они, всевозможные, оглаженные трудом деревянные черенки, ручки, рукоятки, лежат у него на рабочем столе дома в Будапеште, как бы связуя его сегодняшнюю, сиюминутную работу с народной и всеобщей мировой, красоту, пользу — с вечностью.

Трудно, пожалуй, найти в литературе Венгрии еще поэта, который с такой непреложной естественностью чувствовал и выражал бы гармонию деятельной обыденности, от несложного ремесла до художественного творчества, ее сплачивающую и устойчивую, искони поддерживающую нас силу. Это, наверно, главное содержание и восходящее еще к 20—30-м годам «прасодержание» его лирики. Ничто не может

ДЮЛА ИЙЕШ — ILLYÉS GYULA (род. в 1902 г.).

Венгерский поэт, прозаик, драматург. Автор многих поэтических сборников, пьес, литературоведческих работ. Творчество Д. Ийеша неоднократно отмечалось премией имени Кошута, Государственной премией первой степени, другими литературными премиями. Его произведения переведены на многие языки мира. На русском вышли сборник стихов «Рукопожатия», книга «Шандор Петёфи», «Избранное», стихи печатались в различных антологиях и периодических изданиях, в том числе в «Иностранной литературе» (1973, № 12 и др.). В «ИЛ» напечатаны также повесть «Обед в замке» (1971, № 9), роман-эссе «В ладье Харона, или Симптомы старости» (1977, № 5—6).

О нем и его творчестве см. в «ИЛ» статьи Н. Федоренко (1977, № 6) и В. Лакшина (1978, № 4).

Публикуемые стихи взяты из журнала «Кортарш» («Kortárs», 1980, № 8, 11; 1981, № 11; 1982, № 2, 4).

поколебать его убежденности в том, что «миром правит... дух добра», который жил, жужжал уже в старинных деревянных прялках и трудом осушит даже нынешние болота «Апатии и Меланхолии» («Размышления о прялках», 1965). Целый стихотворный цикл проникнут этой убежденностью, залогом и порукой которой, своего рода компасной стрелкой служит для поэта всякое дело — от высекания огня и починки часов до химических реакций, сварки металлов и космических полетов («Созидание», 1968).

Не от этой ли крепчайшей веры Ийеш — поэт такой улыбчивый? Издавна умел писать он по-пушкински светло и ясно, когда улыбка и поэзия — родные сестры. Даже если улыбка грустна или насмешлива, а поэзия таит глубокую думу.

Имя Пушкина, кстати, рано коснулось его слуха. Одной из первых книг, полюбившихся ему еще в детстве, был «Евгений Онегин» в популярном тогда переводе Кароя Берци. Конечно, речь не о каком-нибудь «влиянии» Пушкина, а о согласии, созвучии в чем-то общих изначальных стремлений. О встрече прежде всего в нашей читательской поэтической вселенной. Подобно тому как в его собственной лирике встретились близкий ему в молодости мятежный дух Шандора Петёфи и элегическая мягкость, скромная умиротворенность Яноша Араня. Посреди бурь нашего столетия сумел Ийеш сохранить доверие к добру и разуму, который понимается им как здравая трудовая мудрость, возвышаемая до сознательной философии деятельного бытия, дарящего волю к жизни, несмотря ни на что.

Доверие к разуму сделало Ийеша другом и французского Просвещения, вообще французской культуры (к тому же он сам провел несколько юношеских лет в Париже). Ийеш и по сей день — живой, быстро загорающийся собеседник, сыплющий искорками чисто французского иронично-проницательного остроумия. Но при всей преемственной близости доброго лукавства, улыбчивого ума он неизменно остается сыном своего времени и своего народа. Гармоничность его объемлет все тревоги современности. Мудрость вспоена и драматическим национальным опытом.

Звезда молодости и любви, Венера, не устает всходить над нами,

...но наверху, под самым небом где-то,
мятутся, гнутся, стонут ветви.
Тристанов парус полон ветром,
и в черноту Земля одета...

(«Из письма, написанного по случаю сбора винограда».

Перевод Н. Горской)

Народы поистине «как часовые» неусыпны в своей исторической бдительности («Бегущая статуя»). Но подкарауливает и опасность остаться вдруг без крова.

В опасениях поэта отзывается и общая напряженность в мире, и беспокойство за свою, разное повидавшую в прошлом родину, малую страну, которая уже поэтому всегда была уязвимей больших. Ийеш, однако, обладает подлинно народным даром не унывать, не сдаваться при любых ударах судьбы: где погибнет лев, проживет мышь, как почти с басенной афористичностью утверждается в одном стихотворении. Удары, помимо прочего, ведь и закаляли, наделяя выносливостью, цепким умением выстоять, воспрянуть всем стихиям назло. Не случайны в его лирике дифирамбы всему жизнестойкому («Липа зимой», 1977, «Мстительный наговор», 1977, та же «Бегущая статуя»). Не в последнюю очередь — женщинам, упорно гибким, податливо-неуступчивым, хотя несущим чуть не двойное против мужчин бремя: житейское, семейное и материнское. И прямо проступающая подчас аналогия между женщиной и родиной (например, в «Дифирамбе женщинам», 1968) имеет ту же цель: возвеличить силу слабых.

Вовлекаемые во всемирные перемены «малые» народы теперь не так уж и малы, одиноки. И мысль эта в свой черед осветляет в его лирике все живое, трудовое, родня и возвышая унаследованные и приобретенные нравственные добродетели, абсолютные ценности бытия. Ведь кроме единичной, твоей, есть общая, всечеловеческая судьба, борьба, красота. И устами Ийеша поэзия братских стран словно заявляет о нерушимой, до последней минуты приверженности к земному, которое превыше всего. Ибо в нем все наши усилия, заботы, мечты. Высокое счастье приумножающих наше общее земное достояние и тем сохраняющих нас, вводящих в вечность творческих будней — таков лирический ответ Дюлы Ийеша старости и самой подкрадывающейся смерти. Ответ, которым как бы итожится, венчается сквозная этико-философская тема его стихов: **обыкновенность чуда и чудо обыкновенности.**

Сегодня в воздухе прозрачная стеклянность.
Сквозь стекла стен,
дивясь, иди, иди
(хотя вчера взломал бы тяжкий плен!).
Гляди,
простейшая какая постоянность.
Лишь чудо длить.
Лишь дальше жить.

(«Искус», 1977. Перевод автора статьи)

Размышления о смерти снова и снова оборачиваются у него гуманным, коллективистским жизнеприятием. Не впадать в ожесточенную или бессильную скорбь о невозвратной юности, а идти, мудро прозревая в пределах — необъятность, в конечном — бесконечное. Даже в одинокости чуя свою сопринадлежность, сопричастность нетленной деятельности человечества. Ибо в ней мы пребудем, передав все лучшее, добытое нами. И венгерский поэт с доброй надеждой всматривается в глазки, в личико ребенка, общего нашего преемника в тяжком и благодарном труде постижения и продолжения: «О чем догадывается? Что за весть несет?» («Младенцу», 1977).

Густолиственное, многоветвистое древо человеческой жизни и культуры взрастило его, как и многих лучших современных поэтов. Питательная почва у них одна: народная. Путь их так или иначе общий: от субъективности (Ийешем отринутой уже давно), от познания относительности — к горизонтам объективности, абсолютности. Именно в этом — роднящая и через все национальные рубежи объединяющая гуманистическая широта их этики. И то выношенное веками и питаемое созидательной современностью гражданственное начало, которое есть способность болеть за всех — и исцеляться, обновляться душевно, целиком отдавая, возвращая себя народу, народам.

Крестьянский сын и слушатель Сорбонны, собрат по перу Элюара, Сюпервьеля и поэт — лауреат социалистической страны, свидетель многих выдающихся свершений века, Дюла Ийеш чувствует себя гражданином мира — не в старом, просветительском, а в новом, демократически-интернациональном смысле. Восхождение на высоты демократической и социалистической культуры — это и его подвиг, подвиг простого человека и поэта, который он до сих пор длит, совершает каждый день, подавая товарищескую руку соотечественникам и современникам.

Потому он, Дюла Ийеш, по-прежнему молод даже в свои восемьдесят лет. Об этом со всей лирической убедительностью гласят и его стихи текущего года, в том числе приводимые здесь.

О. РОССИЯНОВ

Весенний урок

I

Значит, снова? Снова? Снова почка?!
Размотала вишня за окном
пять тугих, веселых,
розовых клубочков —
радуга проникла в дом.

Как хлопочет!
Как бодрится, хоть уже не молодая —
мной посажена давно.
Веселится? (Говорю ворчливо.)
Ну, а кто же сердце снова (я гадаю)
сделает счастливым?
Кто вернет мне свежесть, расплескает свет —
после стольких лет! И стольких бед!
Впрочем...

Впрочем, разве плохо, что не иссякает —
хоть со мной идет к закату —
в душу мне вошедшая когда-то,
стойкая — как почка! — вера?

Впрочем,
хоть и знаю, что исчезну,
что песчинкой кану в бездну,
жаловаться нечего — пока
ветка светлая моя,
словно женская рука,
заслоняет, отгоняет
тень могилы и раздумья
над извечною загадкой бытия!
Неужели потому, что много лет
с нежностью мне шлет привет
и цветами шепчет: «Да» и «Нет»?..

Бегущая статуя

Ненастье. Хлещет дождь со снегом —
в дожде, в снегу земля!
С весны стоял пастух под небом —
промокший, как поля.
А может, статуей при стаде
он с прошлой осени стоял?..
Мальчишкой я вполне серьезно
завидовал, что он весь год —
и в летний зной, и в лютые морозы —
в тулупе-шалаше живет.

А он стоит окаменело...
Стоит? Да нет — летит, плывет.
Вокруг ягнята морем белым,
но вскоре молодь подрастет.

Весной бараны в схватке ярой
сшибутся лбами тяжело,
а летом загрустит отара,
остриженная наголо.

Бычки-младенцы превратятся
в свирепых племенных быков.
А пастуху — стоять и мчаться
над вереницами веков.

Всегда, извечно, ежечасно—
как придорожные кресты —
табунщики и свинопасы
стоят над морем суеты.

Стоит пастух, не шелохнется,
как вросший в будку часовой,
к его ногам собака жмется
в холодный вечер грозовой.

Стоят, забыв года и сроки,
гуртовщики и чабаны.

Мои взволнованные строки
их стойкости посвящены.

Печет, дождит, вьюжит иль тает...
Что им игра небесных сфер?
Стоят. И в небеса врастает
остроконечной шапки верх.

Стоят от сотворенья мира,
укрыты шубой до бровей.
Вот так же Авель, пастырь сирый,
стоял под шкурою своей.

С изнанки — шерсть, снаружи — кожа,
свисают до земли края.
Как одноместный дом, одежа —
прообраз первого жилья.

Когда-то, видно, ствол дуплистый
идею человеку дал:
кора, а посредине мглистый,
проточенный жуком провал.

Я вижу за тулупом нищим
сквозь годы и века — вдали —
яранги чукчей и жилища
индейцев Огненной Земли.

Сейчас я думаю, что будет?
Тревожусь в глубине души:
уж не придется ль снова людям
перебираться в шалаши?..

Стою, а мир ушел далече.
Но я живу, пока живой.
Зима укутает мне плечи
холодной шубой снеговой.

Из письма, написанного по случаю сбора винограда

(В Лондон)

...Взгляни, над озером клубится легкий дым...
На танец лебедей ронсаровых похоже...
Настал Великий Час... И мы — хотим иль не хотим —
очаг, отчизну, кубки, ложки, ложе
передадим наследникам своим,
а сами побредем к закату стройным рядом —
«новатор» вместе с «ретроградом»,—
под марш классический наш путь итожа.

...Еще над Фюредом[1] порой звонят колокола.
А в Шомоди — ты слышишь — вновь гроза возникла,
и громовой раскат к нам долетел из Никлы[2],
как будто Ода все еще гремит...

...Ключи от дома, авторучку, перочинный нож —
все это каждый день, почти благоговейно,
на стол кладу я перед сном —
как мой аванс для мрачного Харона.
Но если каждый день —
то, значит, мне шутить еще не лень.
(О, юмор под печальной маской —
давно прошедших бурь гримаса!)

Ах да, еще кладу часы.
Они — мой бич! Порой могу я притомиться
и их не завести. Но не стыдится
служанка старая, моя десница,
работу эту сделать за меня.

Она их носит на запястье,
старухе, видно, мнится,
что ей подвластен Времени Большого ход
и можно угадать,
когда наш час пробьет.
Мне от нее
идут сигналы:
не шебурши,
сиди себе в тиши —
разбудишь дом. Неужто мало
одной мятущейся души?

...Вот так я и живу! Порой мне встречу
назначит у окна Звезда,
та самая, что в просторечье
зовется иногда
сестрой Луны — короче говоря, Венера.
И так свежа, так молода она,
что задрожит на берегу сосна
и тень свою уронит в воду.

Стволы стоят в молчанье строгом,
но наверху, под самым небом где-то,
мятутся, гнутся, стонут ветви.
Тристанов парус полон ветром,
и в черноту Земля одета.
Ну что же — с богом, с богом...

---

[1] Балатонфюред — курортное место на Балатоне, связанное с именами многих венгерских писателей; расположено на северном берегу неподалеку от полуострова Тихань, где живет Ийеш.

[2] Никла (в области Шомодь, на южном берегу Балатона) — бывшее поместье Д. Бержени (1776—1836), автора патриотической оды «К венграм».

Чем станут...

Чем станут те, что нас хулили?
Поглотит их земля.
Не вырастет на их могиле
ни одного стебля.

Чем станут те, что нас хвалили?
Взойдут, как семена.
Над пашней расправляет крылья
помолодевшая страна.

Вскрытие захоронений

В листве прошлогодней дрозд копошится.
Снега сошли.
Весну извлекает птица
из-под земли.

Воробьи, дрозды и вороны
будят криками рань.
Что-то клюют, швыряют в сторонку
несъедобную дрянь.

Ей-ей, эксгумация лета!
Какие корма
в глубоких жучиных склепах
приберегла зима?

Разворошенной листвы кутерьма...

Гнездо времен года в бетонных джунглях

Сквер-лоскут в лесу бетонном городском
стал гнездом,
куда втиснулись с трудом
лето и зима, осень и весна.

Зелень, белый снег, и зной, и желтый лист
кое-как, но прижились,
скудным светом напились,
позабыв, что их тюрьма тесна.

Странники земли друг другу вслед идут
в этот жалкий, временный приют —
в неуют —
и чем бог послал живут.
Но мои глаза их с нетерпеньем ждут.

Античная арка

Каждый камень все время
отдает и приемлет бремя,
и как будто бы вес теряет,
и почти воспаряет.

Две опоры воздушной арки —
два почтенных могучих старца —
бросают свой груз друг другу,
как мячик по полукругу.

Гляжу, не могу надивиться:
постройка легка, как птица,—
значит, правда, восходит к богу
мысль, воплощенная строго?

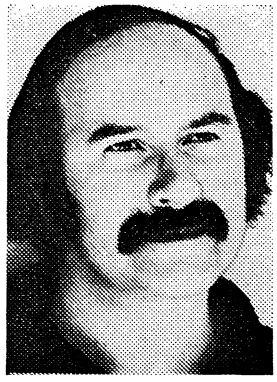
Вот так и танцует веками
утративший тяжесть камень,
танцует без напряженья
в недвижном своем движенье.

Значит, может искусный зодчий
спаять невесомость и прочность,
силою вдохновенья
одолев притяженье?!

Храм разрушен, кругом руины.
И жрец престарелый сгинул.
А под этим сводом крылатым
он ступал молодым когда-то.

Удаляюсь и приближаюсь.
Вновь и вновь удивляюсь.
Разгадать бы всех судеб тайну,
всех случайностей неслучайность...

■



АНТОНИО СКАРМЕТА

Восстание

ПОВЕСТЬ

Перевод с испанского ЮРИЯ ПАВЛОВА

В местах, опаленных дыханием истории, воображение легко воссоздает картины минувшего, особенно когда перед глазами — его не стертые временем следы.

Старинная церковь Эль Кальварио в никарагуанском городе Леоне, ее разбитая снарядом резная дверь и стены в оспинах от пуль и осколков поныне напоминают о бурных событиях, происшедших здесь в июле 1979 года. Леон — второй по величине город страны, здесь прошли детство и юность родоначальника современной латиноамериканской поэзии Рубена Дарио (1867—1916), здесь в кафедральном соборе покоятся его останки.

Года два назад пишущему эти строки с группой специалистов — едва ли не первыми из советских людей — посчастливилось посетить Леон, чтобы поклониться памяти великого поэта. Леонцы очень гордятся своим земляком и охотно рассказывают о его жизни. А после победы революции 1979 года у жителей Леона появился еще один повод для законной гордости, зародилась еще одна излюбленная тема: героическое участие горожан во всенародном восстании, освободившем прекрасную землю Дарио от кровавой диктатуры клана Сомосы. Как раз одним из эпизодов борьбы была атака карателей на церквь Эль Кальварио, где укрывались молодые безоружные сандинисты, призывавшие народ к восстанию. Всех их головорезы Сомосы безжалостно уничтожили. И с тех пор, как мне довелось убедиться во время недавней поездки в Никарагуа, скромная церковь, давшая последнее убежище группе юных революционеров, стала такой же достопримечательностью города, как и величественный кафедральный собор с прахом Рубена Дарио. Так в каменной книге Леона навеки запечатлелись его страдания и его подвиги, его прошлое и настоящее, его поэзия и революционный дух...

Повесть Антонио Скарметы «Восстание» воскрешает перед читателем последние дни диктатуры Сомосы, вскормленной империализмом янки. Автор повести — чилийский революционный писатель, ныне находящийся в эмиграции, хорошо знает, что такое латиноамериканский фашизм, увидел его воочию на собственной родине. Очевидно поэтому тема диктатуры и борьбы с ней оказалась столь близкой Скармете, нашла у него столь живое и поавдивое воплощение. Никарагуанский Сомоса или чилийский Пиночет мало чем отличаются друг от друга, один до конца своих дней служил, другой пока что служит одному и тому же хозяину — империализму Соединенных Штатов; как и всем диктаторам, им свойственна лютая ненависть к народам, борющимся за свободу и счастье.

При чтении повести Скарметы прежде всего бросается в глаза ее своеобразная форма: повествование развивается весьма динамично, включает крупные планы,

© Antonio Skármeta, 1981.

АНТОНИО СКАРМЕТА — ANTONIO SKÁRMETA (род. в 1940 г.).

Чилийский писатель. Образование получил в университете Сантьяго-де-Чили и в Колумбийском университете в Нью-Йорке. После фашистского переворота 1973 года живет в эмиграции. Автор многих книг, в том числе сборников рассказов «Энтузиазм» («El entusiasmo», 1967), «Голый на крыше» («Desnudo en el tejado», 1969), «Вольная стрельба» («Tiro libre», 1973). «Женихи с невестами и одиночки» («Novios y solitarios», 1975), романов «Мне снилось, что горел снег» («Soñé que la nieve ardia», 1975; переведен на русский язык), «Ничего не случилось» («No pasó nada», 1978), ряда киносценариев, радиопьес.

Повесть «Восстание» («La insurrección»), написанная А. Скарметой после пребывания в годы революционной борьбы в Никарагуа, печатается в журнальном варианте по рукописи, полученной редакцией от автора.

письма и стихи героев, а также целый ряд как бы моментально отснятых сцен. Такое построение, родственное скорее кино, а не традиционной художественной прозе, отнюдь не является случайным, ибо повесть «Восстание» — литературный вариант написанного Скарметой одноименного сценария, по которому он совместно с уругвайским кинорежиссером Петером Лилиенталем снял фильм в Никарагуа в дни победы сандинистской революции.

Повесть в значительной мере документальна. Материал для произведения собирался Скарметой по горячим следам событий непосредственно после освобождения Леона восставшим народом. Документальность повести проявляется, в частности, и в том, что в ней действуют наряду с вымышленными также и реальные персонажи, как, скажем, один из руководителей Сандинистского фронта национального освобождения — команданте Томас Борхе. На ее страницах встречаем и портреты врагов революции из ближайшего окружения Сомосы.

В повести Антонио Скарметы ярко отражены две характерные особенности никарагуанской революции: активное участие в борьбе женщин и низового католического клира. В охваченной революционным брожением Латинской Америке, где подавляющее большинство населения считает себя католиками, демократические взгляды многих священнослужителей, нередко выступающих на стороне народа, проявляются достаточно отчетливо. Общеизвестно, что в ходе всенародной борьбы против диктаторского режима Сомосы священники-патриоты становились объектом преследований: им не давали отправлять службы, изгоняли из страны, даже убивали (то же, впрочем, происходит, например, в Сальвадоре наших дней — вспомним убийство архиепископа Ромеро). Неудивительно поэтому, что кое-кто из священников уходил в партизаны, брал в руки оружие, другие, не будучи связанными с Сандинистским фронтом национального освобождения, не разделяя прогрессивных идей, все же помогали сандинистам. В правительстве Национального возрождения Никарагуа представлены священники — активные участники революционной борьбы, один из них — министр культуры Эрнесто Карденаль, виднейший поэт Латинской Америки, произведения которого печатались не раз в журнале «Иностранная литература».

Повесть Антонио Скарметы — первая и, несомненно, весьма примечательная попытка художественного осмысления революции в Никарагуа.

С. МАМОНТОВ

НАРОДУ ЛЕОНА[1] *ПОСВЯЩАЕТСЯ*

Давай скорее танцевать,
Не то погонят воевать,
А попытаешься бежать,
Поймают, всыплют — вспомнишь мать!

«Твист новобранца» Анди Масиа-Фикко.

«Среди молодежи было много выходцев из самых бедных и угнетаемых слоев, которые родились и выросли в том мире, где существовали лишь два класса — эксплуатируемые и эксплуататоры. Единственную возможность избавиться от нищеты эти юноши видели во вступлении в ряды национальной гвардии. Позже в гвардии создавались специальные подразделения, такие, как «Батальон Сомосы» и пресловутый корпус Школы основной подготовки пехоты (ШОПП)».

Майо Антонио Санчес. «Никарагуа, год Ноль».

1

Агустин опустил письмо в ящик напротив полковых казарм — и почта занялась им с образцовой неторопливостью. Лишь через три месяца — после забастовок транспортников, кладовщиков, рабочих, крестьян, служащих, портовиков, шахтеров, артистов, сотрудников радио, телеграфистов, поэтов, музыкантов, студентов, газетчиков, банковских счетоводов и бухгалтеров, государственных чиновников и спортсменов,— только тогда почтальон Сублиме Салинас остановил свой велосипед с коляской у почтового ящика. Он ловко переправил его содержимое в парусиновую сумку и зарулил к почтовой конторе. Вытащил из кармана ключ, вставил его в дверной замок и, услыхав пронзительный скрип петель, вероятно, в сотый раз за этот год подумал: надо собраться и с кумом Плутарко смазать. В потолке зиял обширный пролом; таз, стоявший на столе для разбора корреспонденции, уже переполнился водой после пронесшегося ливня. Стерев рукавом спе-

[1] Этот крупный город Никарагуа во время революции 1979 года был первым освобожден сандинистами. Здесь начало свою деятельность революционное правительство. *(Здесь и далее прим. перев.)*

цовки пыль со стола, Сублиме Салинас высыпал свой груз. Пробежал по конвертам взглядом и опять подумал о том, почему у него такое нищенское жалованье. Конечно, в стране, где большинство населения неграмотно, писание писем можно расценивать как проявление пижонства.

Почтальону Салинасу частенько приходилось и разносить письма, и вслух читать их адресатам, в полной растерянности бравшим свою корреспонденцию осторожно, словно была она из стекла и могла рассыпаться в руках на мелкие осколки. Хотя и в этих случаях он выигрывал — его священнодействия вознаграждались пивом с закуской. Неграмотные жители столичной окраины были внимательнейшими слушателями, а почтальоны обычно становились профессиональными чтецами. Едва Салинас показывался на улице, толпа мальчишек сразу же окружала его и сопровождала с таким же восторгом, как и бродячих кукольников, от которых за несколько монет можно услышать сказку или забавную историю. И как только почтальон с намокшим от пота письмом останавливался у какого-нибудь из здешних домов без дверей, тотчас же неподалеку на тротуаре кучкой собирались соседи — в робком ожидании. «Наверно, кто-то из ее родных помер»,— прикидывали они. Утолив жажду холодным пивом за счет адресата, Салинас, пока его пересохшее горло блаженствовало, торжественно распечатывал конверт. А через час или два, перекусив, он с таинственным видом выходил из дома, не глядя на все еще толпящихся и терявшихся в догадках людей. Получательница же письма, преисполненная гордости, под вечер вытаскивала на тротуар кресло-качалку, клала на колени доставленное ей послание и не спеша покачивалась. Наконец в ком-то любопытство пересиливало зависть, он приближался к счастливице и с напускным безразличием спрашивал: «Письмо получила, соседка?» Та делала вид, будто не понимает вопроса, равнодушно переводила глаза на юбку, на вскрытый конверт, будто лишь сейчас вспомнила о нем, и, обернувшись к спрашивающему, произносила: «Да вот, понимаешь...»

В течение месяца постепенно становилось известным и содержание письма: это мог быть опротестованный документ на покупку в рассрочку швейной машинки, сообщение о рождении внука в Масайе, или о смерти бабки из Блуфилдса [1], или просто просьба сына, учащегося в Манагуа, прислать денег.

В былые времена приходило и по два письма на день — праздник для почтовой сумки и голодного желудка Салинаса. Но с тех пор как в стране началось всеобщее восстание и перевернуло все вверх дном, письма приносили лишь известия о гибели одного или другого соседа, ушедшего в партизаны. А незадолго до предпоследнего наступления повстанцев само появление почтальона уже приводило людей в дрожь.

«Кого еще убили?» — возникал у всех единственный вопрос.

В те мглистые душные утра, когда свежесть таилась лишь в приоткрытых устах сонных девушек, сводивших с ума своей недоступностью местных парней и изнывающих от жажды почтальонов, Салинас услышал за спиной преследующее уродливой тенью прозвище: «Стервятник». Мальчишки стали сопровождать его, размахивая руками, как хищные птицы крыльями, и издавая резкий гортанный клекот; краска стыда, заливавшая лицо почтальона, делалась еще более густой от тропической жары. Страдания натолкнули почтальона на выдумку: корреспонденцию, полученную на центральном почтамте, Салинас уносил в крытый курятник на заднем дворе, прятал там до поры до времени свою страшную ношу. Такого рода операция казалась ему соломоновым решением: матерей он уберегал от горя, а самого себя — от издевательских насмешек и лишнего труда. К тому же это было справедливее: только за последний год цены выросли вдвое, а жалованье оставалось неизменным в течение вот уже трех лет, если не считать вычета из него обязательного, хотя и называвшегося «добровольным», взноса — пять процентов от месячного оклада; этот взнос Сомоса с растроганным видом принимал на торжественной церемонии от делегации государственных служащих, а предназначался он для подавления сандинистов-коммунистов.

Раз на жалованье мало что можно было купить, то, по мнению Салинаса, не грех было подремать часок-другой после обеда в благодатной тени почтовой конторы. Да и посетители оставили его в покое, посчитав, что почтальонами опять объявлена забастовка. Порой на почту, правда, врывался какой-нибудь местный нахал и, хлопнув

[1] Масайя — главный город одноименного департамента Никарагуа; Блуфилдс — никарагуанский портовый город на берегу Карибского моря.

дверью, уверял, что он явился по поручению самого капитана Флореса, а капитан Флорес ведь закадычный друг Чигуина Сомосы[1]. С притворной покорностью Салинас выслушивал поток громких слов и обвинений в свой адрес, тихим хрипловатым голосом сообщал, сколько марок следует наклеить на пакет, предварительно взвесив письма на весах, железные гирьки от которых употреблялись им для игры с приятелями из соседних домов в «жабу»[2]. Получив деньги, Салинас меланхолично проводил языком по клейкой стороне марки, прилаживал ее к конверту и дважды ударял по ней кулаком, гарантируя таким образом клиенту, что письмо надежно оформлено и в срок дойдет по адресу. Но как только представитель власти уходил, Салинас отдирал марку, клал ее обратно в папку, а письмо засовывал в задний карман брюк, чтобы и его затем похоронить в курятнике. Около пяти или шести часов пополудни он вытаскивал на улицу кресло-качалку — отдохнуть, посудачить с друзьями, позубоскалить в адрес недругов. К последней категории определенно относился адвокат Ривас, который как раз в это же время закрывал свое заведение, провонявшее крючкотворством.

— Как дела, Меркурио? — приветствовал он Салинаса.

— Не называйте меня так!

— Но Меркурий же был изумительным типом. Бог с крылышками на ногах!

— На моих ногах только грибок.

— Меркурио — хорошее прозвание, broder[3]. Был бы я писателем, мне бы нравилось, если б меня называли Шекспиром. Именем Меркурио можно гордиться.

Салинас посмотрел на свои ноги, потом на руки, молча выжидая, пока фигура адвоката растает на едва различимой тропинке. В такие смутные времена он, причислявший себя к профессиональным и потому далеким от политики служащим, не хотел ввязываться в спор с доктором Ривасом и пускал в ход аргументы, услышанные как-то в разговоре со студентом Игнасио:

— Конечно, Меркурий был древнегреческим богом, но «Меркурио» — это еще и одна подлая газетенка в Чили.

— Как у нас «Новедадес»[4]?

— Точно...

На конторке Салинаса лежала рассыпавшаяся пачка антисомосовских листовок, оттиснутых на ротаторе либо торопливо написанных от руки. Видимо, кто-то, распространяя их под самым носом Школы основной подготовки пехоты, был застигнут врасплох, и ему пришлось спустить пачку в щель почтового ящика, чтобы избавиться от опасной улики. Кроме листовок на конторку были высыпаны вынутые из почтовых ящиков конфетные обертки, экземпляр газеты «Пренса» с фотографией епископа Саласара на первой полосе, страницы из тетрадки по математике с решенными в общем правильно задачами, записка со словами «В пять, где всегда». Подо всем этим лежало письмо с прилипшим древесным листком. Салинас взял конверт за уголок, встряхнул и при свете, проникавшем сквозь отверстие в потолке, прочитал вслух фамилию отправителя: «Агустин Менор».

Уставившись невидящим взглядом в стену, он призадумался и ласково разглаживал письмо ладонями, даже позабыв о времени. Наконец собственный глубокий вздох вывел его из задумчивости. Указательным пальцем он протер глаза, положил письмо на стол, откинулся на спинку стула и, сцепив руки на затылке, взглянул вверх на кусочек неба, показавшийся в потолке после недавнего налета сомосистской авиации. Разглядывая вечную и бесстрастную синеву, он почувствовал себя спокойнее. Потом, резко нагнувшись, Салинас еще раз осмотрел конверт. Бережно взял его и побрел к курятнику.

II

Капитан Флорес пересек плац, преследуемый бившим в нос запахом пота, исходившим от новобранцев, которые под хриплые выкрики сержанта Сифуэнтеса выполняли тренировочные упражнения.

Заметив начальника, сержант стал вкладывать в команды еще больше рвения.

---

[1] Прозвище сына диктатора Никарагуа: chigüin — коротышка *(исп.)*.

[2] Игра, в которой бросаемый с расстояния предмет должен попасть в лунку — «жабью пасть».

[3] Братец *(искаж. англ.)*.

[4] Газета, принадлежавшая диктатору Сомосе.

Капитан остановился против какого-то особенно старательного солдата и, скрестив на груди руки, понаблюдал за его движениями. Подбежал Сифуэнтес, отдал честь.

— Добрый день, капитан!

Флорес небрежно вскинул два пальца к козырьку:

— Добрый... На несколько часов мне нужен Агустин.

Приставив рупором руки ко рту, сержант заорал: «Стой!» Его голос, перелетев через ограду казармы, донесся до толпы сгрудившихся у ворот женщин, в большинстве старух, которых то и дело разгоняли часовые. Капитан, поморщившись, прикоснулся пальцами к мочке уха, будто таким образом старался приглушить резкость сержантской зычной команды, прозвучавшей рядом. «Конечно, сержантом ты и сдохнешь!» — про себя заключил Флорес. Заметив, что Сифуэнтес собирается подать новую команду, капитан зажал ухо ладонью. Гвалт сотни новобранцев показался ему лишь ласковым рокотом морских волн, набегавших на берег. И как только сержант набрал полную грудь воздуха, капитан, предусмотрительно не открывая правого уха, левой рукой властно придержал служаку:

— Потише, ты!

— Не понял, капитан?

— Умерь громкость, сержант.

Сифуэнтес поперхнулся и крикнул другим тоном:

— Агустин Менор!

Юноша, услыхав свое имя, быстро вышел из строя и, пока подходил к начальству чувствовал, что его затылок будто обжигают косые взгляды других солдат, полные острой зависти. Приблизившись к капитану, он встал по стойке «смирно» — строго по уставу,— и тут же за его спиной опять загремел голос сержанта:

— Тигры! Бегом а-а-арш!

Солдаты, моментально перестроившись, один за другим затопали вокруг Сифуэнтеса Капитан и новобранец не успели перейти плац, как сержант тоже начал бегать, но внутри круга и в обратном направлении, чтобы не спускать глаз с новобранцев.

— Солдаты, пить хотите?

— Да! — хором ответили новобранцы.

— Чего хотите?

— Кр-рови! — заученно кричали новобранцы.

Капитан остановился, посмотрел на вереницу горланящих солдат, запыхавшихся от бега под команду сержанта.

— Солдаты, есть хотите? — орал сержант.

— Да, сеньор!

— Чего хотите?

— Мяса!

— Солдаты, пить хотите?

— Да, сеньор.

— Чего хотите?

— Крро-ви!

— Солдаты, есть хотите?..

Капитан взял Агустина за локоть и повел к выходу.

— Скажи мне, так всегда?

— Капитан?..

— Сержант. Сержант всегда такой?

— Такой, как сейчас, сеньор?

— Да?

— Да Он такой. сеньор.

— И всегда несет эту чушь о крови и мясе?

Агустин прикинул в уме, с какой стати капитан расспрашивает его, и молча опустил глаза.

Капитан вырвал волосок из своих пышных усов, покрутил его пальцами и стал внимательно разглядывать.

— Да выпить, между прочим, не захотелось?

Солдат на мгновение оторопело взглянул на него и невольно сглотнул слюну:

— Нет, сеньор.

— Ну, дома мы все-таки выпьем пива.

За воротами казармы к ним было бросились женщины, однако часовые, взяв

обеими руками автоматы, медленно, но упорно оттесняли их. Толпа, отодвигаемая к противоположному тротуару, казалась многоцветно переливающейся змеей. Не обращая внимания на восклицания, на какие-то жалобы, Флорес подошел к «шевроле» и приказал Агустину сесть за руль.

— Как раскудахтались-то! Попробуй-ка выехать отсюда.

Солдат включил мотор, нажал на акселератор и стал подавать назад, внимательно наблюдая за тем, чтобы не задеть кого-нибудь. Флорес протянул ему голубую фуражку, похожую на ту, какую Агустин недавно видел на шофере венесуэльского посольства. Двигаясь назад, он в зеркале заднего обзора заметил умоляющие глаза матери новобранца Марсело. Она как бы побуждала его прочесть в ее умоляющем взгляде три слога: «Мар-се-ло?»

Агустин сделал вид, будто ничего не видел: «Если дам ей понять, что ничего не знаю, будет плохо. Еще хуже, если дам ей понять, что мне все известно». Включив сигнал поворота, он задержался на несколько секунд, тут же резко рванул машину вперед и выехал на улицу. На ближайшем светофоре был зеленый свет, и машина пролетела мимо на третьей скорости. Внезапно солдату послышался сильный металлический перестук в машине, и он сбросил газ, намереваясь выяснить, чем это вызвано. Он хотел было свернуть влево, но Флорес удержал его, положив палец на руль.

— Так мы попадем к церкви Субтиабы!.. Слышишь, если на ближнем углу повернешь налево, то придется проехать мимо церкви в Субтиабе [1]. Гони прямо к авениде Рубена Дарио.

Агустин вел автомашину чуть ли не зигзагами, это усиливало перестук, видимо, в сцеплении, но задерживаться Флорес не разрешал. На улице Одиннадцатого июля машина снова круто, не включая сигнала, повернула направо. И опять раздался громкий металлический лязг.

— Здесь тоже не проедешь!..— сказал капитан, ругнувшись.

Машина застопорилась посреди улицы. Позади ехавшие автомобили протестующе загудели, но как только Флорес вылез наружу, мгновенно смолкли. Капитан пошел вперед и, жестом остановив какой-то бензовоз, показал Агустину, как сманеврировать. Сев в машину, капитан приказал:

— А теперь прямо до Гуадалупе.

— Есть, сеньор!

— Отчего все же стук? Как, по-твоему?

— Похоже, что-то с осью, мой капитан. В любой момент машина может потерять управление, а это, сами знаете...

— Сможешь исправить?

— Много времени надо, сеньор.

— Неважно. Я спрашиваю, можешь или нет?

— Кто ж знает, может, сумею, а может, и нет. Надежнее бы заехать в мастерскую.

Флорес достал из кармана пачку «Кэмел», вынул сигарету, откусил кончик и прикурил от серебряной зажигалки.

— В мастерскую не поедем.

С удовольствием затянувшись, он сплюнул приставшую к губе табачную крошку.

— Эти сволочи способны подложить бомбу в мою машину!

III

Господину Президенту Республики
Дивизионному генералу дону Анастасио Сомосе Д.,
Президентский дворец,
Манагуа.

Господин Президент!

Я прибегаю к публикации в прессе моего письма ввиду того, что не имею другого способа обратиться к Вашему Превосходительству.

Я взываю к Вашей гражданской совести и прошу Вашего вмешательства, чтобы

[1] Один из беднейших районов Леона, где наиболее остро проявлялись революционные настроения.

избежать возникновения конфликтной ситуации, которая складывается в городе, ибо на мне, наставнике моей паствы, лежит священный долг печься о всех сторонах человеческого существования.

Вероятно, мое нынешнее обращение вызовет новые обвинения против церкви, но разве можно терпеть, чтобы без следствия и суда людей предавали смерти, чтобы царил в нашей стране закон джунглей. Сейчас мы живем в таком положении: спасайся, кто может!

Наш город познает теперь наихудшие дни своей истории. Никто не уверен в том, что завтра будет жив. Это оккупированный, умирающий город. Повсюду на улицах войска сеют террор, убивают всех подряд, в том числе и детей. Что же происходит? Быть может, мы лишились рассудка? Разве справедливо в отношении жителей города Леона применять только закон силы? Разве не существует более ни норм морали, ни божьих заповедей, которые следует уважать? И разве массовыми убийствами можно разрешить все проблемы нашей родины?

Почему нам, соотечественникам, не сесть за стол переговоров для обсуждения и поиска мер, достойных цивилизованных людей? Почему перестали уважать человеческую личность? Почему преданы забвению слова нашего Учителя: Да будет мир с вами?

Умоляю, во имя любви к господу, остановить ужасную волну преступлений — мести и насилия.

Бог хочет, чтобы мы были братьями. Смирим гордыню, тщеславие и суетность, вооружимся кротостью, благородством, добротой, взаимным пониманием и любовью.

Господин Президент, положите конец горестям народа! Во скольких домах оплакивают смерть дорогих людей! Родина лишается своих завтрашних граждан. Страна оказалась без руля и без ветрил. Нынешний путь ведет лишь к гибели...

Я надеюсь, что Вы, господин Президент, внемлете истерзанной душе пастыря, просящего о милосердии. Пусть смерть вернется в свое мрачное логово и не шествует беспрепятственно по нашим улицам, не пожирает жизни никарагуанцев, ибо мы хотим продолжить нашу жизнь под любящим взглядом Всевышнего и под защитой Матери человечества — девы Марии.

Во имя Господа почтительно

Монсеньор Мануэль Саласар Эспиноса,
епископ города Леона.

IV

Натянув перчатки, Агустин расправил белую куртку с золочеными пуговицами, одернув ее за полы Марта — жена капитана Флореса — жестом приказала ему повернуться, оглядела со спины и снова заставила встать лицом к ней.

— Застегни верхнюю пуговицу!

Агустин неуклюже потыкал пальцем в узкую петлю:

— В перчатках не могу...

— Подойди сюда,— велела жена Флореса.

От близости ее матовой кожи, кожи зрелой женщины, сдобренной косметикой, распространяющей непривычные для солдата ароматы, от густых теней вокруг ее темно-карих глаз его руки в перчатках взмокли. Ловкие женские пальцы, слегка задев его шею острыми ноготками, застегнули непокорную пуговицу. Чуть отступив, чтобы еще раз оценивающе оглядеть всю фигуру солдата, она заметила, что его глаза жадно уставились на ее глубокий вырез.

— Куда глазеешь, бесстыдник! — сказала она, однако не отстранилась.

Агустин быстро перевел взгляд на свои блестящие ботинки, унаследованные от старшего сына капитана, и с трудом проглотил слюну. Он ненавидел сейчас себя, стоявшего с повинно склоненной головой, но позы не переменил.

Жена Флореса подождала, рассчитывая, что он поднимет голову или ответит, а не дождавшись, приказала:

— Забирай бокалы и иди!

Агустин подошел к подносу, ухватил его руками, затянутыми в перчатки, и с ужасом убедился, что это не так просто, как на репетиции с пустыми стаканами. Теперь, едва он приподнял поднос, ему показалось, что на шампанское в бокалах налетела буря, а над ним самим пронесся циклон, который сметет его с этого ковра прямо в карцер сержанта Сифуэнтеса. Парень совершенно перестал соображать что-

либо, и наступившее было облегчение от того, что ему удалось уйти от испытующих глаз капитанши в кухне, мгновенно исчезло под слепящими огнями гостиной, от взрывов смеха, от музыки, запаха духов и сверкания драгоценностей. Дочь капитана под руку со своим женихом позировала фоторепортеру из «Новедадес», и оба считали, что доставят ему удовольствие, выставляя на передний план весьма впечатляющие обручальные кольца. Рядом с ними — в одинаковых галстуках, перехваченных одинаковыми золотыми зажимами, с одинаковыми короткими стрижками «под бобрик» и самодовольными физиономиями, которые, по их мнению, должны были свидетельствовать о том, что они студенты американского колледжа,— стояли братья невесты.

Хотя из динамиков зазывно звучала соблазнительная музыка, гости, увлеченные яркими вспышками фоторепортера, не танцевали. Девушки, в парче и бархате, словно плавали, а юноши, блаженствуя под волнами охлажденного мощными кондиционерами воздуха, щеголяли в строгих темных костюмах и итальянских галстуках, туго затянутых на тщательно выбритых шеях.

Агустину казалось, что в мягких коврах ноги его увязали. Он совершенно взмок, едкий пот заливал глаза, а протереть их невозможно — руки заняты подносом.

Флорес и беседовавший с ним мужчина взяли по бокалу. Агустин хотел было отойти, но капитан остановил его, положив руку на плечо. Агустин покачнулся и едва удержал поднос на весу, одновременно следя, как бы капли пота не упали в шампанское.

— Задержись,— сказал ему Флорес, поставив пустой бокал на поднос и предложив своему собеседнику в белом костюме — похоже бизнесмену — взять еще по одному.

Чокнувшись, оба отпили из новых бокалов.

— Итак, мы друзья? — сказал бизнесмен, обращаясь к Флоресу.

— Друзья, бесспорно друзья. Только я смотрю на вещи несколько иначе, чем вы. Прежде всего я — военный, а вы — штатский. И дело не в том, что на мне форма, а на вас цивильный костюм. Просто мы по-разному оцениваем действительность. Как солдат, я всегда стремлюсь, чтобы в бою у меня была наиболее выигрышная позиция. С точки зрения тактики надежный тыл — гарантия успеха. Притом не только в профессиональных вопросах, но и в личных. Я лучше воюю, если знаю, что моя семья в безопасности.

— Может быть, я неточно выразился, капитан. Я, как и вы, считаю, что сначала — семья...

— Так вы говорите сейчас, а вспомните, что сказали раньше?

— Вы не хотели меня понять.

— Вы рискуете своим бизнесом, я — жизнью. С этого и начинается отличие солдата от штатского.

— Очень уж вы щепетильны, капитан. Я всего лишь посоветовал вам отправить семью как можно незаметнее.

— Сказать мне это — значит обвинить меня.

Флорес, осушив второй бокал, поставил его на поднос и взял следующий, однако пить не стал. Мужчина в белом костюме искоса и недоверчиво взглянул на Агустина и тут же примирительно улыбнулся капитану:

— Ради бога, дружище! Это не я говорю — так *люди* будут говорить!

— Какие люди?

— Для начала, допустим, весь Леон. А потом всякие корреспонденты... После убийства Чаморро[1] они на все смотрят широко раскрытыми глазами. Стараются увидеть даже под землей, а чего не видят — выдумывают.

— Убийство Чаморро было глупостью.

— Всякое преступление достойно порицания, капитан.

— А дурацкое — тем более.

Собеседник Флореса так же поставил свой бокал на поднос и задумчиво потер подбородок.

— Я бы, например,— сказал он, помолчав,— не стал устраивать этого празднества.

[1] Педро Хоакин Чаморро — никарагуанский журналист, издатель газеты «Ла пренса», выступавший против диктатуры Сомосы, был зверски убит сомосистами в январе 1978 г.

— Дочь очень просила. Кто знает, сколько времени ей не придется видеть своего жениха. Вы полагаете, что у нас, военных, нет чувств?

Бизнесмен умоляюще вскинул руки и состроил гримасу, изображавшую улыбку:

— Помилуйте, зачем же вы все слова своего верного друга хотите истолковать как нападки.

Флорес отпил из бокала и, заметив, что стоявшие поблизости гости, услыхав повышенный тон их разговора, замолчали, поспешил прервать беседу.

— Забудем об этом,— сказал он.— Забудем...

Он посмотрел на выступающий подбородок Агустина, потом прошелся взглядом по его кельнерскому наряду сверху донизу, вплоть до ботинок. Новобранец кончиком языка облизал губы и с трудом подавил вздох.

— Предпочитаешь здесь полюбоваться девушками, чем изображать кровожадных акул под командой этого идиота Сифуэнтеса, не так ли?

— Так точно, сеньор.

— А если бы тебе завтра представилась возможность поехать с моими детьми в Соединенные Штаты, согласился бы?

— Как прикажете, мой капитан!

— Ведь именно этого тебе хочется?

— Выполняю приказание.

Мужчина в белом откашлялся и хотел было воспользоваться перемирием, чтобы исчезнуть. Но Флорес решительно удержал его, взяв под руку, и сквозь зубы спросил:

— Так что же скажут, сеньор Сурита? Какую чертовщину будут болтать люди?

Гость замолчал. Флорес, сжимая ему руку, пытался подтолкнуть его на ответ, но, в конце концов убедившись, что это не удастся, проговорил:

— Будут говорить, что крысы бегут с тонущего корабля? Так или нет?

Из динамиков доносилось «Love is in the air...» [1]. Бизнесмен не мог оторвать взгляда от своего сына, широко улыбавшегося раскрашенной пятнадцатилетней девице в кружевном платье.

— Мне очень жаль, капитан, что этот разговор вызвал у вас раздражение,— произнес он.— Я искренне об этом сожалею, поскольку весьма ценю нашу дружбу.

— Не беспокойтесь, уважаемый. Слова действительно иногда ранят, но не убивают. Пули — другое дело, не так ли?

Дети капитана Флореса с явным намерением выпить приблизились к подносу, вежливо пожали руку бизнесмену, и при виде их — таких похожих друг на друга, таких благовоспитанных, тщательно причесанных, таких по-европейски элегантных — Флорес почувствовал, как исчезало раздражение и теплело на душе.

— Ваше здоровье! — с улыбкой он обратился к Сурите.

V

«Моя дорогая Викки, вольная, ветреная, вещая, вдохновенная, волшебная, великодушная, всепобеждающая, вот и еще одно письмо твоего поэта, умирающего от столь долгой разлуки и глубокого отчаяния при мысли, что эти листки, может быть, не найдут тебя или ты получишь их, когда уже не захочешь и слышать моего имени. Не знаю, куда деваться от этих слез, невидимых миру, но они — тяжелые, пронизывающие, как пули,— скапливаются во мне, подрывают силы. Они постоянно навертываются на моих глазах, и не от того, что приходится здесь видеть,— от воспоминаний. Плохо сплю, а если и засыпаю, то во сне продолжаю видеть все, что видел наяву. Не беспокойся, я здоров. Опален в боях — это да, чуть-чуть схожу с ума — тоже да, но ни одна, даже самая маленькая, пуля меня не задела. Я думаю, что меня спасает страх быть убитым. Здесь никто не говорит, что боится смерти, и я им верю. Но сам боюсь, потому что больше жизни хочу снова увидеть тебя. Я всегда мечтаю о нашей встрече после победы. Представляю себе, как войду в Леон с вещевым мешком, полным цветов и стихов. Вижу, как обнимаюсь на улицах с людьми и как из толпы появляешься ты и крепко меня целуешь. Я чувствую своими пересохшими и ненасытными губами твои губы... Однако победа не торопится. А я все равно хочу видеть тебя — теперь же, сегодня! Ну и что, если Сомоса еще у власти, а смерть сеет свои плевелы и сорняки прорастают вокруг! Я хочу тебя видеть! Я, наверно, самый

[1] «Любовь — в воздухе» *(англ.)*.

сумасбродный из сандинистов. В моей голове масса образов, и кружат они, мечутся, словно отчаявшиеся птицы. Я пытаюсь изобразить их, но словами этого не выразишь. Все слишком сложно: и то, что происходит, и то, как я вижу... И все же боюсь смерти.

Однажды я так и сказал нашему командиру, а он спросил: «Ты боишься воевать?» — «Воевать не боюсь, боюсь умереть». Я, наверно, действительно самый сумасбродный в нашем отряде. У меня уже три тетради исписаны стихами, и в вещевом мешке ношу больше книг, чем патронов. Мне так хотелось бы встретиться с падре Карденалем и показать ему мои творения!

Очень боюсь умереть! Очень! С собой ношу стихотворение Хавьера Эро [1], снова и снова перечитываю:

Никогда
не смеюсь я
над смертью.
Дело просто лишь в том,
что не страшно
погибнуть
меж деревьев
под пение птиц.

Я думаю: если умру, что останется от меня тебе? Ничего, кроме моего отсутствия. А деревьям и птицам будет все равно. Надо дожить до победы! Хочу видеть победу в твоих глазах!

Вот бы посмотрела ты сейчас на меня с бородой, с отросшими волосами! Чтобы поцеловаться, нужно еще поискать в зарослях мои губы.

Не знаю, хочу ли я, чтобы это письмо получила ты. Перечитываю его, и мне оно не нравится. Чувствую себя бессильным. Когда сажусь писать, кажется, смогу выразить все, о чем молчал. Но потом убеждаюсь: слова не те. И вообще, существуют ли такие слова, чтобы можно было рассказать о моей любви. Как я люблю тебя? Сам удивляюсь. Любовь словно душит меня в своих объятиях!

Иногда мне кажется, что я пишу стихи потому, что не умею жить. Жизнь лишь задевает меня своими углами, но проходит где-то рядом. Недалеко озеро, здесь мы разбили лагерь, но на этом берегу нет тебя.

Недавно мы опять выходили на боевые операции! Атакуем национальную гвардию на дорогах, совершали налеты на Масайю, Гранаду, Никиниомо. Тут уже не птицы летают, а пули.

Как-то раз в воскресенье мы ходили с одним компà [2] на задание в Катарину. Национальная гвардия арестовала всю молодежь селения. Позже все арестованные ребята были найдены зверски убитыми. Тебе я пишу об этом, чтобы ты берегла себя. Всех старше тринадцати лет сомосисты убивают! У вас там тоже небезопасно. Хоть ты и женщина, но не очень на это полагайся. Я рассказал о том, что произошло в Катарине, еще и потому, что должен сообщить печальную новость: там убили Франсиско Латино. Говорят, что эта репрессия сомосистов была за то, что молодежь якобы подожгла дом одного провокатора. Не знаю, так ли это. Но знаю, что убивают всех старше тринадцати. И вот убили Франсиско Латино, а заодно и двух его братьев — Доминго Помпилио и Марио. Сообщи об этом Игнасио, он был их большим другом. Кажется, в прошлом году они гостили у него целую неделю в Понелойе. Расскажи и передай мою просьбу, чтобы Игнасио не отчаивался. Пусть лучше остерегается сам.

Не верь Сомосе, что он, дескать, будет править до 1981 года. Мы свергнем его раньше. И я постараюсь уцелеть, чтобы видеть это.

У тебя может сложиться нехорошее впечатление от того, что я говорю только о себе, а о других почти ничего. Это правда, прости меня, я всегда был немного эгоистом. И всегда пытался разобраться в собственных чувствах. И все в конечном счете оставалось словами, словами, словами...

---

[1] Хавьер Эро (1942—1963) — перуанский поэт, участник партизанской борьбы, был убит полицейскими агентами антинародной диктатуры.

[2] Принятое среди сандинистов сокращение от слова compañero — товарищ *(исп.)*.

Но когда мы снова увидимся, я не буду таким болваном, как раньше. С первого же мгновения начну целовать и целовать тебя, буду гореть в твоем огне, растворюсь в тебе и не позволю ни о чем другом думать.

Говорят, что скоро наступит час, когда Фронт [1] отдаст приказ о всеобщей забастовке, и после этого начнется решительное военное наступление.

А пока ночами тут падают звезды, и кажется, что это нескончаемый праздник Нового года. К сожалению, я не знаю названия здешних птиц, спрашиваю у крестьян, и они учат меня различать их по тому, как птицы садятся на деревья, как летают или как поют.

Передавали, что в Масайе и Монимбо население, пустив в ход самодельные гранаты, несколько дней сдерживало атаки национальной гвардии. Из наших там был Камило. Сомосистская гвардия ввела в бой танки, самолеты, пехоту, ворвалась в Монимбо и устроила резню. А про Леон я ничего не знаю. Слыхал, правда, что университет закрыт. Что же ты тогда поделываешь? А отец все еще безработный? Говорят, что в Никарагуа сейчас половина населения не имеет работы.

Если ты и не ходишь в университет, учебы не бросай. Но прежде всего — практика. После победы ты будешь очень нужна со своей бормашиной и ангельскими руками. Меня радует, что я отдал один из своих зубов для твоих практических занятий, и надо сказать, пломба стоит прочно, как гранитная скала. Единственно, мне кажется, что она получилась у тебя несколько великоватой: когда проводишь по зубам языком, чувствуешь ее. А может, это оттого, что я просто привык к дуплу в том месте. У нас тут есть один чилиец, который у себя тоже учился зубоврачебному делу. Он рассказывает, что во время спортивных соревнований между факультетами у них был такой клич: «Клык, коренной — факультет зубной!»

Знаешь, я уже заговариваюсь, порой сам не понимаю, что плету. И слова какие-то чужие, будто жмут, как новый костюм или ботинки на два номера меньше. Только руки, мои руки свободны, ждут момента обнять тебя. И приходится силой укрощать их, чтобы писать мелкими буквами, иначе строчки не уместятся на этой странице. Была бы у меня бумага, я написал бы письмо гораздо длиннее. А теперь мне едва хватит места, хоть маленькими буковками (однако с большим чувством), написать: «Люблю тебя!»

P. S. Все, что выше этого, написано вчера. Сегодня мы узнали, что до конца месяца наступать не будем. Повсюду изучаются результаты январской забастовки. А это была генеральная репетиция перед новым наступлением, всеобщим и победоносным, которое, наконец, вернет мне тебя (если ты все еще этого хочешь). Прости меня, что не зашел к тебе в тот день, когда обещал: просто не мог, надо было уезжать в наш отряд.

Сомневаюсь, что сегодня мне удастся достать еще листок бумаги. И выправить что-либо из написанного я тоже не успеваю, потому что одно очень доверенное лицо собирается в Леон, с ним я пересылаю это письмо. Человек этот наверняка сумеет передать его тебе. Вообще-то он ловок и хитер, как лиса, и смел, как... лев, точнее — как уроженец Леона [2]. Я уверен, что это письмо ты получишь. А главное — надеюсь, что, быть может, получу от тебя ответ. Прощается с тобой жарким, пламенным поцелуем твой поэт

Леонель».

Салинас дочитал последние строчки, на цыпочках подошел к зеленой шторе и закрыл ее, потянув за шнурок. Наступивший сумрак не принес ни малейшей прохлады. Наоборот, духота стала еще более невыносимой.

Не надеясь на облегчение, Игнасио все же еще раз прошелся мокрым от пота платком по лбу, провел им под глазами. Согнул в коленях ноги и уперся ими в кромку стола для разборки писем, каблуки же уместил на краешке сиденья собственного стула. Зажав подбородок коленками, он пытался в душной полутьме рассмотреть выражение лица Салинаса.

— Ну как? — спросил Игнасио.

Минуты две Салинас разглаживал складки шторы, чтобы не проник ни один луч знойного света.

— Ну все-таки как? — настаивал Игнасио, не меняя позы, хотя она была не очень-то удобна.

---

[1] Имеется в виду Сандинистский фронт национального освобождения.

[2] León — лев *(исп.)*.

Во взгляде почтового служащего трудно было прочесть ответ, он упорно продолжал теребить штору.

— Оставь ее, поговорим о нашем деле.

Салинас, тихонько приоткрыв штору, высунул голову в окно и с тщательностью часовых дел мастера осмотрел безлюдную в это время сьесты улицу.

— Никого,— сказал он, вытирая влажные ладони о низ шторы.

— А кто должен быть?

— Мало ли кто,— он обернулся к Игнасио, посмотрел на него настороженно.— Вдруг кто-нибудь следил за тобой.

Но даже широчайший зевок Игнасио, отозвавшийся во всем его теле, блаженно откинувшемся на спинку стула, не произвел впечатления на бдительного Салинаса. Он положил письмо на стол и тотчас же прикрыл его книгой Эмиля Людвига «Клеопатра».

— Выходит так,— сказал Игнасио,— трусишь?

— Я трушу? — Салинас даже подскочил.

— Тогда в чем дело? Иди и отнеси письмо.

— А может быть?..

— Что значит «может быть»? Сделаешь или не сделаешь — вот в чем вопрос. Если сделаешь — делай, а нет — так нет.

Салинас приподнял краешек книги и перечитал слова в письме: «...жарким, пламенным поцелуем твой поэт...»

— А почему именно я?

— Потому что ты! — рассердился Игнасио.— Потому что почтальоном работаешь ты, балда. И вполне понятно — почтальоны доставляют письма. Так лучше.

Салинас приложил указательный палец к губам и подчеркнуто перевел взгляд на окно. Подошел к нему, немного отодвинул штору и оглядел направо и налево улицу.

— Никого,— сказал он.

Потом возвратился к столу, поднял книгу и, не нагибаясь, разглядывал буквы, которыми были плотно испещрены три странички письма.

— Ты думаешь, девушке будет приятно получить такое послание?

Игнасио потянулся к столу, взял письмо и хотел засунуть в карман рубашки:

— Ладно, оставим! Если боишься, не носи!

Салинас резким движением выхватил у него листки, положил их обратно на стол и стал разглаживать.

— Но как же я это сделаю? — спросил он.

— Прежде всего вложишь письмо в конверт. На конверт наклеишь марку, а марку погасишь штемпелем.

— Но ведь штемпель здешний. А поэт находится в Ривасе [1], верно?

— Тогда тисни штемпель и сразу же смажь его пальцем. Получающий письмо читает, что в нем написано, а штемпель не рассматривает!

— Это ты так говоришь, потому что не тебе его нести.

Игнасио улыбнулся. Таким же перестраховщиком был когда-то и он. Больше думал о том, кто пойдет на задание, чем о его выполнении.

— Прости. Вообще-то все это важно.

— Наконец и ты меня понял.

— Я понял...

Салинас вложил письмо в конверт и, когда уже хотел послюнявить покрытый клеем край, задержался.

— Наверно, все равно, чьей слюной заклеивать...

— Все равно,— глухо ответил Игнасио, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться.

Салинас робко провел языком по клею, словно по оголенному проводу, и, положив письмо на рабочий стол, пришлепнул кулаком.

— Я ведь почему тебя спрашивал? Говорят, в Панаме наших военных обучают всяким техническим средствам.

— Ну и что?

— А вдруг по слюне на конверте можно узнать и хозяина языка. Так что адрес давай пиши сам!

Игнасио, придерживая карандаш зубами, правой рукой еще раз тщательно разгладил письмо, взял карандаш в руку и написал:

---

[1] Главный город одноименного департамента на берегу озера Никарагуа.

«Сеньорите
Виктории Менор,
4 квартала на юг от аптеки «Люси»,
г. Леон, Никарагуа».

Почтальон взглянул через его плечо на адрес и, когда прочитал имя, едва не задохнулся.

— Виктории Менор? Дочери Антонио Менора? Неужели письмо ей?

— Где марки?

— Вот это да! Значит, сестре Агустина! Ну и ну!

Салинас достал марку в одну кóрдобу [1] и приклеил к конверту, а Игнасио, смочив ее сверху слюной, поставил в правом уголке штемпель. Потом взял резиновую печать, подышал на нее, стукнул по марке и чуть-чуть сдернул в сторону, чтобы смазать надпись.

— Теперь сам Иисус Христос не разобрал бы, из какого города этот штемпель.

Салинас внимательно следил за священнодействием Игнасио и как будто даже дыхнуть остерегался. Наконец он выговорил:

— Могу я тебе доверить кое-что?

Игнасио снисходительно улыбнулся, почесал нос.

— Знаешь, одно время Викки мне очень нравилась...

— Влюблен был, что ли? — спросил Игнасио, наблюдая за тем, как лицо почтальона неумолимо заливается краской.

Салинас решил, что если невзначай поперхнуться, то можно будет уйти от ответа, и, поперхнувшись, вскинул голову, словно пытался выбраться из океана смущения.

— А ей так никогда и не говорил?

— Нє-е-ет,— каким-то чужим голосом протянул почтальон.

— Много ведь лет жили вы в одном квартале, наверно, масло покупали в одной лавке, слушали одни и те же пластинки, и компания-то была одна!..

— Она такая красивая!

— Ну?

— Одним везет, а другим... Красавицы не для меня.

— Дурацкая философия. Что значит везет — не везет, Салинас? Красивые женщины как раз потому всегда печальны и одиноки, что подступиться к ним считают себя вправе только мужчины-красавчики, которые нашептывают им всякие пошлости, ищут возможности прогуляться с ними по улицам, чтобы показать — вот мол, мы какие,— ну и всякое там другое.

— К тому же я ведь совсем не умею разговаривать.

— Это и не обязательно. Вот я, например, когда испытываю к какой-нибудь женщине глубокое чувство, как твое, допустим... я молчу и не свожу с нее глаз, вот и все.

— И действует?

— Наверняка.

— А я и молчать-то как следует не умею.

Салинас взял письмо со стола и покрутил им перед глазами Игнасио, точно последней веской уликой:

— Нет, ты понимаешь, в кого влюбилась? В какого-то поэта!

Игнасио пристально взглянул на него:

— В нашего компá! Не подумал?

Салинас прикинул вес письма, а воспоминания каруселью закружились в его голове.

Игнасио между тем прошел в глубь комнаты и провел рукой по запыленной крышке какого-то аппарата, стоявшего в углу.

— Телеграф? — не оборачиваясь. спросил он Салинаса.

— Да.

— Умеешь работать?

— Видел, как работают, но пробовать не пробовал.

Игнасио резко повернулся и быстро приблизился к Салинасу, ткнув пальцем ему в грудь:

— Должен научиться!

---

[1] Денежная единица Никарагуа.

— Зачем? На нем работает другой человек. Приходит по утрам и отправляет телеграммы.

Игнасио схватил почтальона за плечи и на ухо проговорил:

— Ты должен научиться! — Он подмигнул Салинасу и расплылся в улыбке.— Это приказ!

Почтальон в недоумении застыл посередине комнаты, а Игнасио вышел, пропустив в комнату немного света, но не воздуха. Салинас еще некоторое время постоял в оцепенении, а потом вдруг сорвался с места будто ракета, выбежал на улицу и, зажав в кулаке письмо, вприпрыжку бросился за Игнасио. Догнав, он стал опять размахивать перед ним конвертом, как неким доказательством.

— А почему бы тебе самому не передать это письмо? Вы живете рядом. Если не хочешь вручать лично, можешь сунуть под дверь.

Стиснув пальцами подбородок, как делал обычно, Игнасио слушал его, внимательно вглядываясь в высокое небо, будто пытаясь определить, польет ли сегодня дождь.

— Еще вопросы есть?

Салинас отпрянул, как бы стремясь защититься от новых внезапных и острых атак Игнасио:

— Да нет, понимаешь... это все... других нет.

Игнасио неторопливо обвел взглядом тротуары и перекрестки квартала. Помедлил, спокойно потер нос, дождался, пока пройдет какой-то незнакомый, хорошо одетый сеньор, и только тогда взял обеими руками руку почтальона с письмом и крепко, по-братски пожал ее.

— А насчет «почему» я тебе вот что скажу: когда-нибудь и ты должен начать!

VI

Когда миновали госпиталь Сан-Висенте, Агустин взял в руки потрепанный чемодан и подумал о его содержимом. Зеленое платье с глубоким вырезом для Мириам. Матери — черные туфли, соседке — коричневые. Нет, лучше обе пары отдать матери, и пусть она сама решит, кому какие. Голубая блузка для Викки, зеленая — для Мириам. Все зеленое — Мириам. Зеленая блузка, зеленое платье. Справа — блок сигарет «Уинстон». Его надо разделить пополам: одну часть — дяде Эмилио, другую — отцу. Нет, половину отцовской половины — Викки. Или лучше так: три пачки — отцу, четыре — Викки, остальные — дяде Эмилио, он заядлый курильщик. А все рубашки отцу. Чистенькие, отглаженные — в полиэтилене! Пятнадцать кордоб заплачено, сеньор, монета к монете — готовили как на выставку. Хорошая женщина эта донья Марта. У нее первоклассные вещи, хотя и не новые. Старик скажет: «Какие свежие!»

Услыхав скрип тормозов, он улыбнулся. Когда поезд остановился, в вагоне, казалось, не осталось даже воздуха. Парень сразу же окунулся в привычные запахи торговых рядов, сообщающие о том, где и что продается у уличных торговцев — все без изменений, несмотря на прошедшие годы.

Агустин перемахнул через ступеньки и с непривычной для окружающих торопливостью бросился по перрону, размахивая чемоданом. Его вновь переполнила прежняя беззаботная радость, с какой лет десять назад он пробегал здесь со школьным ранцем после занятий: пустой желудок придавал какую-то невесомость, и голова кружилась от аппетитных благовоний, исходящих от лотков со съестным.

На краю перрона он остановился, по-прежнему размахивая чемоданом, и смотрел на стоянку междугородных автобусов, словно зачарованный пестротой толпы пассажиров и бродячих торговцев. Все бурлило в этой ошеломительной круговерти — да, это был Леон, город его детства!

Чтобы сэкономить время, Агустин по ходу спрыгнул на рельсовый путь, разделявший улицу. Железный ручей. Шагая по шпалам, он с любопытством заглядывал в окна и двери домов, где не раз обедал, делал уроки со школьными приятелями или до поздней ночи засиживался за игрой, так что отец в пижаме выходил разыскивать его. Во дворах люди, утоляя жажду, потягивали лимонад. Хорошо было бы встретить продавца льда на велосипеде. К сожалению, в этом квартале, похоже, все жители были либо сапожниками, либо парикмахерами. Через несколько шагов его удивило, что не попался ни один знакомый. Несколько позже все же встретились двое-трое, кого он, может быть, и видел раньше, но люди проходили мимо, не обращая на него внимания. Наверно, не узнают: стандартная солдатская стрижка обезличивает, подумал

он. Ведь соседям, вероятно, больше всего запомнилась его шевелюра, разлетавшаяся в танце с Мириам в клубе пожарников. Но, свернув на улицу, которая вела к его дому, он встретил Игнасио, несшего велосипедное колесо, и по его неприязненному, быстро скользнувшему взгляду понял, что здесь кроются другие причины.

— Вот, получил увольнительную на воскресенье,— смущенно пробормотал Агустин.

Игнасио, крепко прижав шину к ободу, сделал вид, что внимательно рассматривает ржавые спицы колеса. Возможно, он собирался что-то сказать, однако лишь пошевелил во рту языком и неопределенно покрутил пальцами. Тотчас же отошел от Агустина и так стремительно свернул за угол, что ударился локтем о стену. Солдат хотел было свистнуть ему, но вдруг почувствовал какую-то растерянность и пошагал дальше, все так же размахивая чемоданом, хотя уже без прежнего радостного возбуждения.

Его несколько удивило и то, что двери их дома оказались закрытыми. В Леоне, изнывающем от жары, обычно старались устраивать в домах сквозняки, и только по ночам, когда человеческие страсти перемешиваются с темнотой и прохладой, двери закрывались. Вообразив себе, как через мгновение он появится в гостиной перед удивленными взорами родных, Агустин нажал на дверную ручку. Амалия, его мать, подметала пол. Свет от распахнутой двери заставил ее обернуться, и, узнав сына, она всплеснула руками, похлопала себя по лбу, точно увидела чудо. Бросив швабру, она обняла Агустина, подставляя поочередно щеки для поцелуев. Агустин даже не успел поставить чемодан. От материнской ласки его охватила щемящая радость, он ощутил себя крошкой, запутавшимся в складках ее платья. А мать вертела его, будто в беззвучном вальсе, потом чуть отпустила и еще раз крепко поцеловала в щеку.

На пороге двери, ведущей в кухню, появился отец.

Агустин высвободился из объятий матери и распростер руки для объятия, направляясь к отцу, улыбаясь и все еще не выпуская чемодана. Дон Антонио странно заморгал, словно что-то попало ему в глаза, взял кувшин с водой, отодвинул кружку и, отвернувшись, долго и молча пил прямо из горлышка.

— Что ж не здороваешься, отец? — не вытерпел Агустин.

Дон Антонио отпил еще глоток, рукавом рубашки вытер рот и, не глядя на сына, пробормотал:

— Добрый вечер.

Опустил руки с кувшином и, похоже, о чем-то задумался.

— Я ведь предупреждал, что приеду! — воскликнул Агустин.— Мое письмо не дошло?

Мать подняла глаза на отца, побуждая его ответить.

— Нет,— процедил сквозь зубы отец.— Ничего не получали.

Мать погладила сына по голове.

— Главное, что ты приехал.

— Только до понедельника.

— А Марсело отпустили?

— Нет. Он там остался. Я видел у казармы его мать, бродила...

— Ей разрешили свидание?

— Что ты! Теперь никому ни войти, ни выйти.

Дон Антонио, казалось, прислушивался к звукам, доносившимся с улицы, но вдруг резко повернулся к Агустину:

— А тебе, скажи-ка, как это удалось выйти?

Юноша вспомнил, что в детстве ему легко было всякими ужимками рассмешить отца, и, приподняв брови, он заговорщически подмигнул:

— Святой заступник помог.

Но отец не улыбнулся, не запустил свою волосатую руку ему в шевелюру, не похлопал по щеке, а спокойно сказал: «Извини» — и вышел из кухни, разойдясь в дверях с дядей Эмилио.

Дядя подошел к солдату, небрежно потрепал его по голове и провел рукой по чемодану, так и не поставленному Агустином на пол.

— Сигарет привез?

Не слушая его, Агустин взглянул на мать, будто спрашивая о непонятном поведении отца.

— Пройдет...— сказала она.

Дядя Эмилио залез своими густыми прокуренными усами почти в ухо Агустину и шепнул:

— Как потерял работу, совсем чудной стал.

— А что делает?

— Немного помогает мне в кино, остальное время болтается так.

Мать сняла передник, положила его на стул и вышла. Агустин и дядя Эмилио остались в комнате и, по-прежнему стоя, молча улыбались друг другу. Юноша глубоко вздохнул и с теплым чувством оглядел убранство комнаты, как при встрече со старыми друзьями: намертво приклеенный к стене старый календарь еще на декабрь 1960 года с рекламой фирмы Хосе Хирона на фоне вулканического пейзажа, пожелтевшая фотография с автографом Рубена Дарио, маленькая почтовая открытка, на которой запечатлена урна поэта в кафедральном соборе Леона, сломанный электрический вентилятор, вот уже два года ожидающий починки, вышитая скатерть из Масайи, привезенная им после первой получки в Школе основной подготовки пехоты.

Дядя Эмилио позволил племяннику насладиться передышкой в семейном сражении.

Вдруг тишину прорезал приближающийся звук полицейской сирены.

— Каждый день начинают все раньше,— произнес дядя.

Фотоснимок первого причастия привлек внимание Агустина. Он и Викки с лицами как у киноактеров: слащаво-задумчивые взгляды, волосы Агустина сцементированы бриллиантином, у Викки — покрыты вуалью с блестками и бусинками. Лента с золотыми буквами засвидетельствовала для историй дату этого святого дня. Под снимком оба подписали: «Нашим дорогим папочке и мамочке от Тина и Викки». Хотя Викки выглядела на фото серьезной, Агустин разгадывал на ее лице еле сдерживаемый смешок, слегка растягивавший губы, смешок — зародыш того светильника, которым она впоследствии озаряла все, на что бы ни взглянула: милая ловушка, в которую попадал не один волокита-самоучка, уверенный в своей мужской неотразимости. Позже все они, похудевшие от любви, околачивались на углу их дома или осаждали подъезд лицея с единственной надеждой — дождаться хотя бы улыбки Викки. В ее интимном альбоме хранились сгоревшие сердца и опаленные строфы из «Двадцати поэм о любви» Неруды. Затем Викки стала Клаудией из эпиграмм Карденаля и в то же время — зеницей ока Беккера [1]. Почти на половине листа ее альбома какой-то доморощенный гений утверждал: «Поэзия — это ты».

Виктория была провинциальной луной, притягивавшей взоры будущих астронавтов, торговцев обувью, меланхоличных бейсболистов, уличных забияк со шрамами и без оных и даже чиновников с тщательно ухоженными усиками. Годы спустя, когда назревавшее восстание уже перестало быть лишь намерением и слова «заря свободы» опьяняли сильнее, чем гуаро [2] натощак, к ее юбке стали тянуться бледные студенты-заговорщики, не нашедшие себя в гистологии и попавшие в силки Великого Соблазнителя, самые отчаянные читатели трудов Сандино, Марти и Мариатеги [3], оказавшиеся не в ладах с математикой и химией, но глубоко усвоившие формулы бомб со взрывчатой смесью, географию уязвимых мест в американских танках «шерман», знатоки боевых свойств автоматов, не брезговавшие, однако, при необходимости и скромной веревкой.

Агустин помнил, как он — торжествующий, с гордо поднятой головой — выходил из школы и поджидал Викки, вылизывая мороженое из стаканчика. Она появлялась, как всегда потряхивая своими косичками. Тут же расстегивала верхнюю пуговицу школьной блузки, откуда выглядывали золотистые полукружья ее груди. «Ну и жара!» — обычно говорила она при этом. Они вместе начинали путь к дому, и Агустин чувствовал, как у него по спине пробегают мурашки от триумфальной музыки медных труб и нежных скрипок, звучных цимбал и оглушительных литавр, забивавших бормотание и вздохи влюбленных. Тот факт, что он был ее родным братом,

[1] Ряд эпиграмм Эрнесто Карденаля, написанных в 1952—1956 гг., был посвящен некоей Клаудии. Густаво Адольфо Беккер (1836—1870) — испанский поэт-романтик.

[2] Алкогольный напиток из сока сахарного тростника.

[3] Аугусто Сесар Сандино (1893—1934) — герой национально-освободительной борьбы в Никарагуа; Хосе Марти (1853—1895) — национальный герой Кубы; Хосе Карлос Мариатеги (1895—1930) — основатель Коммунистической партии Перу.

давал ему определенные преимущества. С тех пор как ей исполнилось тринадцать, а ему двенадцать, он перестал быть для мальчишеского окружения просто Тином, его все признали «братом Викки». За ней волочились — помимо местных ухажеров, то есть всех ястребов Субтиабы — проныры района Эстрелья, окрестностей Кампо Медико и даже из Манагуа, столицы озер и землетрясений, сердцееды благоухали лосьонами для бритья, щеголяли в модных туфлях.

Если среди ребят намечалась игра в бейсбол, оба капитана устраивали прежде соревнование между собой, и победивший получал право первым набирать команду. При этом обычно победитель без колебаний говорил: «Я беру брата Викки!» — будто Агустин не понимал, что за этим невинным выбором таится своеобразная тактика влюбленного: начав с обозрения дворца и подъемных мостов, ведущих к нему, кончить все тем же — однажды ночью атаковать принцессу в ее спальне.

Но Виктории одинаково неинтересны были и нудные галантные кавалеры, и те, кто слишком быстро давал волю рукам. И от тех и от других она обычно отделывалась, ссылаясь на спасительный предлог: «Мне надо заниматься с братом». Тем же, кто обещал ей стать чемпионом в бейсболе или соблазнял счастливым будущим благодаря наследству, она в ответ откровенно зевала, поблескивая острыми зубками. Сладкоречивых поэтов, суливших ей рай в шалаше и короны из цветов, она обычно просила высказываться поконкретнее. И наоборот, тех, кто делал ставку на подарки, упрекала в отсутствии абстрактного мышления. Поклонников из числа секс-суперменов — победителей конкурсов «Мужественность» или «Соблазненные девственницы» — она уведомляла, что у ее отца есть «во-от такой здоровенный автомат, и держит он его отнюдь не для партизанской борьбы...». Как-то во время студенческого митинга, завершившегося сооружением баррикад, Викки в знак несогласия с малозначительной ролью, отводимой женщинам в будущей борьбе против диктатуры, смело выступила с трибуны. Хотя все на этом митинге называли себя революционерами и действительно в основном это были настоящие мужчины, но нашлись и люди с отсталыми взглядами. «Хорошо, хорошо, товарищ! — крикнул ей председательствовавший.— Мы здесь обсуждаем революционные проблемы, а не женские глупости!» Викки схватила первое, что ей попалось под руку — карандаш «Фабер-2», и метнула его с точностью стрелы прямо в лоб председателя. «А когда же будем обсуждать наш вопрос?» — крикнула она, подливая масла в огонь среди участниц митинга. «Когда победит революция»,— ответил председатель. Викки рассмеялась, подражая трагической оперной певице, и сказала: «Эх, вы! Точно так же до вас говорили другие, но потом одумались...»

Наконец, преодолев всяческие трудности, Викки окончила лицей, смогла положить перед родителями и самыми настойчивыми поклонниками блестящий диплом. На празднике по этому поводу, начавшемся в узком кругу семьи, а закончившемся нашествием поклонников — «каменных гостей», Викки объявила свой тщательно продуманный пятилетний план.

Первое. Я — единственный член нашей семьи — непременно поступлю в университет и тем самым отблагодарю своего отца Антонио, брата Тина и любимую мать, которая даже поседела от стольких жертв и воздержаний ради того, чтобы я «вышла в люди».

Второе. Набивающиеся в душеприказчики школьные приятели, пылкие влюбленные, официальные претенденты и самозваные женихи начиная с этого момента отстраняются от своих прежних ролей и переходят в строгие рамки категории «просто друзей». Это изменение их положения не должно рассматриваться как постоянное, в будущем оно может быть пересмотрено. Действие этого правила определяется не конкретными сроками, а целью — получить высшее образование.

Третье. После глубоких размышлений, изучения программ и других документов, после тщательного анализа, подсчетов всех расходов на материалы, книги и инструменты, а также учета спроса и предложения на национальном и центральноамериканском профессиональном рынках я пришла к решению поступить на (долгая пауза)... на стоматологическое отделение. Основание: занятия не столь продолжительные, как на лечебном, и в то же время не столь абстрактные и далекие от жизни, как на юридическом (а особенно, папа, в нашей стране, где кодекс законов уважают меньше, чем сигналы транспорта на улице)...

Отец вернулся в комнату и остановился, потирая небритую щеку. Сняв с себя взмокшую рубашку, он держал ее одним пальцем.

— Что у вас? — спросил он резким тоном.

— То есть как это что у нас? — с теми же интонациями переспросил его дядя Эмилио.

— Я говорю, стоите тут, будто истуканы, и молчите.

Эмилио, засунув руку в чемодан, стал рыться в вещах, пока не нащупал блок сигарет. Нарочно надавил на него, громко разрывая целлофан, в надежде хоть немного отвлечь Антонио от его мыслей.

Вошла мать с завернутой в полиэтиленовую упаковку курицей. Дон Антонио, встряхивая рубашку, направился к окну. Агустин выложил подарки на стол.

— Я тут привез вам кое-что.

Когда он поднял три тщательно сложенные сорочки, мать подмигнула ему, чтобы он сразу же вручил их отцу. Дон Антонио бросил взгляд на вещи, предназначенные для него, поколебался на миг, заметив напряженное состояние жены, грубо схватил сорочки, смял их и бросил на стол. Затем все его внимание опять привлекли выбоины и масляные пятна на мостовой, увиденные из окна.

— Спасибо,— отрезал он, не оборачиваясь.

— Чем ты недоволен, отец?

Дон Антонио оторвался от окна, распрямился и медленно повернул голову.

— Ты что-то сказал мне?

— Что ж, ты настроен против меня?

Отец вновь посмотрел на улицу.

— Забирай все это,— сказал он, ни к кому не обращаясь.

— Отец?

Внезапно дон Антонио рванулся к сыну, крепко вцепился в его форменную светло-зеленую рубашку.

— Это дерьмо! Убирай его немедленно из моего дома!..

Он выскочил в кухню, и старые доски пола заскрипели под его шагами. Мать кончиками пальцев провела под глазами, а дядя Эмилио стал обмахиваться своей соломенной шляпой. В губах торчала так и не зажженная сигарета, и он гонял ее языком из одного угла рта в другой. Потом натянул на голову шляпу с таким отсутствующим видом, будто надевал ее на кого-то другого, растерянно похлопал себя по карманам.

— Дай прикурить.

— Оставайся обедать,— предложила мать.

— Надо открывать кино. Сегодня утренний сеанс...

Он рассовал пачки «Уинстона» по карманам пиджака и потом не спеша и аккуратно стряхивал несуществующую пыль с лацканов.

— Сегодня показываем фильм «Пираньи»...

Едва дядя открыл дверь, ужасающей силы взрыв где-то совсем близко потряс дом. Эмилио так и застыл на пороге. Отец быстро прошел в середину комнаты. Все молча стояли, прислушиваясь к зловещей тишине, воцарившейся вслед за взрывом. Только подрагивание земли все еще отдавалось в хлипких стенах дома, с подставки сорвалась и разбилась статуэтка святого Иосифа. И в ту же минуту взревела сирена, раздался гул одновременно заведенных моторов многих джипов. Откуда-то сверху обрушился дождь пуль, тяжелых, как капли тропического ливня, налетевшего в час сьесты.

— Что же делать? — спросила мать.

Мужчины не ответили. Где-то неподалеку от дома не прекращался непонятный шум, сквозь трескотню выстрелов было слышно, как кто-то крикнул: «Родина или смерть!»

В дверь вдруг влетел донельзя запыхавшийся Игнасио. Несколько мгновений он стоял, едва переводя дыхание, будто кровь у него отлила от сердца, а потом протянул руки, почерневшие от пороховой гари, к глазам Антонио. Всего какой-нибудь час назад Агустин видел, как Игнасио этими же руками нес безобидное велосипедное колесо. Отец подхватил Игнасио за локоть и рывком вытолкнул во двор. Агустин автоматически последовал за ними. Отец и Игнасио подбежали к каменной ограде, отделявшей их двор от соседского, Игнасио подпрыгнул и ухватился за парапет. Отец быстро сцепил руки на уровне живота, наподобие стремени, и парень, оттолкнувшись от него ногой, взмахнул на гребень стены. Как будто сам чему-то удивляясь, Игнасио

заморгал глазами, быстро оглянулся и исчез. Стряхнув с рук землю, отец обессиленно приложил их к сердцу, словно пытаясь умерить его биение.

Когда дон Антонио вернулся в дом, его встретили вопрошающие взгляды Эмилио и жены. В ответ он ограничился кивком головы, указав на смежный двор. С улицы послышался тяжелый топот армейских ботинок по тротуару. Тотчас же усевшись за стол, отец отрывистым жестом приказал сесть и остальным. Те мгновенно опустились на стулья и, следуя примеру отца, пододвинули к себе пиво и стаканы. На дверь не смотрели, но слух заменял глаза. У дяди Эмилио стакан скользнул по скатерти, дядя не успел схватить его, и стакан упал на пол, но не разбился.

— Осторожнее, черт тебя возьми! — прошипел отец.

Дядя положил шляпу на сомкнутые колени, сел, строго выпрямившись, как педантичнейший чиновник. Только мать поднялась со своего места, чтобы затемнить окна, уменьшив на жалюзи щели между деревянными рейками. Создав в комнате полумрак, она вернулась на место. Агустин нащупал было выключатель настольной лампы, но тут же сообразил, что зажигать ее не следует.

Прошло минут пять. Дон Антонио поднес бутылку с пивом к лицу и провел ею по лбу:

— Хочешь, принесу другую?

— Шило на мыло? — пробормотал отец, неторопливо наполняя бокал, чтобы пивная пена не пролилась через край.— Вы тоже пейте эту бурду, не то сгорите от жажды.

Амалия поставила между Агустином и отцом — вроде границы — блюдо с курятиной. Дон Антонио даже не посмотрел на него, Агустин взял двумя пальцами кусок и осторожно поднес ко рту.

— Ешь! — сказала Амалия мужу.

Дон Антонио бросил оценивающий взгляд на блюдо и отодвинул его к середине стола.

— Не могу.

Агустин, чтобы усидеть на месте, должен был крепко, до боли ухватиться за стул, словно пульсирующая в жилах кровь могла оторвать его от сиденья и подбросить в воздух. Сдерживаясь из последних сил, он старался не закричать. Наконец, сорвав форменную рубашку, он положил ее против пустой тарелки отца. Стянув майку, он бросил ее на рубашку и, раздирая ногтями грудь, выкрикнул:

— Ты этого хочешь, отец? Что я еще должен снять? Хочешь, чтобы я содрал с себя шкуру? Чтобы оторвал голову? Что еще? Убить себя? Исчезнуть?

Отец небрежно отодвинул его одежду и встал, уставившись в голую грудь сына.

— Спрашиваешь серьезно?

— Антонио! — взмолилась Амалия.

— Дай договорить! — оборвал ее муж.— Молодой человек желает знать, чего я хочу, сейчас я именно это ему и скажу!

— Говори! — задыхаясь, выкрикнул сын.

— Хочу, чтобы ты дезертировал! Понятно? Чтобы не возвращался в казарму, болван! Чтобы дезертировал!

— Я думаю, что мне пора идти,— сказал дядя Эмилио, не трогаясь с места.

Агустин видел, что отец чуть ли не готов наброситься на него, и каждое отчеканенное им слово было точно удар кинжалом или камнем. Юноша непроизвольно выставил руки вперед, будто защищаясь.

— Ты складно говоришь, да плохо думаешь,— задыхаясь, ответил он.— Знаешь, что бывает с дезертирами?

— Знаю. Если поймают, расстреливают!

— И отца, мать, брата, собаку, канарейку — всех, кого найдут.

— За нас не беспокойся.

— За тебя не беспокоиться! А что я буду делать, если сбегу со службы? Бродяжничать и просить милостыню, пока меня не поймают и не пристрелят? Болтаться, как детский змей без хвоста? Или ты — сам безработный — будешь меня содержать?

Он умолк на мгновение, чтобы перевести дыхание, и увидел, что отец плюхнулся на стул и, схватив себя за горло, с силой, в слепой ярости стал растирать шею. Так обычно бык роет копытом песок арены, прежде чем броситься на бесящее его колыхание красного плаща. Агустин понимал, что у отца все переворачивается внутри, гнев способен погнать вспять поток крови, отец кусает себе язык, потому как не может

найти слов — их вообще не существует,— чтобы опровергнуть доводы сына. А сына эта победа в размолвке с отцом опустошила. Он тоже затих, только ноги еще продолжали дрожать.

Агустин потянулся было к пиву, но передумал. Засунул поглубже в карманы крепко сжатые кулаки.

Отец молча метнул два коротких взгляда — на жену и брата,— два укора, две горестные жалобы и, не встретив в их глазах ни поддержки, ни подсказки или сочувствия, вдохнул удушливый воздух помещения и произнес:

— Будем есть...

VII

Когда Салинас вышел из местной конторы благословенной никарагуанской почтовой связи со старой сумкой на правом плече, в форменной фуражке, торжественно красовавшейся на голове, в рубашке, отчищенной от пятен крепким спиртом, жители соседних домов, задержав визиты в магазины, все внимание сосредоточили на нем: он шагал размеренно, полный достоинства и профессиональной гордости. Адвокат Ривас, читавший «Новедадес», прислонясь к двери своего бюро, тоже следил за его продвижением, хотя и старался делать это незаметно, прикрываясь газетным листом.

— Салинас! — крикнул он, подумав, что почтальон может уйти, и тогда, чтобы догнать его, придется бежать под палящим солнцем.

Салинас обернулся на оклик и, желая дать понять, что очень торопится, стал постукивать каблуком по грязной мостовой.

— Трудишься? — еще издалека спросил Ривас.

— Как всегда.

Две или три соседки остановились на противоположном тротуаре, привлеченные их разговором.

— А что несешь, письма или листовки?

— Политикой я не интересуюсь.

Ривас подошел к почтальону и похлопал по сумке.

— А все-таки много чертовщины тащишь?

— Всего, конечно, хватает.

— Мне ничего нет?

Салинас с ясностью приговоренного к смерти припомнил все случаи, когда он колебался перед выбором: пополнить ли письмом, адресованным Ривасу, коллекцию в курятнике или брести под отвесными лучами полуденного солнца к его бюро, да еще к тому же выслушивать далеко не бодрящий поток его шуток. И как всегда — так учили его еще в школе,— он выбирал самый короткий и простой путь.

— Первое, что я делаю каждое утро, смотрю, нет ли чего для вас, сеньор доктор. И если бы что-то было, вы получили бы прежде всех.

Адвокат сощурился. Его взгляд излучал доверие, смешанное с иронией: он полагал, что таким образом надежнее всего испытать правдивость почтальона. И комбинация сработала. Салинас, опустив глаза, носком ботинка стал ковыряться в дорожной пыли, словно хотел вырыть колодец, в котором можно было бы спрятаться.

— Ну что ж, придется сообщить капитану Флоресу о том, как идут дела в почтовой конторе.

— Сообщайте, доктор, и Флоресу и Сомосе, если вам угодно. Но дело не в почте, а в революции.

— Какая, к дьяволу, революция! Ты думаешь, пальнуть раз тут, раз там — и вот уже революция? Чтобы победить, нужна поддержка народа!

— В политике я не разбираюсь...

— Сомоса будет править в Никарагуа до скончания века!

Неожиданным движением руки адвокат нагло ухватил почтальона за подбородок, задрал ему голову и провел пальцем по шее. Салинас, мотнув головой, перехватил его руку и решительно отбросил от себя.

— Милый мой, не уверяй меня, что ты только что побрился. Просто кожа у тебя чистая, как грудь монашки.

— Доктор,— ответил Салинас,— не надейтесь, что вы подыщете себе партнера таким способом.

Соседки, стоявшие на противоположном тротуаре, насторожились и стали потихоньку приближаться к ним.

— Так, значит, для меня ничего? — поспешил оборвать разговор Ривас, вытирая лоб платком.

— Ничего, доктор.

— Если что будет, извести.

Адвокат пошел к себе, и взгляды женщин заметались, как собаки, запутавшиеся в ногах хозяев. Будто почувствовав эти взгляды, адвокат споткнулся о ступеньку своего бюро, так что был вынужден ухватиться за притолоку двери, чтобы не ткнуться носом в камень.

А Салинас с подчеркнуто деловитой торопливостью большими шагами продолжал свой путь. Он намеревался пройти мимо стоянки междугородных автобусов, обогнуть ее и вдоль рельсов добраться до авениды Дебайле. Но еще у муниципалитета он заметил, что ни у одной из почтенных свидетельниц его диалога с Ривасом не пропал интерес к нему. Прекрасно представляя себе, что делалось за его спиной, почтальон замедлил шаг, приостановился и сразу же обернулся. За ним следовала небольшая толпа: дети, безработные, нищие, старухи, продавцы газет — всего, прикинул он, человек двадцать. Как ни в чем не бывало они тоже остановились, будто выполняя на расстоянии негласную команду почтальона.

Салинас перевесил сумку на другое плечо — отвыкнув от столь долгих маршрутов, он уже начал потеть — чего доброго, еще лопатку намозолишь. «И всего-то из-за одного письма!» — философски подумал он, проводя языком по пересохшим губам, и даже пожалел, что не прихватил из курятника какое-нибудь старое послание, адресованное парикмахеру дону Чепе, уж тогда-то он смог бы пропустить холодного пивка — на все сто процентов гарантия!

Когда Салинас завернул за угол, откуда шла прямая дорога к дому Виктории, он, не оглядываясь, сумел заметить, что любопытных, собравшихся позади него, уже хватило бы для организации какого-нибудь парада или для процессии. Люди шли, непринужденно болтая между собой, и, казалось, готовы были следовать за Салинасом, куда бы он ни направился, даже если бы пришлось идти пешком до Манагуа. Почтальон почувствовал, как все поры его тела изливают пот, разъедавший кожу, и неприятное ощущение пробуждало в нем злость, которая возрастала по мере того, как он приближался к пункту назначения. Не выдержав, он обернулся и замахал на зевак, как на кур, желая их прогнать.

— Ладно! Хватит! — закричал он.— Давайте расходиться!

Процессия остановилась. Салинас продолжал взмахивать руками, словно пытаясь смахнуть преследователей с лица земли.

— Кому сказал, расходитесь! Не разойдетесь — доложу в полицию!

— Зачем же так, дон? Что мы такого делаем? — затараторила какая-то старуха и стала искать поддержку у остальных.

— Вы мешаете идти официальному лицу,— ответствовал Салинас.

— Как же мы можем мешать, если вы идете впереди, а мы сзади?

— Корреспонденция — частная! — подчеркнуто заявил почтальон.— Никому бы из вас не захотелось, чтобы ваши письма попали в чужие руки.

— Мы даже не знали, что вы несете письмо.

— Чуть ли не лезете ко мне в сумку!

— Разве не видно, что мы идем в лавку? — ответила та же старуха, показывая свою плетеную сумку.

Другие женщины тоже подняли сумки, да так вызывающе поглядели на почтальона, что он почувствовал уколы их взглядов.

— Вот чертовы куры! — ругнулся Салинас как бы про себя и еще быстрее зашагал в немыслимом для тропиков темпе. За минуту он прошел почти два квартала, оторвавшись от толпы старух и безработных, оставшихся на углу. Теперь его окружали только прыгавшие и кувыркавшиеся ребятишки.

Почтальон остановился у дверей дома Виктории, боясь, что дикое сердцебиение не позволит вымолвить и слова. Он прижал руку к груди, пытаясь удержать будто сорвавшегося с цепи пса. Вдруг у него мелькнула ужасная мысль: чего доброго, под ногами образуется лужа соленого пота. Торопливо отерев лоб рукавом и сделав над собой усилие, даже звоном отозвавшееся в ушах, почтальон постучался в дверь.

Его кулак будто обладал магической силой — в проеме двери тотчас же появилась улыбающаяся Викки. Салинас стоял перед девушкой, оробевший от ее улыбки, от ее пухлых губ, не знавших помады, и ему казалось, что на него обрушился водопад.

— Письмо? — нетерпеливо спросила Викки гортанным, словно из сердца вырвавшимся голосом.

— Письмо,— не слыша себя, выдохнул Салинас.

— Для меня?

— Да.

— От кого?

Охваченный волнением, Салинас уже готов был произнести первый слог имени, но закусил губу, опустил голову и понуро уставился в землю.

— Да вот... — промямлил он.

Девушка ждала, что почтальон наконец вручит ей конверт, а он стоял, замерев в неудобной позе, будто они находились на балу в лицее и танец уже кончился, но еще нельзя оставить партнершу — еще не прозвучал последний такт музыки.

— Так давай же его! — потребовала Виктория.

— Да-да, конечно.

Он опустил руку в сумку, без промедления нащупал и вытащил единственное за два последних месяца письмо и положил ей на протянутую ладонь.

— Хорошие новости? — спросила девушка.

Салинасу было ясно: если кто когда-нибудь предложит ему определить, что такое стыд, он непременно вспомнит этот момент, свое покрасневшее лицо.

— Что с тобой? Ты весь горишь? — воскликнула Викки.

«От жары»,— хотел сказать Салинас, но не смог.

— Зайди к нам, выпей пива,— девушка решительно взяла его под руку и гостеприимно повела в дом.

После улицы, залитой солнцем, трудно было сразу освоиться в полумраке.

— Привет, Салинас! — услышал он голос дона Антонио.

— Добрый вечер, дон Антонио,— ответил почтальон, все еще не видя собеседника, но предполагая, что тот находится слева.

— Заходи, выпей пивка!

Прикосновение к холодному стакану привело его в себя. Медленно втянув жидкость, он языком облизал пену с губ. Потом поболтал остатки пива в стакане, будто взбалтывая виски со льдом. После освежающего глотка лицо дона Антонио проступило из темноты довольно явственно, и даже уличный шум не так раздражал, а выкрики мальчишек уже не заглушали щебета птиц.

Виктория подошла ближе к окну и стала рассматривать письмо на свет, переводя взгляд от своего имени к имени отправителя, пытаясь разобрать почтовый штемпель.

Салинас покончил с пивом до последней капли, опрокинув стакан почти отвесно, и со стуком поставил его на стол.

— Спасибо, дон Антонио.

— Может, останешься? Потолкуем...

— Надо разносить почту.

Салинас направился было к девушке, намереваясь сказать ей что-нибудь на прощание, но остановился, залюбовавшись ее фигурой, тонкий солнечный луч нежно коснулся мочки уха Виктории, и у парня чуть не закружилась голова. Ему страшно захотелось прикусить чуть-чуть это ушко, так восхищавшее его еще со школьных лет, со времени ребячьих игр на этой улице и утренних сеансов в кинотеатре Гонсалеса, когда, отбив у друзей место позади Виктории, он с неизъяснимым волнением — неизмеримо большим, чем на велосипедных прогулках,— смотрел на мягкий изгиб ее шеи.

Однако тут он случайно перехватил взгляд дона Антонио, словно воздвигнувший преграду между ними.

— Проводи меня до порога,— попросил он Викки.

Та, сунув руку с письмом в карман, посмотрела на Салинаса и пошла с ним к двери легким, порывистым шагом, показавшимся почтальону балетным па. На тротуаре их окружили дети, один из них потянул Викки за юбку.

— Это тебе было? — спросил он, тараща на нее глазенки, едва различимые на грязном лице.

Девушка взяла Салинаса под руку и пошла, провожая его по пути к почтовой конторе. Почтальон заметил, с каким удивлением следили за ними старухи и другие зеваки, притащившиеся сюда. Он попробовал представить себе, как выглядит рядом со своей спутницей. И вскоре, даже не будучи поэтом, нашел образ, наиболее точно отражавший его состояние. Слова уже свободнее слетали с его губ:

— Я чувствую себя оторвавшимся от нитки красным воздушным шариком, летящим куда-то ввысь,— сказал он и перевел дыхание.

— На тебя что-то нашло? Ты вдруг так чудно заговорил,— удивилась Викки и повела взглядом вокруг, будто желая признаться ветру, солнцу, деревьям, людям: вот я здесь, с вами, я — частица вас, я люблю вас такими, какие вы есть, мне нравится, что я вам нравлюсь, мне нравится, мне приятно, я в восторге, что иду по улице под руку с Салинасом, мне по душе любопытство старух, которые отводят глаза, притворяясь, что не следят за нами!

А вслух произнесла:

— Сублиме...

— Прошу тебя,— перебил он,— называй меня по фамилии.

Девушка склонила голову ему на плечо и какое-то время шла так, смеясь, поглядывая на мостовую. И Салинас подумал, что, если бы сейчас самый строгий судья, допрашивая его, захотел бы узнать, что он считает высшим счастьем, он не задумываясь ответил бы: «Вот это!»

— Сали? — прошептала девушка.

— Вик-ки? — в тон ей ответил Салинас, благоговейно соединяя в выдохе два слога.

— Если у нас в стране произойдут перемены...

Салинас оглянулся, посмотрел и на противоположный тротуар. Девушка, проследив за его взглядом, замолчала, но через мгновение продолжила:

— Если у нас все переменится, ты думаешь, меня примут снова в университет?

Почтальон горячо заверил ее. Впервые слова срывались с языка до того, как успевало срабатывать торможение. Он настолько осмелел, что обнял девушку за талию, сказав:

— Если Сомосу свалят, тебя назначат деканом.

Викки рассмеялась, грудь девушки колыхнулась. И Салинас, обнимая стан, ощутил упругость ее тела. Он прижал к себе девушку еще крепче и с улыбкой сказал:

— Но что бы ни случилось, замуж не выходи.

— Это почему же?

— Чтобы ты всегда была такой, как сейчас.

— Что это значит — как сейчас?

— Чтобы всегда была нашей невестой... всех нас!

VIII

Клиентура дона Чепе не уменьшалась даже во время сентябрьского восстания[1], когда он с ловкостью хирурга орудовал ножницами, творя до полусотни причесок под актера Траволту (семьдесят процентов — в кредит).

В октябре к нему явился некий тип из национальной гвардии и, ссылаясь на секретные (повторяю — секретные!) сведения, которые этим же вечером, кстати, свободно обсуждались горожанами, отдыхавшими в креслах-качалках возле домов (речь шла об исчезновении из прачечной казармы нескольких комплектов формы сомосистов), изложил пожелание капитана Флореса. Последний, по словам посетителя, рассчитывает на то, что сеньор парикмахер согласится назвать руководству национальной гвардии имена молодых людей, в последнее время (недели, дни, часы) подстригавшихся у него покороче, на военный манер, под предлогом, что, дескать, они хотят чувствовать себя полегче ввиду ужасной жары нашего вечного лета.

— У меня никто так не подстригался,— смущаясь, ответил парикмахер и показал фотографии образцов причесок, какие он делал во время восстания и после него: под актера Роберта де Ниро в «Водителе такси» (четыре человека), под Траволту в «Бриллиантине» (что-то человек сорок — пятьдесят), а еще под «банковского клерка» (семь или восемь человек).

Неделей позже в парикмахерскую нагрянул на неистовом «шевроле», которым правил сын дона Антонио, сам капитан Флорес. Капитан, усевшись на плетеное кресло в глубине парикмахерской, пережидал, пока артист бритвы и ножниц колдовал над головой какого-то паренька лет пятнадцати, пытаясь придать его волосам модный вид и в спешке обкорнав его под индейца племени сиу, а не под моряка, как просил хозяин головы (капитан не принял приглашения парикмахера обслужить его немедленно и де-

[1] Речь идет о сентябрьском восстании 1978 г. в Леоне и ряде других городов Никарагуа, которое было жестоко подавлено войсками диктатора Сомосы.

мократическим жестом разрешил тому закончить работу). Брезгливо капитан рассматривал замусоленные номера журналов «Континенталь» и «Ванидадес» и не отрывал от них глаз, пока не был приглашен занять кресло театральным поклоном дона Чепе, который одновременно выпроваживал из парикмахерской сгоравшего от любопытства «индейца» и дезинфицировал бритву в добром литре спирта. Флорес обвел глазами помещение и убедился, что клиентура дона Чепе сократилась, подобно мехам, из которых выпущен воздух. Прежде чем пересесть в предложенное кресло, офицер снял фуражку и положил себе на колени, открыв свежую и безупречную американскую стрижку. Заметив ее, парикмахер почувствовал себя прескверно: если бы в эту минуту врач попробовал измерить у него кровяное давление, то аппарат не выдержал бы, лопнул, как детский воздушный шарик.

Капитан отложил в сторону донельзя замызганные журналы и крутанул вращающееся кресло из стороны в сторону, а затем, надавив на педаль, поднял сиденье сантиметра на два.

— Паутина,— буркнул он, сверля парикмахера пронзительным взглядом.

Скорее инстинкт самосохранения, чем что-либо иное, подсказал дону Чепе, что странного клиента следует одарить самой сердечной и невинной улыбкой.

— Мой капитан?

— Паутина,— повторил тот.

Пораженный, парикмахер тщательно осмотрел потертую, но совершенно чистую обивку кресла и, не обнаружив ни одной паутинки, обежал взглядом, сохраняя на лице не то удивленную, не то испуганную улыбку, все углы своего заведения.

— Не понимаю, сеньор капитан! — сказал он тихим голосом.

Флорес поднял фуражку, повертел ее на указательном пальце десять секунд — ровно столько, сколько отсчитывает судья на ринге нокаутированному боксеру,— и, прежде чем выйти из парикмахерской, произнес:

— Паутина. Ведь так называют твое заведение?

Дон Чепе проскочил сквозь облако пыли, поднятой отъехавшим автомобилем, и со слезящимися от выхлопных газов глазами, чуть не вслепую бросился к дому Игнасио. Дверь, как обычно, была не заперта, хозяин сидел, раскинув руки с накрученными на них шерстяными нитками, которые его мать сматывала в клубок. На коленях у Игнасио лежал кассетный магнитофон, лились негромкие голоса популярного певца и композитора Карлоса Мехиа Годоя и его ансамбля «Те, из Паланкагуина», исполняющие «Цветок сосны». Казалось, утлубленные каждый в свое занятие, слушая мелодию вальса, ни Игнасио, ни его мать даже не заметили, как вошел парикмахер. Однако это впечатление было ошибочным. Игнасио, не оборачиваясь к Чепе, спросил:

— Что нового?

— У меня был капитан Флорес! — Для большей многозначительности дон Чепе выдержал паузу.

— И ты ему отрезал бритвой голову? — спросил Игнасио, почесав нос.

— Ты послушай сначала!

— Да вы присядьте,— предложила мать.

Парикмахер, видимо, не расслышал ее слов. Он подошел к Игнасио и, наклонившись, прошептал на ухо:

— Понимаешь, зашел, посидел немного, полистал журналы и ушел. А перед уходом знаешь, что сказал?

— Что?

— «Паутина»!

— В каком смысле?

— Не знаю. Два раза. И прежде чем сесть в машину, покрутил фуражку на пальце вот так — мельницей. Глазами будто проткнул меня насквозь и спросил: «Паутина — так называют твое заведение?»

Двумя ловкими движениями рук Игнасио остановил сначала вальсирование пряжи, а затем, нажав клавишу, пресек ритмичное пение Мехиа Годоя.

— У тебя найдется немного денег? — спросил он, поднимаясь.

Парикмахер, все еще наклонившись, ответил:

— Найдется. А зачем?

— Затем,— сказал Игнасио.— Вот что, возвращайся к себе, опусти на окнах жалюзи и отправляйся-ка к своей сестре в Манагуа. А еще лучше, если знаешь кого-нибудь, в Майами...

Мать, похоже, услышала, как забилось сердце парикмахера, и она, улыбнувшись, предложила:

— Садитесь же, Рене!

Дон Чепе торопливо пробормотал:

— Нет-нет, спасибо...

Игнасио обнял его за плечи и подвел к двери на улицу.

— Знаешь, что такое метафора?

— Вообще слышал, но знать хорошо не знаю.— И спросил: — А это опасно?

— Метафора — это когда кто-нибудь хочет обозначить одну вещь через название другой. Понятно?

— Например?

— Ну, скажем, если ты говоришь: «Небо плачет», что ты имеешь в виду?

— Что идет дождь, разумеется.

— А если тебе говорят, что твоя лавочка называется «паутиной», что этим хотят сказать?

На лице дона Чепе — полное замешательство. Челюсть отвисла. И весь его вид был как бы физическим воплощением недоумения.

— Нет, ничего не понимаю.

Не отпуская локтя дона Чепе, Игнасио проводил его на улицу.

— Твою парикмахерскую он назвал «паутиной» потому, что в нее залетают «мухи»[1].

Подпрыгивая на булыжной мостовой, проехали две автомашины. Дон Чепе, не обращая на них внимания, про себя пытался растолковать слова Игнасио. Когда же, наконец, до него дошел смысл фразы, холод охватил все его тело.

— Отчего ты побледнел? — спросил приятель.

— Быть может, снаружи и внутри я почти мертв,— ответил парикмахер, с похоронным видом направляя взгляд дальше по улице.

— Где ты подхватил такие словечки? — спросил Игнасио, выводя парикмахера из оцепенения.

— У Дарио, братец, у нашего поэта Дарио...

Парикмахерскую пришлось ему закрыть месяца на полтора. Сначала Чепе проводил время в беседах со своей сестрой в Манагуа. Но уже на третий день беседы ему опостылели. Его, привыкшего к всегдашнему разнообразию собеседников-пациентов, как называл их дон Антонио, от монотонной болтовни Матильды клонило ко сну. На четвертый день он пошел бродить по городу и вечером, когда стемнело, вдруг услышал выстрел и лай собак. Появившись словно из-под земли, не то спрыгнув с дерева, десятки сандинистов мчались к казарме. Дон Чепе трижды глубоко вдохнул надеясь так избежать инфаркта, и хотел тотчас же возвратиться домой. Но едва свернул за первый угол, как увидел «шерман» национальной гвардии с пушкой, показавшейся огромной и нацеленной прямо ему в лоб. Он остановился как вкопанный, от страха прикрыл лицо ладонью и стал свидетелем того, как танк, свалив ограду и изрыгая дьявольскую лавину огня и грохота, наводящих больше ужаса, чем прицельная стрельба, разворотил роскошный фасад текстильной фабрики. И тут же, не более чем в метре от дона Чепе — «буквально царапнула меня», будет рассказывать он позже,— пролетела пуля, выпущенная кем-то из партизан, пытавшихся с чердака соседнего дома отвлечь «шерман» от его цели.

Дон Чепе бросился в какой-то подъезд, сжался в комок, рассчитывая там переждать перестрелку. Прошло примерно полчаса, дон Чепе убедился, что бой затягивается,— прижимаясь к стенам, а в наиболее опасные моменты забираясь в тесные ниши, парикмахер побежал к дому сестры, в жилах буквально кипела кровь. Едва переводя дыхание, он свалился в плетеное кресло Матильды и попросил немного гуаро. Однако сестра, не скрывая чувства гордого достоинства, ответила, что в ее доме живут только трезвенники, и дон Чепе решил, что завтра же вернется в Леон.

— Там в меня метят метафорами, а тут пулями,— так мотивировал он свое решение той бессонной ночью.

IX

В то время как дон Антонио, тяжело ступая по плитам пола, проходил под сводом церкви святого Иоанна, Агустин встал под один из вентиляторов, которые жуж-

[1] «Мухи» на конспиративном языке сандинистов — записки с условным текстом.

жали с потолка о своей неспособности противостоять удушливой жаре. Их ветерок приносил не прохладу, а лишь волну запахов — увядших цветов, воска, старого дерева, церковных одеяний и ладана. Привыкший у себя в казарме к соблюдению современной симметрии во всем, Агустин обратил внимание на то, что все четыре огромных вентилятора были различной конструкции и формы. «У нас в Никарагуа все так,— сказал ему однажды капитан.— Наше величие складывалось из мелочей. Собрали карликов и пигмеев — вот вам армия. А при хорошей армии и правительство сильное».

Антонио без задержки прошел к исповедальне и нетерпеливо стукнул в оконце со свободной стороны. Священник, едва не прилипший к другому оконцу, у которого исповедовалась какая-то молодая и чрезмерно надушенная женщина, с явным сожалением оторвался от ее сбивчивых вступлений, за которыми вот-вот могли последовать признания как в покушении на национальную гвардию, так и в супружеской неверности. Поэтому он, не скрывая досады, открыл противоположное оконце своей сокровищницы простодушных откровений и скандальных историй, которую должен был каждодневно обслуживать, зачастую принуждая себя к выдержке, терпеливости, чтобы подавить чувство скуки и дремоту. Однажды, когда дон Чепе, придя исповедоваться, стал рассказывать, что позволил себе присвоить бумажник какого-то клиента, вышавший у того из кармана на кресло в парикмахерской, священник перебил его через решетку оконца: «Будь любезен, Чепе, если у тебя нет ничего поинтереснее, в чем мог бы ты покаяться, придумай что-нибудь, а то я тут засыпаю».

— Что тебе? — спросил он у Антонио.

— Видите ли, падре Педро, надо поговорить.

— Прочти-ка пару раз «Отче наш», пока я кончу,— сказал священник и, приоткрыв противоположное оконце, вновь окунулся в густой запах духов, который настойчиво, как музыкальное начало фильма, должен был предварить покаяние в чем-то.

— Итак? — пригласил он даму продолжать, глубоко вдыхая ароматы.

Антонио прошел к центру храма, в который раз оглянулся в беспокойстве на исповедальню и опустился на крайнюю скамью.

А Агустин в это время, пользуясь близостью к кабине, где исповедовалась дама, прислушивался к ее шепоту и разглядывал статуэтку святого Антония, стараясь уразуметь, кем был в действительности этот человек в коричневой сутане с одним ребенком на руках и другим, склонившимся в позе просящего у его ног. Сам же святой Антоний, не обращая внимания на детей, застывшим взглядом через стекло футляра всматривался в очередного посетителя. Под статуэткой висело объявление, написанное тем шрифтом, который его сестра называла готическим («Я буду выписывать рецепты пациентам вот таким шрифтом, а то в накарябанном иными врачами можно спутать аспирин с никотином»), со стрелкой, показывающей на выход. Агустин задержался тут на несколько минут, наблюдая за перемигиванием зажженных свечей, поставленных, наверно, какими-нибудь старыми девами, чтобы обеспечить себе благосклонность своего любимого святого.

Как только изрядно надушенная дама закончила покаяние, падре Педро не удержался и высунулся из исповедальни, чтобы взглянуть на нее хотя бы мельком. Заметивший его появление дон Антонио поспешил к нему, взмахивая рукой, как будто прощаясь с отходящим из порта судном. И священник, сложив плат для исповеди — он называл его слюнявчиком,— вынужден был выбраться из исповедальни и пойти навстречу дону Антонио. Засеменил он так стремительно, что отец Агустина, желая избежать столкновения, поторопился обратить внимание падре на своего сына, указав на последнего пальцем. Увидев, как энергично падре Педро повернул к нему, Агустин оробел. Приблизившись вплотную, так что полы сутаны коснулись солдатских ботинок, священник спросил:

— Ну, что с тобой?

Агустин смущенно пожал плечами и, скосив глаза, посмотрел мимо уха священника в сторону отца.

— Вот старик привел.

— Так какое у вас дело? — кивком головы падре Педро дал понять, что обращается к дону Антонио.

— Да вот, понимаешь, этот дурак пошел в солдаты к Сомосе.

— Замолчи! — воскликнул священник, быстро оглядывая церковь, и потом более спокойно добавил: — Говори тише.

Падре Педро поправил сутану, разгладил ее на груди и распахнул полы в надежде освежиться. Потом взял Агустина за локоть и повел через неф церкви к алтарю.

— И что ты делаешь в солдатах, паршивец? — выдохнул он в ухо Агустину.

— Старик ничего в этом не понимает, падре. Я не участвую в репрессиях. На будущий год меня пошлют учиться в Соединенные Штаты, и там...

— И там ты станешь сволочью с высшим образованием?

На Агустина слова священника обрушились, как камни с потолка или как балки деревянных перекрытий церкви, и сам падре Педро представился ему сейчас одним из панамских боксеров, подвижных и нетерпеливых, которые стремятся нокаутировать противника в первом же раунде.

Агустин оглянулся и увидел, что отец с суровым выражением лица стоит в нескольких метрах от них, на том же расстоянии, на каком обычно во время бракосочетания стоят подружки невесты и придерживают шлейф ее платья.

— Почему ты это сделал, парень? — спросил священник, подталкивая солдата в направлении алтаря, пока наконец Агустин не перестал упираться и сам не двинулся в нужную сторону.

— Видите ли, падре, мне нравится учиться в школе. Кроме того, я единственный в семье человек, кто приносит в дом деньги. Понимаете?

— Признаться, не очень.

— И вот теперь...

Священник остановился, ожидая конца фразы. Агустин потер лоб и попытался нахмурить брови, почти сведя их.

— ...теперь вы хотите, чтобы я дезертировал,— закончил он и пристально взглянул в серые глаза священника. Тот показался ему далеким и неподвижным, как парусник, увиденный с берега.

— Ну хорошо, а как ты представляешь себе свое будущее? Или тебе просто нравится военная форма, медали и тому подобная дребедень?

Агустин высвободил свой локоть из руки священника, еще продолжавшего его держать, и заносчиво спросил:

— А вы знаете, падре, что значит дезертировать?

Священник рукой, только что отпустившей Агустина, погладил подбородок, а потом неожиданно и резко схватил его опять за локоть и потащил за собой. Все произошло настолько быстро, что Агустину показалось, будто они со священником оказались в алтаре, пролетев по воздуху. Там падре Педро отодвинул тяжелый занавес с золотой бахромой, закрывавший стол для пожертвований, и, словно в сновидении, перед ними возник коленопреклоненный Игнасио с автоматом, нацеленным в их сторону.

Священник продолжал поддерживать занавес с гордостью турецкого торговца, выставляющего свой товар, а вскинутые брови, все лицо, обращенное к Агустину, ждали его реакции. И только заметив, что парень побледнел, падре Педро отпустил тяжелый пурпурный занавес и, глядя поверх его плеча, сказал:

— Ну и жарища! Не правда ли?

Священник еще раз таким же жестом, как недавно (Антонио понял, что у того это уже вошло в привычку), взмахнул полами сутаны и засеменил к отцу Агустина. Приблизившись к нему, он оглянулся, пожал плечами и кивком головы показал на Агустина, как бы говоря: «Вот он, весь, возвращаю его!»

Агустин отошел к купели. Голову сжимало от обрывков мыслей, виденных жестов, услышанных слов, на которые он натыкался, как на мебель в темной незнакомой комнате.

— Ну и как? — спросил Антонио.

Агустин, чувствуя, что если будет смотреть на отца еще хоть мгновение — время, достаточное, чтобы шпагой поразить сердце, чтобы лопнул воздушный шарик от острого ноготка ребенка или от укола шипа розы появилась капелька крови на пальце,— то не сможет сдержать невольных слез. Тогда он закрыл лицо отяжелевшими руками и произнес:

— Я должен все обдумать, отец.

Дон Антонио засунул руки в карманы своего холщового пиджака и вышел из храма. Не глядя по сторонам, он двинулся по первой улице, свернул за угол и скрылся из виду.

X

«Любовь, любовь, любовь! Помоги же мне сказать это слово!

Думаю о тебе. Где бы я ни был — всюду ты! Ты, подобно тончайшей вуали, обволакиваешь всю мою жизнь. Ты, как музыка, следуешь за мной, чем бы я ни занимался. Вспоминаю школьные вечера и воображаю, как я прижимаюсь щекой к твоей щеке и не могу произнести ни слова, немею от счастья любви и наполняюсь горечью любви. Любовь, любовь, помоги мне сказать о моей любви.

Вчера вечером, пока товарищи глазели на звезды, я на моем транзисторе поймал станцию «Релох» и слушал, прижав приемник к уху. Исполнялись старые вещи. Старые, но хорошие, как сказал диктор. «Ты будешь моей, бэби», «Горшечник», «Роковое письмо», «Венеция без тебя». Эти песни нравились твоему отцу — помнишь, как мы их слушали у тебя дома. Отец заводил их, а сам чинил мимеограф, который тебе «одолжили» в стоматологической школе. Кстати, как твои занятия, моя королева? Прости, я все время говорю о себе, о том, что я чувствую тут, как страдаю там, и совсем не спрашиваю о твоих делах. И получилось, что ты, женщина,— деловой человек, а я, мужчина,— романтик. Когда мы победим, просто не знаю, как я прокормлю себя. Товарищи говорят, что проблему безработицы мы не решим за год-два, а может быть, и за пятилетие. Конечно, можно стать военным. Говорят, национальную гвардию распустят и создадут сандинистскую армию. И мы станем официальной армией Никарагуа. Только представь себе, у нас тут есть один командир пятнадцати лет. Многие, едва оторвавшись от волчков и воздушных змеев, сразу включились в войну.

Нет, в армии я не останусь. Хотя бы меня сделали генералом. Я буду здесь до тех пор, пока не сбросим Сомосу, а потом мне хотелось бы вернуться в университет. Только не знаю зачем: по учебе не скучаю, а когда вспоминаю об университете, единственное, что всплывает в памяти,— это факультетское кафе. Я готов провести остаток жизни, посиживая там за столиком, потягивая черную сигару и наблюдая за тобой, как ты отбрасываешь волосы рукой без перстней и браслетов, с некрашеными ногтями. И, несмотря ни на что, ты ослепительна, даже когда пьешь жидкий студенческий кофе или жуешь черствый хлеб. И я готов сидеть рядом, катать из этого хлеба шарики и стрелять ими, щелчками сбивая с ладони. Потом ты бы возвращалась к своей зоологии, общей психологии, статистике, а я, видимо, освободил бы от собственного присутствия профессоров римского права, политической экономии, конституции и сидел бы с товарищами в баре и, наверное, придумывал бы новые заговоры. Помнишь, как твой отец называл меня? «Революционер из кафе»...

Если бы ты знала, как мне хочется увидеть сейчас твое лицо! А что бы сказал твой отец, если бы узнал, что я, словно обезьяна, лазаю по горам? При случае можешь ему рассказать, что я в сентябре участвовал в захвате Масайи [1]. Кстати, не помню, писал ли я тебе об этом в предыдущем письме? И вообще дошло ли до тебя мое последнее письмо? Я вчера вот подумал: если ты не получила письма, ведь это не твоя вина, правда? И напрасно я на тебя рассердился. Просто дурак! А вообще-то даже если бы ты и захотела мне ответить, то куда бы стала писать? Но один адрес я тебе все-таки дам. Вот он: «Сержанту и поэту Леонелю, близ Гранады, горная цепь Ниндири, под Млечным Путем, по диагонали от утренней Венеры, в пяти метрах от гнезда кетсалей, прилетевших сюда, по-видимому, с плато Очомого, между двух кустов, которые перешептываются друг с другом, когда дует ветер».

Когда мы победим... Сейчас я повторил эти слова и вдруг подумал, что они у нас теперь самые ходовые. Надо бы назвать один из месяцев «когдапобедимом». Представляешь? Ноябрь, декабрь, когдапобедим.

Жизнь здесь нелегка. Но я знаю, что и в Леоне гвардия делает для вас жизнь невыносимой. Так что трудно и тут и там. Месяц назад к нам прибыл один паренек из Субтиабы. Он слишком молод, чтобы ты его знала. Говорит, что ему еле удалось спастись во время облавы. А вообще хватали всех ребят старше пятнадцати, отправляли в Гуадалупе и расстреливали у кладбищенской стены. Отец велел ему скрыться, а потом идти сюда, то есть искать нас. Удивительно, правда? Легче уцелеть, борясь против Сомосы, чем дома, куда в любой момент могут нагрянуть национальные гвардейцы, приканчивающие всякого, кто попадется под руку. Не помню, писал ли

[1] В сентябре 1978 г. в Масайе вспыхнуло народное восстание против диктатуры Сомосы.

я тебе, как в сентябре они ворвались в Масайю и учинили бойню среди гражданского населения? Так что тут теперь все считают себя солдатами Сандинистского фронта, а не только мы. В Масайе говорили: «Мы — сандинисты, хочет того Фронт или нет!» Нам помогали занять позиции во всех уголках города. Люди под пулями приносили нам жареную маниоку или прохладительные напитки. В воскресенье утром мы атаковали казарму, где находились солдаты национальной гвардии, а в это же время местные жители задерживали машины, следовавшие в город. Вечером в городе погас свет. Люди говорили: не будет электричества — не будет и воды, поэтому подготовили для нас нужные запасы, наполнив кастрюли, ведра, ванны. И действительно, на следующий день прекратилась подача воды, а у нас она была. Видишь, жители лучше разбирались в тактике, чем военные. Когда гвардия обрушила на нас все силы, мы отступили. Молодежь тоже отошла с нами, а старики остались. Рассуждали: «Ну что они с нами могут сделать?» Но национальные гвардейцы бросили против стариков и женщин пять вертолетов, танкетки, пулеметы. Сожгли все лавки и магазины, убили около пятисот человек. Почти все — мирные жители.

Команданте сказал мне: «Раз тебе нравится писать, веди перечень павших товарищей».

Когда мы победим... Когда победим, я должен буду уточнить настоящие имена погибших, их адреса, выяснить, откуда они родом, и написать их родственникам. Подчас приходится подмечать мельчайшие детали: морщины, родинку на лице, шрам на шее. Это о тех, кого я вижу собственными глазами. О других мне рассказывают. Говорят, к примеру, что звали его Мигель и что он из Масайи; но другие утверждают: быть может, из Масайи тот, кого посчитали из Риваса. Но собирать данные очень трудно — у нас здесь все засекречены.

И все-таки, когда мы победим, я уйду из армии. Я не гожусь для этого, Викки. Во время боевых операций даже собственное имя забываю, не помню, как на корточках пересек улицу под градом пуль. Даже испугаться не успеваю, только чувствую, как меня втягивает куда-то какой-то круговорот. Будто я вместе с товарищами подхвачен одной волной прибоя, несущейся на скалы, и она тащит с собой все, что попадается ей на пути. Но тяжелее всего мне проводить ночи с моей записной книжкой, в которую я заношу имена погибших. Между сведениями о них я пишу стихи. И заканчиваю работу, когда утро уже гасит звезды. Я стремлюсь писать обо всем просто, как вижу. Стараюсь избегать украшательств, заумных выражений, метафор, замысловатых оборотов. Мне очень хотелось бы, чтобы слова мои на бумаге были так же естественны, как оружие в руках бойцов, как свежесть твоих губ. Мне нравится, как пишет падре Карденаль, у него все входит в стихи. Даже имя Сомосы, когда пишет о нем, и рекламы нефтяной монополии «Эссо» или фотоаппаратов «Кодак».

Здесь у нас многого не хватает. Больше всего глины. Всюду глина, словно бог все остальное унес. Если бы я сейчас писал поэму о нашей реальности, то зачастую у меня в ходу были бы слова «змея» или «крокодил», ведь мы чаще всего ползаем по земле. Конечно, хотелось бы писать и о птицах, но в Леоне я ни разу не слышал их и не сумею отличить по щебету скворца от воробья. Здешние же ребята в каждой заросли чувствуют себя как дома. Такое впечатление, что стены они вообще ненавидят, а на улицах городов задыхаются.

А знаешь, что мне хотелось бы сейчас иметь?

Зеркало!

Клянусь, я даже не помню, как выглядел раньше. А ты сохранила в памяти хоть одну мою черточку? Когда-нибудь тебе нравилось хоть что-то в моем облике? В лице, например? Я помню, когда мы целовались, ты закрывала глаза, а если я, прижимаясь к тебе, щедро расхваливал твои маленькие ноготки, высовывающиеся из сандалий, ты никогда не отвечала мне ни единым приятным словом. Неужели ты настолько сдержанна? Не пойми меня превратно. Я не говорю, что ты холодна — еще чувствую в кончиках своих пальцев биение твоей крови в набухшей жилке на шее, помню, как горели твои щеки. И все-таки для меня ты всегда оставалась лишь краткой аннотацией к фильму о самой себе — к фильму, который еще никто не видел. Иногда мне удавалось обнять тебя, но ни разу по-настоящему я не смог поласкать тебя. Ты постоянно давала понять, что если я хочу завоевать место подле тебя, то должен соревноваться со всем Млечным Путем: с ребятами, влюбленными в тебя с детства, с помощниками по учебе на факультете, с твоим братом, неотрывно сторо-

жившим тебя, с отцом и его сандинистскими проповедями, заканчивавшимися, правда, до наступления ночи, с твоими книгами по стоматологии и гипсовыми слепками, которые ты носила из аудитории в аудиторию в своей сумке вместе с бутербродами и пакетами молока.

Что ты думаешь обо мне, Викки? Например, если бы я, как по волшебству, явился вдруг к тебе во сне в твоей комнате, обвилась бы ты вокруг моей шеи своими маленькими лапками, протянутыми ко мне из-под простыни, прижалась бы губами нежно к моим губам?

Боже, какая душная ночь!

Жарища. Смолкли какие-то птицы. Команданте курит рядом со мной. Койоты, кажется, переговариваются между собой, протяжно воя. Крыша моего шалаша из ветвей сейбы [1] закрывает луну. Завтра попытаемся наступать на Хинотепе. Прибудут дополнительные силы из других мест. Готовится что-то значительное. Целую тебя крепко и с печалью. Я очень одинок, Викки, несмотря ни на что...»

XI

Мириам надела одну туфлю на высоком «гвоздике» и, чтобы удержаться, вынуждена была опереться на руку Агустина, который сразу же впился взглядом в ее грудь, обнаружившую все свое величие за полурасстегнутой кофточкой.

— Тебе не стыдно? Не заглядывай куда не надо! — сказала она.

Солдат сглотнул слюну и судорожно перевел дыхание.

— Целых три месяца тебя не видел.

— Ну и что же?

— Сама знаешь. У нас, у всех Меноров, кровь в жилах кипит.

— И?..

— Три месяца, понимаешь?..

Девушка подошла к висевшему на стене зеркалу и через плечо взглянула на спускающийся точно к середине каблука шов черного чулка.

— Ты и сейчас почти не видишь меня,— сказала она, ставя «мушку» под правым глазом.

— Почему это?

— Ты еще спрашиваешь.

Девушка расплылась в улыбке. Он на лету перехватил ее руку, падавшую к бедру, и с жаром прижал к пульсирующей вене на шее.

— Чувствуешь?

Улыбка Мириам стала еще шире. Девушка провела кончиком пальца по его лицу.

— Может быть, тебе воды дать?

— Нет, спасибо.

— Значит, три месяца? — переспросила Мириам. Агустин мрачно кивнул головой.— А ты знаешь, как за три месяца может перемениться человек? Даже за месяц?

— Что ты этим хочешь сказать?

— Ничего, просто так...

Парень медленно повалился на край кровати. Вытер потные руки о подушку. Весь его вид выражал молчаливый протест.

— Разозлился? — спросила она, убирая в шкаф зеленую юбку.

Агустин молчал. Мириам подвесила сережки и повертела головой, чтобы посмотреть, как они раскачиваются. В зеркало наблюдала за солдатом.

— Значит, обиделся,— заключила она.

Не разговаривая, они вышли на улицу и целый квартал прошагали опустив взгляды. На следующей улице Агустин заметил, что за ними следует автомобиль пожарной компании, прижимаясь к обочине. Водитель, мужчина с длинными черными усами, какие рисуют дети, желая изобразить мушкетера д'Артаньяна, нажал на сирену, чтобы привлечь внимание девушки. Мириам поднялась на подножку машины и, вытянув губы, чмокнула «д'Артаньяна» в щеку. Агустин продолжал понуро брести вдоль тротуара.

У входа в кинотеатр Агустин купил мандарин, просто так, чтобы занять чем-то руки. В этот момент Мириам спрыгнула с подножки автомобиля. Солдат стал поспешно очищать плод, и когда наконец девушка отыскала его в толпе, скопившейся у

[1] Крупное дерево тропиков Центральной и Южной Америки.

билетной кассы, мандарин был съеден. Агустин сплюнул зернышки в урну и, молча расталкивая очередь, пролез к кассе. Постучался в стеклянное окошко. Дядя Эмилио приветствовал его, поднеся на военный лад два пальца к виску.

— Один?

— Нет, с Мириам.

— Здесь у меня есть два нумерованных места.

— Сколько за них?

— Сегодня я приглашаю, а в следующий раз за ее билет заплатишь.

Эмилио вышел из будки и попросил публику стать по порядку у двери, затем левой рукой он открыл экран, отдернув потертый бархатный занавес голубого цвета, а в правой держал у груди коробку с выручкой.

— Вот так приходится работать в Леоне,— пояснил он Мириам, отрывая контроль на ее билете.— Чтобы заведение давало доход, надо самому продавать билеты, у входа проверять их, бежать открывать экран, а если кто-нибудь опаздывает, то с карманным фонариком еще подыскивать ему место.

Из окошка киномеханика выглянул паренек лет пятнадцати. Мириам улыбнулась ему, но он ограничился сердитым кивком. Агустин уловил мимолетное удивление в лице девушки и еще раз взглянул на окошко механика. Мальчишка посмотрел на него равнодушно, как на стул, и неторопливо скрылся в будке. Агустин взял Мириам под руку и увлек в глубь зала. Из динамиков разносились оглушающие звуки попурри в исполнении известного ансамбля.

Они разыскали свои места неподалеку от экрана. «Мне нравится, когда фильм захватывает,— сказала Мириам,— тогда забываешь и о зале и о Никарагуа, все исчезает».

Агустин снял обертку из фольги с шоколадки и протянул Мириам развернутую часть, чтобы она отломила себе. Не выключая света в зале, механик пустил рекламные ролики местных торговых заведений, сопровождаемые пронзительными звуками скрипок. Фирмы «Пенелас Сирера», «Магазин Очо», «Центральный Западный банк», «Торговый дом Уильяма Коулена», «Лаборатории Дивина»... Когда показали столики в кафе «Отдых», за которыми две пары со счастливым видом потягивали через соломинки какой-то сок, Агустин и Мириам одновременно толкнули друг друга локтем: одной из девиц оказалась Викки. Она сидела со смешно поджатыми губами, из которых торчала соломинка, ресницы ее, как у куклы, были неестественно загнуты кверху. Владелец кафе самозабвенно расписывал зал для «приватных встреч» с кондиционированным воздухом, где можно поужинать даже в полночь. Сцена закончилась оглушительным «Я без ума от тебя» в исполнении Мансанеро.

Прилив хорошего настроения охватил душу солдата. Его радовало, что сестру показывали в компании владельца кафе, куда позже, конечно, можно будет зайти.

— Как ты думаешь, сколько ей заплатили? — спросила Мириам.

— Заплатили?

— Конечно. Твоя сестра теперь все время подыскивает такого рода работенку.

Агустин протер глаза и снова уставился на экран, где теперь уже расхваливались достоинства последней модели автомобиля «тойёта». Вдруг почувствовав, что сзади кто-то уставился в их затылки, он обернулся и увидел раскосые глаза уже знакомого пожарника, сощурившиеся в легкой улыбке. Пальцем тот достаточно выразительно показал Агустину, чтобы солдат известил Мириам о его появлении. Когда девушка тоже оглянулась, пожарник сделал ей знак, приставив указательный палец к середине другой руки, как это делают тренеры баскетболистов, когда просят тайм-аут.

Мириам наткнулась на колено Агустина, перекрывшее ей проход.

— Я сейчас вернусь,— объяснила она.

— Останься...— послышалось в ответ.

Девушка улыбнулась было ему, но тут же голос ее прозвучал сухо:

— Пропусти, пожалуйста.

Агустин резко откинулся на спинку кресла, открывая ей проход, тогда она тем же тоном бросила: «Спасибо».

В зале появился дядя Эмилио, неся на боку лоток с конфетами и мороженым, которые он предлагал публике. Проходя мимо племянника, дядя пожал плечами, как бы говоря: «Этого еще не хватало!»

Зрители начали стучать по креслам, словно индейцы в боевые барабаны. Дядя успокоил публику, жестикулируя вытянутыми руками, прервал продажу конфет и подал механику сигнал начать сеанс. Свет в зале погас под общий гвалт и визг парней, имитирующих возгласы девушек, с которыми нескромно обходятся в темноте. Агустин положил руку на спинку кресла Мириам, давая всем понять, что оно занято. Когда на экране появилась набившая оскомину морда льва — эмблема голливудской кинокомпании «Метро-Голдвин-Мейер» — зал разразился свистом и выкриками, повторявшимися всякий раз в такую минуту, и кто-то из глубины зала, как обычно, воскликнул: «Пошли отсюда, этот фильм про льва мы уже видали!»

Пока по экрану проходили титры — желтыми буквами имена на фоне нью-йоркских небоскребов,— Агустин, сидя в темноте, с нетерпением ожидал возвращения Мириам. Прошло пять минут, девушки все не было. Действие фильма уже разворачивалось вовсю. Какой-то жалкий американец, весь исколотый и в вены рук, и в бедра, пытался уговорить какого-то латиноамериканца — чилийца, перуанца, мексиканца — истратить серебряный доллар, подаренный тому на счастье бабушкой из Миссисипи. Потом американец — Джон Сэвидж — убеждал чилийца-перуанца-мексиканца отправиться в больницу святого Луки и продать там четверть литра крови, чтобы купить еду. «Дело в том, что я, брат, не могу. Во-первых, из-за наркотика, а во-вторых, брат, я только позавчера продал кровь. Надо накопить хоть немного, чтобы можно было сделать укол в вену». Латиноамериканец ощупывает вену на руке американца и всматривается в неуловимую гримасу губ Джона Сэвиджа. Наплыв: Сэвидж и перуанец-мексиканец-чилиец бредут под палящим солнцем к больнице. Разговаривают. Сэвидж, выжимая платок, которым только что вытер лицо и грудь, говорит: «Осталось всего кварталов тридцать». Долгий взгляд перуанца-чилийца-мексиканца обращен вдаль и по сторонам — на жилые дома, баскетбольные площадки... Скрип автомобильных шин. «Никакой тени, даже мизинца не спрячешь». Наплыв: лицо негра — служителя больницы. Перуанец-чилиец-мексиканец: «Я хотел бы продать кровь, сеньор». Крупным планом зубы негра, белые и ровные, как клавиши рояля: «А какого она цвета?..»

Агустин поднялся. Пролез по ряду, затем, держась ближе к стене, пробрался к выходу, ориентируясь на луч света, пробивавшийся сквозь занавеску. В фойе увидел дядю, склонившегося над кассой; он разглаживал бумажные купюры, а мелочь складывал в небольшие стопки по десять монет. Агустин постоял, нащупал в кармане пачку американских сигарет, но не закурил — расхотелось. Осторожно подкрался к металлической двери, ведущей в будку киномеханика, оглянулся и, убедившись, что дядя по-прежнему занят своими подсчетами, нажал на дверь. В свете лампочки без абажура, свисавшей с потолка, он увидел, как побледневший пожарник торопливо пытается спрятать за коробками с фильмом какой-то сверток в плотном картоне.

Механик и Мириам растерянно смотрели на Агустина, перехватив его вопросительный взгляд, направленный на сверток. Все молчали. Солдат оглядел лица присутствующих, затем, проведя по пересохшим губам кончиком языка, сказал, обращаясь к Мириам:

— Пока смотрел фильм, я подумал...

Механик, стоя в стороне, наклонился к окошечку — делал вид, что проверяет фокус. Мириам нетерпеливым жестом поторопила Агустина досказать фразу, но тщетно, тогда она отчужденно, как с экрана, спросила:

— Так о чем же ты думал?

Агустин, засунув руки в карманы, опустил голову...

XII

Дон Чепе теперь рассказывает, что Игнасио три дня скрывался на заднем дворе его парикмахерской, в сарайчике для инструментов — в большинстве своем ржавых,— пока не получил приказа присоединиться к отряду на фронте в Чинандеге.

Священник якобы показал на допросе, что некий Игнасио Ортега перестал посещать его храм примерно года три назад, когда дьявол его завлек сандинистско-коммунистическими идеями.

В протоколах сержанта Сифузнтеса, который не забывал говорить «простите, падре» всякий раз, когда гасил сигарету о тыльную часть ладони священника, запи-

сано, что священник Педро Мусарага, будучи исповедником, слыхал на исповедях антиправительственные высказывания, однако никогда — видит бог — он не слышал от своих прихожан о том, чтобы кто-то принимал участие в террористических актах. А посему он лично склонен думать, что подобные акты совершались людьми не из его прихода, которым все это чуждо, а скорее всего кастро-сандино-коммунистами...

Чигуин поручил капитану Флоресу твердой рукой навести порядок в просвещенном городе Леоне и сделать все возможное, чтобы схватить живым некоего Игнасио Ортегу, поскольку вполне вероятно, что он не только располагает информацией о восстании в городе [1], но и (по конфиденциальным данным негласного и доверенного источника) является связным от Фронта в Чинандеге.

Салинас, по имени Сублиме, почтальон, уроженец Леона, рассказывал бывшей студентке факультета одонтологии Бикки Менор, что уже примерно две недели Игнасио не посещал его почтовой конторы. После этого адвокат Ривас, известный осведомитель властей, расспрашивал Салинаса, пристально, очень пристально глядя ему в глаза, действительно ли некий Игнасио Ортега перестал посещать почту и какие, по мнению почтальона, для этого были причины.

А случилось вот что. Несколько дней назад майор Анастасио Сомоса, по кличке Чигуин, прибыл в муниципальный театр и в сопровождении капитана Флореса направился к подъезду. И в это время, как известно, там взорвалась бомба, уничтожившая джип национальной гвардии и убившая трех верных режиму офицеров. Тут же в присутствии своих вооруженных автоматами охранников майор Чигуин приказал капитану Флоресу хватать всякого мужчину старше тринадцати лет, в отношении которого возникает хотя бы малейшее подозрение в сотрудничестве с сандино-коммунистами. В случае же если подозрения подтвердятся, виновного приказано расстрелять немедленно у дверей его же дома. Грубым тоном, заставившим налиться кровью туго стянутую шею капитана Флореса, Чигуин напомнил, что с тех пор, как он отдал приказ об аресте Игнасио Ортеги, от в общем-то способного капитана Флореса не поступило на этот счет никаких желаемых донесений. «Когда будешь писать семье, не забудь передать привет и от меня! Понял?!» — закончил он, злобно сверкнув глазами, отчего у капитана перехватило дыхание.

По словам Мириам Эрреры Перес, молодой и симпатичной девушки, сестры Марты Эрреры Перес, бывшей «мисс города Леона», юноша Игнасио Ортега не входил в избранный круг ее друзей и, конечно, не мог найти прибежища в доме, где она проживает с матерью, как об этом намекают, болтают, утверждают. Явившийся к Мириам национальный гвардеец не обнаружил каких-либо признаков присутствия в ее жилище лиц мужского пола. Были найдены лишь любовные письма гражданина Тико Антонио Иглесиаса, адресованные, правда, Марте, а не вышеуказанной Мириам.

Полицейский агент, действующий под видом штатского и сумевший войти в доверие к донье Эдельмире, вдове Ортега, матери разыскиваемого Игнасио Ортеги, сообщил, что на основании разговоров с упомянутой он полагает нужным доложить комендатуре города Леона следующее:

«Ортега не знает, где находится ее сын Игнасио, двадцати лет от роду. Не знает она также местонахождения и других своих сыновей: Рамона, восемнадцати лет, Эрнесто — семнадцати, Сесара — пятнадцати и Даниэля — четырнадцати. Правда, она предполагает, что они находятся все же на территории Никарагуа, возможно даже в столице Манагуа, поскольку там у них есть родственники. На вопрос об адресах указанных родственников женщина ответила, что забыла их, потерю же памяти объясняет преклонными годами, а малый возраст детей тем, что рожать начала очень поздно. Осведомитель отмечает, что в доме больше нет никого, кто мог бы дать интересующие сведения ни по одному из пунктов, указанных в вопроснике. Тем не менее беглый осмотр помещения позволяет прийти к выводу, что перечисленные молодые люди проживали в доме вплоть до предыдущей недели, поскольку комнаты не производят впечатления заброшенных. В комнате подозреваемого Игнасио Ортеги

[1] Речь идет о сентябрьском восстании 1978 года в городе Леоне.

не обнаружено литературы, чтение которой противоречило бы интересам демократического государства. Однако внимание осведомителя привлек тот факт, что в пакетах грампластинок классической музыки Брамса, Моцарта и Мантовани находились пластинки с записями чилийских музыкальных групп «Килапайюн», «Интиллимани» и одна долгоиграющая с записью сандино-коммунистических песен в исполнении никарагуанца Карло Мехиа Годоя и ансамбля «Те, из Паланкагуина». Этот факт сам по себе не дает оснований сделать вывод, что Игнасио Ортега был лицом, совершившим покушение, пользуясь бомбой, убившей трех сотрудников национальной гвардии и уничтожившей джип, оборудованный самой современной радиоаппаратурой. Однако вышеизложенное является достаточным основанием для того, чтобы утверждать следующее:

а) согласно своим музыкальным вкусам Ортега мог прийти к совершению преступного акта и, возможно, совершил его;

б) Ортега исчез из места своего проживания приблизительно (если не сказать — точно) в тот день, когда прискорбное покушение потрясло население города Леона;

в) остальные члены семьи Ортеги, то есть четыре молодых человека критического возраста, в тот же самый день покинули материнский очаг из боязни возможных репрессий до или после преступления.

Предложение: рекомендуется подвергнуть допросу, а в необходимом случае тюремному заключению любое лицо старше пятнадцати лет, которое скрывало или скрывает у себя в доме кого-либо из членов семьи Ортега. Ваш покорный слуга полагает, что, обнаружив одного из них, можно будет, учитывая идейную и родственную близость, выявить и остальных.

Что касается каких-либо особых действий в отношении доньи Эдельмиры, то, по мнению подписавшего сие, они, по-видимому, бесполезны ввиду ее явно преклонного возраста и болезни, которая, по ее словам, заключается в том, что «вот тут в груди чувствуется какая-то тяжесть и не дает дышать». Врач местной поликлиники при консультации с ним сказал, что с такими показаниями очень трудно поставить точный диагноз, но он тоже рекомендует воздержаться от применения специальных средств воздействия, поскольку вышеуказанная «тяжесть в груди» и затрудненное дыхание могут быть результатом травмы грудной клетки или плеврита, а также уремии, постоянных запоров и даже гепатита.

За неимением других сведений почтительно приветствует вас

«Минольта».

Согласно прилагаемому плану местности снизу от района Параисо и кладбища Гуадалупе и вверх до церкви святого Себастьяна, где видели убегавшего молодого человека, совершившего покушение, у него было две возможности скрыться: в одном из домов указанной зоны либо где-то в потайном месте на кладбище.

Патрули докладывают, что тщательно обследовали все близлежащие помещения в первые же минуты, если не сказать — секунды после свершения прискорбного акта, однако без какого-либо результата. Надо заметить, что при этом в одном случае была применена чрезвычайная мера — расстрелян в дверях своего дома молодой человек. Сделано это в точном соответствии с инструкциями, полученными в связи с введением осадного положения. Данная мера не склонила население к сотрудничеству со следственными органами, и было решено особенно не усиливать репрессий в этом районе, где нас и так поддерживает меньшинство, поскольку по чисто сентиментальным мотивам от нашего дела могут отойти и остальные.

Вторая гипотеза — преступник мог укрыться в каком-нибудь тайнике на кладбище — единодушно отвергнута всеми офицерами, участвовавшими в операции. Дело в том, что это место до недавнего времени использовалось слишком активно террористическими элементами, но после кардинальных мер, принятых нами несколько месяцев тому назад, оно перестало служить надежным убежищем для разовых целей.

Штатский агент Хорхе Альфаро во время одной из облав нашел план города Леона, на котором участок от кафедрального собора до штаба командования и несколько дальше отражен с исключительной тщательностью. Удивляет и то, что на плане указывается высота зданий, начиная с кинотеатра Гонсалеса и включая уголовную тюрьму № 21.

Штатский Альфаро объясняет, почему он принес эту карту в штаб командования. Во-первых, на него повлияла напряженность ситуации, возникшая после покушения, а

во-вторых, интуиция подсказала ему — почему, он объяснить не мог,— что карту следует передать командованию, которое займется ею, если сочтет необходимым. Штатский Альфаро по собственной инициативе, которую данное управление высоко оценило, еще раз посетил дом, где нашел указанную карту, чтобы постараться добыть дополнительную информацию Строение принадлежит дону Сальвадору Рамиресу, с давних пор проживающему здесь. Его сын, Плутарко Рамирес, пожарник по профессии, известен в округе под прозвищем д'Артаньян. Это прозвище не имеет ничего общего с подпольной кличкой, просто оно отражает особенности его усов, напоминающих то ли художника-сюрреалиста Дали, то ли вышеназванного мушкетера. Разговор с сеньором Рамиресом прошел спокойно, и голос его совершенно не изменился, когда штатский Альфаро неожиданно спросил у него о назначении плана города Леона и, сняв резинку, развернул этот план перед его глазами.

Сеньор Рамирес внимательно рассмотрел каллиграфический почерк и четкие линии плана и безо всякого удивления заявил, что он может принадлежать только его сыну, вышеуказанному пожарнику Плутарко Рамиресу. Когда же его вежливо попросили высказать свое мнение о том, зачем его сыну был нужен столь точный и притом самодельный план, он смог лишь ответить, что сын с детства проявлял пристрастие к картографии и поэтому приобрел высокую квалификацию в этом деле. С печалью, судя по всему непритворной, сеньор Рамирес вспоминал о годах учебы сына в начальной школе, особенно то, как ему приходилось тратить скромные месячные доходы на покупку линеек, компасов, угольников и фаберовских карандашей, при помощи которых сын чертил свои геометрические фигуры. Разговор закончился новыми похвалами обоих собеседников в адрес Плутарко и его плана, так точно воспроизводившего город.

Поскольку является подозрительным уже сам факт, что обыкновенный рядовой житель обладает таким даром наблюдательности и может до мельчайших деталей воспроизводить увиденное, и все это, похоже, объясняется не только его пристрастием к геометрии — картографии, штатский Альфаро просит в своих письмах в комендатуру и отдельно капитану Флоресу из ШОПП подвергнуть упомянутого Плутарко проверке со всей тщательностью, учитывая важность дела.

Сеньор пожарник дон Плутарко Рамирес обратился с письмом в штаб командования национальной гвардии, причем доставил письмо лично, учитывая забастовку почтовых служащих. Явившись в штаб, он потребовал, чтобы его провели к какому-нибудь ответственному чиновнику в ранге, соответствующем его положению пожарника на службе родине, а также серьезности дела, по которому он пришел. Его желание удовлетворили, и он был препровожден в кабинет лейтенанта Гонсало Эберса. Там между ними состоялся разговор, который записан на кассетном магнитофоне фирмы «Филипс» и воспроизводится ниже:

Сеньор Плутарко Рамирес (в дальнейшем, для краткости, просто Рамирес). Господин лейтенант, хочу сообщить вам весьма важные сведения. Прошу разрешения зачитать в вашем присутствии письмо, подготовленное с помощью людей образованных и заслуживающих доверия.

Сеньор лейтенант дон Гонсало Эберс (в дальнейшем—лейтенант Эберс). Длинное?

Рамирес. Всего одна страница.

Лейтенант Эберс. Тогда читай.

Рамирес. «Город Леон. 25 мая...»

Лейтенант Эберс. Это ты можешь опустить.

Рамирес. Дело в том...

Лейтенант Эберс. Читай дальше.

Рамирес. «Сеньор лейтенант, считаю своим долгом сообщить, что в месте моей работы — пожарная часть, расположенная...»

Лейтенант Эберс. Возле площади... Это тоже можешь опустить.

Рамирес. Так... ну, это тоже не важно... Вот: «...пришел патруль национальной гвардии с планом одного сектора города Леона и тоном, не только оскорбительным, но и прямо угрожающим потребовал подтвердить, что я являюсь автором этого плана. Я самым сердечным образом объяснил сеньорам солдатам, что план действительно был сделан моей рукой и что ради этого не стоило и приходить. Такой ответ смутил их, казалось, сеньоры солдаты сами не знали, о чем еще можно меня спросить, или вообще не понимали цели своего визита. Но вдруг один из них схватил меня за левую руку и,

применив болевой прием, бросил на колени между двумя пожарными машинами и при этом кричал на меня (прошу извинить, что привожу его слова): «Ты, гад, уже сидишь в дерьме. И сейчас же признавайся, для чего делал план!» От боли и обиды, которые мне причинило подобное обращение, я только стонал и не мог произнести ни единого слова. А сеньоры солдаты, расценив это, может быть, как умышленное молчание того, кому есть что скрывать, стали меня бить ногами и кулаками, причинив мне серьезные телесные повреждения. В результате побоев (в том числе и в пах) я на какое-то время потерял сознание. Когда же очнулся, сеньоры солдаты усадили меня на стул и снова стали задавать вопросы, на этот раз, правда, любезным и, я бы даже сказал, покаянным тоном. Но удары-то, раскаивайся не раскаивайся, были уже нанесены и продолжали причинять мне боль. Тем не менее, когда со мной стали обращаться по-человечески, я рассказал единственное, что мог сказать в ответ на их вопрос и что сообщаю сегодня вам, господин лейтенант: я начертил план указанного района потому, что этого требует моя работа. Свои обязанности пожарника я хочу выполнять как можно лучше. Точно так же, как вы желаете стать на благо родине генералом, мне тоже хотелось бы возглавить Компанию пожарной охраны и разработать наилучшую стратегию борьбы с огнем. В связи с этим я обогащаю свою личную культуру, изучая из часа в час каждый клочок вверенной мне территории. Таким образом, если однажды у нас произойдет несчастье подобно тем, что возникали в результате акций сандино-коммунистов или патриотических ответных мер со стороны национальной гвардии, я заранее буду знать как свои пять пальцев самые уязвимые места. Так, например, я знаю. какую высоту имеет здание страхового общества и какая система лестниц наиболее подходит для него. Знаю, какие дома построены из огнеопасных материалов, а значит, в случаях конкретной необходимости они должны быть защищены в первую очередь. И так далее, и так далее, и так далее. И это мое профессиональное рвение, сеньор лейтенант, которое во всех частях света нашло бы поддержку и поощрялось бы наградами, продвижением по службе и повышением жалованья, здесь, в Никарагуа, вызывает подозрения, давление и насилие над душой и телом служащего. И еще, конечно, обиднее, что подобное насилие исходит от своих же коллег, тоже носящих казенную форму, которые, как и я, должны возвести в культ дисциплину и чувство справедливости.

Не имея ничего добавить к вышеизложенному, убедительно прошу командование национальной гвардии снять с меня подозрения и освободить от жестоких допросов, а виновных в уже совершенных действиях по возможности заставить извиниться передо мной и моим отцом, лечившим мои телесные повреждения. Я не прошу наказать их, поскольку не злопамятен, однако, пользуясь случаем, направляю копию настоящего письма в Главное управление Компании пожарной охраны, с тем чтобы там знали о моем старании, а также печальную правду о моем жалованье после шести лет службы (прилагаю справку за январь этого года, поскольку в феврале, марте, апреле и мае выплаты вообще не было). Я прошу, чтобы была погашена задолженность мне, а также пересмотрен в положительную сторону вопрос о моем окладе.

Это все, о чем я хотел сообщить. С глубоким уважением Плутарко Рамирес».

(Пауза).

Лейтенант Эберс. Ну что же, ладно. Возьмем это дело на заметку и в случае появления каких-либо новостей мы тебя предупредим.

Рамирес. Спасибо, лейтенант.

Лейтенант Эберс. Не за что, приятель, не за что. Рад сделать тебе приятное.

Конец записи.

Капитан Флорес закончил чтение материалов, подшитых в папку розового цвета, и захлопнул последний лист столь же энергично, как обычно расправляются с москитом. Поставил дело на полку рядом со многими такими же делами, зажал переносицу двумя пальцами, желая воздействовать на очаг своей невралгии, и буркнул себе под нос:

— Эту войну мы уже проиграли, мой генерал...

XIII

Хотя был самый разгар дня и ослепительно сияло солнце, военные машины подъехали к кварталу с зажженными фарами. Они строго соблюдали строй, пока передняя не откатилась в сторону, открыв проезд, чтобы выдвинулся огромный автомобиль капитана

Флореса и возглавил колонну. Обеспокоенные жители, попрятавшиеся в домах, опускали на окнах жалюзи, а двери запирали на засовы.

Капитан Флорес притормозил возле дома Агустина и вывернул руль, поставив машину поперек мощенного булыжником переулка. Высунулся в окошко, пытаясь разобраться в звуках, доносящихся до него. Не выходя из машины, он поднял вверх ключи, отдавая таким образом приказ джипам тоже заглушить моторы. И когда после громких выхлопов наступила тишина, капитан мог бы поклясться, что это была самая удивительная тишина, которую он когда-либо слышал, и он даже попытался уточнить, что именно в ней было необычного и чем она могла угрожать.

Когда Флорес вылез из машины, солдаты тоже попрыгали на землю. Оружие они держали наготове — в позиции, похоже, отлично отработанной на учениях. Капитан вытер носовым платком потные ладони, с особенной тщательностью сложил платок, убрал его в карман мундира, разгладил образовавшийся выступ на груди и, выпятив свой квадратный подбородок, позвал, отчеканив:

— Агустин Менор!

Не отрывая глаз, он смотрел на дом, но единственным ответом ему была еще более глубокая и напряженная тишина. Сплошь покрытое розовыми цветами дерево, стоявшее слева, было так неподвижно, что казалось сошедшим с детского рисунка. Снова вынув платок, капитан еще раз, как полотенцем, вытер руки.

— Агустин Менор! — повторил он, чуть повысив голос.

Двери дома были открыты, но ничего не было видно. Стволы всех винтовок, словно по молчаливому сговору, были направлены на них. Через несколько секунд в дверях, наконец, показался дон Антонио в яркой рубашке, одной из привезенных Агустином: тщательно расправляя ее отложной воротничок, он как бы заранее предупреждал появление складок. По обе стороны от хозяина возле ног, обутых в веревочные сандалии, бежали две курицы — будто парализованные ослепительным солнечным светом, они замерли на месте. Капитан ощутил, как его руки вновь покрываются потом. Ссутулившаяся спина дона Антонио, казалось, выражала покорность, однако в упрямом подбородке угадывалась бунтарская дерзость.

— Ты кто? — спросил капитан.

— Антонио. Антонио Менор.

— Антонио Менор, может, добавишь «сеньор»?

— Антонио Менор, сеньор.

Капитан кивнул в знак одобрения. В соседнем доме ему почудилось какое-то движение, но он не повернул головы, будучи уверенным в бдительности солдат. Каждой клеткой спины он чувствовал блеск стволов новеньких винтовок «гаранд», всего лишь дней двадцать назад доставленных в казарму.

— Вот что, разыскиваю твоего сына.

Он небрежным кивком указал на сопровождающих его солдат, не глядя на них: так обычно подростки представляют своих знакомых.

— Его тут нет, сеньор.

— А где ж он?

— Не знаю сеньор. Если где ему и быть, так это в казарме.

Капитан, минуя дона Антонио, прошел к дому, вынул пистолет из кобуры на поясе, постучал рукояткой о неровную кладку, и со стены обильно посыпалась саманная крошка.

— Солома,— сказал он.— Одна солома.

Вложив пистолет в кобуру капитан с механической вежливостью подал отцу Агустина руку, чтобы тот спустился со ступеньки, а потом взял его за локоть, понуждая идти до угла Чуть стиснув ему предплечье, он сказал:

— Твой сын в понедельник не вернулся в казарму,— и тихим голосом, почти с грустью добавил:— Люди болтают, будто он дезертировал...

— Не может быть, сеньор...

Солдаты, как прикованные, стояли под солнцем, каждый со своего места наблюдал за происходящим. Лишь иногда устав держать винтовку, то один, то другой проводил рукавом по лицу, вытирая пот. Флорес наклонился к уху Антонио и с тенью улыбки на лице прошептал:

— В квартале ходят слухи, что ты, мерзавец, связан с сандинистами.

На этот раз Антонио не поддался нажиму капитана, подталкивавшего его идти дальше. Он уперся на месте и ответил:

— Это враки, сеньор.

— Так, по-твоему, я вру?

Дон Антонио посмотрел вдоль улицы, далеко-далеко, туда, где в прозрачном воздухе тропиков был виден горизонт. Он понимал, что сейчас должен соблюдать максимальную осторожность в разговоре, тщательно подбирая и оценивая слова, как партизан изучает и ощупывает скалу, прежде чем спрятаться за ней.

— Не вы, капитан, люди.

Флорес отпустил руку дона Антонио, часто заморгал, приблизив лицо к нему, и, словно подгоняемые взлетом нахмуренных бровей собеседника, движения его стали судорожно убыстряться. Он так решительно толкнул дона Антонио, что тот мгновенно оказался опять на пороге своего дома.

— Иди и скажи сыну, чтобы возвращался немедленно!

И даже не удосужившись проследить за реакцией дона Антонио, он, неестественно выпрямившись, подошел к своей машине, просунул руку в кабину и погасил фару. Затем капитан направился к ближайшему джипу, сел на его бампер, опершись спиной о радиатор, и уже оттуда жестом подал дону Антонио приказ войти в дом. Тот, набычившись, кивком показал, что понял его, и все с тем же угрюмым выражением лица скрылся в темноте помещения.

Капитан поднял глаза к солнцу и замер в этом положении, словно требуя заката светила. Не опуская взгляда, вытащил носовой платок, вытер им потные руки и, скатав в комок, опять положил его в нагрудный карман, не разглаживая.

— Жарища, черт возьми! Сейчас бы пива,— сказал он, проведя языком по верхней губе, и посмотрел на дверь дома.

Дон Антонио в это время находился в гостиной, с улицы он был едва различим, казался лишь темным пятном, так же темно было и у него на душе, охваченной смятением. Чем больше он рассматривал фамильную мебель, выцветшие семейные фотографии, разводы на стенах, тем труднее ему становилось дышать. Он понимал рискованность своего бездействия, но, словно наркоман, ничего не мог с собой поделать.

«Не знаю, что придумать, что предпринять. не знаю даже. смогу ли двигаться, если понадобится». Он чувствовал, как на нижней губе выступила крохотная капелька пота, но в его сознании она разрасталась все больше и больше. «С чего начинать? Зачем я здесь? И почему стою? Только и знаю, что стою здесь. Не двигаясь. Знаю, что надо что-то делать, но не знаю что». Дверь вела в кухню, а за ней — двор. Дом окружали разной высоты стены, и теперь, в его безвыходном положении, они казались ему непреодолимыми.

— Что ты там тянешь резину?

И этот окрик с улицы будто включил у Антонио способность к координации движений и осмысленным действиям. Он подошел к комоду, откинул салфетку, прикрывавшую верхний ящик, и просунул вглубь палец, тут же нащупал на деревянном дне металлическую рукоятку револьвера, хранившегося дома. Вытащил его и долго, держа на ладонях, с сожалением разглядывал, как разглядывают раненую птицу. Снова положил револьвер на место, опустил на ящик салфетку, вернулся на середину комнаты и некоторое время неподвижно стоял, с невыразимой тоской переводя взгляд с фотографии на фотографию дорогих ему близких. Не отрывая взгляда от их лиц, сделал последнее усилие, чтобы заставить себя думать. И вдруг с какой-то отчаянной решимостью подошел к двери, встал в проеме и заявил, вызывающе глядя прямо в глаза капитану, у которого дергалось веко:

— Не нашел, сеньор.

— Так-таки и не нашел? — переспросил капитан, теребя ухо.

Дон Антонио прочистил горло. И опять прозвучали те же слова, как с пластинки, когда игла застревает на одной и той же дорожке:

— Не нашел, сеньор...

Офицер снял фуражку и медленно провел указательным пальцем по внутренней стороне околыша. Потом, словно веером, помахал ею у самого лица и, придерживая за края козырька, вновь водрузил на голову. Резко, по-уставному. повернулся на каблуках и направился к дому дона Антонио, уже на ходу ударом руки захлопнув дверцу машины, перегораживающей улицу. Едва заметным движением пальца приказал отцу Агустина спуститься со ступенек и подойти к нему. Вновь ухватив его за локоть и как бы задумавшись, он повел старика вдоль переулка. Каждый раз, достигнув угла, они

поворачивали назад и возвращались к дому. Дон Антонио покорно шагал рядом с капитаном, лицо которого оставалось бесстрастным, будто неживое.

Скорее рассуждая вслух, чем обращаясь к нему, капитан объяснял свое поведение:

— Против тебя я ничего не имею. Я ценю твоего сына, а раз ценю сына, ценю и тебя. В конце концов ты, мразь, его отец!

Театральным жестом он приставил палец к виску, как приставляют дуло пистолета. При этом он рывком остановил Антонио, как бы приглашая его посмотреть разыгрываемую сцену.

— С твоим сыном поступят вот так. Его предупреждали! А раз он твой сын, с тобой будет то же,— добавил он, ловким движением фокусника тыкая мизинцем в висок дона Антонио.— И поскольку вам обоим грозит вот это, я хочу, чтобы ты его поискал как следует! — Он резко подтолкнул отца к лестнице и, подмигнув, любезным голосом попросил:— Приведи его сюда.

Капитан прошел к джипу, нажал кнопку мегафона и отчеканил:

— Внимание! Всем внимание! Сейчас начнется операция всеобщего обыска. Всем жителям квартала немедленно покинуть свои дома!

Как только умолк голос из репродуктора, двери поочередно начали отворяться. Люди выходили с опаской; казалось, сначала появлялись глаза человека, а только потом — сам человек. Шли, будто выполняя некий ритуал: дети, женщины, несколько стариков, которые, выйдя на залитую солнцем мостовую, растерянно топтались на месте, не представляя, что делать со своими руками, сложить ли их на груди или, сплетя пальцы, скрестить на животе.

Капитан обежал взглядом вышедших и недовольно похлопал себя по бедрам:

— Мерзавцы, здесь оставили стариков и детей, а сами, сукины сыны, исчезли!

Как раз когда он кончил эту фразу, его внимание привлекла женщина в ярком цветастом платье, крепко державшая на руках сына. Флорес заметил, как от его взгляда она вздрогнула всем телом, будто ударило ее током, и под сорванной кожей обнаружился безмерный ужас души. Ее руки еще крепче прижали сына к груди. Капитан сделал несколько шагов, отделявших его от женщины, и вслед за ним двигались напряженные взоры жителей. Флорес физически ощущал гнетущую тишину, она будто сдавливала ему голову.

— Ну-ка, что там у тебя, кума? — спросил он.— Не думаешь ли ты, что парень достаточно подрос и уже пора отрывать его от груди?

И странно, тело женщины сразу преобразилось: как по волшебству образовались впадины на груди и животе, будто она хотела втянуть ребенка обратно себе во чрево.

Флорес властным жестом указал ей на землю.

— Отпусти его, ему давно пора ходить на своих ногах!

— Капитан, ему только двенадцать лет.

Ее глаза были полны мольбы, просящие, напряженные, как сжатые кулаки, а губы — сухи.

— Лет четырнадцать—пятнадцать,— сказал капитан, нетерпеливо указывая пальцем на землю.— Велено — поставь!

Мать медленно опускала сына, и ее глаза искали хотя бы отдаленного сочувствия, поддержки, заступничества соседей, стоявших вокруг с опущенными головами, прикрываясь глухой стеной молчания. Поставив сынишку на землю, женщина вдруг обхватила его голову и исступленно прижала к груди. Руки матери, напрягая последние силы, дрожали, когда капитан попытался разомкнуть их, стиснув запястья.

Но капитан отсек мать твердым и требовательным взглядом и, взяв мальчишку за руку, как отец, провожающий сына в первый день учебы в школу, повел его к белой стене. Оставив там, вернулся на середину улицы, встал среди джипов и вооруженных солдат, добавил последний штрих к картине, которую должна была изображать вся эта сцена. Полководец перед боем! Хореограф, готовый к поднятию занавеса перед началом захватывающей пляски!

Взоры зрителей перебегали от ребенка, четко вырисовывающегося на белой стене под сандинистскими лозунгами, которые сейчас казались нацеленными на него своими обличающими перстами, к капитану, сохраняющему, как мастер подобных спектаклей, выражение презрительного высокомерия и в то же время настороженно прислушивающемуся к каждому подозрительному звуку с любого чердака. От него взгляды перебегали к сиротливо чернеющей пустынной двери дона Антонио, а оттуда в обратном порядке к Флоресу и ребенку у стены. Прежде всего капитана интересовали дома, у которых

имелись внутренние водостоки — лазейки для сандинистских ангелов с огненными мечами, будто спорхнувших с эстампов на религиозные темы. Наконец Флорес убедился, что по черепицам или доскам крыш не крадутся даже кошки. Только тогда он, поглаживая усы, медленно направился к дому Антонио Менора, заглянул в раскаленную темноту и доверительным голосом сказал:

— Старик, сделай-ка одолжение, выйди на минутку!

Дон Антонио подошел к порогу, и ему почудилось, что глаза соседей вонзились в него, как разлетевшиеся осколки метеорита, и, рассекая тело, проникли в самую глубину плоти. Невесомая пыль улицы забила все поры, намертво застыла густая, удушающая тишина.

— Похоже, все еще не нашел? — спросил Флорес, повышая голос, чтобы его слышали все.

Согнув жилистую шею и покорно глядя на капитана, словно нашкодивший щенок, дон Антонио тихо, слабым голосом выдавил:

— Возьмите меня, сеньор...

— Тебя?!— вдруг заорал Флорес, ударив кулаком по ладони другой руки. Нахлынувшее бешенство вмиг лишило его выдержки, приличествующей рангу.— А что ты умеешь делать? Работать на телеграфном аппарате? Управлять танком? Чинить автомобильные шины? Ты хоть раз за свою жизнь вылезал из этого навоза, в котором хочешь заживо похоронить и сына? Какой ты после этого отец? Какой ты к черту отец, жалкий мерзавец!

Глаза офицера, распаляемые молчанием дона Антонио, метали молнии. Он взглядом пробежал по толпе жителей, притихших, будто раненые птицы, и их головы склонились, как пламя свечей склоняется от неслышного ветерка.

— А вам, сеньоры, дарить Никарагуа мы не собираемся. Прежде чем дать войти сюда сандинистам, я собственными руками разбомблю Леон так, что здесь не останется ни мошки, ни травинки!

Он постоял некоторое время не двигаясь, словно ожидая ответа, а потом поднял глаза вверх, где на небе мертво висело единственное облако. Недовольно нахмурился. «Черт знает как хочется пить!» — подумал про себя.

— Тебя, старик, я милую,— выкрикнул он, не глядя на дона Антонио. При этом капитан пальцем показывал на двенадцатилетнего мальчишку и, показывая, почти физически ощущал страх, охвативший людей. Еще более распаляясь от этого, он быстро подошел к ребенку, приподнял его голову и повернул в сторону дона Антонио, словно давая возможность внимательнее рассмотреть мальчишеское лицо. И чтобы дон Антонио лучше расслышал его на расстоянии, разделявшем их, четко, почти по слогам прокричал: — Но поплатится вот этот ублюдок!

Он подтолкнул мальчика к самой стене, решительным шагом вернулся на середину улицы, где опять встал перед своими солдатами.

— Ты слышал, старый пес?

И в это время в дверях дома показался Агустин, голый по пояс, в небрежно сдвинутой на лоб фуражке, с солдатской курткой, зажатой в руке и почти волочащейся по земле. Равнодушно посмотрел на капитана и, не обращая внимания на напряженно молчащих соседей, надел куртку, застегнув все пуговицы, кроме верхней. Солнце нещадно раскаляло пыль и высушивало масляные пятна от джипов на мостовой. Агустин направился к своему начальнику расхлябанной невоенной походкой, словно его вес и рост были для него слишком велики. Между ними оставалось около метра, когда Флорес поднял руку — блеснул брелок с ключами от машины. Звякнув ими, капитан кинул связку Агустину, и тот подхватил ее как ни в чем не бывало. Флорес показал на машину и внимательно посмотрел на ладную спину парня, нагнувшегося, чтобы занять место у руля. Когда заработал мотор, капитан чуть улыбнулся отцу Агустина, а потом одарил своей любезностью и остальных жителей квартала. Постукивая пальцами по околышу фуражки, он сказал:

— Вот это мне нравится. Чтобы все по-хорошему.

XIV

Не отрывая головы от влажной подушки, почтальон поморгал спросонья, а потом долго лежал с широко открытыми глазами, напряженно вслушиваясь в тишину комендантского часа, и никак не мог понять: то ли голос, окликнувший его, приснился ему, то ли был реальным, но во всяком случае разбудил.

— Салинас! — снова позвал кто-то тихо.

Почтальон быстро подскочил к двери и приложил ухо к шершавой доске.

— Кто там? — шепотом спросил он.

— Это я, старина.

— Ты?

— Да открой же, черт побери!

— Так ведь комендантский час...

Неподалеку, наверно в соседнем квартале, раздался мощный рокот какой-то тяжелой машины — да, типичный перестук гусениц «шермана» по мостовой.

В два счета почтальон открыл задвижку — прилепившийся к двери, как марка к конверту, Игнасио ввалился в помещение, бросив на кровать какой-то сверток. В комнате было светло от лунного сияния. Игнасио попросил Салинаса запереть дверь без шума.

Почтальон не заставил повторять просьбу и по собственной инициативе добавил к задвижке тяжелый засов.

— Ты знаешь, что тебя ищут?

— Конечно.

— А что говорят про тебя?

— Я только что появился тут,— все еще задыхаясь и массируя грудь в области сердца, сказал Игнасио.— Мне не до сплетен.

— Говорят, это ты подорвал военный джип.

— Так и говорят?

— Именно.

— И ты веришь?

В мертвенно-бледном свете луны Салинас попытался рассмотреть лицо Игнасио, чтобы понять, какой следует дать ответ. Рукавом пижамы он провел по носу, прислушиваясь к удаляющемуся лязгу гусениц «шермана». Лицо Игнасио не помогло Салинасу. Он все еще раздумывал, как прервать им самим же созданную паузу. Оставалось сунуть в руки Игнасио бутылку гуаро. Игнасио отпил и прерывистым вздохом одобрил качество спиртного. Салинас подошел к столу, взял карандаш со сломанным грифелем и лезвием «жилетт» стал тщательно его затачивать, соскабливая тонкую графитную пыль, падавшую на белый лист бумаги.

— Так чем я могу быть тебе полезен?

Игнасио левым ботинком нажал на задник правого и разул одну ногу, затем пальцами босой ноги проделал то же самое с левым ботинком. Салинас следил за его действиями, будто в них был какой-то скрытый смысл и почтальону требовалось его разгадать.

— Собираешься оставаться тут? — наконец осторожно спросил он.

Игнасио пожал плечами и, показав на улицу, спросил:

— «Шермана» боишься?

— Тебе нельзя оставаться. Ко мне приходили, спрашивали про тебя.

— А ты что?

— Говорят, что ты взорвал военный джип,— Салинас выдержал торжественную паузу и таким же тоном закончил: — Убито трое!

Игнасио молчал, занимаясь носками.

Салинас застегнул пижаму на все пуговицы, словно собирался зачем-то выйти на улицу.

— Говорят, тебя священник укрывал?

— Только один день.

— А потом ты подался в Чинандегу?

— Я сейчас оттуда.

Игнасио пошевелил всеми пальцами, потер пяткой о пятку, будто разминал ноги после долгого бездействия.

Салинас подошел к двери и подергал ее, чтобы еще раз убедиться в надежности запоров.

— Напротив контора доктора Риваса,— напомнил он.

— А я к тебе с просьбой.

— Здесь тебе нельзя оставаться.

— Ладно, ладно. Это была бы вторая просьба, и ты мне уже ответил.

— И на первую скажу то же.

— Ну что ж, спасибо тебе за героический вклад в дело борьбы с диктатурой.

— Если тебя убьют, то по крайней мере какую-нибудь улицу назовут твоим именем.

— Откуда ты это взял?

— Видно, голову-то тебе опалило взрывом.

— Слюнтяй ты, слюнтяй...

— А если меня расстреляют, все будут говорить: «Бедняга Салинас, ведь он же за всю жизнь ничего такого и не сделал!»

— Ну, положим, сейчас ты уже кое-что делаешь.

— Да, но про это никто не знает.

— Если хочешь, чтобы узнали, завтра весь город будет говорить.

— Нет уж, спасибо...

Игнасио воспользовался тем, что Салинас сердится и, отвернувшись от нежданного посетителя, ворчливо высказывает свое недовольство луне, вновь отхлебнул глоток гуаро, смакуя его, как истинный гурман.

— То письмо...— сказал почтальон, не оборачиваясь,— я уже вручил.

— Мне рассказывали.

— Кто? — быстро повернулся Салинас.

— Птичка прилетела и рассказала...

Салинас, опустив голову, подошел к кровати и стал поправлять сбившийся матрас.

— А Викки ничего не говорила?

— Ну как же. Она тоже кое-что рассказала.

Наступило длительное молчание. Салинас рассеянно ощупывал свои карманы.

— Что потерял? — спросил Игнасио.

— А? — не понял Салинас, продолжая обыскивать себя.

— Я спрашиваю, чего ищешь? Если сигареты, тебе их не найти — ты же в пижаме.

Салинас ударил себя по лбу, подошел к стулу, взял пачку и, вытащив две сигареты, одну протянул Игнасио, а другую сунул себе в рот. Когда оба закурили, Салинас придвинул стул к Игнасио:

— Рассказывай!

— Что?

— Что она говорила.

— Кто говорил? — притворился Игнасио.

— Викки.

— Когда?

Салинас резко оборвал разговор и молчал какое-то время, а потом с грустью сказал:

— Ты мне не друг.

Игнасио хлопнул его по бедру.

— Посмотри на меня!

Одинокий выстрел метеором прорезал ночь. Салинас повел одним глазом и насупил бровь, как бы выражая недоумение.

— Так и быть, расскажу, о чем говорила Викки.

— Ну так давай.

— Она сказала: «Когда увидишь Салинаса, передай ему мое спасибо».

— Спасибо?

— Спасибо.

— А еще что?

— А еще: «Если увидишь Салинаса, скажи, что сейчас, когда он помогает вам, он мне нравится еще больше и кажется отличным парнем».

Салинас плотно закрыл лицо руками.

— Что с тобой?

— Ничего-ничего,— сказал почтальон, и сквозь пальцы было видно, что он улыбается.— Я, наверно, покраснел?..

XV

В первый день ареста Агустин лежал, закинув руки на затылок, и радовался, что здесь, в карцере, он сможет отдохнуть от осточертевших ему криков о крови,

мясе и сандинистах. Над головой раздавался дробный стук сапог, а он, вытянувшись на толстой доске, служившей ему койкой, окончательно убеждался в том, что этот отдых на хлебе и воде намного предпочтительнее идиотской муштры, сопровождаемой ударами Сифуэнтеса под ребра.

Зато ночью этих первых суток он, проспав всего лишь час, нащупал было кувшин для воды и с жадностью прильнул к нему, но там оказалось всего несколько капель, которых хватило лишь смочить губы. Через десять минут жажда стала просто невыносимой. С этих пор он не мог заснуть. Усевшись на доске, так что колени почти касались противоположной стены — даже койка здесь, едва втиснутая в карцер, тоже казалась арестанткой,— он несколько часов провел в ожидании сигнала «подъем». Одновременно с этим сигналом должен появиться и надзиратель. Но часы в этой тягостной, глухой тишине тянулись бесконечно долго. Вдруг Агустин почувствовал, что его сердце начало биться беспорядочно. Он прижал руку к груди, не на шутку испугавшись внезапно наступившего удушья. Охваченный ужасом, он потянулся к высокому оконцу с намерением закричать, позвать на помощь. Но мысль о том, что появится Сифуэнтес в нижнем белье и спросит, какой это сукин сын посмел разбудить его, остановила арестованного. К тому же санитарная часть ночью все равно закрыта и сержант поставит свой собственный диагноз: сердцебиение — это лишь каприз сеньорит!

По-прежнему не отрывая руки от груди и чутко прислушиваясь к каждому уколу боли, утратив способность сосредоточиться на чем-либо ином и сдерживать хаотически прыгающие мысли, он впал в забытье, в этом состоянии его и застала побудка. А спустя полчаса через окошко металлической двери ему просунули кувшин, полный воды, свежий хлеб и стакан теплого молока. Надзиратель, принесший все это, не вымолвил ни слова, и Агустин его не расспрашивал. Он напился прямо из кувшина, несколько раз глубоко вдохнул и почувствовал, как все его ночные страхи отступают. Однако прежде чем снова наклонить кувшин и еще раз напиться, он остановил себя и отмерил уровень в два пальца, заботясь о запасе на следующую ночь.

В это же утро, когда влажность, царившая в воздухе, мешала дышать, он уже с некоторой тоской и даже завистью начал думать о тренировочных учениях своих коллег, которые обычно заканчивались холодным душем и обильным обедом. К полудню ему удалось заснуть, и он проспал несколько часов. Проснулся уже к вечеру. В окрестностях казармы слышались разрозненные выстрелы, минут через десять перешедшие в непрерывную пальбу, как при настоящем бое. Арестованный встал на кровать, пытаясь разобраться в происходящем: то ли началась атака сандинистов на казарму, то ли голод и стены подземелья, в котором он был заточен, искажали его представление о расстоянии и интенсивности стрельбы. В конце концов он понял, что перестрелка далеко от ШОПП, в противном случае капитан Флорес и Сифуэнтес уже пустили бы в дело крупнокалиберные пулеметы, установленные на каждом углу казармы. А их оглушительный грохот ему хорошо известен с тех пор, как на учениях пустые гильзы едва не задевали его лицо. Поглаживая доску-койку, он размышлял о том, что случилось бы, если б сандинисты захватили здание штаба командования и казарму, как это уже бывало во многих городах страны. Что бы он мог сказать в свое оправдание? Можно было бы рассказать правду, но возмущение народа злодеяниями национальной гвардии нельзя утихомирить просто словами. Конечно, определенным смягчающим обстоятельством ему бы служило то, что он находится в карцере. А если бы его спросили, кто может за него поручиться, он назвал бы Игнасио. В последний раз он видел его за тяжелым занавесом в алтаре церкви, и хотя между ними не было уговора, он, Агустин, не выдал его. С другой стороны, за час до этого, когда они встретились на улице и Игнасио увидел его в военной форме, разве тот не отвернулся с презрением и злобой?

А может, обратиться за поддержкой к жителям своего квартала? Ведь все видели, как его арестовал капитан Флорес. Правда, у народа голос громкий. Наверняка напомнят, что от дома-то он уехал за рулем собственной машины капитана.

Вечерняя заря застала его прильнувшим от голода к окошку в двери, как будто его пустой желудок мог заинтересовать охрану. Увы, лишь через долгих полчаса он услышал, как по металлическому полу коридора раздаются шаги. Увидев, что рука его дрожит на засове дверей, Агустин безуспешно попытался скрыть свое нетерпение и крепко сцепил пальцы. В замке загремел ключ, и арестованный проворно отпрыгнул к койке, ударившись спиной о стену карцера. Когда он увидел, что ключи

держит Сифуэнтес, а не надзиратель, в нем затравленным зверьком, шевельнулась тревога. Запах одеколона, которым пользовался сержант при бритье, забил все другие запахи.

— Одевайся!

Стоя у двери, Сифуэнтес позволил солдату натянуть брюки, но когда тот застегивал «молнию», Сифуэнтес приставил ему к горлу массивные ключи и надавил так, что голова Агустина откинулась, ударившись затылком о стену. Не отнимая ключей от горла Агустина, Сифуэнтес ровным голосом, заботясь больше о звучании слов, чем о смысле, произнес:

— Руки мои по тебе соскучились, щенок.

Агустин схватил сержанта за запястья, пытался оторвать его от себя, но лапы Сифуэнтеса, проделывающего каждое утро во время зарядки по пятьдесят подтягиваний, были как клещи. Лишь почувствовав, что солдат задыхается, сержант ослабил нажим. Некоторое время, пока Агустин приходил в себя, они стояли молча, а потом Сифуэнтес протянул солдатскую куртку и повторил почти доверительно:

— Руки, говорю, по тебе соскучились.

Агустин медленно натягивал куртку, не спуская глаз с огромных кулаков Сифуэнтеса, которые в любой момент могли нанести коварный удар.

Наконец он застегнул все пуговицы и, опустив голову, стоял, ожидая дальнейших приказаний.

Сифуэнтес, распрямил и снова сжал пальцы в кулаки, словно упражняя их после внезапной судороги.

— Всего день в карцере и — на выход! А ты знаешь, чем кончил здесь твой предшественник за такой же проступок?

— Нет, сеньор.

— Он вообще отсюда не вышел. Понимаешь?

— Да, сеньор.

— Тот, правда, не был мальчиком на побегушках у капитана.

Агустин вмиг сообразил, что произошло. Это Флорес приказал выпустить его из карцера. Иначе быть не могло. Он почувствовал, как одновременно с этой мыслью его до стука в висках начала переполнять злоба. Он сразу оценил преимущества, открывающиеся перед ним, если его предположение верно.

Иронически скривив губы, Агустин пристально посмотрел в глаза Сифуэнтесу и сказал:

— А вам пора бы уже понять, что специальные поручения капитана не «побегушки», а дела службы! — Он положил руку на горло и погладил кожу. — Кстати, сержант, то, что вы сделали со мной своими ключами, причинило мне серьезную боль.

Сифуэнтес, выдвинув вперед челюсть, усиленно тер себе переносицу. Было видно, что он тужится найти подходящий ответ, но это ему никак не удается.

— Ох и соскучились же по тебе мои руки, щенок! — выдавил он наконец. — Запомни это!

Не ожидая приказа сержанта, Агустин вышел из камеры и не спеша направился вдоль коридора.

XVI

«Постоянной комиссии по правам человека
в Республике Никарагуа.
Национальному координатору,
лиценциату Хосе Эстебану Гонсалесу Р.,
4 квартала на юг от кинотеатра Кабрера и 20 вара[1] вниз, дом № 608.
Манагуа, Национальный округ,
Никарагуа.

Я, Марсело Бланко, двадцати одного года, холост, имею степень бакалавра, проживаю в г. Леоне, со всем уважением к вам сообщаю следующее.

В 1976 году в колледже Кальцан я получил степень бакалавра, а в 1977-м поступил в Национальный университет на топографическое отделение, расположен-

[1] Вара — мера длины в Никарагуа, равная 83,93 см.

ное в районе имени Рубена Дарио. Скромные средства, которыми располагала моя семья, позволили мне проучиться в университете только один семестр, а потом я вынужден был оставить занятия за невозможностью оплачивать учебу.

После сентябрьского восстания 1978 года, охватившего всю страну, и ввиду обострившегося финансового положения, которые переживала моя семья (а нас восемь человек детей, родители же, и без того очень бедные, в то время не имели работы), и поверив радиопропаганде, призывавшей молодых людей идти в армию, я вступил в национальную гвардию, чтобы облегчить трудности, переживаемые семьей. Первого ноября 1978 года я явился в штаб командования в городе Леоне.

В тот же день меня перевели в Школу основной подготовки пехоты (ШОПП), где почти полмесяца я работал на уборке левого сектора территории штаба военно-воздушных сил Никарагуа, известного под названием «Ла Канина».

Тринадцатого ноября я начал собственно военную подготовку в зоне ШОПП. Инструкторы — их там называют «тактиками» — обращались с нами исключительно грубо, называли нас собаками, скотами, дикарями и тому подобное. Бегать нам приказывали с полной выкладкой, а фляжки оставляли пустыми, так что пить было нечего. В начале третьей недели нам выдали автоматические винтовки «гаранд», нас учили хватать и убивать каждого, кто «носит рубахи, как у партизан, или совершает подозрительные действия». «И никаких выстрелов по ногам или в воздух!» Нас учили стрелять так, чтобы убивать насмерть.

Некоторые наказания там были особенно жестокими. Например, если кто-нибудь допускал ошибку или проявлял нерасторопность на учениях, его заставляли голым ложиться на колючки и даже кататься по ним. В конце такого наказания все тело покрывается ранами. А одному солдату по фамилии Барбоза — он и сейчас еще находится в ШОПП — придумали такое наказание: его заставили раздеться и лечь в муравейник. Под конец лицо парня вообще невозможно было узнать, так его отделали муравьи! Если замечали кого-нибудь курящим, заставляли съесть сигарету.

В апреле нам заплатили трехмесячное жалованье за январь, февраль и март, которое задолжали. Мы получили по 709 кордоб за каждый месяц, но без рождественской надбавки. Примерно в мае меня перебросили в казарму «Лас Мерседес» военно-воздушных сил для несения караульной службы. Смены там были очень тяжелые, заступали в наряд мы в шесть часов утра и находились на посту до двенадцати дня, а потом еще с шести вечера до двенадцати ночи. А если кто от усталости засыпал на посту, ему наполняли ранец песком или булыжниками и заставляли с этим грузом маршировать минимум шесть часов. Такое наказание называется «схлопотать булыжник».

Хочу, чтобы вам стало понятно, что к этому времени я уже был совершенно изможден и обессилен. Кроме того, меня еще мучила проблема совести: я не мог больше слышать в ежедневных разговорах рассказы о том, сколько человек было убито солдатами ШОПП, бронетанкового батальона или патрулями.

Вот почему в середине мая я решил бросить все, это не жизнь. Расстрел, учиненный в Гуадалупе, утвердил меня в решении уйти из армии. Там убили одного парня, с которым мы вместе росли в Леоне и который был женихом моей сестры. Однажды я отпросился домой и больше в часть не вернулся.

Но в армии, и особенно в ШОПП, дезертир рассматривается как потенциальный партизан, на то есть специальный приказ.

Примерно через девять дней после того, как я не вернулся из увольнения, к нам в дом нагрянули двое из национальной гвардии и стали расспрашивать обо мне. Я успел спрятаться, а мои родные сказали, что дома я не появлялся.

А недавно я был на центральном рынке Леона, и меня узнали агенты бюро безопасности. Они хотели задержать меня, но я вовремя их заметил и бросился бежать по рынку, опрокидывая по дороге корзинки с товарами, чтобы затруднить преследование. Кое-как мне удалось скрыться, а не стреляли они, я думаю, потому, что вокруг было очень много народа.

С другой стороны, должен сообщить вам, я боюсь и студентов, которые знают меня и знают, что я служил в ШОПП, а поэтому считают меня врагом. Таким образом, я нахожусь как бы меж двух огней и над моей жизнью нависла угроза с двух сторон.

Вот почему я обращаюсь в Постоянную комиссию по правам человека и официально сообщаю о вышеуказанных обстоятельствах. Дело в том, что я собираюсь просить убежища в одном из иностранных посольств и хотел бы заранее уведомить вас о причинах этого.

Одновременно даю согласие Постоянной комиссии, если она найдет это нужным, на предание гласности данного письма после того, как я получу убежище в каком-либо из посольств.

Манагуа, 4 июня 1979 года.

Марсело Бланко».

Заявление поступило от лица, подписавшего его, в 17 часов 30 минут того же дня.

Постоянная комиссия по правам человека
в Республике Никарагуа.

XVII

Самая старая женщина в городе была предупреждена священником, что в шесть утра за ней заедет автомобиль. Она отрезала, заявив, что, слава богу, сама еще управляется со своими делами и утром сможет пойти куда надо безо всякого автомобиля. Падре Педро попросил, чтобы она помолилась на ночь и ради всех святых не разговаривала бы больше так поздно по телефону. «Я все равно не могу заснуть, — сказала самая старая женщина в городе, — если за углом стреляют». — «Тогда до шести утра, донья Роса», — закончил разговор священник и протер телефонную трубку рукавом, словно желая уничтожить отпечатки пальцев.

За пять минут до назначенного времени Викки, смочив кончиком языка кисточку для туши, продолжала еще наводить тени под веками Амалии. А уже через шесть минут, то есть полминуты спустя после того, как мимо дома проехала тележка булочника, дон Антонио мог наблюдать, как на всем пути женщин его семьи вдоль квартала поочередно открывались двери домов и из них появлялись соседки и следовали за Викки с Амалией на расстоянии, которое ему показалось неосторожно малым. «Идут словно на митинг или демонстрацию», — пробурчал он.

Свернув за угол, Викки и ее мать увидели самую старую женщину в городе, которая, много раз сгибаясь над своей клюкой с перламутровой ручкой, приветствовала их скорее с лукавством, чем с опаской.

— Священник отвезет меня на машине,— прошамкала она с улыбкой.

Женщинам не надо было оглядываться, чтобы определить, что сзади следует фургончик, неизменно извещавший жителей обо всех кончинах, похоронах, крестинах, свадьбах, а также программах кинотеатров, выделенный в распоряжение священника и управляемый сейчас им лично. Фургончик так подпрыгивал на выбоинах, что падре Педро едва справлялся с непослушным механизмом.

Через несколько шагов Амалия дотронулась до локтя Викки. Впереди двигалась одинокая фигура в длинной синей юбке и шляпе из синей же соломки, простирающей над ее владелицей густую тень. «Мария Молина», — подумали одновременно обе женщины.

Они прибавили шагу, и, поравнявшись с Марией Молиной, донья Амалия, не останавливаясь, спросила:

— Вы, донья, тоже?

— Тоже вот.

— Но у вас ведь нет сыновей.

— Могли бы быть...

Они обогнали Марию Молину и, свернув за последний угол, увидели стоящий, уже битком набитый автобус. Викки, поддерживая мать под руку, помогла ей подняться. Войдя, они кивком головы степенно поздоровались с людьми. О доносившихся одиночных выстрелах люди не разговаривали, по привычке или в силу определенного такта, а может и потому, что мысли всех сейчас были заняты другим.

Машина падре Педро с величавостью кареты проследовала мимо автобуса, что послужило сигналом трогаться и ему. Самая старая женщина в городе высунулась из окошка и, приставив палец к носу, скорчила смешную гримасу.

Сержант Сифуэнтес как раз откусывал сандвич с ветчиной и сливочным маслом, когда самый молодой из охранников прибежал предупредить, что группа женщин во главе со священником направляется к штабу командования и казарме. Не вдаваясь в подробности, сержант скомандовал часовым на сторожевых вышках, чтобы те не сводили глаз с группы, держа ее на прицеле своих крупнокалиберных пулеметов. Сам же он со скоростью, неожиданной для такого грузного человека, промчался по галерее второго этажа и без стука вбежал в кабинет капитана Флореса. Двое офицеров вышли в коридор. Опершись локтями о подоконник, капитан рассматривал в бинокль откос, по которому поднимались женщины, сбиваясь все более тесно в группу, словно близость казармы заставляла их прятаться друг за друга.

Сифуэнтес проглотил последний кусок сандвича и, обтерев рукавом безупречно выбритый подбородок, сказал:

— Кто же это подослал теток?

Бинокль перемещался поочередно с одного лица на другое. Улица внезапно опустела. Лучи утреннего солнца почти в упор били в линзы. Отрегулировав фокус, капитан внимательно посмотрел, что делается на сторожевых вышках.

— Уже три дня нет дождя, — пробормотал он, обращая бинокль к женщинам. Прищурив правый глаз, он обнаружил, что ядром группы был священник, вокруг которого теснились остальные. Капитан зловеще улыбался.

— О чем вы думаете, капитан? — спросил сержант.

— Да о том, что эту войну нам приходится вести на несколько фронтов, — ответил капитан, пытаясь в чертах лица священника найти разгадку, чем вызвана его решительность. — Я бы предпочитал вести ее на одном, и более определенном фронте. На таком, где было бы ясно, какой отпор следует давать на каждую атаку.

Сержант презрительно скривил губы:

— Этот старушечий гомон вы называете атакой?

— Они сами накажут себя, и я хотел бы видеть лицо этого пентюха, когда он поймет это, — сказал себе Флорес. Он опустил бинокль, который повис у него на животе, и сурово посмотрел на грубую солдафонскую стрижку своего подчиненного.

— А вам как кажется?

— Мне, капитан?

Женщины уже подошли к железным воротам и, как митингующие на улице студенты, начали хором выкрикивать, сначала медленно и тихо, а потом все быстрее и громче:

— Мы любим детей своих,
Не мертвых, а живых!

Флорес не спеша прошелся взглядом по баракам, где помещались солдаты, и внимательно рассмотрел их лица, носы, прижатые к стеклам.

— Сифуэнтес!

— Я здесь, капитан!

— Вызовите пост номер два и скажите, чтобы женщин даже мизинцем не трогали! В конце концов они — матери этих сукиных сынов...

— Слушаюсь, сеньор.

— А еще передай: если хоть один мужчина перейдет на эту сторону улицы, пусть его пристрелят без дополнительных приказаний.

Он посмотрел на небо, и ему показалось, что оно сплошь усеяно птицами. «Сколько их...» — подумал капитан.

Часовые лишь приоткрыли ворота, образовав щелку, и пришедшим матерям казалось, что они пробираются во двор казармы, подставляя себя поочередно под капитанскую оптику, которая в лучах солнца внизу выглядела как два сверкающих лезвия. За воротами женщины снова сбились в кучу. Они взялись под руки и тесным кольцом окружили мать Агустина. Юбки их сомкнулись в живом круговороте, и даже священник не мог остановить беспокойное движение своих прихожанок. Казалось, он сам ищет защиты среди этих женщин, страхом сбитых в круг, который невозможно разомкнуть.

Наконец, не желая продлевать образовавшуюся паузу, которая становилась все смешней, священник обнял за плечи самую старую женщину в городе и торжественным шагом двинулся с ней вперед.

Капитан усмехнулся: «Великомученик».

А Амалия в это время тяжело, как бы через силу, снова начала скандировать:

— Мы любим детей своих,
Не мертвых, а живых!

«Если вы их так любите, должны бы позаботиться, чтобы они не осиротели»,— подумал капитан, развлекаясь тем, что пытался отгадать по чертам лица, кто чья мать. Крик постепенно стихал, и наконец был слышен только стук женских каблуков по каменным плитам двора. Капитан осторожно положил бинокль и быстро прошел к лестнице, а потом, не торопясь, останавливаясь почти на каждой ступеньке, спустился вниз. И когда он был уже на земле, Сифуэнтес повесил ему на плечо мегафон.

— Итак, я капитан Флорес. Чем могу служить?

Пришедшие не смотрели на него. А самая старая женщина в городе, глядя в землю, стала быстро перебирать четки. Капитан отыскал глазами священника. Тот с трудом выдержал его взгляд. Потом некоторое время стоял, слегка наклонив голову, как нашаливший ребенок, покраснел и вовсе опустил ее.

— Ну что ж вы? Утруждали себя — шли, а теперь молчите?

Капитан стал прохаживаться перед группой туда и обратно, изображая бесконечное терпение. Потом остановился возле матери Агустина, внимательно оглядел, почти не сомневаясь, что узнал ее.

— Так как?

Женщина не отрывала взгляда от мысков своих туфель, вся ее энергия, казалось, ушла на то, чтобы сжимать запястье Викки. И стук сердца дочери отдавался в ее пальцах. Вдруг заговорила Мария Молина:

— Мы любим детей своих...

Капитан подошел к ней, держа руки за спиной, и внимательно посмотрел в лицо, причем во взгляде его не было ни строгости, ни высокомерия. Только спокойствие.

— Ну если вы об этом, то я тоже люблю своих детей. Но чем все-таки я могу быть вам полезен?

И тут от группы отделилась самая старая женщина в городе и, опираясь на клюку, двинулась на капитана тяжело, как паровоз. Прежде чем произнести первое слово, она обернулась за поддержкой к женщинам, но они стояли потупив глаза.

— Отпустите наших сыновей! Вот и все.

Флорес изобразил удивление, но ответил не самой старой женщине в городе, а всем, переводя взгляд с лица на лицо:

— Сеньоры, — он старался любезно улыбаться, — это казарма, а не пансионат для барышень, где разрешено входить и выходить когда заблагорассудится.

— Сеньор капитан, — вмешался священник, — уже три месяца матери не видели своих сыновей. И даже не знают, здесь ли они. И вообще,— он понизил голос, — живы ли...

И тут все женщины заговорили разом. Сифуэнтес и Флорес, следуя за их восклицаниями, вертели головами, будто наблюдали за летающим мячом при игре в теннис.

— Ну хватит! — сказал Флорес, и в голосе его зазвучала ирония. — Дело в том, что, когда ваши парни в последний раз были в увольнении, они слишком обленились. У многих разболелись животы, как они говорили. А некоторые вообще остались дома — якобы больные. Так или не так?

Услышав, как Виктория откашлялась, собираясь что-то сказать, ее мать вышла вперед:

— Наши сыновья рождены не для этого, сеньор!

— Не для чего «этого»?

— Не для того, чтобы умирать.

Капитан проглотил первые пришедшие ему на ум слова и выдержал паузу.

— Правильно, никакая мать не хочет видеть своих сыновей мертвыми. Но есть высшая мать, мать всех матерей, и эта мать — родина. Ваши сыновья здесь, чтобы защитить ее.

— От кого, сеньор? — выкрикнула Мария Молина, дерзко взглянув из-под широкополой шляпы.

— От врагов! — вмешался Сифуэнтес. — От коммунистов!

Будто не слыша ответа сержанта, мать Агустина повторила вопрос капитану:

— От кого, сеньор?

Флорес снял фуражку, поднес ее к лицу и, энергично двигая кистью руки, стал обмахиваться. На этот раз его длительное молчание означало, что он считает разговор оконченным. Но тут самая старая женщина в городе слабым, срывающимся голосом снова начала:

— Мы любим детей своих,
Не мертвых, а живых!

Внимательно рассматривая носок своего сапога, начищенного ординарцем, Флорес подождал, пока новый взрыв криков ослабеет, а потом и вовсе затихнет.

— Мои дорогие сеньоры, — сказал он, — не знаю почему, но мне кажется, что в действительности вам хочется кричать: «Не мертвого, а живого мы любим Сандино!»

Театральным жестом он надел фуражку, повернулся на каблуках и, не оглядываясь, стал подниматься по лестнице. Самая старая женщина в городе хотела побежать к нему, но Сифуэнтес остановил ее. И тогда Викки стремительно, как пружина, выскочила из толпы. И не дав сержанту сообразить, что происходит, побежала к лестнице и крикнула:

— Капитан!

Ее чистый голос прозвучал неожиданно свежо на дворе казармы. Поэтому оклик вызвал у Флореса не раздражение, а любопытство. С последней ступеньки он взглянул вниз на девушку. Охрана на вышках тоже на мгновение забыла о своих обязанностях. «С кем угодно воевать, с кем угодно, но не с ней». Капитан пригладил усы. Девушка собралась уже подняться по лестнице, но Флорес жестом остановил ее на второй ступеньке.

— А ты чья же мать?

— Я пришла за братом.

— Пусть лучше он будет живой здесь, чем мертвый там, — Флорес показал за ворота.

— Живой? А надолго? Гвардейцы шарят по домам и убивают всех старше тринадцати лет, и за это...

— Сеньоры, — Флорес, решив продолжить разговор, спустился на одну ступеньку, — давайте говорить серьезно. Ваши сыновья — солдаты, а не грудные дети. Если они находятся здесь, в казарме, — значит, они сами этого хотели.

Викки ничего не могла возразить, однако продолжала подниматься по лестнице, нарушая запрет капитана. Сифуэнтес подошел к нижней ступеньке.

— Их завлекли сюда обманом! Сказали, что берут на учения, а теперь заставляют убивать людей.

— Сейчас чрезвычайное положение. Ведь в другое время ни одна из вас не приходила сюда с жалобами. Когда не было этой чертовой войны, вам нравилось, что мы кормим ваших парней до отвала. Кто в Никарагуа может позволить себе такую роскошь? Вы можете их так кормить?

Мать стала приближаться к Викки. Остальные женщины потянулись за ней.

— А почему наши мужья без работы?

— Почему их поувольняли?

— Сеньоры, я военный, а не президент, — старался перекричать их Флорес. — Накормить ваших сыновей — это мое дело, обучить их — тоже, и сделать людьми — все это мое дело, но я не могу решить все вопросы и для всех. Поймите меня. И не путайте мою любезность с мягкотелостью. Все, о чем надо было поговорить, мы обговорили. Ворота находятся вон там! Сделайте одолжение, уходите.

Сифуэнтес свистнул, и один часовой от ворот торопливо подбежал к группе женщин. Взяв мать Агустина и Викки под руки, он негромко сказал:

— Пойдемте.

Капитан поднялся на галерею и, показав пальцем на ворота, решительно потребовал очистить двор.

— Капитан! — снова крикнула Викки.

На этот раз Флорес не обратил внимания на ее голос, и тогда она мгновенно взлетела наверх, промчалась по галерее и, ухватив капитана за обе руки, резко

повернула его к себе лицом. И этот рывок словно передал ее бешенство офицеру. Их взгляды скрестились — горящие, яростные, непримиримые, ненавидящие, разящие. Тело Викки будто превратилось в сгусток нервов и металла. Подоспевший Сифуэнтес стиснул ее руку, но она, как бы не замечая боли, продолжала смотреть в глаза Флоресу.

— Я предпочитаю, чтобы моего брата расстреляли как дезертира, чем как предателя!

В это утро голос Викки, к несчастью, звучал особенно пронзительно, и нервы капитана не выдержали.

— Нахальная стерва! Так ты намерена разводить в казарме политическую агитацию?

Минуту спустя у себя в кабинете, после второго коктейля, он пожалел, что не сдержался там, а, стукнув Сифуэнтеса по загривку, закричал: «В карцер ее! Немедленно!»

Женщины пытались взобраться на лестницу, чтобы выручить арестованную, но солдаты, уже построившиеся в ряд с оружием наизготовку, образовали стенку и с бездушной педантичностью стали оттирать женщин к воротам. Некоторые из старух, запутавшись в юбках, падали и не успевали подняться Солдаты поднимали их бодрящими уколами винтовочных штыков. Но когда священник хотел защитить и поддержать донью Амалию, ему нанесли полновесный удар прикладом по всем правилам военного искусства. «Ты не тетка, мерзавец, хоть и в юбке!» — сказал ему солдат.

Мать Викки в поднявшейся пыли потеряла дочь из виду. И так же, как давно, когда она чуть не утонула в Понелойе, а волна все-таки выбросила ее на пляж и она молилась, без конца по слогам повторяя «Отче наш», пока не сообразила, что спасена и лежит на теплом песке, хотя и не могла понять, какая сила ее вытащила из пучины,— так и теперь, просунув лицо в решетку ворот, она молила: «Викки... Викки... Викки...» — пока не потеряла сознания и не упала на руки священника.

— Ее отпустят,— успокаивал падре Педро донью Амалию, когда она пришла в себя.

Женщина прижимала руки к сердцу, тело ее конвульсивно извивалось, как будто старалось освободиться от платья Священник удерживал ее, полуобняв, словно желая передать ей веру, надежду, которую ему удалось сохранить после всего, что произошло в этот день. Он чувствовал, как донью Амалию сотрясают судороги и она не может их сдержать. Позвав на помощь, он передал Амалию подбежавшей Марии Молине.

— Посмотри на меня,— приказала Мария.

Амалия приподняла голову и взглянула на Марию бесцветными, невидящими глазами Подошла еще женщина, Мария твердо и успокаивающе взяла Амалию под руку и ровным голосом тихо сказала:

— Не плачь, слезами горю не поможешь. Епископ сам позвонит в казарму и скажет, чтобы ее выпустили. Слышишь?

— Слышу.

— Ну и хорошо. Успокойся.

Остальные женщины окружили их плотным кольцом. И когда донья Амалия увидела это, она с такой ясностью осознала происшедшее и такая безысходность охватила ее, что она почувствовала горькую щемящую жалость к самой себе. Глубоко и громко втянув воздух носом, она тыльной стороной ладони провела по нижней части лица, как это делают мужчины.

— Пусть будет по-вашему, донья Мария.

— Вот и ладно, Амалия,— похвалил священник.

— Конечно, если епископ не побоится,— сказала мать Викки, отряхивая пыль с юбки.— Ему уже грозили влепить пулю во время мессы...

Священник жестом показал, что пора выходить на улицу.

Женщины молча повиновались, а Амалия, высвободившись из объятий Марии Молины, с неожиданной тщательностью стала смахивать пыль с кофты.

— Что же ты теперь скажешь Антонио? — спросила Мария Молина, когда Амалия вновь прижалась к ней, ища тени под ее широкополой шляпой.

— Скажу, как было.

— Ну и смелая у тебя дочь, правда?

— Сопливая еще. А вообще-то про нас тут говорят, что у Меноров кровь всегда бунтует.

— И как это хорошо у нее получилось. Ведь она вмешалась, когда мы, старухи, уже бросились врассыпную, точно куры.

— Бросились, потому что все уже было бесполезно.

— Всегда так: кажется, что все бесполезно, а находится кто-то и начинает борьбу сначала.

— Ты так говоришь, потому что она не твоя дочь. А по мне так лучше она помалкивала бы и теперь возвращалась с нами домой. Все равно своими разговорами о политике она ничему их не научила. Я вот слышала: первое, чему должен научиться революционер,— это уметь отступить, если видит, что боя ему сейчас не выиграть.

— Если бы все рассуждали так, то Че никогда бы...

— Да. Я знаю, что ты хочешь сказать.

— Ну?..

— Она не твоя дочь, вот тебе и «ну»!

XVIII

«Случилось фантастическое, невероятное, немыслимое, дивное, чрезвычайное, сказочное, необыкновенное, грандиозное, великолепное, чудесное, неожиданное, колоссальное, потрясающее — я еду домой!

Меня посылают в Леон! Самое позднее через неделю я буду с тобой, и я тебе понравлюсь, Виктория Менор. Когда ты увидишь меня с этой километровой бородой, густой, как чаща сельвы, спутанной, обильной, внушительной, тропической, патриархальной, окладистой, волнистой, варварской, дикой, ошеломляющей, ты будешь умолять, чтобы я скорей поцеловал тебя. И из этой заросли волос появятся ненасытные, как тигры, губы и вопьются в твои. С каждым днем я люблю тебя все больше и больше. С каждым днем растет во мне нежность к тебе, моя любовь, моя страсть, и с каждым днем я все больше хочу быть достойным тебя. Чтобы вместить мою любовь к тебе, я раздался, как слон, но и стал легким, как воробей.

«Похвались сегодня, утка,— завтра голову свернут, а это ведь не шутка». Так говорят в народе.

Викки, черт побери, я еду домой!

Сомоса — как в мое письмо попало это имя? — уходит. Уходит, и никто не знает, что будет дальше. Может быть, на его место временно посадят кого-нибудь из этой же семьи. Но как бы они ни изворачивались, мы не прекратим борьбы. Скоро падет Манагуа. Все мы единодушны в том, что с Сомосой и его прихвостнями не следует вести никаких переговоров. С американцами тоже. Наши условия можно выразить тремя словами: все или ничего!

Они убили многих наших товарищей. Парни были моложе меня.

Почти дети — пятнадцатилетние. Когда мы наступали, эти ребята пробирались к нам под пулями и просили принять их в ряды нашего Фронта. Мы всячески отговаривали, пугали: у нас, мол, нет для них оружия. Один, помню, ответил мне так: «Не важно, я заберу винтовку у первого же убитого национального гвардейца». Вот так мы и шли на Гранаду и Масайю: за каждым из нас тенью следовал молодой боец. Наша армия растет как по волшебству, с каждым часом становится вдвое, впятеро больше. Через несколько дней сандинистской будет вся Никарагуа, за исключением национальной гвардии, разумеется.

А что нового в Леоне?

Как там твой отец? Все еще без работы? А брат? У него в голове по-прежнему гуляет ветер? Мне рассказывали, будто он вступил в ШОПП, только я не могу поверить в это. Тем более зная вашего отца дона Антонио! Но в любом случае ты должна предупредить его, чтобы он дезертировал и отправлялся куда-нибудь, где можно спрятаться. Ты же понимаешь, после нашей победы никто не будет его защищать. Даже священники. Правда, наши руководители говорят, что после победы — а она уже совсем рядом — расстрелов не будет, Никарагуа должна стать прозрачно-чистой, как родниковая вода. Говорят, что и так уже погибло слишком много народу. Но это теперешние декларации, а кто знает, чем все обернется на самом деле? Народ натерпелся таких ужасов! Мы помним по именам палачей и преступников и прекрасно знаем их всех в лицо. Командиры говорят, что самые-то пакостники убегут

первыми — в Гондурас, в Гватемалу, в Майами. А тут останутся только те, кто подчищал за ними. И будут оправдываться: мы всего лишь выполняли приказы. История уже знает такие примеры, то же самое было в Германии!

Но когда все успокоится, я тоже отдохну. Ведь почти год я только и слышу выстрелы, бомбы, гул самолетов-разведчиков. Уже три месяца не спал в кровати и четыре месяца... Это особый вопрос!

Да, сеньоры, я еду в Леон!

Когда увидишь меня, не пугайся. И еще: если не любишь, не притворяйся. И не думай, что я приеду в Леон, чтобы заставить тебя принять решение или чтобы выхваляться перед ребятами, что я честно выполнял свой долг и был там, куда ушел.

Я заявляю тебе со всей ответственностью, по зрелом размышлении и по-товарищески откровенно, если любишь — это чудесно, гениально, очаровательно! А если нет — застрелюсь!

Действительно, я больше не в состоянии испытывать себя временем и разлукой.

Ладно, Викки, скоро приеду.

И знай, как бы ни был я голоден или томим жаждой — прежде всего хочу видеть тебя.

Целую крепко-крепко.

Леонель».

XIX

В часы сьесты вдруг тихо пошел дождь. С утра не было перестрелок, патрули бродили по улицам намокшие и нахохлившиеся. Джипы, казалось, ощупывали шинами каждый сантиметр проезжей части дороги. Дождь то начинал хлестать вовсю, то утихал. Но жара не спадала. Негр на бензоколонке приставил вентилятор вплотную к лицу, словно электробритву. Почти заснув в духоте заправочной станции, он едва успел заметить, как подъехала пожарная машина — красная игрушка в струях дождя — и остановилась у распределительного табло. Из-за руля виднелись острые усы Плутарко, но выпрыгнул из машины Салинас. Он отчаянно скреб пальцами по своей почтовой сумке, будто у той была чесотка. Когда вошел Салинас, негр встал и, воспользовавшись переменой положения, просунул маленький вентилятор под рубашку, чтобы освежить грудь.

— Какой прогресс, Сублиме! — приветствовал он почтальона.— Сменил велосипед на пожарную машину!

— Во-первых, не называй меня Сублиме. Салинас, и все.

— Ладно, старик, будь по-твоему.

— А во-вторых, кончай шутки, речь пойдет о серьезных вещах.

Негр подозрительно взглянул на сумку:

— Похоронное извещение?

— Сейчас я приехал к тебе не как почтальон.

Салинас ощупал парня взглядом, будто боксер, изучающий в первом раунде слабые места противника. Заправщик, затаив дыхание, выдержал осмотр и только потом вздохнул. В наступившей тишине явственно послышался шум дождя. Салинас с видимым удовольствием почесал лопатку.

— Я приехал к тебе не как почтальон,— повторил он.

Парень перевел взгляд на пожарную машину, а потом заглянул в глаза Салинасу.

— Так что там у тебя?

Салинас старался вести себя по возможности естественнее, но лишь открыл рот — вдруг ощутил, что у него перехватило горло. И только как следует откашлявшись, он произнес:

— Я приехал как компаньеро [1].

Негр поднес указательный палец правой руки ко рту и начал кусать ногти. Потом схватил со шкафа тряпку и стал быстро протирать витрину.

— Я не лезу в политику.

— И не надо. Ты только немного помоги нам.

— Не хочу я никому помогать!

[1] В данном случае: сандинист.

— Постой, я объясню тебе.

— И слушать не буду!

— А вот это плохо. Если ты сейчас даже слушать не хочешь, потом пожалеешь!

— О чем это я пожалею?

— Что не помог.

— Не хочу я никому помогать.

— Дело в том, что ты должен помочь. Другого выхода нет.

— Нет.

— Что «нет»?

— Нет, и все.

Салинас разгладил свою серую рубашку на потном теле, потом резко схватил негра за руку, мешая протирать стекло.

— Ты ведь не можешь утверждать, будто не знаешь, что происходит?

Заправщик хотел высвободить руку, но почувствовал упрямую силу пальцев почтальона. Эту же силу подтверждали и суровый взгляд, и крепко сжатые губы. Постепенно Салинас ослабил хватку, а потом, отпустив руку, ею же растер лиловое пятно, появившееся на запястье у негра, и братски похлопал его по пострадавшему месту.

— Нужно, чтобы ты сейчас пошел к пожарной машине и заправил ее бензином.

Негр, послюнявив пальцы, тоже потер свою руку, стараясь успокоить боль.

— А в чем же помощь?

— Зальешь бензином водяную цистерну

— И что вы будете делать?

— Я не скажу тебе, что мы будем делать, и не потому, что не доверяю,— просто лучше тебе не знать.

— Почему?

— Это очень серьезное дело.

— Если не скажешь, я делать не буду.

— Тогда я выкраду тебя.

— То есть?

— Увезу отсюда и спрячу, пока все не кончится.

— Что не кончится?

— Я сказал — тебе лучше этого не знать.

— А как ты меня украдешь?

— Уговорю тебя по-доброму.

— И потом куда меня повезешь?

— В пожарную часть.

Заправщик прижался лицом к окну станции, пытаясь сквозь дождь поточнее рассмотреть того, кто сидел в кабине машины.

— Там Плутарко?

— Да. Но об этом никому ни слова.

— Что же вы все-таки будете делать?

— Подожжем штаб командования.

— Как?

— Обольем бензином из шланга.

— Вместо воды?

— Точно.

— А кто же вам позволит? Вы что, будете запросто поливать его, как поливают огород?

Парень снова прижался лицом к окну, размазывая пот по затуманившемуся стеклу. Постоял так, созерцая замысловатую раскраску пожарной машины, словно сомневаясь в ее реальном существовании. Продолжающаяся мелодия дождя убаюкивала его, и Салинасу пришлось взять заправщика за плечо, чтобы оторвать от окна.

— Так что ты скажешь?

— В квартале четыре бензозаправочные станции, а ты приехал к негру.

— Если товарищи остановились на тебе, это что-нибудь да значит. А ты как думаешь? Разве не так?

Негр опустил голову и снизу изучающе посмотрел на Салинаса. Медленно, как

поднимается ртуть в термометре, его черные глаза наливались блеском, пока не стали казаться двумя спелыми виноградинами, обильно смоченными дождем.

— Ты это серьезно, Салинас?

— Совершенно.

Заправщик подошел к вешалке, с которой свисал засаленный пластиковый плащ, надел его, застегнул пару пуговиц и увенчал свою пышную шевелюру фирменной фуражкой американской нефтяной компании «Тексако».

— Когда это будет? — спросил он.

— Когда скажут компаньерос. Может, завтра, а может, послезавтра.

Негр решительно шагнул с тротуара, который отделял его от пожарной машины, и через ветровое стекло сделал знак Плутарко. Последний окинул взглядом пространство перед машиной, абсолютно безлюдное — из-за дождя, сьесты и близившегося решающего наступления повстанцев,— потом, одним прыжком выскочив из кабины, побежал к крану водяной цистерны. Когда заправщик подошел к машине и с точностью хирурга вставил бензошланг в горловину, Плутарко крепко сжал негру плечо.

На счетчике с молниеносной быстротой росло количество вливаемых литров

Стоимость бензина перевалила уже за сто кордоб. Плутарко сунул руку в карман брюк и вытащил пачку бумажных купюр, которые в его маленьких ладонях казались целым состоянием.

— Сколько я должен?

Заправщик равнодушно взглянул на показания счетчика и пожал плечами:

— Да нисколько.

— Не сходи с ума,— сказал Плутарко, решительно протягивая ему пачку,— ты же на работе!

Парень посмотрел на деньги в руках пожарника, стряхнул рукавом плаща дождевые капли с ресниц и сказал тонким, по-юношески певучим голосом:

— Нисколько. Сделали мы это втемную, а закончим в открытую!

XX

Разразилась гроза, и ливень забарабанил по каменным плитам казарменного двора. Сержант Сифуэнтес высунул под дождь голову, надеясь умерить жару, никак не дававшую уснуть. Протирая грубым казенным полотенцем свои густые, коротко остриженные волосы, он отпивал виски из стоявшей рядом бутылки, которую опустошил уже на треть.

Было около полуночи, в солдатской спальне стояла тишина — сказывалась усталость от бега в полуденную жару с набитыми песком ранцами за плечами. Сам он, пока новобранцы надрывались на плацу, сумел, несмотря на духоту, немного вздремнуть. И уже тогда, лежа на прохладных простынях, рисовал себе картину, от подробностей которой его пронимала нервная дрожь.

За ужином он внимательно рассматривал загорелые лица своих солдат, и ему приятно было видеть, с какой жадностью они пьют ледяное пиво, это он лично попросил его для них. Последний урок ребятам. После наказания — несколько приятных минут. «Политика маятника», как учили янки в Панаме. С этими бестиями — кнут и пряник, только так! Бей, топчи их ногами, а вечером угости выпивкой. Все эти индейцы нуждаются в покровителе. Вот он и доставил им удовольствие. Агустин вон тоже со стаканом у рта...

Сифуэнтес хотел сравнить черты лица Агустина с чертами его сестры, но когда их взгляды встретились, он опустил глаза в тарелку с рисом. Поковыряв вилкой, решил: нет аппетита. Он снова исподлобья принялся разглядывать Агустина. Да, такой парень с глубоко сидящими глазами, длинным носом и зубастым оскалом улыбки может нравиться Флоресу. Ему ведь нужен мальчик на побегушках или секретарь, лизоблюд, чистильщик сапог, шофер, шут. Но у его сестренки с непокорной копной волос, с грудями, которые так и запрыгали, когда она стала кричать на Флореса,— нет, у нее должен быть другой хозяин. Ее губы созданы для того, чтобы их целовать, кусать, чтобы они доставляли удовольствие, а не кричали сандинистскую чепуху. Вся целиком она должна принадлежать ему — счастливцу по имени Марио Сифуэнтес. Он примерный отец и муж, но и мужчина еще хоть куда! Особенно для такой строптивой козочки. Пусть в ее дерзких глазах сверкают искры! Пусть. Сер-

жант Сифуэнтес погасит их тебе, красотка, как гасят свечи на именинных тортах. «Не смотри на меня так»,— скажу я, когда вопьюсь зубами в ее грудь. Этой ночью будет большое представление. Стереозвук! Широкий экран! А я и актер и зритель в этом фильме, где ты будешь наслаждаться любовью, я же постараюсь исполнить свою роль со всем жаром, который уже сейчас охватывает меня и может испепелить, разгораясь все сильнее и сильнее... Армейская жизнь тяжела, это правда, но есть и в ней свои приятные минуты. И вы, моя дорогая, не мечтайте, пожалуйста, там, в камере, ни о ком другом, когда к вашим услугам бравый вояка с двумя нашивками и тремя медалями, который потом может не просто отпустить вас домой, но отпустить с деньгами. А позже, кто знает, не исключено, что вы сами захотите прийти еще раз к нему...

Сифуэнтес направился к карцеру, не прячась от ливня. На ходу он под градом и при свете молний вытащил бутылку и облегчил ее еще на треть. Второпях он часть виски пролил на подбородок. Растер липкую жидкость по лицу и решительным шагом, правда значительно затрудненным скользкой грязью, направился к помещению, где содержались заключенные.

Он подошел к двери карцера, тяжело дыша от нетерпения, эхо его торопливых шагов еще разносилось по коридору. Сняв с ремня ключ, он быстро вставил его в скважину. Замок, щелкнув, открылся, и Сифуэнтес по-хозяйски ворвался в камеру, как он это делал при обысках в частных домах. В темноте тело Викки показалось ему большим свертком, брошенным в изголовье топчана. Сержант нажал на выключатель, и пыльная, засиженная мухами лампочка осветила помещение.

Девушка прикрыла от света глаза рукой, успев, однако, рассмотреть вошедшего: это был тот же человек, который приволок ее сюда утром.

А Сифуэнтесу показалось, что сценарий фильма, сотворенного его воображением, кто-то издевательски подменил. Там не было ни грубого тюремного топчана, ни жалкой девчонки, по-сиротски прижавшейся к стене, готовой, казалось, уйти в нее совсем, спрятаться, раствориться.

«Дерьмо какое-то, а не девка! — мелькнуло у него.— Где бедра, от которых кровь бросается в голову и которые так меня распалили, когда я, зацепив их руками, тащил ее в карцер?» Уныло пульсировала у нее на шее жилка, так разволновавшая его утром, когда он вообразил, что это сосуд, питающий ее высоко вздымающуюся под блузкой грудь.

— Уже поздно, а ты не зажигаешь огня,— сказал он.

Освоившись со светом, она убрала руку от глаз и положила ее себе на плечо.

— А как я здесь узнаю, ночь сейчас или день?

Сержант с удовлетворением отметил про себя абсолютную изолированность камеры от внешнего мира — ни решетки, ни щелочки. Как в хорошем сейфе. «Это необитаемый островок, милая девочка, где только ты и я. Или корабль, дрейфующий в море, а на нем — полный желания капитан и единственная пассажирка».

Сифуэнтес запер изнутри дверь камеры и, чтобы оставить хотя бы маленькое отверстие для воздуха, вынул ключ и засунул его, как револьвер, за пояс.

— Вот зашел посмотреть, как ты тут,— улыбнулся он.

Поставил недопитую бутылку на топчан и жестом предложил Викки угощаться. Не обращая внимания на его приглашение, девушка не отрываясь смотрела на тяжелые, отвислые мешки под глазами сержанта, и ей казалось, что именно в них сосредоточилась вся его сущность. Она хотела отодвинуться от него подальше, но было уже некуда, она лежала вплотную к стене.

Сифуэнтес уселся на середину топчана, и Викки не удалось уклониться от прикосновения сукна его брюк к ее ногам. Он отпил из бутылки еще глоток и посидел некоторое время спокойно, пока не почувствовал, как спиртное искрами заиграло внутри у него. Усмотрев в этом благословение, он поднялся, расстегнул мокрый мундир и снял его. Голый по пояс, помахал им, словно пытаясь просушить, и осторожно одной ногой оперся о доску топчана, проверяя его прочность. Потом встал на топчан и обмотал лампочку мундиром, завязав рукава вокруг провода.

— Так уютнее,— объяснил он.

Спрыгнув на цементный пол, сержант отодвинулся к противоположной стене, прикидывая, как лучше приступить к делу.

— Пришел, чтобы тебе не было скучно,— прохрипел он прерывающимся голосом, будто слова застревали у него в груди, не выбираясь наружу.

— А ну прочь! — отрезала Викки таким же тоном, каким всегда успешно отбивала поползновения наиболее нахальных парней из их студенческой компании.

Руки Сифуэнтеса, тяжелые, как камень, сдавили голову девушки, да так, что из горла у нее вырвался лишь тонкий писк. Викки попыталась освободиться, сержант силой толкнул ее к стене. Девушка поднесла руку ко рту, крепко закусив ее. Вдруг на полу рядом с брюками Сифуэнтеса она увидела ключ.

Пользуясь тем, что Сифуэнтес, казалось, совершенно ослеп от похоти, Викки схватила ключ и рванулась к двери. Сержант, однако, успел задержать ее, когда ключ уже был в замочной скважине. Стиснув ее грудь, он тяжело задышал в ухо:

— Необъезженная еще... Ничего... Объездим...

Его руки поползли по груди Викки к горлу и обхватили его, как казалось сержанту, ласково, а ей — смертельно. Подождав, пока тоненькие пальцы, вцепившиеся в него острыми ноготками, не ослабли, Сифуэнтес бросил обессилевшую, полуживую девушку обратно на топчан.

При этом он задел мундир, и лампочка, прикрытая им, закачалась, волнами бросая свет на их тела. Вывернувшись, девушка попыталась ногтями вцепиться в потную щеку сержанта, но тотчас же резкий удар в висок отбросил ее, и она так ударилась головой о стену, что даже не успела закричать, захлебнувшись слезами. На какой-то миг Викки показалось, что это конец: тяжелое удушье как прощание со всем, что привлекало ее в этом мире, кровь едва пульсирует в венах, зато ручьем бьет из рассеченной губы, оставляя во рту солоноватый привкус. И — словно в фильме — промчались кадры: университетский кафетерий, где она штудировала лекцию по физике, два студента, выводящие мелодию «Глория — это ты» на своих электрических гитарах, которые ярко поблескивали, когда по ним ударяли; она слушает, улыбаясь отчаянной смелости любимой песенки, покорившей ее когда-то давным-давно; это была песня Хосе Антонио Мендеса, которую отец, неимоверно фальшивя, тоже напевал, стоя под душем, в то время как Леон корчился от жары в тени деревьев; вот она возвращается в университет — просторный двор, крики, полиция с дубинками, стрельба... зубоврачебное кресло, бормашина и маленький кусочек золота на лотке с зеркалом в кабинете ее престарелого руководителя («Когда я умру, все это останется тебе»,— как ни странно, она умирает первой!)... вступительная речь декана, громким голосом призывавшего: «Не пожалеем жизни для защиты университетской независимости!» Лицемерные заверения политиков, направлявших войска национальной гвардии расстреливать студенческие митинги, но разглагольствовавших о храмах науки, где мужают будущие поколения...

В то время революция давала лишь первые ростки в стране, еще не было военных побед, налетов на тюрьмы, захвата парламента. Зато были истязания и убийства людей в сомосовских застенках, были крестьяне, сброшенные с вертолетов в море, были товарищи, истекавшие кровью на углу у магазина с маленьким кусочком свинца в теле, оставляющим на коже дырочку, сквозь которую вползает смерть. «Он не умер!» — неизменно писалось в подпольных некрологах, распространявшихся в лицее. Но она-то собственными глазами видела убитых на углу у магазина...

В какую-то долю секунды Викки поняла, что нельзя плакать. Она поняла, что если сможет сдержать слезы, то, вероятно, не потеряет и способности соображать. И поняв это, она, подобно хорошему спортсмену, мгновенно обрела полный контроль над своими нервами и мышцами. «Умирать нельзя,— сказала она себе.— Умирать вот так, вот здесь, из-за этой сволочи?!»

Девушка, открыв глаза, решительно посмотрела на искаженное судорогой потное лицо сержанта:

— Только убери свои лапы...

— Я же знал, что этим кончится, дура,— бормотал ей в ухо Сифуэнтес.

Когда он наконец смолк, Викки с трудом выговорила:

— Я предпочла жить, чтобы отомстить тебе, погань!

— Пой теперь, а я свое сплясал,— прохрипел Сифуэнтес.

XXI

Возвращаясь из засады

Быстро темнеет, начинается дождь
и ног партизанских смывает следы.

Мы устали сегодня, но надо еще
пересечь большую равнину,
где грязь и вода нам до пояса,
а ночь уже опустилась
и не видно на небе ничего, нет и звезд.
Колонна шагает в молчании,
лишь один из партизан полусонно мечтает,
как будут написаны им стихи.
А дождь все сильней, все сильнее шумит,
выгоняет москитов из темных кустов.
Преследует голод, и страшно хочется спать —
я спотыкаюсь, и тут же вонзаются
сотни шипов, и тело немеет,
не чувствуя боли.
Давно уже стихла стрельба,
и не так далеко бивак —
вот слышим команду «на отдых».
Один из бойцов, закурив сигарету,
спросил у меня: «Верно ли то, что ты поэт?..»[1]

XXII

Когда епископ исчерпал терпение своего секретаря, заставляя его беспрестанно и безуспешно набирать номер казармы ШОПП, он послал падре Педро лично переговорить с сеньорой Менор. Епископ написал ей старинной ручкой с завинчивающимся пером: «Дорогая сеньора Менор! Телефон казармы то ли отключен, то ли неисправен, то ли постоянно занят. Я очень прошу Вас извинить меня за то, что не смог сам поехать туда по причинам, которые не могу указать в этом письме, но, надеюсь, Вы сами о них догадываетесь. Я буду стараться связаться с ними завтра, послезавтра и все дни в любой час. Тем не менее советую Вам пока добиваться освобождения вашей дочери через адвоката. Наиболее подходящим для этого, на мой взгляд, является доктор Ривас. Молясь богу за Вас и Вашу дочь, передает Вам сердечный привет Ваш епископ».

Мать Викки сложила письмо по прежним складкам и, не сказав ни слова, возвратила его священнику. Но дон Антонио, подойдя к падре Педро, снова взял послание епископа, развернул, прочитал его, сурово хмурясь, смял и бросил.

— Доктор Ривас — сомосист! — сказал он.

— Но он хороший адвокат,— возразил священник.

Жена, приложив палец к губам, отвела дона Антонио в сторону.

— Епископ прав,— сказала она.— Именно Ривас — тот человек, который может освободить Викки.

— Ты с ума сошла! — возмутился муж.

— Все наши адвокаты или убиты, или сидят в тюрьмах,— сказала Амалия, стоя с сумкой в дверях кухни.— А кто на воле, те запуганы или ничего не смыслят.

— И чем же ты будешь ему платить?

— Мы, женщины, виноваты в том, что ее забрали, наше дело и выручать ее.

Амалия прошла в спальню Викки и, увидев там привычный беспорядок, с отчаянной остротой вдруг ощутила отсутствие дочери. Притворив дверь, выдвинула ящик комода, чтобы разыскать документы, необходимые адвокату, и не удержалась, заплакала, вытирая слезы с покрытых паутинкой морщин век первой попавшейся под руку вещью — ситцевой ночной рубашкой дочери, еще хранившей аромат ее тела.

Вынула из ящика жестяную коробку от шоколада, подаренного когда-то Викки

---

[1] Эту главу написал Иван Гевара (род. в 1959 г.) — боец Сандинистской народной армии *(прим. автора)*.

в день рождения самой старой женщиной в городе. На крышке была изображена сцена соколиной охоты в Англии: сухопарые кавалеры в красных камзолах и смирные лошади, которых кормят из рук кусочками сахара бледные жеманные девицы. В коробке Амалия нашла удостоверение личности Викки, свидетельство о рождении и фотографию для паспорта, приколотую к листку бумаги, со строчками, написанными рукой дочери. Буквы были неровные, видимо отражали оттенки ее настроения, порывы чувств и стыдливые недомолвки.

Присев на неубранную кровать, Амалия сняла скрепку, державшую фотографию, и стала читать, словно забыв, зачем пришла в эту комнату. Синие строчки, выведенные характерным почерком дочери, изобиловали старательно выведенными восклицательными знаками, торчавшими как свечки:

«Поэт!!!

Твое письмо дороже мне всех вещей, которые я храню с детства,— и плюшевого мишки, и фотографии моего первого причастия, и балетных тапочек, оставшихся от тех времен, когда я, как и все, тоже мечтала стать артисткой. Но мечты — это одно, а жизнь другое. Я не артистка, зато почти готовая дантистка. Как тебе нравится такое сочетание слов? Ты, конечно, обратил внимание, что оба они имеют одинаковые окончания. (Я не издеваюсь над тобой, мой поэт, поскольку прекрасно понимаю разницу между поэзией (!!!) и рифмачеством.) Но, видимо, и дантисткой мне не быть — ведь меня выгнали из университета. Пара-рам-пам-пам! Сказали: «Клык коренной — факультет зубной, а Викки Менор с факультета долой!» Представь себе! Ведь мне оставалось учиться всего год! Теперь советуют доучиваться в Коста-Рике, на острове или еще где-нибудь в другой стране. Но, как говорится, у нас всегда дождь идет там, где сыро, то есть некстати. Так и у меня. Отца как раз в это время уволили, и с тех пор, как ты исчез, мы живем лишь на то немногое, что приносит брат, остальное время вообще питаемся «святым духом» или на случайные медяки. Ты сам знаешь из нашего общего курса «Основ латинского языка», что этот феномен называется «никарагуанским синдромом». То, что страдают многие, нисколько не уменьшает моих страданий.

Да, сеньор!!!

Каждому свое. Ты гибкий, как тигр, и ловкий, как плясун на канате, бродишь по лесам, а я, коварная кошка в юбке, хожу по нашему городу и готовлюсь к встрече с тобой, к встрече не почестями, но всем своим существом!!!

Твое письмо наполнило наш дом и мою жизнь свежим воздухом! Когда я читала его, мне все время казалось, что ты вот-вот должен влететь в комнату!

Мне бы хотелось, чтобы при встрече ты говорил со мной так же, как пишешь.

Леонель, любовь моя!

Я прощаю тебе, что ты ушел, даже не предупредив меня.

Но хотя ты там, а я здесь, давай все-таки уточним кое-что. Я — твоя любовь, но я не твоя. Ты — моя любовь, но ты не мой. Все это время я очень много думала, что значит быть женщиной. В некоторых вопросах я очень строга, и есть вещи, с которыми я не могу согласиться. Для начала замечу, что в своих письмах ты говоришь только о себе и других туристах, будто в вашей группе совсем нет женщин. Я же точно знаю, что обычно там бывает много их. А ты о них ни слова. Ведь правда? Будто их вовсе нет...

В воскресенье после мессы возле церкви состоялось что-то вроде концерта, и одна девушка читала стихотворение Хиоконды Белли[1], которая, говорят, там же, где и ты. Я это стихотворение переписала, чтобы ты знал, что поэзия не чужда и мне:

Забастовку я жду, пусть в ней участвуют все.
Забастовку рук, ног и волос,
забастовку, рожденную в каждом теле.
Забастовку
рабочих, голубей,
шоферов, цветов,
техников, детей
врачей, и женщин.
Забастовку я жду всеобъятную,
чтобы даже любовь захватила,

[1] Хиоконда Белли (род. в 1948 г.) — современная никарагуанская поэтесса.

такую забастовку, когда все замирает:

часы
и газоны,
автобусы
и дороги,

заводы
и школы,
больницы
и порты.

Чтоб замерли руки, глаза, поцелуи,
чтоб даже дыхание стихло в груди,
и в наступившей сплошной тишине
было б можно услышать шаги
убегающего тирана.

А ведь правда, мой поэт, как говорит народ, если бы у Фронта было столько винтовок, сколько поэтов, мы бы уже праздновали победу!

Теперь же хочу ответить тебе, что я с тобой сделаю, когда ты приедешь. Как только я тебя увижу, положу тебе за ухо цветок и перепутаю волосы, будто руки мои — крылья ветряной мельницы или два перепуганных младенца, потерявшихся в густом лесу. А потом я бы тебя отмыла, чтобы кожа твоя стала как зеркало и в ней можно было бы видеть свое отражение. И только после этого я начала бы тебя целовать — всего, всего! А потом ты знаешь что... Твоя поэзия станет былью. Будем надеяться, что у нас к тому времени останется хоть одна слеза, чтобы плакать от радости.

Твоя любовь

Викки, всепобеждающая».

XXIII

«У нас с собой нет оружия, падре Педро»,— сказали ребята, но я все равно обыскал их. Проверил, действительно ли это так. У церкви только правая сторона, обращенная к домам, осталась целой, с неразбитыми стеклами. А та, что смотрит на площадь,— вся выщерблена камнями и пулями. Священник лично собирал осколки после каждой стычки, а ночами пытался склеить самые любимые статуи святых. «Падре, у нас с собой нет оружия»,— сказали ребята, но я все равно обыскал их. Капитан Флорес всегда относился ко мне очень хорошо, думал он, шаря под потными мальчишескими рубашками, за поясами. И даже с его семьей у меня были прекрасные отношения. Как-то раз я ему сказал прямо в лицо, что бесчестно служить в гвардии, в ШОПП. Прямо в лицо сказал ему, что с Сомосой не пойду и на мессу. «Это вам говорит священник»,— сказал я ему. Хотя ребята и уверяют, что у них даже бритвенных лезвий нет, всех я поочередно обыскал. У капитана Флореса репутация решительного офицера, и слывет он человеком дальновидным и предусмотрительным. Семью отправил в Майами, а сам остался тут. Он исповедовался у меня. «Вы не поверите, падре,— сказал он,— но я остаюсь здесь в силу моих убеждений».— «Но то, что здесь делается, это безнравственно»,— ответил я через решетку в исповедальне. «На этот раз я стерплю,— сказал он,— только потому, что вы священник, а я католик и считаю вас моим другом. Никому другому я бы не позволил выпаливать подобное, дон Педро».

«Как вы только можете подумать, падре, что мы обманываем вас! Клянусь, что ни у кого из нас нет оружия!» — «Идите-ка вы по домам, ребята. Прошло время плакатов, захватов банков и учреждений, выкриков на улицах. Исход сегодняшних битв будут решать пули».— «Мы только хотим вывесить полотнище, и только на колокольне. Мы останемся в церкви Эль Кальварио [1] до полуночи. Все будет спокойно, без криков, посмотрите, руки у нас более пусты, чем у святого Франсиско».— «И все-таки, юноши, я поищу у вас оружие. Обеспечить порядок в городе Леоне поручено Флоресу. Флоресу персонально. Тут нет ни слонов, ни пешек. Только король, и король — это он. Поэтому идите по домам, ребята». Молодежь развернула полотнище. Красные буквы по белому фону: «Нет!» новым смертям в Леоне, долой диктатора!» «Ведь это, падре, те же требования, что выдвигает и епископ,— говорят ребята,— а вы не должны забывать о церковной иерархии. Вспомните про Пуэблу,

[1] El Calvario — голгофа *(исп.)*.

про левых священников. Об Элдере Камаре[1]». Одного за другим я всех их, сорвиголов, проверил... Гипсовые статуи святых, обезглавленные пулеметными очередями, епископ, которого запугивают убийством, ни одного медяка для архиепископата из государственных налогов, сбор пожертвований ничего не дает. «Я вас всех обыщу, даже в трусах проверю, обормоты. Кто теперь без оружия в Леоне, так тот или дурак, или сидит дома. Я знаю, вы сейчас скажете:«Падре, всего и дел-то — один лозунг. Причем почти духовного содержания, в духе Ватикана!» — я знаю, паршивцы вы этакие! Но ведь ответственность за порядок в Леоне взял на себя Флорес. За порядок в Леоне и окрестностях. Солдатики у него что надо, вымуштрованные. Выходцы из ШОПП, меткие стрелки, отличная выучка. Это вам не национальные гвардейцы — пьяницы и наркоманы, улепетывающие, едва заслышат девиз: «Родина или смерть!»

Над куполом церкви, словно нервно моргающий глаз, завис вертолет. Вокруг толпа, собравшаяся, чтоб отстоять ребят. «Оставь их в церкви, падре!» — кричали из толпы. Священник показал пальцами на вертолет и беспомощно пожал плечами: мол, они обрушатся на церковь с вертолетов, самолетов, со всеми имеющимися у них средствами. Разве вы не слыхали радио, не читали газет? Разве не знаете, что Сомоса поклялся оставаться на своем посту до конца двадцатого века?

«Падре!» — умоляли ребята.

Священник все еще указывал на вертолет. В рокоте винтов ему уже слышались пулеметные очереди. «Гаранд», «ФАЛ», базука... До прошлого года священник распространял фигурки святых по окрестным селениям, а теперь вот у него под носом целый арсенал — оружия больше, чем тварей в ноевом ковчеге. И впервые за всю его службу в этом году похороны случались чаще, чем рождения. А вертолет размазанной кляксой висит в небе. Головокружительный нимб. Небесный дозор.

Ребята забрались на колокольню. Но священник не слышит их голосов из-за гомона окруживших его детей, дергающих за рукав крестьянской блузы — гуайаберы. Вот уже год, как он носит белую гуайаберу, а парадную сутану надевает только по случаю похоронных служб да исповеданий. Он погрузился в свои предчувствия, замер, как покойник в могиле.

«Я должен был бы как следует обыскать их. Миноискателем, огромным магнитом. Кто в Леоне теперь ходит без оружия? Порой мне кажется, что и из моих рук вот-вот откроется огонь, а пальцы превратятся в гранаты, которые взорвут аэродромы, вокзалы или казармы национальной гвардии».

Толпа не спускала глаз с вертолета, посылая ему проклятия. Из рупоров своих глоток. «Эх, не к добру это,— шептал священник,— зловещие предчувствия терзают душу». Стервятник с металлическим рокотом отлетел к форту, подальше от бурлящей толпы. Как будто руки ее, в безнадежном отчаянии тянущиеся к нему, способны были достать, перехватить его, отвести от города. Священнику показалось, что он плачет и со слезами из глаз катятся капли крови. «Боже мой!» — шептал он. Детишки теребили за рукав гуайаберы: «Почему вы плачете, падре?» — «Я не плачу, что за глупость!»

С вертолета по радио начали поступать приказы. Агустин сидел в джипе с включенным мотором, уши прижаты к голове наушниками. Капитан Флорес рядом — курит, глубоко затягиваясь, глаза его прикованы к вертолету, приближающемуся к форту. Агустин передает Флоресу наушники, и тот, различив голос, прерываемый одышкой, самого Чигуина так ясно, будто сын Сомосы находится тут же, бросает сигарету на пол и растирает ее.

— Флорес!

— Слушаю, мой майор!

— Это хорошо. Так вот, с этим пора кончать. Давай жми к толпе у церкви Эль Кальварио, захвати с собой хорошую батарею. Понял?

— Да, мой майор.

— Брось деликатничать, размазня, не то придется нам где-нибудь в Парагвае собирать маргаритки! Окати их огнем как следует, понятно?

— Да, мой майор.

---

[1] В мексиканском городе Пуэбле в 1975 году папа римский проводил конференцию латиноамериканских епископов и был вынужден согласиться с ее довольно радикальной резолюцией. Элдер Камара — бразильский епископ, выступавший против военной диктатуры.

— Церемониться нечего. Восстание по всей стране! Если проиграем, можешь проститься со своим домом и со своей головой.

— Что надо сделать?

— Валяй на площадь к Эль Кальварио. Там собралось много народу. Всех разогнать, а мерзавцев, которые вывесили полотнище, сбить с колокольни!

— Слушаюсь, мой майор!

— И береги себя, broder. Я ценю тебя как родного брата.

— Спасибо, майор.

Флорес выключил рацию и закурил новую сигарету. Он заметил, что неподалеку стоявшие солдаты расслышали визгливый голос Чигуина и начали уже строиться, но взгляд капитана остановил их. Флорес следил за тем, как вертолет исчезает из виду, и сидел, задумавшись, до тех пор, пока стрекот совершенно не заглох. Потом он поднялся, проверил готовность людей. Автоматчики, находившиеся под командой Сифуэнтеса, и бронемашины представлялись ему чудесной кольчугой, инкрустированным золотом панцирем, отражающим пули; они-то и позволят ему, как в средние века рыцарю на турнирах, одним решительным ударом, без ненужных переговоров и увещеваний согнуть в бараний рог этот народ. И Чигуин поступил очень правильно, что лично попросил об этом капитана Флореса. Капитан Флорес — это капитан Флорес. Продуманный, выверенный метод действий капитана Флореса, который должен немедля покончить с мятежом, отработан именно для быстрых ударов.

Хриплые крики доносились теперь издалека. Снова затянувшись сигаретой, Флорес представил себе физиономию Чигуина, вынужденного лично заняться этим делом. И еще несколько затяжек. Глубоких, спокойных. В Панаме его учили, что перед началом ответственных операций следует отключиться от всего, взять себя в руки. «На время, пока закончу сигарету,— сказал он себе,— пока будет доставлять удовольствие каждая крошка этого чудесного табака».

Агустин ласково поглаживал баранку. Новобранцы, возможно, и слышали голос Чигуина Сомосы, но не разобрали его слов. Может быть, они еще не догадывались о приказе, который должен последовать, когда Флорес вынет свой пистолет, прицелится в школьников на Эль Кальварио и скомандует резким голосом, предваряющим огонь и требующим: «Рас-стрелять!» Голосом, как у Чигуина, без оттенков и сомнений... Без колебаний, суетливости и недоговоренности. «Расстрелять!» — должен будет приказать он.

Вчера вечером — Флорес потер глаз — в телепередаче один североамериканский журналист, интервьюировавший президента Сомосу, спросил: «Если к вам обратится гвардия и скажет: «Генерал, вам необходимо уйти»,— вы уйдете?» Сомоса улыбнулся. Отрезал коротко: «Нет».— «Но не могли бы они в этом случае заставить вас уйти?»— «В этом случае разве я не мог бы применить против них силу?» — «Но, генерал, у них оружие!» — «Да,— ответил Сомоса,— а у меня народ».

Чтобы выдержать тряску на мостовых Леона, нужно иметь резиновые почки. Если за каждую выбоину платить каждому жителю города по одной кордобе, в городе полным-полно было бы миллионеров! И хорошо бы иметь железную задницу, чтобы ездить на джипе. Железную задницу, обтянутую сухой шкурой, чтобы пот не тек по ней капля по капле, секунда за секундой. Проклятая влажность!

— Пошли! — махнул капитан солдатам. Еще один окурок вдавлен в песок казарменного плаца. Темный след от него. Иногда человек вдруг обращает внимание на такие, казалось бы, пустяки!

Как будет угодно вам, Чигуин. Репрессии, они ведь точно слухи: волен над ними только в начале их пути, а утихают они сами по себе. Все больше и больше работы и меньше воздуха, чтобы передохнуть. Угрожающие стены, глаза этих проклятых домов, прячущиеся за стеклами. «Пошли!» — скомандовал он солдатам. Джипы и бронетранспортеры двинулись с одинаковым лязгом, сливающимся в единый грохот. А сзади — танк. Сколько раз ему удавалось разгонять недовольных с одной ротой этих отчаянных молодцов. «Здесь железо, которое выдерживает все, падре, железо, которое убивает. Каждая пуля — один мертвец. Армия наша — это тоже родина, самая многолюдная. Бог, родина и армия. Вот в таком порядке я их люблю. Расчет у меня простой: в наших арсеналах надо иметь патронов больше, чем есть в стране сандинистских солдат. А ведь мы — это сказал Чигуин, и это же подтверждаю я,— мы еще не начинали стрелять. Одно дело — обыски, отдельные поучительные наказания, и совсем другое — настоящий огонь армии. Это как с яблоком — целое под-

бросил в воздух и метким ударом разнес в мелкие крошки, вот чем все кончится, падре. Наша армия существует, чтобы приводить всех в трепет. И мы это сделаем ради вас же! Никому не нравится убивать. Было бы слишком просто, если можно было бы вернуться и вымыть руки. Или еще лучше — сказать Агустину: «Вези меня в аэропорт, а не к церкви Эль Кальварио». «Береги себя, милый»,— пишет мне Марта.

Народ на площади видит — они уже подъезжают. Но не пятится, как прежде. «Принюхиваются к смерти, нагло выставив носы. Надо сковырнуть хотя бы одного, чтобы заверещали, испугались. Тогда вступят в дело старухи со своими молитвами и воплями, обращенными к небу. Запахнет порохом под солнцем... Я-то знаю...»

Священник позволил Марии Молине обнять себя, прочитал лозунг на башне колокольни. Ребята приветствовали толпу. Словно в праздник. В этой стране уже никто не испытывает ужаса перед смертью. Умирают по привычке.

Мария Молина положила руку ему на плечо.

Была ли когда-нибудь ему близка женщина?

— Почему вы плачете, падре?

И плачущего священника Антонио тоже видит впервые. Предчувствия распирают его изнутри. Они наполняют вены, бурно пульсируют. Словно в человека вместилось туловище больше, чем он сам. И душит его. Две удивительные вещи, думает Антонио, стоя на ступенях Эль Кальварио и глядя на Марию Молину и падре: обнимающая священника женщина и плачущий священник. Никогда, даже в кино, не приходилось ему видеть, чтобы священник плакал.

Дон Чепе сжимает локоть Антонио.

— Слышишь? Ты слышишь? — спрашивает.— Слышишь?

Тишина постепенно сковывает площадь, когда сквозь возгласы мальчишек пробивается натужный рев танка.

— Слышишь? — и оба молчат, прислушиваясь.

Ребята на колокольне прячут кулаки. Священник пожинает плоды пророчества.

— Расступитесь! — кричит он толпе.

«Это танк»,— поняли и ребята.

Парикмахер тянет дона Антонио за руку: «Бежим скорее, увалень!» А дон Антонио, как всегда, медлителен. Он, похоже, рожден быть улиткой. «Падре прав,— думает дон Чепе,— эти времена для меня. Никаких приторных метафизических нелепостей: возлюби того, кто тебя убивает, подставляй другую щеку».

Быстрый, ловкий, он запирает дверь на засов.

«Действительно,— думает капитан,— танк — это танк, а для них загадка. В каждом из этих домов сейчас грохот моего стального чудовища вызывает такую панику, от которой люди теряют рассудок. Это даже не танк — это чудо. Дьявольская машина, которая разгонит галдящую толпу и сметет все с пути».

Но люди на улице встают плотнее, поддерживая друг друга, вдохновляя. Собираются тесными кучками и, кажется, не боятся самой смерти. Думают, ШОПП — это ерунда! Принюхиваются, высматривают. Но нет, это уже настоящие солдаты, а не наркоманы, не пьянчуги!

А падре Педро? Он с распростертыми руками стоит на паперти своего храма. Друг наш, святой служитель церкви, да благословит его бог, разыгрывает из себя не то святого Петра-рыбака, не то Роке-пирата, не то святого Иосифа-плотника.

Наш друг священник, скрестив на груди руки, стоит в дверях церкви. А народ снует мимо — входят и выходят, входят и остаются. Как сердце: пульсирует, всасывает и выталкивает.

Флорес посмотрел на Агустина с наушниками, у рта — микрофон как маска. Антенна джипа бросает тень ему на один глаз. Весь он вдавился в сиденье — железный зад,— будто хочет укрыться в пыли, поднятой танком.

— Что с тобой? — спросил капитан.

Агустин уловил движение губ начальника. Левой рукой приоткрыл ухо.

— Слушаю, капитан?

— Ладно, сиди.

Капитан вылез из джипа. Потянул носом воздух и вслух прочитал лозунг на колокольне. Сандинисты — странная армия: воюет и словами и пулями.

— Агустин, вызови-ка вертолет и спроси у Чигуина: выполнять его прежний приказ или будут новые?

Священник стоял перед церковью, широко раскинув руки. «Сегодня все норовят

разыграть из себя мучеников,— подумал Флорес.— Хотят убедить кого-то театральными жестами. Страна кишит коммунистами, а эти святоши выползают на улицу и кликушествуют».

Дон Антонио хотел снова вернуться на площадь. Мария Молина сказала: «Падре плакал». Дон Чепе: «Уже запахло жареным». «Какая сволочная война!»— подумал Флорес.

— Ну, есть там ответ?

— Так точно, капитан!— рапортует Агустин.

— На связи буду сам.

Агустин передал капитану наушники, и тот рукавом мундира вытер металлическое полукольцо, соединяющее их.

Агустин чувствовал себя как голый. Может, там и Мириам? Или Игнасио? А что, если отец? И Викки тоже? На дороге он увидел дона Чепе. Однажды он привозил к нему капитана подстричься, но Флорес тогда почему-то вышел из парикмахерской улыбаясь, а волосы остались такими же, как и были. Чигуин завопил:

— Флорес, немедленно врывайся в церковь, тебе говорят!

— Там, в дверях, священник слюни распустил.

— Вломи и ему, не стесняйся! Это тебе война, пижон, а не академия!

— Вас понял,— ответил капитан и, передав наушники с микрофоном Агустину, направился к танку. Не доходя нескольких метров, остановился, поднял указательный палец и повел за ним ствол орудия, пока оно не встало как раз против резной двери церкви.

— Падре! — крикнул он.

Священник благоговейно скрестил руки на груди.

— Народ, объединяйся! — начали кричать ребята с колокольни.

Агустин слушал эти крики, перемежаемые помехами на линии связи с командным постом Сомосы. Дон Чепе в своей парикмахерской поставил на электроплитку чайник и передал дону Антонио старый журнал. Капитан Флорес расположил солдат против церкви и указал на колокольню:

— Всыпать им!

Солдаты замешкались, а потом все разом, как по команде, повернулись к капитану, словно пытаясь разобраться, приказ это или только угроза.

— Огонь, стервецы!

Снаряды и грохот от них вылетели из орудий одновременно, раскатились эхом, отозвались в колоколах. Когда капитан коротким выкриком «хватит» приказал прекратить огонь, новый крик пронзил воздух, пронесся от церкви Эль Кальварио над головами людей, навис над окрестными кварталами, выразив невероятную боль. Звук родился в горле, захлебывающемся кровью, перехваченном удушьем.

— Капитан! — кричал священник перед деревянными дверьми церкви.— Капитан, они же безоружны!

Вопли смертельно раненного на колокольне подростка перекрыл хриплый голос старшего группы. Потом увидели его, полуголого; из окна звонницы он размахивал белой рубашкой, привязанной к палке от швабры.

— Мы сдаемся! — крикнул он.

Флорес ощутил в душе приступ решимости. Он позволил ей захватить себя полностью, подчинился горячей волне, ударившей в голову. Подбежав к священнику, он приставил ему к виску армейский пистолет, другой рукой, будто железной, заставил падре Педро спуститься по ступеням и подойти к танку. И лишь после этого он показал на церковную дверь.

— Сожалею, падре,— тихо сказал он священнику.— Вы и я — оба католики. Один из нас ошибается. Кто — решит господь бог, но не вы!

Прямым попаданием снаряд разнес в щепы дверь, влетел внутрь церкви и, разорвавшись, обрушил штукатурку, размозжил лепные украшения стен, уничтожил роспись на потолке. Стекла — те, что еще оставались целыми,— разлетелись мелкими осколками, после взрыва воздух долго вибрировал.

Священник невольно сделал умоляющий жест. Впервые дошло до его сознания, что означает встать на колени и выпрашивать. Впрочем, жест, вырвавшийся у него, был продиктован не разумом, не верой, а чем-то иным, исходящим из глубин существа, о чем он до сих пор и не подозревал. Колени его согнулись сами собой, униженно, покорно, а руки протянулись к ногам капитана, но Флорес ловко увернулся и во

главе отряда ринулся к церкви, вместе со своими солдатами стал взбираться по винтовой лестнице на колокольню.

Стоны раненого вскоре затихли. Послышался зычный голос Флореса. Его приказ достиг даже парикмахерской дона Чепе:

— Руки на затылок, мерзавцы!

Новый залп смешался с командой, точно в игре наперегонки. Священник окинул взглядом опустевшую площадь и пожалел, что не в его воле умереть. Здесь, на асфальте, он услыхал людскую боль за каждой дверью, но рядом не слышал даже дыхания хотя бы одного из подростков. И только когда полотнище слетело с колокольни на портик церкви, он увидел в военной машине Агустина. Чувствуя, как грязная, пропыленная гуайабера липнет к телу, священник, плача, пополз к нему. Заметив, что Агустин с передатчиком на груди медленно поднимается в джипе, он остановился и, следуя за его взглядом, оглянулся на площадь.

Солдаты стаскивали трупы по ступенькам, даже не всматриваясь в лица тех, кого грузят. Смешение жестокости и физического напряжения. Изодранные рубашки, вымазанные кровью руки, еще не угасшее удивление в последнем взгляде.

Флорес вышел из церкви замыкающим. Как погонщик. Подтянутый, ловкий, он встал перед сброшенным полотнищем с решительностью, которую дает сознание, что последний рубеж преодолен. Он знал, что, если бы сейчас и захотел думать о чем-то другом, все равно не смог бы — голова его будто окаменела. Он был самим воплощением выполненного дела. Только что совершенного. Осуществления воли Чигуина. Вид солдат, старавшихся не смотреть на убитых, снова привел его в ярость.

— Завернуть их в полотнище!

«Если не рассмотрят, спокойнее будут»,— подумал он и подошел к джипу.

— Агустин Менор,— приказал капитан,— свяжись с Чигуином и сообщи, что операция прошла о'кей.

Парень чувствовал, как все в голове перепуталось, концы с концами не сходятся. Он понял, что его невольное неподчинение приказу — это нечто другое, чем поступок, продиктованный совестью, непокорностью, злостью, пусть даже страхом. И что священник, всхлипывающий у колес джипа, потратил всю жизнь впустую, молясь и веря в бога, которого не существовало и — теперь уж это было совершенно ясно — не могло существовать. И что молодые солдаты, заворачивающие сейчас трупы в полотнище, уже не те парни, с которыми он еще сегодня утром стоял под душем и которых сержант Сифуэнтес подгонял пинками. И сегодняшний завтрак с горячим молоком и кофе, крепким, как коньяк,— просто сон, несмотря на сохранившийся во рту его терпкий вкус. И еще он понял, что должен был убежать в горы в тот же день, когда Сифуэнтес загонял их всех в воду и держал там до предела терпения, а сам кричал: «Врете, канальи, всегда можно выдержать капельку больше, чем кажется! Терпите и уткните свои рыла поглубже в грязь! Если на вас насядут партизаны, не только грязь— дерьмо будете жрать!» Тело Агустина будто сжалось до размеров точки, стало чем-то трепетным, дрожащим в пространстве или вообще превратилось в нечто, не имеющее ни объема, ни веса, ни запаха. И если бы не эта дрожь, отдававшаяся в нем сейчас такой болью, он, как камень, вообще бы ничего не чувствовал.

Агустин взглянул на священника, истово молящегося у колеса его джипа,— щеки в грязи, в машинном масле, в слезах и пороховой гари; лицо чудовищно состарилось, как у умирающего. Сбросив радиопередатчик, Агустин выпрыгнул из джипа. Воспользовавшись тем, что капитан не смотрит на него, он бросился бежать по площади, вдруг сделавшейся бесконечно большой, а спиной уже ощущал нацеленные на него винтовки своих товарищей.

«Ну убивайте же, сволочи!»— мелькнуло у него.

Раздались первые торопливые одиночные выстрелы, но он успел добежать до угла, а по мере того как удалялся от площади метр за метром, его охватывала такая легкость, какой он не знавал с детства — с тех пор, когда дон Антонио перестал поддерживать его на велосипеде.

XXIV

Одна рука тянет, перехватывает, касается другой.

Другая — дергает изо всех сил.

Вздрагивающий, извивающийся пожарный рукав проникает через кирпич-сырец, ползет, цепляясь по цементным полам.

Тяжелый пожарный рукав пробирается все дальше и дальше, сквозь спальные

комнаты, сквозь столовые, а в это время молодые партизаны овладевают городами, которые отдаются им, как влюбленные девушки.

...Одна рука передает другой, другая — третьей, та протягивает рукав вперед. Молодые партизаны обрушиваются с гор, пересекают озера, никто не прячется, уже загорается заря победы. Те, кому еще суждено умереть, предчувствуют близость гибели.

Сублиме Салинас дежурит на углу. Много пуль, точно цветов весной. Рдеют щеки ребят, подбирающихся со своими автоматами и пистолетами все ближе и ближе к стенам казармы и напряженно ожидающих приказа. Ждут того мига, когда вспыхнет огонь, тихо протекающий пока что по пожарному рукаву. Кровь в артерии пульсирует, прокладывая себе путь сквозь стены домов. «Прямо к цели, компа!»— радуется Плутарко. Мария Молина ломает собственный застекленный буфет, чтобы сократить путь пожарному рукаву. Национальная гвардия просит у командования подкреплений, а капитан Флорес надрывно зовет Агустина Менора. Его зычный голос, вырываясь из-под жестких усов, раздается над кварталами города, слышится среди выстрелов — солдаты, ослепшие от пыли, ошалело палят из автоматов вкруговую.

«Чертов Леон» — «Родина или смерть! Только так!» И оказалось — это не пустые слова. Но есть еще одно слово, его ждут. Это слово-сигнал зависит от Плутарко. А пропуск для него — пожарный рукав, все еще пронзающий стены, обнажающий картины интимной жизни горожан: юноша берет руку девушки, бешеный пульс, целует все выше и выше нежно-солоноватую кожу руки. «Кто вы? — с улыбкой спрашивает дон Чепе.— Отвечайте, не то дыра будет больше!» Каждый отрезок пути — шаг к вспышке. И остается след. Путь все дальше и дальше. А парень настойчив, но любезен: «Будут бои, моя любовь, но не забудь — мы все-таки в Никарагуа!» «Смелее, сосед!»— говорит дон Чепе, согнув пальцы, чтобы разламывать стены, а не подстригать в парикмахерской мальчишеские космы! И слово «сосед», черт возьми, звучит сегодня совсем по-иному, полно нового смысла и сладости. «Послушай, приятель, я тайфун! И покажу тебе кое-что пострашнее, чем землетрясение». Рукоять прочна и клинок остер! Оружие ищет врага, чтобы отсечь ему огненным ударом голову. Пьянит, как колдовское зелье. Риск может заставить человека обмочить штаны, но риск — праздник тоже.

Отставшая рука догоняет ту, что движется впереди. Останавливается и пожинает посеянное. Ухом к стене: «Сколько метров еще? А сколько пройдено? Хорошо ли Плутарко все рассчитал?»— сомневается дон Чепе. Одно дело географическая карта, где Африка не больше белки-колоринче, а другое — эта паскудная действительность, в которой все перекошено и почти никогда не удается попасть туда, куда хочется.

— Стоило мне столько горя вынести за свой вдовий век...— начинается монолог самой старой женщины в городе.

— Что-то носится в воздухе,— говорит доктор Ривас, просматривая дело Викки в двух километрах от пожарного рукава, который идет дальше и дальше, преодолевая препятствия или обходя их, опутывая все и ловко прячась.

— Перед лицом всевышнего и с верой в него начинаем. Давай сюда рукав,— шепчет Мириам дону Антонио, и тот, с удовольствием ощущая в своих руках упругость эластичной ткани, движется к противоположной стене, протягивая дальше этот трансатлантический кабель,— первый укус зверя, порожденного фантазией киномеханика, которого вывели из себя подзуживания пожарника. Викки, обсуждая его план, сказала тогда: «Отправь его в Голливуд. От бесконечных фильмов у тебя стала пошаливать голова!» Заговор в будке киномеханика! И в биллиардной тоже заговор! В хлебной лавке и в публичном доме, в фотографии Эбенора. Целая мешанина, винегрет заговоров! Дежурное блюдо! «А вам что подать на десерт, сосед?»

Дон Антонио ждет, когда отверстие станет подходящим. Постепенно рукав входит в него. Пришли сообщить, что Флорес мотается на джипе по городу, проклиная на каждом углу Агустина Менора, а его солдаты рушат дома, закалывают свиней, пристреливают другой скот и птицу. И надо всем этим гремит: «Агустин Менор, собака, дезертир и сукин сын!» А дону Антонио сейчас наплевать на то, что кричат или потихоньку злословят о его сыне. Его сын ушел, и что тут можно сделать, такова воля божья. Сейчас он хочет только одного — протащить этот упругий брезентовый рукав к соседнему дому, преодолеть последние метры, оставшиеся до казармы. И пусть капитан орет и злобствует. Он не испугается и не оскорбится. Не разозлится, не взбесится.

Намного быстрее, чем тянется рукав, бежит по городу слух, что Агустин Менор дезертировал. Говорят, и Марсело тоже. Свидетелей, правда, тому не было, что же касается Агустина, то многие наблюдали, как мелькали его пятки по площади от церк-

ви Эль Кальварио. Кто-то даже уверяет, что своими глазами видел, как сам Флорес посылал ему вдогонку пули. А адвокат Ривас успел заметить, как тот мчался по улице и на ходу раздевался: он так поспешно стягивал с себя военную форму, что вырывал и волосы. «Еще одним солдатом меньше»,— меланхолично заключил адвокат.

Рукав проходит через дома. Как будто так и надо. Словно река по своему руслу. Но для Плутарко все течет недостаточно быстро. Охрипшим голосом он в тревоге спрашивает по живой цепочке, не пустили ли бензин. Ему хотелось бы, чтобы конь уже бил копытами в ограду загона-корраля, разрывая собственную кожу, сдерживающую его. Беспокоит гараж. Запах бензина, доходит, кажется, до самой Манагуа. Но ответа все нет. Кто знает, где летает теперь птица его судьбы?

Каждую минуту заглядывает Салинас и спрашивает: когда же? Плутарко может лишь ответить ему, что рукав пока еще разматывается, но в свое время все подойдет к своему концу, как и сама жизнь,— она не будет длиться дольше, чем ей предписано, как и поезда, которые в конце концов заржавеют на свалке, а корабли пойдут ко дну. Придет момент, говорит он, ковыряя пальцем в носу, будет приказ командования рука еще раз пожмет руку и кто-то скажет: «Добро!» «Огненный язык» — такие слова употребил местный журналист, описывая горизонт в тот день, когда горела лесопилка Легкой смерти, Салинас, птица-вещунья. Он смеется, показывая редкие зубы. Это чтобы не напустить в штаны. Вот-вот должны передать приказ. Сейчас! И тогда он легко повернет кран, будто руль «шевроле» последней модели, после чего, уже не сдерживая нетерпение души, порожденное зыбкими картинами его сновидений, он резко повысит давление, и поток устремится со всей первозданной силой, и люди почувствуют в своих руках огонь и передадут его от дома к дому, как королевский скипетр. Поток легкий и жгучий, несущийся живым водопадом, золотой волчок. Бензин просочится в каждый миллиметр здания штаба командования, скрытно обволочет его. И придет момент, дон Антонио, когда огромное пламя достанет небо. Командование тигров станет командованием жалких паяцев. Вы не успеете, дон Чепе, сказать, что это похоже на сон. А партизаны уже проберутся через заросли кустарника, вылезут из подземелий с автоматами и пистолетами, с базуками и пулеметами.

Но приказа все нет. Проклятое затишье!

Если для других все идет как надо, Салинасу ждать невтерпеж.

— Кого ты послал за приказом, Плутарко? Эту гусеницу? Холоднокровную черепаху, что на шаг вперед отвечает двумя назад? Или извращенца рака? — И в дверях гаража он добавляет: — Как же на душе отвратно делается, когда ничего не делается! Ну начинай, не тяни! Поджигай!

И сам Плутарко, полный томительного нетерпения, вынужден произнести слово, противоестественное для его существа, три слога, которые унижают его: «Спо-кой-но!»

А Салинас в каждом работающем моторе слышит джип Флореса или его танк. Трудно допустить, что об их деле уже не стало известно, что кто-нибудь не проговорился. В этом городе заговор двух человек может быть популярнее припева модной песенки... Вот этот гул, что приближается, наверняка от танка Флореса, клянусь всеми святыми чертями, и доносящееся треньканье — это не песня птицы, это его джип, а во все небо раскрыл свое мигающее око стервятник-вертолет, который так и следит, так и следит за этим проклятым гаражом. Загремим мы раньше времени! А тут еще этот чертов рукав все время за что-то цепляется, еле тянется. «И что ты там с ним возишься, не понимаю!» Нет, Флорес разорвет нас в клочья одной гранатой. Не командование будет гореть, а мы погорим, все, кто как недоумки сунулся в эту затею. Родина или смерть! — я согласен, компаньерос, но только, пожалуйста, побыстрее, а то, слышите, Флоресовы громкоговорители горланят на весь город: «Агустин Менор — сукин сын и коммунист!» Сам Флорес между двумя залпами глотает пиво, зло сплевывает, решетит слепыми автоматными очередями стены домов, разбивает камень, крошит черепицу: «Выходи, свинячий недоносок!» И тонкая парусина в окнах, которая должна бы защищать жителей от вторжения своенравных тропических вихрей, рвется, свисает неряшливыми клочьями.

— Вы думаете, мерзавцы, что мы с вами шутки будем шутить!

У Плутарко, кажется, все кровоточит. Он прислушивается и вот как будто слышит приказ: «Начинай!»— но в самом деле он ничего не слышит. Почему такое опоздание? Брезентовая змея затерялась где-то в двухстах метрах впереди. Ее вывели прогуляться в сад. Может, фотографируются с ней...

— Плутарко, проходимец несчастный! Я так мечтал об этом огневом празднике,

который должен покончить с Сомосой в Леоне и развеять память о нем и его сторонниках, таких же прохвостах, как и он сам, асах шпаги и автомата, о всей этой нахальной воробьиной стае, способной лишь подчирикивать хозяину, но лишенной крепкой хватки шакала и прусской дисциплины.

— Какая Пруссия, кум, тут жарища — мозги плавятся!

— А если бы однажды в Никарагуа выпал снег, а, Салинас?

— Разве только в сказке, балда ты непутевая!

— Кто знает, Сали. Если уберется Сомоса, кто знает, какие чудеса начнутся.

— Если сейчас сунуть градусник мне куда-нибудь, он лопнет.

Вдребезги, на мелкие кусочки разлетелась водопроводная труба в доме Антонио Менора. Дыра в диаметре больше, чем пожарный рукав. Не рассчитали удар — и целое озеро воды, а тут не до купаний. Только влюбленные утки могут плавать здесь. Мать Агустина бежит с ведром, дон Антонио — с тряпкой.

— Надо вылить воду из бака в ванной, иначе затопит, отец!

Но с тротуара уже доносится голос капитана Флореса, голос проникает всюду, мегафон гремит на полную мощность, утраивая грохот снарядов.

— Это Флорес, мать! Он!

— Агустин Менор, подонок, дезертир, сукин сын и сандинист!

— Идет сюда,— говорит жена.— Сюда, сюда,— повторяет.

— Точно,— отвечает дон Антонио.— Ищет его. Надо молчать! Сейчас он несет больше патронов, чем слов.

— Это Флорес,— говорит Плутарко в двухстах двадцати метрах.— Прежде чем наша змея доползет до штаба командования, у нас уже будут дырки в головах. Нас поставят к стенке святой. Сали. И закопошатся в наших глазницах черви толще пожарного рукава, будь он проклят.

— Ко мне, живо! — кричит Флорес.

— Ведут дракона, изрыгающего пламя, гонят троянского коня...— бормочет самая старая женщина в городе.

А Антонио слышит дребезжание джипов по неровной мостовой, астматический голос из динамика: «Выходи, сукин сын!»

— Сейчас появится,— говорит Амалия.

«И сам Плутарко, и его план,— обреченно улыбается про себя дон Антонио,— сумасшедшие. Его мечта о пожарном рукаве — змей, погубивший Адама. Похоронные аккорды вместо триумфального марша...»

— Что же делать? — спрашивает сеньор Рамирес.

У кого спрашивает?

Но за двести двадцать метров — по его расчетам — Антонио Менор услышал. Набросив на затылок сомбреро, как боец каску, не целуя жену, он оставляет бьющий из ванны поток воды — пусть заливает спальню — и, не взглянув на фотографию Викки и Агустина, с ангельскими лицами принимающих первое причастие, выходит навстречу грустному солнцу за порог.

Там ждет капитан Флорес. Знакомая тяжелая челюсть, сигара, которую он, кривясь улыбкой, перетягивает из одного угла рта в другой, острый взгляд сквозь темные очки, более красноречивый, чем дуло пулемета, нацеленного на Антонио из джипа. Капитан чешет грудь, его нательный крест купается в поту.

— Твой сын перебежал к сандинистам, вонючий козел!

Антонио кивает. Внезапная слабость, тошнота, какой-то остаток сна путает мысли. «Это перед пулей»,— мелькает у Антонио. Но тут же он с удивлением чувствует, что капитан, схватив за шею, резко толкает его к джипу.

— Будешь заложником, шелудивый пес, пока не явится твой сын!

XXV

Хулио.

Товарища зовут так же, как называют месяц [1].

Машина летит сквозь ночь. Шоссе безмолвно. Как Млечный Путь.

Вверху шум самолета. Облачно. Мы в открытую везем оружие.

Это полоса между озером и Тихим океаном. Взгляните на карту: Никарагуа похожа на Латинскую Америку. А эта лента — дорога на Леон — напоминает мне Чили.

---

[1] Julio — июль *(исп.)*.

Латинская Америка... Селайя — это Бразилия, Манагуа — Боливия, Чинандега — Перу, Нуэва Сеговия — Колумбия, Хинотега — Венесуэла. А где же Эквадор?

Я возвращаюсь домой!

До чего удивительна эта беспредельная тишина.

Машина дрожит от натуги, но все в порядке, все на своем месте. Как во дворе в детстве. Вспоминается собачья конура, птичьи гнезда. Муравьи, снующие вверх и вниз по дереву. Узнают друг друга. А ведь сколько их!

Леон.

Покой, в который погружено небо. Ни звездочки. И небо и дорога затерялись в одном облаке, кажущемся бескрайним.

Сомоса еще не пал, и тем не менее едем вот так, спокойно покуривая. Смерть ничем не напоминает о себе. Ведь она не назначает нам свой точный час, как, допустим, врач. Все молчит. Ни звука. Только мы гремим словами как хочется.

Я — поэт.

И я в Леоне.

Освобождена уже вся Никарагуа, но диктатор не убирается. В чем дело? Как решаются вопросы в истории?

Позади остались вулканы, вокруг пейзаж поет свою беззвучную песню. Только люди все говорят, говорят. Мы произносим речи, кричим или шепчем вполголоса. А все остальное молчит.

Откуда взялась эта нежданная полоска сигаретного дыма, тянущаяся из окна машины к едва различимым силуэтам телеграфных столбов?

Я чувствую, что живу не в настоящем, а в воображаемом будущем.

Прошу Гуатона Осорио включить радио.

Он уточняет своим южным говорком:

— Что ты там хочешь услышать, до-огой?

— Предсказание,— говорю.— Я чувствую, что Сомоса убрался из страны.

— Нет, до-огой, не уб-ался.

— Откуда ты знаешь?

— Если бы уб-ался, я бы знал.

— А как?

— Т-гудно сказать, до-огой. Навег-но, тогда бы машина взлетела в воздух, небо заго-елось и запели бы птицы.

— Включи! — настаиваю я.

Осорио включает. Автомат лежит у него на огромном животе. Ветер превращает пот на его лице в твердую пленку. Он нажимает кнопку приемника в нашем «понтиаке», и первое, что мы слышим, голос американского певца. Кто это: Дин Мартин? Синатра? Кто пел «Money burns a hole in my pocket» [1].

— Дин Мартин,— говорит Толстяк.

Он увеличивает громкость и подсвистывает песне. Его свист следует за всеми ее извивами так здорово, словно всю жизнь он готовил номер для этой чудесной ночи, когда дорога сливается с облаками. Эту песню я слышал от моего отца. И от матери. От обоих, еще до их отъезда из этой проклятой богом страны — меня они оставили одного давиться здесь кодексом римского права.

Ну что ж, счастливого путешествия, старики. А я буду поэтом!

Все птицы молчат. Праздник молчания птиц. «Понтиак» неслышно заглатывает темноту. Ни одной звезды, ни единой. Мы летим в этом пространстве, словно шоссе было сделано специально для нас и его асфальт — победный ковер для поэта Леонеля и Толстяка Осорио.

Еще вчера по пояс в воде мы с мачете прокладывали себе дорогу. Спали на крышах домов, коты-полуночники долго смотрели на нас, а потом принимались медленно лизать свои хвосты. Прожектора национальной гвардии прочесывали ночь, стремясь зацепить нас. А сегодня мчимся на автомобиле, к антенне которого прикреплен пылающий сандинистский флаг, и по радио поет Дин Мартин.

Если смотреть на частности, да еще с близкого расстояния, революция может показаться странной.

Странными кажутся и паузы в радиопередаче после каждой песни. Словно ведущие уже уложили имущество студии в чемоданы и не успевают вытаскивать очередные диски.

[1] «Деньги жгут мой карман» *(англ.)*.

Осорио глядит на меня. Откуда у такого толстого человека столь пронзительный взгляд? Волосы ему растрепал ветер. Ни он, ни я не боимся засады. Национальная гвардия перебралась в Гондурас — удрала на американских самолетах — или укрылась в бункерах и командных пунктах. На что они надеются? На американскую морскую пехоту? На то, что им удастся выторговать условия сдачи? На обещанные более или менее сносные подкрепления?

Сомоса уверял, что будет править страной до конца XX века, а мы вот сейчас едем по этой пустынной автостраде, и она — наша! Как эти вот ноги. Осорио смотрит на меня долгим взглядом и улыбается. И я улыбаюсь ему в ответ.

— Знаешь, а ты был прав,— говорит он и, подмигивая, показывает глазами на приемник.— Замолчал, негодяй!

Прислушиваемся к тишине. Может быть, наши товарищи уже ворвались на радиостанцию и завладели ее студиями, микрофонами, антеннами? Проезжаем два-три километра и вдруг слышим нежный, как прощальный поцелуй, голос Тито Родригеса, он поет «Кто мог бы сказать?»:

«Кто мог бы сказать, что та девчушка станет такой вот женщиной? И я люблю ее, но уже совсем иначе, это чудо, не правда ли? Кто мог бы сказать?..»

Уже нет дикторов.

Остался один оператор. Он ставит тонкую иглу на бороздку диска, не произнося ни слова. Никто истошно не кричит, что правительство подавит мятеж изменников. Только оператор в звуконепроницаемой кабине перебирает свои любимые диски. Может быть, после Тито поставит Мансанеро, а после Мансанеро, возможно, придет время для Карлоса Мехиа Годоя и ансамбля «Те, из Паланкагуина». Ты прав, Толстяк. Если сейчас радио Манагуа передает «Цветок сосны», нашей машине в пору взлететь в небо и мчаться, пока не столкнемся с метеоритом или кометой. Мы взовьемся вертикально, словно ракета. Да, тогда бы вот на этой дороге, исковерканной базуками и землетрясениями, мы узнали бы наверняка, что Манагуа пала. Пала вверх тормашками!

— Что ты будешь делать? — спрашиваю Толстяка.

Он внимательно рассматривает меня, повернувшись ко мне и наклоняясь навстречу ветру.

— После победы,— уточняю я.

Его улыбка раскрывает ряд зубов, клыки словно радостно выпрыгнули вперед. И кажется, его рот полон бенгальских огней.

— Мы уже победили,— говорит он.

— Что ты будешь делать? Вернешься в Чили?

— Скажешь тоже.

— А что — позаниматься как следует гимнастикой. Отрастить усы. Навести кое-какую ретушь в паспорте?

Толстяк все улыбается своей сверкающей улыбкой. Фары машины расчищают дорогу Вдруг он нажимает кнопку, выключая радио. Далеко впереди стрельба.

— Леон,— говорит водитель.

Проверяем оружие на коленях.

«Леон»,— думаю я.

XXVI

Пули согнали национальных гвардейцев в штаб командования, как собаки сбивают в кучу овец. Игнасио отдал приказ, и на рассвете из каждой двери, с крыш, балконов, мансард, из парадных; гаражей высунулись пистолеты и винтовки, одни нацелены умелыми руками точно, другие — как попало.

Игнасио сказал «начинаем», когда с юга прибыл Осорио и когда дядя Эмилио, припав глазом к отверстию в стене, последний раз проверил точность укладки пожарного рукава, а Мириам, покинув аптечный киоск в пункте первой помощи, взяла в будке киномеханика винтовку и заявила, что игрушки Красного Креста сейчас никому не нужны.

Плутарко в это время позвонил в пожарную часть и приказал своему помощнику включить сирену. Священник же присоединил к церковному органу усилители и начал своими гибкими пальцами отбивать четкий ритм. Подкрепление национальной гвардии не могло упасть с неба, поскольку сами национальные гвардейцы, как обезумевшие ласточки, уже летели в Гондурас и Майами, а стервятники кружились над Пас-Сентро [1], немало пострадавшим от базук. Сержант Сифуэнтес одурело пытался выгладить ладо-

[1] Небольшой городок вблизи Леона.

нями спортивный костюм, стряхивая пыль и ногтями проводя стрелку на брюках. Потом он спешно отломил ножку от шкафа, в которой хранил деньги, отпорол от мундира нашивки и спрятал их к себе в носки.

А радио Леона «Венсеремос» [1] сообщило, что Анастасио Сомоса вылетел на самолете в Майами, увозя в багаже гроб с останками своего отца. Для капитана же Флореса и его солдат мир сузился до маленького дворика штаба командования, обнесенного двойной стеной — бетонной и деревянной.

Между тем вся страна открыто пела гимн Сандино, из каждого окна выглядывал бумажный, матерчатый или картонный красно-черный флажок [2], а Эрнесто Карденаль уже прилетел в Никарагуа. Справа пылало зарево, и это была не осветительная ракета — просто вставала мирная луна, отражавшая солнечный свет.

Однако, когда приказ Игнасио достиг гаража, у Плутарко не поднялась рука сразу же открыть кран. Слух дошел до него быстрее приказа: Флорес захватил заложников. Мать Агустина между домами пробралась к гаражу, переползая дворы и прячась от пуль. Она сообщила Салинасу и Плутарко, что ее мужа схватили тоже.

«У них заложники!»— слух проник через проломы стен, через поврежденные водопроводные трубы.

Флорес как чумной еще метался по улицам. Он не задумываясь прибег к чудодейственному средству — прикрывал себя кем-либо из заложников, и огонь с крыш мгновенно прекращался.

Салинас и Плутарко переглянулись. Пожарника уже дважды стошнило, но он продолжал пить густой, как глина, приторно-сладкий кофе, которым его снабжали через пролом в стене.

Зазвучал орган священника, и мелодия каждой нотой должна была сопровождать пожар в штабе командования, сам же Плутарко приказал включить сирену, что означало для партизан остановить наступление против форта на холме и сконцентрировать силы в городе. До поры до времени все шло как надо и было прекрасно, как в его идеальной каллиграфии. Но в решающий момент — теперь этот момент уже миновал, а тогда только-только приближался — Плутарко не смог повернуть кран на красной цистерне, чтобы осветить город победным заревом. И вот теперь над ними витал только запах победы, плода ее вкусить им не пришлось. Сандинистские парни, увидев, что пожар, как условились, не начинается, атаковали укрепления с улиц, чтобы бесполезно не проливать лишней крови. На минуту в гараже появился Игнасио и бросил в лицо Плутарко: «Предатель!» Оба молча обменялись тяжелыми взглядами. Салинас подумал, но так и не сказал: «Это мать Викки, наверно, виновата».

А дело с пожарным рукавом, протянутым к штабу командования, было остановлено криками с улицы: «Схватили Марию Молину! Заложницей!», «Взяли в заложники Каликсто Гарсиа!», «Мончу взяли заложницей!». Говорили, что и дон Чепе попал.

Флорес хватал заложников. Дон Антонио для него оказался чудодейственным талисманом. Потом уже все было просто — продолжай применять ту же формулу. Дважды два! Со своим ударным отрядом, джипами и танкетками Флорес укрылся в штабе, надеясь оттуда связаться с Чигуином по телефону. Или с помощью радара разыскать его в каком-нибудь уголке никарагуанского неба. «Давай жми!»— приказал ему Чигуин. Как сейчас не хватает Агустина — послать бы радиограмму! С помощью бинокля, каким бы мощным он ни был, подкрепления не попросишь. Даже если заколдуешь стекла.

Плутарко отпустил рукоятку крана и обеими руками обвил себя. Казалось, каждый его нерв напряжен. Каждая капля крови словно бьет тревогу. Даже корешками волос он чувствовал пробирающий его озноб.

Салинас сказал:

— Поступил приказ.

Плутарко, съежившись, ответил:

— Я не солдат.

Теперь уже сквозь стены слышалось не бормотание — с улицы доносились громкие крики, назывались имена, фамилии: «Плутарко, у них заложники!», «Дон Чепе!», «Ла Монча!», «Семья Эбенор!», «И Сайда Мендиата тоже!».

— Тогда пущу бензин я! — сказал Салинас.

Пожарная сирена прекратила рев, теперь только ветер, гуляя в трубах органа,

[1] «Мы победим» — название радиостанции сандинистов.

[2] Цвета флага Сандинистского фронта национального освобождения.

брал аккорды, терзавшие душу, да, как бы вытеснив кровь, циркулировал в сосудах людей.

Плутарко глубоко вздохнул:

— Давай.

От вибрации хлынувшей жидкости задрожали поджилки у тех, через чьи дома проходил рукав. Эластичный брезент вздулся, рукав дернулся, точно получил мощный удар, и с бешеной скоростью стал заглатывать бензин, издавая шум, подобный клокотанию вулкана перед извержением. Дрожащие руки осязали живой пульс этого потока, который должен был сгореть в считанные минуты, а может быть и секунды. Люди чувствовали, как он чудесным образом выпрямляет и их самих, укрепляет им нервы, делает прочнее кости, дает новую силу мускулам, силу, которой не было ни у кого из них прежде, когда они униженно таились в своих домах, ожидая с минуты на минуту, что вот-вот ворвутся национальные гвардейцы и начнут рыться в бумагах, срывать занавески, хватать за груди их дочерей, ворошить посуду, потому что в каждой вилке им мерещилась винтовка, в каждом ноже — сандинистский штык, в крошках хлеба — пули. В курятниках они искали сандинистскую конницу (а кур резали себе на суп), которая однажды могла бы ворваться в город, снося головы «защитникам Никарагуа», этой благодатной христианской цивилизованной страны Запада, твердо стоящей на позиции свободного предпринимательства, представляющей из себя с благословения всевышнего единую семью, где каждый имеет право жить под сенью матери-демократии, верный своему отцу-покровителю,— страны, по-братски пекущейся обо всей Америке, прикрывающей ее от холода зимой и от жары летом.

Бензиновая река, текущая по брезентовой артерии города!

Руки, схватившие все звезды неба. Позвоночник города, тонкий, но сильный, гибкий, как хлыст.

Самая старая женщина в городе не помнила такой торжественности даже на самых пышных мессах, которые ей некогда доводилось слушать. Даже при похоронах ее благочестивого супруга Эсекиеля Ортеги. Так он и умер, не сделав за свою жизнь ни единого выстрела. Правда, перед самой кончиной попросил ее: «Когда умрет Сомоса, найди возможность известить меня». Не было такого и в многолюдном молчании в кафедральном соборе год назад, когда епископ вел службу in memoriam[1] журналиста Педро Хоакина Чаморро, злодейски убитого Сомосой в Манагуа.

Самая старая женщина в городе видела, как огонь несется через ее спальню. Она медленно потягивала «Earl Grey» — единственный достойный употребления чай, который ежегодно еще присылали ей из Англии в квадратных жестянках фирмы «Twining's» и смотрела на никарагуанцев, малорослых, смуглых, лица которых вдруг гордо поднялись с достоинством, какое обычно придается изображениям святых на календарях.

Самая старая женщина в городе насчитала примерно шестьдесят — семьдесят жителей, причастных к делу с бензином, который мчался теперь с фырканьем, как паровоз либо как необузданное животное или мифическое существо из поверий индейцев майя или науатль, как многоликий бог, являющийся в одно и то же время облаком и солнцем, песком и дождем, растением и океаном, желудком и разумом. Самая старая женщина видела в беснующемся потоке бензина карабкающегося дикого зверя латиноамериканской сельвы. Ее кошмар прерывался удушьем, тяжелыми вздохами, хрипами, конвульсиями, и все же у нее мелькнула мысль, что она переживет Сомосу. Ее преследовали галлюцинации. Ей казалось, что живет она сто пятьдесят лет, что беснующееся рядом животное рождено ею, и эта мысль ее успокоила: наконец у нее появилось дитя, которого она так и не нажила с Эсекиелем Ортегой.

В философской задумчивости старуха отпила глоток своего «Earl Grey». Ее скрюченные, но крепкие пальцы без дрожи держали чашку. В облупившемся зеркале на продырявленной стене она увидела свое полумертвое лицо рядом с фотографией Эсекиеля, приколотой в обшарпанном углу. «Я вот протянула дольше, чем вещи,— подумала она вслух.— И, пожалуй, совсем не умру. И если бы господь дал здоровья, я приняла бы бессмертие без жалоб».

Самая старая женщина с радостью подметила, что сейчас в ее городе происходит нечто подобное тому, что произошло с ней и ее британской аристократичностью, из-за которой тогда она, еще девочка-подросток, без тошноты не могла даже видеть цвет кожи латиноамериканцев в Панаме.

---

[1] За упокой души.

Еще один глоток чая помог ей вспомнить, как отец прикрывал ей нос полой рубашки, смоченной одеколоном «Atkinson», который он носил в кармане своего пиджака неизменно, как и кварту виски «Ballantine's». Эсекиель привез ее в Леон, заворожив астматического отца образцами ярких шелковых тканей, которые позволили бы ему открыть в Никарагуа коммерцию, наподобие магазина «Gath y Chaves» в Чили или парижского «Les Gobelines». И тогда его дочь, которая станет самой старой женщиной в городе, оставит своим наследникам достаточное количество фунтов стерлингов, чтобы они могли делать ставки на ипподромах Лоншан или Сен-Клу в Париже или на кортах в Лондоне, и еще такую сумму марок, что вышколенные крупье в Баден-Бадене взмокнут, как тараканы под дождем, когда после возгласа «rien plus»[1] выигрыш, который им придется выплатить, превысит тысячи и тысячи наличными. Это был год, когда Дарио писал: «Midi, roi des étés...»[2].

Она читала это стихотворение в перерыве между любовными утехами в городе Ривасе, тогда как Эсекиель продолжал свой шумный труд и в часы сьесты, стремясь заработать на их свадебное путешествие, которое в первоначальных планах рисовалось им во всем блеске: отели, устланные коврами и снабженные вентиляторами, более мощными, чем у подданных королевы. Однако эти планы уже по приезде в Сан-Хосе спустились до уровня пансионатов, в которых останавливались бродячие торговцы со скудным набором своих колониальных товаров, учителя начальных школ и, может быть, кто-нибудь из коллег того же Дарио, но менее популярный и в более затасканных брюках.

Последняя строка того стихотворения оканчивалась словом «цикада». И самая старая женщина в городе, которая тогда обладала весьма аппетитными, красиво очерченными, словно крупные персики, грудями, сразу же наливавшимися упругостью, едва Эсекиель касался их, уронила газету со стихотворением барда и поспешила в сравнении познать разницу между написанным и тем, что она испытала на грубых простынях в той южной гостинице, как вдруг животное, сколь огромное, столь и бесцеремонное, выскользнуло из ванной и направилось в ее сторону. Она в ужасе спросила Эсекиеля, что это такое, и он, познавший любовь лишь по ее лирическим рассуждениям, назвал эту отвратительную крысу самым мягким словом, которое подсказало ему помутившееся сознание: «Любовь моя,— сказал он,— ведь это же ласточка!»

К 1917 году она уже приобрела известность как прекрасная преподавательница английского языка («лондонское произношение») среди торговцев Леона, которые посылали к ней своих толстомясых или, наоборот, тощих дочерей овладевать языком будущего для Никарагуа. Свои частные уроки она использовала для того, чтобы выудить у несчастных учениц подробности интимной жизни горожан, которые потом и разглашала со скромной значительностью на улицах и в лавках. При помощи подобной же технологии и с той же непринужденностью она в 1978 году усыпляла бдительность сомосистской гвардии и передавала даже в наиболее подозреваемые дома «мух» — прокламации сандинистов. Как-то она спросила Игнасио: «И почему это у вас такие прекрасные вещи, как революционные листовки, называют «мухами», а нечто противное вроде крыс — ласточками? Видимо, в Никарагуа язык более запутанный, чем в Гватемале...»

В 1936 году к ним в лавку зашел какой-то тип в массивных очках, с улыбкой на тонких, как бритва, губах и пижонским платком на шее. Он вручил Эсекиелю и его жене портрет нового президента республики Никарагуа со словами: «Анастасио Сомоса».

Когда мужчина ушел, Эсекиель засунул портрет в какой-то старый шкаф в чулане и приказал жене: «Вывесишь его только в случае крайней необходимости!» Потом добавил, затягиваясь гаванской сигарой, из тех, которые совершенно лишали его воздуха, отчего он и умер в припадке удушья что-то в начале пятидесятых годов: «Этот хлыщ убил Сандино».

И женщина, которая спустя двадцать лет стала одной из самых старых в Леоне, а в 1979 году — после гибели от шальной пули Матильде Иглесиас — осталась самой старой женщиной в городе, ответила своему мужу: «Но ведь этот Сандино нравился только неграм, индейцам да крестьянам...»

Эсекиель, словно нож, вонзил в нее острый взгляд и, прежде чем надеть сомбреро и отправиться в свой клуб перебросится в карты, произнес: «Никарагуа!» А уже в

[1] «Ничего более» (в смысле — «игра прекращается») *(франц.)*.

[2] «Юг, король лета» *(франц.)*.

дверях добавил: «Если побольше захочешь того, что так тебе нравится, отбрось всякие церемонии и не корчи из себя черт знает что!»

21 сентября 1956 года два парня, бледных, обессилевших и поникших, словно паруса после бури, но вооруженных до зубов, постучались на рассвете в дверь ее лавки и попросили спрятать их на пару дней. В ту ночь национальная гвардия шарила по городу, разыскивая молодых людей, по всем признакам безумцев, которые стреляли в Сомосу в Рабочем доме. «Я всего лишь несчастная вдова»,— ответила она юношам, но тут же, охваченная энтузиазмом, заперла покрепче решетку на двери и провела их в складское помещение, где среди шерстяных отрезов, изъеденных молью, выцветшего бархата и перкаля, общипанного ласточками, угостила чаем фирмы «Twining's» и с нескрываемым интересом слушала рассказ парней. Их друг, поэт Ригоберто Лопес Перес, разрядил револьвер в Тачо [1], когда оркестр играл мамбо «Черная лошадь», проделав у него в груди большую, как могила, дыру. «Теперь ему конец»,— сказал один из них.

Самая старая женщина в городе, которая в ту пору своего вдовства была не лишена кокетства, употребляла косметику и не без гордости в груди, еще сохранявшей упругость благодаря заботам усопшего Эсекиеля, поднесла согнутый большой палец к губам, поцеловала его и сказала: «Клянусь, не предам вас!» Потом она покопалась в полуразвалившемся шкафу, достала оттуда портрет Тачо, прилепила клейкой лентой черный бант прямо ко рту — получилось нечто вроде черной блевотины — и повесила портрет туда, где пять лет назад восседал Эсекиель Ортега, основатель магазина «Бабочка». А когда на следующий день нагрянули национальные гвардейцы с угрожающими винтовками, она лишь скорбно посмотрела на портрет и без особых усилий, припомнив послеобеденные радиопьесы, пустила полновесную слезу по своей британской щеке.

И теперь этот пожарный рукав, связавший, но вместе с тем и разделивший город, не только представлялся ей символом парадоксальности и абсурдности, присущих всей Латинской Америке, где пожарники выплескивают огонь, а не воду, но и наполнял ее чувством приятного удовлетворения от того, что она, нисколько не удивляясь, следит за тем, как миллиметр за миллиметром разрастается восстание. Точно так же когда-то в юности на танцах она не отдавала себе отчета в том, как под складками ее розового шелкового платья, украшенного жемчугом, ноги сами непристойно дергаются в ритм чарльстону, привлекая умудренные взгляды мрачно-голубых глаз английских студентов из Норуича. И она невольно и надолго заразилась этим ритмом непокорности, пока священник как-то не сказал ей на исповеди, когда она собиралась покаяться в одной готовой было совершиться, но не совершившейся ее измене Эсекиелю десятки лет тому назад: «Вы сейчас самая старая женщина в городе (комплимент, означающий, что как женщина ты уже дерьмо),— пробормотал он в пышущую полуденным жаром стенку исповедальни,— но как символ борьбы против диктатуры вы просто находка!» Священник еще долго что-то шептал ей, не отрывая губ от ее чуткого британского уха.

— I got it [2],— ответила она.

С тех пор она прятала бомбы повстанцев, обматывая их бечевкой, отдавала полотно для красно-черных сандинистских флагов, лоскуты и обрезки шелка для шарфиков на юные шеи, вату для перевязки ран. Ее дом стал госпиталем, арсеналом, убежищем, гостиницей, ведомством по урегулированию отношений сандинистов с церковью секретариатом клира, стремившимся удержать сандинистов от крайностей.

Но сейчас, видя между стенами своей спальни пожарный рукав, повисший подобно тяжелому канату эквилибриста-самоубийцы на центральной площади, ощущая острый запах бьющейся в нем и капающей на ее гобелены жидкости, она вдруг почувствовала, как ее пульс лихорадочно зачастил, и даже пролила несколько капель чая на блюдце. В волнении она окликнула седовласого мужчину, который пытался остановить поток горючего, прижимая рукав к груди: «Не примите это за истерику, я действительно не могу удержаться от смеха...»

Как раз в то время, когда самая старая женщина в городе произносила эти слова, Салинас попросил Плутарко сходить посмотреть на указатель уровня. Вернувшись, по-

---

[1] Презрительное сокращение имени Анастасио Сомосы I, основателя «династии» диктаторов в Никарагуа, убийцы генерала Сандино. В 1956 году Сомоса был смертельно ранен молодым поэтом и типографом Ригоберто Лопесом Пересом, уроженцем г. Леона.

[2] Я поняла *(англ.)*.

жарник с безнадежным видом закрыл кран, виновато посмотрел в глаза матери Агустина и объявил:

— Цистерна пуста...

Сеньора Амалия выдержала его взгляд.

— Значит, этого хотел бог,— сказала она.

Плутарко подошел к ней, взял ее руки и поднес к своему лицу, чтобы она почувствовала слезы, смешанные с бензином и потом, которые катились по его щекам, как у провинившегося школьника.

— Чтобы вы помнили всю свою жизнь, сеньора Амалия,— то, что я сейчас делаю, я делаю со слезами на глазах.

— Не будь тряпкой! — ответила женщина.

Плутарко подошел к пролому в стене, через который протянулся противоестественный, невозможный, безумный, зловещий, хитроумный, длиннющий брезентовый тоннель, призванный реализовать зажигательный план, взлелеянный во время бессонных ночных вахт, висевший на волоске из-за протестов некоторых горожан, из-за допросов полиции, пронесенный через издевательства и унижения сержантов и даже самого Флореса, вопреки иронии и насмешкам сандинистов, которые, опьяненные близкой победой, были способны бросаться в объятия смерти, атакуя неприступный штаб со стороны города. Они даже не хотели посмотреть чертежи Плутарко Рамиреса — «к вашим услугам, сеньор»,— созданные для их же пользы.

Чувствуя на своем крепком метисском затылке взгляд доньи Амалии, он без благоговения и энтузиазма, о чем мечтал когда-то, просто приложил рот к отверстию в стене и подал сигнал, по которому ровно через восемьдесят секунд фасад штаба командования превратится в пожарище.

XXVII[1]

Безумное пламя, мощное, многоокое, языкастое, неудержимое, своенравное; огонь, ты — золотая звезда, пожиратель древесины, молчаливый налетчик и в то же время творец лукового супа, ты известный своим лукавством шутник и тысячезубый бешеный пес, но ты и душа домашнего очага, ты чистейшая святость, но и разрушитель всего живого, божественный отец хлеба и кормящего нас очага, без тебя не было бы ни колеса, ни топора, ты оплодотворяешь металлы и плавишь сталь, и все это ты, огонь! Само твое имя пылает как пламя, и как приятно произносить его, не то что там «камень» или «мука»! Все слова блекнут в сиянии твоих золотых лучей. Рядом с твоими языками, рядом с космами амарантового цвета все слова холодны и мертвы. Когда говоришь: «Огонь, огонь, огонь!»—начинает щипать язык, это горящий плод, пламенеющий лавр. И ты не просто слово, ведь любое слово, не согретое внутренним жаром, отрывается от древа времени и падает в безвестность. Ты же—цветок, полет, совершенство, объятие влюбленных, нематериализованное вещество, разрушение и необузданная сила, тайна за семью печатями, трепещущее крыло смерти и жизни, созидание и прах, ослепительная молния, тысячеглазый меч, мощь, осень, внезапное лето, сухой треск пороха, горная пропасть, поток дыма, тьма, молчание... Где твоя обитель, что ты создал? Только невесомый пепел напоминает нам о том, где ты жил, а на руках остается лишь сажа да ожоги. Но вот я вижу тебя, огонь, на чистом листе бумаги, что лежит передо мной, и я воспеваю тебя, и ты, пока я ищу по углам свою лиру или фотоаппарат с черной вспышкой, чтобы запечатлеть тебя, веди себя спокойно. В конце концов ты здесь не затем, чтобы сжечь меня, и не для того, чтобы я прикуривал от тебя трубку, а чтобы трогать тебя, приглаживать твою гриву — каждый из ее опасных волосков, чтобы очистить тебя и ранить, чтобы раздразнить, чтобы ты был смелее со мной, мой багряный бык. Ну же, смелее зажигай меня, входи в мою песнь, поднимайся по венам и слетай с моих губ! Ты уже убедился, что тебе не совладать со мной: я превращаю тебя в песню, поднимаю и низвергаю, запираю в свои слова, очаровываю, заставляю гудеть, издавать трели, словно плененную канарейку. Но не являйся ко мне в своей знаменитой тунике птицы ада. Ты приговорен к жизни и смерти. Я умолкну, и ты погаснешь, а запою — ты сразу разгоришься и принесешь так нужный мне свет. Из всех моих друзей и врагов ты самый трудный. Все держат тебя на привязи. карманный демон, ураган, заключенный в коробки и декреты. Все, но не я. Я веду тебя рядом с собой и говорю: пришло время, чтобы ты показал мне, на что способен. Откройся, выбрось свои лохматые космы, поднимись и опали небесные выси. Покажи мне свое

[1] Текст данной главы принадлежит перу Пабло Неруды *(прим. автора).*

зелено-апельсиновое тело, вздымай знамена, гори над миром рядом со мной, гори ровно, как скромный топаз, смотри на меня и так засыпай у меня на руках. Поднимайся на множестве своих ног вверх по лестнице. Карауль меня и живи, чтобы я мог увековечить тебя в словах и чтобы ты пел их по-своему — в горении.

XXVIII

Задрав подбородок, Флорес в крайнем замешательстве убедился, что в небе нет ни самолетов, ни вертолетов. Национальные гвардейцы покинули свои посты на наблюдательных вышках и сбились в кучу в центре двора, ожидая приказаний и сбрасывая с себя военную форму, чтобы смешаться с заложниками. Огненное кольцо замкнулось. В любой момент сандинисты могут обрушиться на них с чердаков домов, передвигаясь по проводам, как пауки, прыгая по телеграфным столбам, как белки. От огня мутится сознание. Вот Флорес, еще лейтенант, танцует с Мартой и говорит себе: «Берегись, дорогой!» — чувствуя ее тугие груди. Белая лилия, супруги Дебайле[1] — шаферы на свадьбе, белые, словно из пены, костюмы мужчин, длинные платья их изящных спутниц. Еще не родились ни Хуан Педро, ни Алехандра, ни Пабло Андрес. Прекрасная, сверкающая страна. Может быть, Чигуин вскоре подоспеет с танкетками и базуками? А может, примчатся пожарники? Тачито — сердечный друг и отец,— видимо, находится на своем командном пункте, рискуя собой ради нас. На каждый снаряд, выпущенный мятежниками, он обрушит бессчетное количество бомб. Прилетят самолеты, сея опустошение по окрестностям. Тачо не такой человек, чтобы бросать друзей в беде. Это вам не капитан Арайя, отделавшийся ото всех друзей и один пожинавший плоды. Тачо вцепится в Манагуа железной хваткой своими крепкими зубами и оттуда с улыбкой телегероя организует контрвосстание. Правда, он сказал, что это конец. Ну что ж. Но здесь — его капитан Флорес, он остался на огненном алтаре. Дарио. Рушатся стропила, языки пламени все ближе, солдаты ждут, что я укажу им выход, а я только смотрю на небо. «Берегись, дорогой!» Это горит вся Никарагуа, такая прекрасная страна. Вот они — неприятности по службе, Чигуин. Но у настоящего воина, знаешь, ремень туго затянут. То-то. А не какие-то там тесемочки, кружевца да резиночки. Нет связи. Агустин Менор — вонючий сандинист, неблагодарная сволочь! Жаль, не было времени сменить шифр. Каждый поганый индеец может передавать в Пас-Сентро инструкции, какие только ему заблагорассудится. А Агустин, забравшись на телефонный столб, перехватывает сведения о моих танках, джипах, о молодцах, вымуштрованных Сифуэнтесом: с полной выкладкой через бури, через реки, изнывающих от жажды при полных флягах... Агустин Менор — мерзавец и сукин сын! Я так и вижу: вот он сидит на столбе и путает приказы, смешивая северные войска с восточными, играет, как ребенок с оловянными солдатиками. А мы тут жаримся на этой сковородке. Из водопровода уже идет кипяток. И то по капельке. Перерезали все линии. Резервное водохранилище пересохло.

Солдаты в панике, трусливые овцы! Ждут, что я их надоумлю, укажу путь к спасению. Любопытно, меня называют Вулканом, не потому ли я теперь очутился в огненной ловушке? Но Флорес так легко не сдается! Я буду жить, Агустин, собачье дерьмо, предатель! Я буду жить, Чигуин! Выберусь отсюда с этими слюнтяями и, прокладывая дорогу пулями, дойду до бункера Тачо в Манагуа. И если коммунист Альенде в Чили запросто был убит, то мой Тачо будет биться, словно лев, вцепившись в свою «Пунто-50» [2]. Манагуа должна быть битком набита самолетами американского производства, верными президенту. Там, наверно, и Чигуин. Если ты там, то там и оставайся! Ты еще будешь очень нужен Флоресу, ублюдок! Я вырвусь отсюда с этой сворой, окружив себя заложниками, как чудодейственным венком. Я сделаю из вас щит, болваны! И будем вырываться отсюда под прикрытием брони из мяса этих скотов. Если захотите убить нас, придется прежде пройтись по вашим отцам, сестрам и дедам.

Флорес забрался в джип. Пальцем подозвал шофера. Стоя на сиденье, крикнул:

— Будем прорываться. Каждому взять по заложнику и укрыться за ним. Всем сгруппироваться вокруг моего джипа!

Национальные гвардейцы разбегаются по двору штаба командования. Страх работает быстрее, чем мысль. Хватают заложников, надевают им наручники. Обнимают их за шеи, прижимают к себе, в правой руке держат автоматы — это самый веский довод, чтобы заставить живые громоотводы подчиняться.

---

[1] Родственники диктатора Сомосы (его вторая фамилия Дебайле).

[2] Американская артиллерийская автоматическая установка калибром в 50 мм.

— Ты будешь стоять спокойно, гад, или сейчас у меня закувыркаешься! — слышно, как кто-то кричит на парикмахера.

Некоторые из заложников запуганы до полусмерти, другие смирились с любой участью, одни совсем сникли, остальные еще на что-то надеются, те дрожат, а эти, наоборот, сохраняют выдержку.

Солдаты вцепились в них, словно жадные дети в свои велосипеды. Или как собаки — в кости. Тяжело дыша, национальные гвардейцы окружают джип. Позади пристраивается танк. Рокот его мотора заставляет насторожиться атакующих на улице.

Весь Леон сейчас — море огня, и через открывающиеся ворота штаба командования Флоресу видится, как по этому морю плывут корабли с красно-черными парусами.

Слева от Флореса в джипе сидит Викки, он проводит по ее плечу рукой, в которой судорожно зажат револьвер. Приставляет рукоятку к ее виску. Другой рукой он держит за шею дона Антонио, крепко прижимая его к кузову машины. Флорес приказывает шоферу, похожему на китайца, двигаться вперед. Джип тронулся, и на первых же метрах дон Антонио дернулся со своего места.

— Сидеть, т-твою мать! Сейчас полетим! — крикнул Флорес.

Солдаты образовали из связанных заложников ограду, кольчугу, панцирь — из торговца цветами и булочника, жены булочника и школьницы, дона Лусио и саксофониста. Среди заложников и трое главных профсоюзных лидеров из Матагальпы, худых донельзя, видны кости, а кожа — сплошная язва.

Крик Мириам разносится громче и быстрее выстрела:

— У них заложники!

— С нами заложники! — кричат и солдаты, прячась за людей.

В воротах, четко обозначившихся на огненном фоне, колонна остановилась. Лица заложников умоляют прекратить стрельбу. Затылками они чувствуют, что пули врежутся в голову при первой попытке к бегству. Головы бессильно свесились, как в кукольном театре после спектакля.

Выстрелы постепенно стихают. Сандинисты, расположившиеся на крышах, переглядываются, автоматы наготове. И люди едва сдерживают боевой порыв, мысли вылетают криками, пылающие лица на черепичных крышах — разве в такой момент можно колебаться? От криков дергаются винтовки, требуя опустить занавес, объявить конец, открыть бездонную пропасть для национальных гвардейцев, устроить великое пожарище над их могилами. Но выстрелов нет. Только чудовищная пляска огня. И печальные фигуры заложников, окутанные густым дымом.

— Выходят заложники! — предупреждают солдаты.

— Выходят заложники! — вторит им Флорес, приподнявшись в джипе, держа голову Викки под мышкой, а ладонью прижимая затылок Антонио.

«Вот он, Флорес!» — думают молодые сандинисты, и спусковые крючки их автоматов бьются под пальцами, от напряжения у партизан перехватывает дыхание, так же как у дона Чепе, появившегося в воротах штаба командования, у профсоюзных лидеров из Матагальпы, у других.

Киномеханик подходит к Мириам, словно тень выскользнув из стены.

— Что будем делать?

Мириам кажется, что она видит глаза бойцов, напряженно ожидающих приказа открыть огонь, будто возможно посылать сквозь клубы дыма точные выстрелы только по национальным гвардейцам, не касаясь заложников; изогнуть, что ли, стволы автоматов, чтобы размозжить головы преступникам и сохранить невредимыми неповторимо тонкие черты лица дона Чепе, парикмахера, который столько раз держал в своих ловких руках голову каждого из них, приглаживая волосы к субботним вечеринкам при помощи бриллиантина и одеколона, укрощая их пролетарские космы для семейных воскресных праздников.

— А ты что думаешь?

Киномеханик резким движением руки вытер пот с лица.

— Ты командир.

Мириам отбежала на середину улицы, подняла винтовку с привязанным к стволу красно-черным флажком — впечатляющая, ни с кем не сравнимая — и, выстрелив в воздух, крикнула:

— Внимание! Никому не стрелять!

Джип Флореса стал медленно выезжать из ворот, подталкивая сзади дона Чепе и других заложников.

— Вперед, скоты!

Инстинктивные, заученные движения пальцев людей на крышах подавлены любопытством. Все напряжение теперь сконцентрировалось в глазах: «Кто выходит? Кого ведут?»

Дон Чепе закричал:

— Не стреляйте!

Но никто и не стрелял. Профсоюзные работники из Матагальпы, словно тряпичные куклы, бессильно висели на руках солдат, и, чтобы надежнее укрыться, солдаты должны были поддерживать им головы. Пытками сломили их.

Когда джип пересек линию ворот, Мириам заметила, что стволы автоматов у сандинистов стали перемещаться вслед за машиной, как бы независимо от самих бойцов, и что выстрелы могут раздаться прежде, чем ребята успеют сообразить и сдержаться. Но когда она увидела рядом с Флоресом придавленную всей тяжестью его крепко сколоченного корпуса Викки с посиневшим лицом и поникшей головой, когда увидела прижавшегося к борту, словно побитый щенок, дона Антонио, она поняла, почему ребята не стреляют.

— Викки! — крикнула она.— Это я, Мириам!

Голос Викки прозвучал с той же силой, что и выстрел револьвера Флореса, ожегшего ей щеку.

— Стреляйте! — закричала она.

Колонна машин медленно вливалась в улицу. Тяжело гремел старый танк, национальные гвардейцы, прикрываясь заложниками, неуклюже прыгали, как купальщики на горячем песке пляжа. И, казалось, они тащат за собой шлейф дыма от пожара, языки пламени, лоскутья обгоревшей ткани, рвущейся на ветру в такт бессвязным звукам органа, на котором священник продолжал играть, выделывая немыслимые движения ногами по педалям, отчаянно нажимая на клавиши локтями, кулаками, но не одеревеневшими пальцами. Между тем кавалькада плыла, как в мираже, почти без движений. Сандинисты тоже замерли в дверях домов, на чердаках; их обагренные светом пожара лица высовывались из придорожных канав, щеки прильнули к прикладам. Они ждут, что Мириам отменит приказ, надеются, что ее запрещающее горло перехватит от бушующего вокруг огня, что хоть раз она доверится их умению прицеливаться, способности отличить сердце фашистского гвардейца от глаза друга, сальную рожу Флореса от нежной щеки Викки, подлое сердце Вулкана, которое сейчас колотится по-заячьи, от висков дона Антонио.

Палачи и жертвы медленно продвигаются к маленькому мосту, от которого начинается шоссе к форту, а от форта дорога уже свободна. Значит, национальные гвардейцы будут свободны.

«Когти Сомосы, его проворные копыта, помилованные нашими пулями, они с каждым шагом все ближе и ближе к спасению»,— думает Мириам, продвигаясь параллельно каравану и неотступно следуя прицелом своего оружия за затылком Флореса, виднеющимся меж двух пленников.

— Стреляйте же! — снова крикнула Викки.

Но чего будет стоить их скорая победа, если Викки убьют, а дона Антонио раздавят танком?

— Мириам! — взмолился киномеханик.

Мириам знала, чего он просит. Понять это было несложно. Она слышала звуки крушения надежд в сердцах своих бойцов так же отчетливо, как выхлопы джипа и лязг танка. И несмотря на требования товарищей, она молчала. Вместо ответа она, рискуя жизнью, отделилась от стены и повернулась лицом к улице, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в ее решимости.

Такой была Мириам. Она спокойно пошла рядом с джипом, точно Флорес и его войско уже находились в ее руках, словно все уже закончилось и сомосисты не были на грани свободы и не могли, едва достигнув моста, умчаться, перестреляв заложников. «Если все будут вести себя так, как я,— подумала Мириам,— нас перебьют...»

Она попыталась угадать тактику Флореса. Во-первых, пересечь реку. Потом резко рвануться вперед. В этом случае они обязательно должны бросить заложников. Тогда повстанцы спасают товарищей, но упускают преступников. Последние усилят другие военные подразделения. А может быть, рассеются, затаятся где-нибудь, а потом, после

победы, вылезут и будут бросать бомбы в милисианос, спокойно расстреливать молодых учительниц, которые выйдут на борьбу с неграмотностью, поджигать посевы или просто насыпать песок в бензобаки автобусов, выводя их из строя. Да к тому же, прежде чем удрать, бросят нам на мосту последний подарок — тела наших товарищей. А на чем их будешь догонять? И как это Плутарко, добрый товарищ Плутарко, не расширил, не растянул свой план, как подростком растягивал рогатку, чтобы разбить стекла в домах своих соперников по любви!

Джип Флореса достиг моста, замыкающего город. Впервые за последние полчаса капитан вздохнул свободно. И для сердца настала передышка от неудержимых приливов крови, от конвульсивного биения.

Он с облегчением сделал глубокий вдох, но тут же его взгляд застыл на противоположной оконечности моста. Всего лишь один настоящий вздох, и воздух опять застрял у него в бронхах. Там, впереди, он увидел какое-то препятствие, нечто грязно-зеленое. Индеец на боевой тропе! Страшное, как призрак, появившийся из-под земли, покрытое броней ощетинившееся чудовище. Таким показался Флоресу джип, который стоял на его пути,— безумно яростное животное, неумолимый удав, сотворенный из той же самой материи, из этой жидкой глины и пыли, из которых, казалось, были сделаны все местные жители. Инстинктивно капитан всем корпусом ринулся туда, к тому краю моста, молниеносным движением, сопровождаемым каким-то неземным лязгом. В короткий миг он успел подумать, что есть на земле нечто такое, что понятно сороконожкам, птицам, безобразным тараканам, а ему — нет. Есть какой-то тайный код или мост, который соединил бы его с этими людьми, среди них он так долго жил.

Но уже в следующее мгновение он увидел, как со встречного джипа с отчаянной смелостью семнадцатилетнего спрыгнул Агустин. На нем был вызывающий красно-черный бант. Уличная мразь! Чистильщик ботинок, словно нарочно, из революционного кокетства, вывалявшийся в грязи. Дешевый щеголь, будто невзначай прогуливавшийся у выхода из женского колледжа, разглядывавший туго обтянутые вертлявые ляжки старшеклассниц. И вот, как в волшебном зеркале, он преобразился. Откуда взялась уверенность в себе, апломб? Встал на землю хозяином, судьей, монархом, идолом среди настороженно замершего окружения. Всеми фибрами своей души ощущая каждую винтовку и каждый взгляд, презрев пули, которые вопьются ему в глаза, оставив после себя пустые глазницы, как у тех ослепленных людей, десятки которых он видел, когда однажды был удостоен находиться в эскорте у Тачо, он пошел, возвышаясь надо всеми, как монумент, как субмарина, всплывшая из этого моря дерьма и грязи. И в его жилах, словно гуаро, клокотала кровь сандинистов, мятежников, которые отдадут Никарагуа красным, и те уже через короткое время, согласно самым оптимистическим подсчетам, будут кормить своих детей навозом, на одежду пустят рваную мешковину, исчезнет мыло ,и нечем будет даже подмыть задницу младенцам, которые станут рождаться, как мухи, женщины будут вонять дешевым одеколоном — дезодоранты-то останутся в Майами, в Колоне, в Сан Хосе[1]. Конечно, у главарей будет по три грязных шелудивых девки, которых они приобретут по два доллара или за пару чулок каждую.

Флорес с упругостью стрелы выпрямился в джипе, как будто своей фигурой хотел создать себе модель памятника из гранита и мрамора, каковой, несомненно, в недалеком будущем будет воздвигнут, чтобы увековечить его борьбу против коммунизма, незыблемую верность западному миру, христианскому семейному миру, без ограничительных гнетущих стен, без профсоюзов — тому миру, где сытые люди купаются в бассейнах роскошных отелей.

Уже другие, те, что лучше его, поднимутся на борьбу с этой заразой, поразившей никарагуанцев своим нездоровым бредом. Когда-то это были просто крепкие глотки, оравшие: «Революция!» — но потом слова превратились в пули и еще пули, а Тачо, мягкосердечный Тачо, до последнего часа играл с ними в демократию. И вдруг земля разверзлась и из ее недр хлестнул вертикально вверх столб огня, как при извержении вулкана. Но Сомоса сейчас уже опомнился и несгибаемо стоит посередине своего бункера, выдавая стратегически важные решения, которые тут же по телефону, радио, телеграфу передаются другим капитанам, закаленным, как и он, Флорес, в патриотическом горне военной академии. И они раздавят эту индейщину, словно черную мошкару, этих дешевых красных болтунов, которым верят только дураки. Опьяненный будущей славой, он высоко поднял голову, окруженную, как ему казалось, нимбом спасителя —

[1] Колон — город в Панаме. Сан-Хосе — столица Коста-Рики.

глаза налиты кровью и мечут молнии. Его взгляд задержался на Агустине, он милостиво позволил себе это на секунду, в гордом самолюбовании и мире с самим собой:

— Я искал тебя по всему городу, скотина!

Агустин видел, как поднимается пистолет Флореса, пока не слился в одну линию с рукой, став ее железным наконечником. Дульное отверстие прямо против его сердца. Агустин сделал еще шага два с чувством спокойного превосходства, которое позволяло ему ощутить каждый метр моста, все неровности и трещины камней, рассмотреть выражение глаз и слезы на лицах жителей, от которых веяло семейной гордостью за него, ощутить интимную теплоту темно-синего неба, куда он столько раз мечтал взлететь, когда еще ребенком гонял на велосипеде «Рекорд» — единственной роскоши его детства,— подаренном отцом на рождество 1970 года, от которого мускулы его ног сделались стальными. Он очень гордился своим велосипедом, ездил на нем к девушкам с такой важностью, что ему завидовали даже шоферы такси, скапливавшихся у знаков «стоп» или окаменевших под красными сигналами светофоров. От велосипеда его живот сделался подтянутым, как у настоящего спортсмена, позвоночник гибким, а мышцы тела такими тяжелыми, что, когда однажды он навалился на груди Мириам в гамаке на заднем дворе, те чуть не смялись.

Агустин различил свою тогдашнюю подругу сбоку от джипа Флореса. Ее автомат был как-то неопределенно нацелен между фигурами его отца и Викки. Агустин не увидел улыбающейся сестры, взгляд ее был тяжелым, словно у важной сеньоры, едущей к причастию, или у самой старой женщины в городе — Агустин как-то привозил ей на своем велосипеде из Пенелойи коробки английской горчицы и чая. И оскал Викки был точной копией улыбки самой старой женщины в городе. Вот губы сестры дернулись и задрожали, как трепещет серебристая форель в реке.

— Отпусти хоть моих родных, жалкий трус! — сказала она.

Пежде чем пуля Флореса, выпущенная с профессиональной точностью артиллериста, свалила его, Агустин успел заметить тревожный всплеск в глазах Мириам. «У нас, Меноров, у всех горячая кровь»,— промелькнуло в мозгу, и свое оружие он поднял уже скорее как приветствие Мириам, а не для собственной защиты. Ему показалось, будто он выходит из едва колышущегося моря, в которое погружены все его воспоминания вместе с драгоценностями детства — мечтами, приходившими к нему, к ним, Викки и Игнасио, во время их флибустьерских плаваний. Агустин следил через невидимый скафандр, сотканный из запахов, как все это проходит мимо него с астрономической размеренностью: вечера у ворот дома, его гордость, когда он встречал сестру, возвращающуюся домой из лицея,— самую красивую девушку в городе...

Лежа на асфальте моста, он так и не успел понять, что вся эта мешанина чувств и воспоминаний и была смертью. Дон Антонио и Викки припали к телу юноши. Но еще ранее Флорес, стоявший под прицелами сандинистских автоматов, как чучело, на котором новобранцы практиковались в стрельбе по целям, получил сполна и по заслугам. Пули партизан, выпущенные сразу со всех сторон, со всех основных пунктов, всех уровней и степеней гнева, изрешетили его. Флоресу показалось, что весь свинец земли устремился в его мужественную грудь, и эта тяжесть тянула его вниз и раскачивала, топила и опять выталкивала, как бревно, плавающее в горячих волнах прибоя, который в конце концов поглотил его. Но прежде чем Мириам пустила в него первую пулю, он еще успел подумать: «Каждая пуля — медаль...»

XXIX

То, что день окончательной победы будет иметь конкретную дату в календаре, было так же очевидно, как и невероятно. Люди собирались на скамейках площадей, толпились на всех углах и во всех переулках, останавливались на ступеньках храма. Ощупывали друг друга и похлопывали по спинам, будто не веря в реальность, неспособные уже издать хотя бы еще один громкий возглас.

Когда сандинистские войска прибыли в город на броне танков, чудом ведомых подростками, юношами, обросшими бородами, с хриплыми возбужденными голосами, жители шли рядом с ними, как идут родители с детьми на утренний воскресный концерт провинциального оркестра. В праздничной сумятице каждый мог почувствовать биение сердца другого, и уже никто не знал, из чьего это рта разносится солоноватый запах, то ли из своего, то ли соседа. Было объявлено, что от имени победителей вы-

ступит Борхе [1], и толпы людей восторженными колоннами устремились со всех концов города, чтобы слышать то, что каждому хотелось услышать в этот июльский день. И разразись тут гроза или проливной дождь, разверзнись земля или обрушься на город холодный ветер со стороны Пенелойи, никто не хотел упустить момента, когда Плутарко доложит Борхе, подняв вверх свой палец — палец первозажигателя: «Вот, компаньеро, сомосистский штаб командования, сожженный народом Леона!» И не было бы ничего удивительного в том, если бы радостная гордость людей, вливавшихся в колонны все шире развертывающейся демонстрации, с их объятиями и поцелуями, столь жаркими, что они походили на укусы,— если бы это ликование народа тысячеруко подняло пожарную машину на трибуну, с которой собирался говорить Борхе.

А Сублиме Салинас уже выступил с предложением назвать одну из площадей именем Плутарко, мотивируя это тем, что если столько улиц носило имя надутого индюка Сомосы, то их пожарник заслужил, чтобы в его честь назвали проспект или стадион и воздвигли бы обелиск.

Плутарко, радостный, принимал приветствия и предложения, и в тот первый день невозможно было разобрать, как он относится к инициативе Салинаса — с юмором или серьезно. С неподдельным волнением принимал он одобрительные похлопывания по спине от своих сограждан. Яркая помада на губах девушек, по-праздничному нарядных, будила мысли о медалях, наградах, трофеях, серебряных и золотых кубках и почетных лентах английской тонкой выделки из запасов самой старой женщины в городе. А может быть, даже монумент ему и его яркой пожарной машине? И кроме того — уж мечтать так мечтать,— может быть, на его красном автомобиле нарисуют черную фанфару.

— Если мне дадут какую-нибудь награду, я не откажусь,— сказал Плутарко, с удовольствием приканчивая шестую бутылку пива — на этот раз угощала мать Игнасио.

Она радостно плыла в гуще народа, как счастливый парусник под порывами упругого ветра. Из-за горизонта вот-вот должна была появиться бригада имени Хосе Бенито Эскобара, с которой вернется и Игнасио после нескольких месяцев подполья и многих недель, когда милые его сердцу улицы Леона были для него запретны. Только раз он вызвал ее за город на свидание, и она натерпелась столько страха за него, что с ней едва не случился разрыв сердца.

Салинасу удалось на короткое время подойти к Борхе, и он, несколько обалдевший от победы и выпитого рома, доверительно сообщил, что население Леона было бы не против, если б высокие заслуги перед революцией Плутарко Рамиреса были отмечены каким-либо символическим образом. Адъютанты Борхе спросили, каким именно. Затуманенный мозг Салинаса был неповоротлив, зато язык — легче, чем ноги Меркурия, свое прозвище он ненавидел всеми фибрами души, и поэтому с его губ сорвалось первое попавшееся: назвать именем Плутарко аэропорт страны.

Адъютант Борхе ускорил шаг, чтобы не отстать от начальника, и, изобразив сожаление, крикнул на прощание Салинасу:

— Ты, друг, опоздал. Аэропорт мы уже назвали именем Сесара Аугусто Сандино.

Только один из всех партизан, направлявшихся под восторженные крики толпы к площади, спрыгнул с грузовика, пока остальные обменивались поцелуями с девушками, и быстро зашагал в сторону. Через минуту-другую он был у дверей парикмахерской. Дона Чепе он увидел у зеркала, тот тщательно завязывал на себе галстук, элегантно ниспадающий на его праздничный костюм, заработанный потом и бритвой и приобретенный у самой старой женщины в городе.

— Дон Чепе,— окликнул пришедший, и голос его звучал, как самое сердечное объятие. Парикмахер уставился в зеркало, но под зарослями спутанной бороды и огромных усов, закрывавших даже рот, из которого вырвался столь радостный крик, не смог узнать гостя, поэтому обернулся и стал вглядываться в него с усилием ученого, разгадывающего иероглифы.

— Я же Леон! — закричал парень, бросаясь на грудь парикмахеру, который в свою очередь запустил свои губы в эту дикую бороду подпольщика, изменившую лицо до неузнаваемости.

---

[1] Томас Борхе — команданте, один из девяти членов Объединенного национального руководства Сандинистского фронта национального освобождения. В настоящее время — член Руководящего совета правительства республики, министр внутренних дел.

— Друг! — приглушенно пробормотал он.— Дружок мой милый!

— Вот вернулся. И живой, черт подери!

— Живой, черт подери! — повторил дон Чепе, целуя парня. Он готов был своими губами причесать эту буйную растительность и вернуть лицу Леона опрятность студента юридического факультета, с которым они вели столько горячих споров обо всем в этом мире и кое о чем в том.

— Дон Чепе! — опять воскликнул Леон.— Дон Чепе, черт тебя побери! Это сон! Я его обнимаю в той же самой парикмахерской и живой, как горная пума! И я тебя не выпущу, старик! Трактором не оторвешь!

— Обнимай, пес с тобой! Дави сильнее! — тоже кричит дон Чепе.— Надо же — вернулся и живой!

— Трансатлантический перелет, дон Чепе! А посмотри, какие у меня сильные ноги стали, как у мула.

Дон Чепе слегка отстранил Леона и долго разглядывал, пока из глаз не потекли ручьем слезы.

— Хорош, Леон! Ну хорош!

— Какой там хорош. Весь в занозах, искусан москитами, зубы целый век не чищены, подошвы задубели, на глазах ячмени с кулак, мозоли — чистое железо, а вонь — как от козла, где ни появлюсь, сразу же слетаются мухи.

— Дитя,— перебил его дон Чепе,— ты выглядишь отлично, будто тебя нарисовал знаменитый художник!

— Наверно. Например, Пикассо в эпоху кубизма.

Леонель встряхнул парикмахера за хилые плечи и, отпустив, заметил грязный след на его девственно чистом выходном костюме. Сунув палец в рот, он в смущении широко раскрыл глаза, как попавшийся ученик, списывавший задачку у соседа по парте. Потом попытался вытереть пиджак тыльной стороной ладони, но добился лишь того, что оставленный им грязный след размазался в большое пятно.

— Прости, дон Чепе,— сокрушался он.

Старик снял пиджак, посмотрел на плечи и зачем-то подул на них без энтузиазма, впрочем и без успеха.

— Я, видишь ли, собирался на площадь.

— А немного задержаться не можешь? Я хотел попросить тебя об одном одолжении.

— К твоим услугам.

— Во-первых, мне нужно привести себя хоть немного в порядок, а то я похож на бродягу из американского фильма.

— Хочешь побриться?

— Что ты, нет! Хочу, чтобы ты просто привел меня в человеческий вид, укоротил бороду и вылил на меня пару литров дезодоранта.

— Сын мой, я не трону своими ножницами ни волоска на твоей бороде.

— Насчет бороды ладно, но подрежь мне волосы. Хоть на полметра.

Дон Чепе осмотрел шевелюру, сделав, как заводная детская игрушка, несколько механических движений головой.

— Леонель Кастильо,— торжественно произнес он,— хотя в этом проклятом богом городе скоро дойдет до того, что парни своими волосами будут полировать ботинки и мне, старому служаке, придется умереть от голода с заржавевшими ножницами и поломанной бритвой, у тебя на голове я не трону ни волоска, потому что это было бы святотатством.

Леонель подошел к трельяжу, в котором можно было рассмотреть себя детально со всех сторон, и замер, часто моргая, словно ослепленный огнем, излучавшимся его собственными глазами. Придя в себя, он стал изучать свой облик с пристальной серьезностью, а потом обернулся к дону Чепе:

— Знаешь, а я совсем не помню, каким был раньше.

— Ну и что?

— Так если Викки меня такого увидит, она умрет.

— Какая Викки?

— Да Менор.

Дон Чепе, не говоря ни слова, потер руки, как будто после мытья, потом глубоко засунул их в карманы брюк, опять вынул, почесал щеку, движением головы отбросил волосы назад, ладонью пригладил завиток над ухом, а затем вернулся к своему пиджа-

ку и стал опять дуть на грязное пятно. После этого, все так же молча, снова спрятал стиснутые кулаки в карманы, вытащил и пальцами потер лоб.

Глядя на него, Леонель насторожился.

— Что случилось, дон Чепе?

— Давай-ка я тебя причешу.

Леонель внимательно посмотрел на него и, усевшись во вращающееся кресло, продолжал через зеркало следить за выражением лица дона Чепе.

Парикмахер взял самую прочную расческу и вонзил ее в непроходимые дебри на голове парня, но так и не смог добраться до кожи.

— Только расческой и горячими щипцами,— пояснил он.— Стричь не будем, только уложим как следует.

С площади доносились крики собравшихся.

— Борхе будет выступать,— сказал дон Чепе.

— Что случилось? — повторил свой вопрос Леонель.

— Ты про что?

— Почему ты вдруг сделался каким-то странным?

Дон Чепе крепко ухватил под корень волосы партизана и расческой стал продираться сквозь них. Они были жестки, как заросли лиан, и расческа входила в них лишь с размаха.

— Что у тебя с ней?

Рука Леонеля с молниеносной быстротой схватила парикмахера за запястье. Он твердо взглянул в лицо своего друга, отраженное в зеркале.

— Убили?

— Что ты, нет.

Леонель напряженно, не моргая, продолжал смотреть на дона Чепе.

— С кем-нибудь загуляла?

— Да нет же. И отпусти, пожалуйста, мою руку.

Взгляд Леонеля впился в губы парикмахера, словно он желал увидеть слова, прежде чем они вылетят изо рта.

— Так что же случилось?

— Брата ее убили.

Парень задумался, пощипывая бороду, и, опустив глаза, слегка пожал плечами:

— Сам виноват. С сомосистами путался.

Дон Чепе почувствовал, как дрогнуло у него запястье, и эта дрожь передалась пальцам, державшим расческу. Он вдруг понял, что плачет, и вкус этих слез был совсем не такой, как у тех, когда он плакал, обнимая и тиская появившегося Леонеля, и когда радость охватила его с ног до головы и опьянила, как шампанское натощак.

— Ты вот что, ты раньше, чем решать, лучше узнай как следует,— хрипло выдавил дон Чепе.— И не верь пустым слухам!

«Солнце рассвета перестало быть только мечтой...» — доносилось с площади, и оглушительные крики толпы сотрясали город. Выстрелы должны бы были уже смениться сполохами фейерверка, но бойцы и увязавшиеся за ними ребятишки все равно сопровождали вспышки бенгальских огней, огненные кольца каскады пороховых звезд салютом из боевого оружия. Это, естественно, вызывало упреки родителей, они просили партизан прекратить стрельбу, лишая победителей этой маленькой радости, словно отбирая пакет с леденцами. Поэтому и родители и их дети чувствовали себя несколько виноватыми перед партизанами.

Священник попросил Салинаса помочь ему, и сейчас тот, забравшись на колокольню, устроил яростный перезвон. Он подражал спортсмену из какого-то виденного им фильма. Мускулы у того спортсмена, казалось, выпирали отовсюду, когда он со всей силой стучал по тарелке гонга. И этот заворожил Салинаса звук с того утреннего сеанса преследовал и дразнил его,

Леонель молча поднялся из кресла и сам вытащил из своей шевелюры забытую там парикмахером расческу.

— Хватит,— сказал он,— а то как бы с этой прической не проморгать речь команданте.

— А ведь Викки Менор-то была арестована,— сказал дон Чепе, будто не разобрав слов своего юного друга и не заметив, что тот встал с кресла и направился к двери.— Побывала в казарме.

Парикмахер долго переставлял на стеклянном столике флаконы и баночки, в кон-

це концов разместил их в первоначальном порядке. Леонель, не выдержав затяжного молчания дона Чепе, подошел к нему и, взяв за плечи, потребовал, чтобы тот закончил свой рассказ:

— Ну так арестована, а дальше?

Леонель, тяжело дыша, будто в помещении не хватало воздуха, запустил руки в свои густые волосы. Потом, ссутулившись, вернулся в кресло, посмотрел через зеркало на дона Чепе и, словно боясь своими словами накликать беду, коротко потребовал:

— Рассказывай!

XXX

Мой сын еще задолго до этого восстания пристал к сандинистам, участвовал в выступлениях 1978 года. Я тогда с одной подругой пошла к ним и увидела его, сына-то моего. В форме. Гляжу, идут, я и говорю подруге, вон, мол, шагает мой сынок, а куда и не узнать. Потом все-таки подошла поближе, спросила, куда, мол, идете. А мне говорят, идем, мать, воевать. Так прямо и сказали. Я тогда там и осталась и благословила его, чтобы все, значит, у него было хорошо. С тех пор мне на него больше не удалось посмотреть. До того я тоже не видела его целых двадцать три дня, потому что, когда он уходил, меня как раз не было дома. Только сестра его потом мне сказала: мама, говорит, сынок твой просил передать «прощай», а когда вернется, этого никто не знает. Они, видишь ли, хотели отвоевать оружие у Белого дома. Потом мне сказали, что отвоевали, то есть ихняя группа отвоевала. А называлась та группа именем Хосе Бенито Эскобара, понимаете? Ну, через несколько дней, когда я узнала, что все у них, слава богу, обошлось, надумала я сходить в Пас-Сентро, а он — сыночек-то мой, значит,— передал весточку, что, мол, хочет со мной повидаться. И принес ее мне — вы даже и не поверите кто. Даже подумать трудно: наш почтальон Салинас, вот кто! Он сказал, не ходи, дескать, в Пас-Сентро, а жди его около колледжа Ла Рейната. Я туда. Спрашиваю у ихнего старшего, тут ли Игнасио, я, мол, его мать, и можно ли мне приходить навещать его. Он отвечает, старший-то ихний, конечно, говорит, можно, приходите хоть каждый день, если вы мать, только чтобы никто вас не выследил. Что вы, что вы, бог с вами, говорю, сеньор. И вот четыре дня приходила на свидание с ним, А в последний-то день он мне и говорит: завтра, мать, мол, не приходи, потому что нас ушлют, и неизвестно куда. Ну, упросила я и на другой день тоже пришла. Спрашиваю там, значит, а мой сын-то где? Моется, отвечают, подождите. Подождала, конечно, пожелала я ему здоровья. Так в последний раз и увидела сына. А потом сестра пошла к нему, потому что я сказала, что его тут больше не будет, отправляют их, а куда — неизвестно. Ну, сестра пошла, а его уж и след простыл. И дом совсем пустой. И их никого нету. С тех пор сколько уж месяцев прошло, как я не видела его. А тут как-то посылаю я дочку купить фасоли. Туда посылаю, к госпиталю, там, слышь, фасоль была по четыре песо. И она вернулась такая радостная: мама, говорит, я, говорит, знаю, где наш Игнасио. Ну, значит, и сказала мне, что он там, на улице возле госпиталя. Ей, видишь ли, дон Чепе сказал. Я заволновалась, ах, говорю, беда. А было уже к часу дня, когда она вернулась-то. А, говорю, страсть-то какая, убьют веды! Почему же убьют? — спрашивает дочь. А потому, говорю, разве ты не слышишь, какой грохот там стоит, в крепости. День и ночь гремит. И опять я: ах, убьют моего сына, очень опасно там. А она отвечает: и здесь, говорит, тоже опасно. Видишь, через дом проходит пожарный рукав, а идет он к самому командованию. Конечно, не весь рукав тут у нас, только кусочек — отсюда и до стены, говорит. А потом уж было не до этого — начался пожар. И уж так красиво горело! Потом Флорес выехал с пленными. И тут я сказала: а где же мой сын? Хотелось показать ему, как мы, значит, подожгли командование. И этот день, поверьте, был самым счастливым, какие я только знала, самый счастливый с раннего утра. Нас позвали на демонстрацию, вот. И мы, значит, пошли. А что-то часов, наверно, в шесть я говорю своей снохе: давай, мол, зайдем в церковь Ла Мерсед. Ну, вошли мы, на коленках просили заступника нашего за Игнасио, за всех нас помолились, потому что видим — приходит нам освобождение. Причастилась я, выслушала, значит, мессу и весь день была какая-то радостная. В тот день к нам приехал Томас Борхе, и народу собралось видимо-невидимо. Я тоже прошла вместе с людьми, очень радостная я была, в ладоши хлопала, кричала, как и все. А тут, видишь ли, подходит ко мне одна женщина и говорит, что, мол, несколько человек убили около крепости.

Мне и в голову не пришло, что там может быть и мой сын. Потом к нам подошел один парень, обнимает, значит, какую-то свою родственницу и говорит ей: мы, говорит, освободили нашу родину. Тут мне стало еще радостней, потому что, казалось, я вот-вот

увижу своего сына. Понимаете? В это время вижу, проехал грузовичок через перекресток улиц Сан-Рамона и Гонсалеса, а оттуда свернул в сторону. Ну, народ-то говорит: убитых, мол, везут. То есть в этом грузовичке-то. А мне и ни к чему, что там может быть и мой сын. И никакой грусти у меня не было, одна только радость. Потом, значит, прошла я с народом мимо Томаса Борхе к Сан-Фелипе. И уж такая я довольная была! Ну вот, иду я это дальше, а тут две сеньоры меня и спрашивают: с кем ты идешь-то? А я отвечаю: одна, мол, иду, потому что дочка моя вперед ушла. И радостно мне, и шагаю я себе потихоньку следом за колонной. Дошли мы с этими сеньорами до угла Ла Мерсед, и тут они мне, значит, говорят: давай, мол, возвращаться, а то уж скоро ночь и на улицах темно. Нас, значит, трое уж стало женщин-то. И мы все шли, и смеялись, и болтали без умолку, понимаете? А когда подошли к этому вот углу — мы тут называем его Лас-Видентес,— какая-то сеньора позвала мою попутчицу и говорит: Мончита, говорит ей, а вот эта мать, которая идет с вами такая довольная, наверно и не чует, что ее сына убили. Она-то ей сказала это потихоньку, только я все равно услышала. Ну и тут же спрашиваю: Мончита, она говорит, что мой сын убитый? — Да нет,— отвечает,— пойдем, пойдем. А когда мы проходили мимо командования по улице Орландо Барроса, слышу крики и причитания. Наверно, еще кого-нибудь убили, подумала я и говорю Мончите: я уверена, что если бы убили моего сына, то скрывать от меня не стали бы. А она мне: конечно, мол, не стали бы. То есть мне так отвечает. И говорит, что сын мой, наверно, дома, раненый лежит. Его, говорит, наверно, раненого отвезли домой. А я тут сразу подумала, кто же это раненых везет домой, их отправляют в госпиталь. В больницу то есть. И вот когда мы дошли до угла, где мне надо сворачивать к дому, она и говорит: настал, говорит, срок открыть тебе правду, о которой ты и сама догадываешься, и пусть господь бог даст тебе силу пережить ее. Я отвечаю, что, мол, стерплю. И уж сама поняла, что моего сына убили. А как вышла из-за угла, вижу — на мостовой толпа, и кто бросился мне навстречу, чтобы, значит, сообщить новость, а кто кричит, мол, не надо, не говорите, пусть сама войдет в дом и увидит все своими глазами. Вошла, значит, я в дверь и чувствую: ноги меня не держат. Тут девушки какие-то подхватили меня. А в доме-то полно народу, и вот тут, в этом самом месте, где мы сейчас стоим, смотрю, лежит мой сын, и уже в гробу. А в ногах у него — сеньора Рóса. Это самая старая женщина в городе, бывшая англичанка. Стоит, читает молитву. Я гляжу на моего сына и говорю ему: значит, такова была воля божья, и перекрестила его. Потом помолилась за упокой его души, а после уже сказала, чтобы вынесли из дома его окровавленную одежду. Ну, тут мне дали какую-то таблетку, и народ стал подходить, утешать. А что я могу им сказать? Мне, понимаете ли, хотелось чувствовать себя так, как он мне сам наказывал, что, мол, ты, мать, когда узнаешь о моей смерти, не печалься. И я старалась. Еще он говорил, чтобы я не плакала. И это выполнила, хотите верьте, хотите нет. Прошел день, похоронили его и все такое, а я спокойная, как вы меня сейчас видите. Да, еще он меня просил вот о чем: мама, сказал, в тот день, когда меня убьют, ты, если сможешь, надень черную юбку и красную кофту. А в траурную одежду не одевайся, потому что ты должна будешь гордиться мной. Я ему на это ответила: да ну тебя, говорю, что я, по-твоему, совсем бесчувственная? А он только рассмеялся.

А в тот вечер к нам пришел Томас Борхе. Пришел с товарищами. И с начальником, который командовал моим сыном. Сакариасом его звали. Вошли они, значит, а я там же была — в это время тело покойного сына моего убирали. Я тоже стою и смотрю. Мне, понимаете ли, сказали, что если чувствуешь себя в силах смотреть на это, то оставайся. Вот я и осталась. А Мончита говорит: сын твой, говорит, погиб, когда ехал на грузовике. Они запросто катились по дороге, веселые, радостные, а тут как выскочат несколько сомосовцев, они, видите ли, отбились от своих и давай палить. Ну пять человек и убили, то есть тех, кто в грузовике-то ехал. И Игнасио тоже. Из других знаю только одного — соседа нашего. Марио Сото звали. Вот так: два соседа и погибли вместе. Остальные — один из Гуадалупе, а другие из Куэльо Ларго. Так вот я и говорю, с Сакариасом пришел Томас Борхе. Взошел, значит, и спрашивает, а кто будет его мать. Ну, ему показывают на меня — вот эта самая сеньора и есть мать Игнасио. И тут он меня обнял, прижал так крепко и под конец поцеловал. А после спрашивает, сколько детей еще у меня осталось. Я отвечаю: мальчиков, мол, еще четверо. Нет, говорит, не четверо, у вас тысячи и тысячи сыновей, вы не будете одинокой, они всегда с вами. Я, конечно, ему спасибо. Это потому, что вы настоящая мать, говорит. В том смысле, что я не пролила ни слезинки и не голосила. А я ему отвечаю: так, мол,

меня просил мой сын и я должна выполнить его волю. Потом и Сакариас тоже высказал мне свое сочувствие. Так вот они побыли со мной, а потом, понятно, ушли. С нашей улицы убили еще одного — сына Антонио Менора. Не знаю, ходили ли они и туда. Не знаю. А насчет смерти моего сына я не убиваюсь. Я его помню живым. Уверяю вас: для меня он всегда живой. Он мне наказывал, когда его мертвого положат в доме, чтобы я включила магнитофон с его любимой музыкой. Я говорила: ох, сынок, не включай ты эту штуку, а то придут и убьют нас всех. А он ставил магнитофон вот здесь на столе и пускал во всю силу. Никогда ничего не боялся. И мне наказывал, чтобы та музыка играла весь день до самых его похорон. А тут ни света не стало, ни батареек у меня не было. Ну, я попросила его друзей достать батарейки-то. Чтобы завести песню, которая так ему нравилась. «Могила партизана» называется. И другая тоже — «Единый народ». Вот я и сказала друзьям, чтобы нашли батарейки. Сделайте такую милость, говорю, Игнасио будет приятно, а сама-то я не знаю, где достать эти самые батарейки. Ну, они и послали на поиски. Потом один из них принес мотор, подключили к нему и магнитофон и играли, пока покойника не вынесли из дома. Все как он мне наказывал...

XXXI

Многие видели, как он бродил ночью по улице неподалеку от дома Викки. В темноте он казался расплывчатым пятном, за плечом, словно мачта, торчал ствол винтовки, а на поясе в скудном лунном свете поблескивал пистолет. К этой странной картине надо добавить еще беспорядочное размахивание руками и остановившийся взгляд. Через неплотно прикрытые занавески любопытные глаза видели, как он останавливался напротив дома Викки и глубоко вздыхал. Потом отходил назад и стоял с опущенной головой, прислонившись к забору, словно бездомная собачонка, царапая заветную дверь таким взглядом, от которого молоденькие девушки лишились бы сна, сумрачные вдовы вскипели бы от благородного негодования, а пылкие коты сбились со своего ночного пути.

Бедный Салинас между тем впал в совершенное уныние, поскольку появление сего юноши было для него подобно урагану, потушившему жар души, воспрянувшей было и вновь почувствовавшей влечение к этой же улице.

Перед тем как явиться сюда, он тайно тренировал свое мужество тысячью обид, огорчений, оскорблений, стыда, затруднений и вздохов, даже привлек внимание адвоката Риваса, который этим вечером впервые поприветствовал его, не просто прикоснувшись рукой к полям своей шляпы тончайшей панамской выделки, но сняв ее и сделав при этом церемонный пируэт. С дрожью в поджилках Салинас прошелся по противоположному тротуару, насвистывая «В кафе Буэнос-Айреса», однако его соперник, погруженный в молчание, как космонавт в космос, даже не заметил его.

Много позже, когда почтальон уже добрался до последнего бара, где пьянчуги за истерзанным столом долизывали охлажденное пиво, и выложил пятьдесят несчастных кордоб, в результате чего во мгновение ока был окружен закадычными друзьями, старыми, как сухая кукурузная лепешка, и привычными, как ходьба пешком, мастерами топить во хмелю все земные заботы и печали, Леонель решился наконец остановиться в полуметре от дома Викки с предосторожностью, которая не вязалась ни с его ростом, ни с внешностью. Казалось, он ждет, что сейчас загорится какой-то сигнал в этом притихшем доме — пристанище горя, сочившегося невидимыми траурными струями из каждой его щели.

И вот теперь, после часов томительного ожидания, когда его пальцы сложились в форме головы длинноклювой птицы кетсаля, чтобы постучать, поцарапаться в заветную дверь, вся улица с галантной вежливостью погасила огни в домах. Родители загнали любопытных девчонок в постели, сами тоже старались сомкнуть глаза, в которых еще стоял Борхе на трибуне, провозглашающий победу.

Мягкие, словно бархатные, суставы пальцев, обессиленных вялым светом луны, тени облаков, легкое дуновение ветерка, словно взмах крыла раненой птицы.

— Викки! — выдохнул он тихо, и сам усомнился, что его мысли сорвались с губ.

Но нет, будто зажженный его голосом, вспыхнул свет в гостиной. Он едва удержался на ногах и, как затравленный зверь, беспомощно оглянулся и посмотрел в глубь улицы. Ему показалось, что все его существо обратилось в слух, который многократно усиливал звук шагов Викки, приближающейся к нему. Представив себе мягкое прикосновение ее кожи к внутреннему деревянному засову, Леонель вдруг пожалел, что пришел сюда. Ему стало грустно от того, что больше не будет уже тех сладких

минут, когда его захлестывала трепетная робость, наполнявшая душу лирикой, которая с беспощадной ясностью голых простынь свидетельствовала о том, что искусство — это лишь жалкий заменитель любви. Да, он писал плохие стихи, да, его письма были полны выспренних слов! Но в решающие моменты он мог промолчать, считая, что лучше избежать фальшивых фраз, чем позволять себе соблазняться ими. Он вел жизнь в постоянных поисках слов, притягательных, как магнит, сверкающих бликами солнца или глухих, но по крайней мере произносимых его любимыми актерами.

Весь вид Викки, когда она вышла к нему, тоже говорил о полном ее смятении, будто по дороге девушка забыла, кто и зачем ее звал. Недоуменно уставившись в его грудь, она некоторое время стояла так и лишь потом медленно перевела взгляд на его глаза. Косой свет единственной лампочки придавал таинственность ее лицу и оттенял длинное, до пят, траурное платье. Леонель сжал ствол винтовки и, закрыв глаза, поднял свою густую бороду к звездному небу. Они слышали дыхание друг друга.

— Не плачь,— сказала она.

Юноша протянул руку к ее голове. Викки припала к нему. Какое-то время они так и стояли. Он задыхался. Потом Викки отодвинулась и осмотрела его с головы до ног.

— Открой глаза,— шепотом попросила она.

— Не могу.

Девушка приложила пальцы к его векам и почувствовала, как сквозь его редкие ресницы сочатся слезы.

— Открой глаза, Леонель!

— Нет! — хрипло ответил он.

Она запустила пальцы в его партизанскую бороду и провела их донизу, до самой груди.

— Открой!

Леонель быстро прошел на середину гостиной, резким движением руки вытер слезы, застилавшие ему глаза, и глубоко вздохнул. Викки подождала, пока он повернется, и лишь когда Леонель, еще дрожа, обернулся к ней, она печально склонила голову.

— Расскажи,— попросила она, неподвижно глядя на завитушки обоев.

Леонель поставил винтовку прикладом на пол, оперся на ствол, проникаясь чувством, будто траур, подобно невидимой карусели, кружится между ними, что все вокруг покрыто пеплом и тяжелые корабли медленно плывут по неподвижному, безветренному морю, точно боясь разбудить смерть, заснувшую в креслах, в альбоме с фотографиями на столе, на заплесневелом календаре, источенных балках по углам комнаты, в уходящей звездной ночи...

— Расскажи,— повторила Викки.

Голос ее был таким приглушенным, словно доносился откуда-то через окно. Казалось, что их знойная Никарагуа вся покрылась тонким льдом молчания, стала неслышимой, как кошачьи шаги, спряталась в облаках, обрамленная Млечным Путем.

— Вот мы и вернулись,— сказал Леонель, почувствовав невыразимую тоску и свою неуместность здесь, отчетливо слыша удары сердца, будто отраженные стволом винтовки. Черты его лица судорожно исказились, борода и длинные волосы служили теперь ему скорей ширмой, а не украшением, как он рассчитывал.

Запоздалая фейерверочная ракета осветила желто-розовым светом комнату и рассыпалась в небе на множество цветков, которые, уменьшаясь, падающими звездами устремились к земле.

— Убили Агустина,— Викки пальцем указала в глубь дома.

— А отец с матерью? Спят?

Викки потерла щеку рукой и отрицательно покачала головой. Ее движения показались Леонелю странными: мягкими и точными, как у лунатика. Она ответила «нет» так, будто за этим «нет» скрывалось еще что-то, какой-то неслышный мотив заупокойной музыки.

— Здесь никто не спит,— добавила она.

И Леонелю показалось, что он слышит дыхание дона Антонио — едва уловимые колебания воздуха, словно вибрировала паутина в углу комнаты. Поправив вещевой мешок на спине и подняв винтовку, он сказал, потупив взгляд:

— Тогда, наверно, мне лучше уйти.

— Останься,— сказала она.

— Тут? — спросил он, проведя рукой вокруг, подчеркивая этим жестом мертвую

тишину дома, где предметы больше походили на свои тени, чем на самих себя, словно все было погружено в какое-то колдовское облако; лишь скрещенные на груди белые руки Викки четко вырисовывались на широком траурном платье, скрывающем изгибы ее фигуры.

— Куда ты теперь пойдешь?

— В казарму, куда ж...

Отбросив назад волосы, спадавшие на лицо, едва освещенное светом, отражаемым занавеской, Викки прошла в глубину дома и тихонько открыла дверь в спальню родителей. Они лежали спиной к стене на высокой, как помост, двуспальной кровати, погруженные в такую же тишину, какая царила в прихожей, во дворе, в соседних домах. Кивком головы девушка пригласила Леонеля подойти к двери. Встав в дверном проеме, он заметил, что отец Викки напряженно вглядывается в темноту, пытаясь рассмотреть его лицо под разросшейся бородой. В глазах доньи Амалии тоже угадывалось желание узнать гостя. Она первая узнала:

— Отец, да ведь это же Леонель!

Антонио строгим голосом судьи спросил:

— Поэт?

— Вот вернулся с войны,— ответил Леонель, торопливо показав свою винтовку.

— Мальчик мой,— тихо сказал отец Викки, и было непонятно, о ком он говорит.

Завернувшись в черную шаль, донья Амалия подошла к нему и крепко обняла. Отсутствие Агустина холодным серебряным ножом кололо ей сердце. Мать припала щекой к груди юноши и услышала беспокойный бег его крови.

— Сеньора Амалия! — прошептал он, целуя ее волосы.

Мать Викки уткнулась лицом в грудь Леонеля там, где билось сердце. А он неотрывно смотрел на дона Антонио. И все это показалось ему какой-то странной пантомимой с неожиданными и сложными движениями, в которой он никогда еще не участвовал и которую теперь должен был исполнять без аккомпанемента. И в его голове не находилось ни слов утешения, ни обычных в таких случаях общих фраз о том, что время облегчит горе, о жертвах во имя победы, о том, черт возьми, что мы все-таки победили...

— Завтра,— произнес дон Антонио медленно, словно вычитывая что-то из местной газеты,— рано утром пойдем в трибунал, чтобы сделать заявление о том, что они убили нашего Тина, нашего Агустина. Ты знаешь об этом?

— Знаю, сеньор.

— Завтра утром,— повторил отец, вглядываясь в ночную темноту с обозначившимися первыми признаками зари.

— Расскажи ему, что и меня тоже арестовывали,— попросила Викки, твердо глядя в глаза Леонелю.

Дон Антонио натянул простыню от пояса до плеч. Потер лоб, собираясь начать рассказывать, но остановился.

— Сифуэнтеса арестовали? — спросил Леонель, не двигаясь и чувствуя нестерпимую боль во всем теле.

— Арестовали.

— Завтра будет о нем разговор?

Мать Викки выпустила Леонеля из своих объятий и поправила сандинистскую повязку на его куртке.

— Пойду постелю тебе,— объявила она, направляясь к комнате Агустина.

Но прежде чем мать дошла до коридора, Викки остановила ее:

— Не стоит. Леонель ляжет в моей комнате.

Амалии не надо было смотреть на мужа, чтобы предотвратить вспышку гнева и оскорбленной добродетели. Она, словно заклинанием, задержала его слова до того, как они слетели у него с языка.

— Как хочешь,— ответила она дочери.

Все четверо молча и неподвижно застыли в полутьме, точно еще одна фотография среди развешанных в комнате. Только шелест листьев во дворе стал более явственным, будто забегали торопливые муравьи среди дремлющих в траве бабочек.

— Ну, нам пора спать,— сказала донья Амалия, опустив глаза на плитки пола.

— Да, утром много дел, очень много,— пробормотал дон Антонио.

■

ВАЛЬТЕР ФОН ДЕР ФОГЕЛЬВЕЙДЕ

Любовная лирика

Перевод с немецкого и вступление
ВИЛЬГЕЛЬМА ЛЕВИКА

Номера журнала с этими стихами их переводчик уже не увидит. Вильгельм Вениаминович Левик умер скоропостижно, и мы, еще не осознав всего значения его труда, остро чувствуем, какая это огромная потеря. Левик был не только великолепным, даже уникальным мастером стихотворного перевода, а настоящим деятелем культуры. Трудно перечислить всех европейских поэтов, чьи строки благодаря ему зазвучали по-русски. Но еще труднее выразить то светлое ощущение, которое вызывали он и его работа, всегда сочетавшие в себе трогательную увлеченность с неподкупной взыскательностью. Когда дело касалось поэзии, он умел зажигаться и зажигать, его стихией были утверждение, восторг. Зная, сколько труда стоит за всем добротным в искусстве, он не давал поблажек себе и при щедрой доброжелательности был требовательным критиком работы своих товарищей. Беспримерны отзывчивость Левика, его интерес к талантливой молодежи. Сделанное им еще будут изучать и исследовать. Но оно уже живет в нашей культуре, уже оставило в ней неизгладимый след.

С. АПТ

Немецкая энциклопедия называет его самым значительным немецким поэтом средневековья, вернее, немецко-австрийским. Историки литературы говорят о его стихах как о вершине догётевской любовной лирики. И действительно, читателя, углубившегося в творчество Вальтера фон дер Фогельвейде — даже если кое-что покажется ему наивным — поражает чистота нравственного чувства, исходящая от личности поэта, чистота, которой проникнуто его отношение к дружбе и любви, к миру человеческого общежития. И не в последнюю очередь — к политическим проблемам его времени. Поэт давно умер. Умер даже язык, на котором он говорил. Но современному человеку есть чему у него поучиться.

Время, породившее поэзию раннего Ренессанса (Проторенессанса), было многоликим. Применительно к южной Франции Генрих Гейне писал:

Чудный соловьиный мир!
Вместо истинного бога
Ложный бог любви да музы —
Вот кому тогда молились,

Розами венчая плеши,
Клирики псалмы там пели
На веселом лангедоке.
А мирянин, храбрый рыцарь,

На коне гарцуя гордо,
В стихотворных выкрутасах
Славил даму, чьим красотам
Радостным служил он сердцем.

Гейне, разумеется, не ставил перед собой задачу достоверного воспроизведения эпохи — он писал об искусстве. Действительность была иной.

То было время кровавых раздоров между духовной и светской властью. Римский папа и германский император, гордо именовавшийся повелителем Священной Римской империи, боролись за верховенство в европейском мире. В гражданской и политической жизни царили насилие и произвол. Война сопровождалась безудержным грабежом и разбоем. Воюющие стороны часто прибегали к помощи наемных войск, а наемникам было в общем безразлично, кого убивать и грабить: тех, против кого они воевали, или тех, кому служили. Ни горожанин, ни тем более крестьянин, даже в краткие перерывы между войнами, не могли быть спокойны за свое имущество и жизнь. В любую минуту мог напасть чужой или даже свой феодал.

И все же, невзирая на всю эту кровавую сумятицу, мастера создавали величавые, устремленные к небу соборы, сияющую радужными красками, исполненную духовной красоты живопись, а поэзия, за редкими исключениями, пребывала в идеальном мире легенды и сказки или лирической любовной песни. Эта поэзия и называлась миннезангом (воспеванием любви), а поэты, даже те, которые культивировали эпос,— например Вольфрам фон Эшенбах, автор «Парцифаля»,— миннезингерами (певцами любви). Почти запрещенное церковью, но самое сильное человеческое чувство мощно вырывалось на волю. И подобно провансальским трубадурам, родоначальникам этого искусства, миннезингеры странствовали от замка к замку, пользовались, иногда на долгий срок, гостеприимством того или другого владельца и несли в среду сурового рыцарства, тогдашней военной аристократии, жизнерадостную гуманистическую культуру.

В обстановке междоусобиц, заливавших кровью немецкие земли, крепость Вартбург и примыкающий к ней городок Эйзенах были относительно спокойным оазисом. С этим уголком живописной тюрингенской земли, столько раз прославленной немецким искусством, связаны многие моменты немецкой художественной и гражданской истории. Слава Эйзенаха как одного из тех исторических центров, которыми гордится немецкая культура, соперничает со славой Веймара как средоточия немецкой классики. Здесь-то и создавал свой грандиозный эпос Вольфрам фон Эшенбах. Здесь обрел на время приют и спокойствие вечный скиталец Вальтер фон дер Фогельвейде. Здесь происходило знаменитое вартбургское состязание певцов и поэтов, спустя 700 лет запечатленное Рихардом Вагнером в опере «Тангейзер». Здесь Лютер совершил великую реформу немецкого языка своим переводом Библии. Здесь прославила свой трон одна из самых замечательных женщин немецкой истории ландграфиня Елизавета, прозванная святой за то, что посвятила жизнь заботам о больных и неимущих. И здесь же родился Иоганн Себастьян Бах, которому суждено было возвести немецкую музыку в ранг величайших проявлений человеческого духа.

Гражданская история Эйзенаха также богата событиями, иной раз первостепенного революционного значения. Так, в Эйзенахе А. Бебель и В. Либкнехт в 1869 году основали социал-демократическую рабочую партию. Однако вернемся в глубину веков.

Вальтер фон дер Фогельвейде родился около 1170 года. Историки расходятся в предположениях относительно места его рождения. По-немецки его прозвище «Фогельвейде» можно толковать как «птичий выгон», «птичья утеха», что может означать и место, где опускаются на отдых перелетные птицы, и место, где выхаживают и дрессируют охотничьих птиц. Но так называются в Германии и в Австрии многие хутора, поэтому с достоверностью установить, где была родина Вальтера, до сих пор не удалось.

Семья будущего поэта принадлежала к обедневшему мелкопоместному дворянству. О детстве его нет никаких сведений. Едва ли окончил он какую-нибудь школу. Свои познания приобрел он в бесконечных странствиях от одного замка к другому по многочисленным австрийским и немецким феодальным владениям. Из его собственных стихотворений явствует одно: семейная нужда рано погнала его в широкий мир на поиски удачи и счастья.

В 1190 году мы застаем его в Вене, в резиденции герцога Леопольда австрийского, любителя и покровителя искусств. Здесь жил знаменитый в то время миннезингер Рейнмар фон Хагенау, у которого и научился молодой Вальтер искусству «петь и сказывать».

Ранние стихи Вальтера всецело еще следуют традиции, прославляя «высокую любовь», сводящуюся к безответному обожествлению любимой, которая своим пренебрежением к мольбам влюбленного рыцаря заставляет его тосковать и печалиться. Отдав должное этому сюжету, Вальтер вдруг совершает революцию: он провозглашает новую любовь — любовь, которая жаждет обладания любимой женщиной и в конце концов добивается его. Такой вариант любви представлял собою вызов придворным обычаям и нравам. Этикет требовал, чтобы между знатной дамой и пришельцем, которого в любую минуту можно лишить гостеприимства, соблюдалась раз навсегда установленная дистанция. Но Вальтер и не искал возлюбленной знатного происхождения, ею могла быть самая простая деревенская красотка. Между учителем, защищающим поэзию «высокой любви», и учеником, прославляющим «низкую любовь», возгорелся литературный спор, перешедший в распрю. Герцог стал на сторону учителя, и Вальтер был изгнан из Вены.

Великий поэт, гордость и слава ранней немецкой поэзии, буквально был вышвырнут на улицу. Начинается полуголодное существование, странствия от одного владетельного дома к другому и поиски того доброжелателя, который примет поэта-певца на службу. Но мятежная лира Вальтера ни в ком не вызывает сочувствия: она отмечена чересчур явной печатью поэтической и гражданской самостоятельности, феодалы опасаются ее мятежной силы. И скитания бездомного поэта длятся двадцать два года.

За эти два с лишним десятилетия Вальтер многого насмотрелся, узнал людей и жизнь. От Эльбы до Рейна, от Парижа до Венгрии и дальше в Италию прошел он пешком и на коне, неся в мир свою песню, уча людей уважению к женщине, не абстрактной и недоступной, на которую можно только молиться, а живой, созданной из плоти и крови, подруге и вдохновительнице мужчины в его рыцарских трудах и добродетелях. От мужчины он требовал мужества, верности в любви и дружбе, ми-

лосердия и помощи угнетенным и слабым. Он скорбит о том, что из жизни, из быта ушли простота и радость. Он объявляет войну насилию, предательству, «упадку воспитания, нравственности, законности». Так вторгаются в его творчество политические мотивы:

В стране у нас, куда ты ни пойдешь,
Царят подонки, подлый сброд,—
Он всюду лезет, всех стрижет.
Бесстыдство, ревность, алчность, ложь
Везде готовы дать совет.

Песни его уходят в городскую среду, далекую от придворной жизни, и слава его растет, молва о нем проникает во дворцы и замки. Наконец ландграф тюрингенский приглашает его на службу в Эйзенах. Шесть лет, очевидно счастливых и беззаботных, проводит Вальтер в резиденции ландграфа. Здесь окончательно созревает его поэтический дар. Но Вальтер не может быть ничьим слугой. Когда он не согласен с поведением ландграфа, он открыто бросает упреки ему в лицо. И спокойная жизнь кончается. В 1210 году он переходит на службу к маркграфу мейсенскому, но вскоре покидает и его и снова начинает скитаться. С годами растет жажда независимости, жажда своего дома. И наконец пятидесятилетнему поэту император Фридрих II Гогенштауфен дарит маленькое поместье где-то возле Вюрцбурга. Здесь поэт проводит последние десять лет жизни. Легенда говорит, что он завещал приносить на свою могилу семена для птиц, чтобы он и мертвый мог наслаждаться их пеньем и щебетом.

Как уже было сказано, миннезингеры не читали свои стихи, они их пели. Мелодия выравнивала звуковую линию стиха. Поэтому без музыки, а особенно в переводе, эта поэзия отчасти теряет свой гармонический строй. Иногда строфа и логически возникает неожиданно, повинуясь только причудливой авторской воле.

Это создает большие трудности для переводчика, но он не вправе сглаживать чужие стихи, причесывать то, что растрепано. А уж если он вынужден что-то сгладить, надо это делать очень осторожно, сохраняя все-таки характер подлинника.

Приходится утешаться тем, что и на родине миннезингеров, в Германии, в Австрии, эти стихи, если не говорить о специальных изданиях, печатаются без музыки, тем более что и сохранились-то далеко не все мелодии. Да и сам язык, средневерхненемецкий, на котором говорили миннезингеры, далеко не всегда понятен современному немцу, и поэтому он также читает Вальтера и его современников в переводе.

Сущность любви

Если кто-то укоряет:
«Не вздыхай ты, все пустое, друг!» —
Значит, сам он дни теряет:
Разве то любовь — без радостей, без мук?

Я не для таких пою.
Лишь страдавший,
Все в любви познавший
Оценить сумеет песнь мою.

О любви легко болтать,
Но действительно любивших невелик на свете счет.
Всех она достоинств мать,
Жизнерадостное сердце без любви не проживет.

Госпожа моя Любовь,
Я не скрою:
Ваш я сердцем и душою.
Я надежде верю вновь!

А надеюсь я, что та,
Кем живу я, все ж моею станет.
Если же любовь меня обманет,
Значит, не для радости пришла ко мне мечта.

Добротой одарена,
Все щедрее,
Все мудрее,
Счастье сможет приносить она.

Будь острее женский взор,
Мне она бы, не противясь, отдала любви права.
Но ведь страшно женщинам с тех пор,
Как любви притворной служат те же сладкие слова.

Кто из женщин разберет
Хитрость эту?
А поэту
Сердце леденит она и жжет.

Первый с женщиной прибегнувший ко лжи
Всем нанес ужасный вред.
Как теперь любить, скажи,
Если любящим от зла спасенья нет.

Жду от женщины, достойной всех похвал,
Лишь признательности, ибо
Только за спасибо
Столько строк о ней я написал.

В жажде радости

Господи, развей мои заботы,
А от счастья я не затоскую.
Если радость мне подарит кто-то,
Радость подарю ему другую.

Счастье быстро я вернуть бы мог,
Ей я много отдавал в залог.
Было б так приятно
Хоть частицу взять обратно.

Цель моих надежд — она одна,
Все прекрасно в ней, душа и тело.
Совершенств таких она полна,
Что себя ей отдаешь всецело.

Надо мной она смеется, но
Вкус мой переделать мудрено.
Мне она не может запретить
Чтить ее или любить.

Если разрешает мне она
Рядом с ней присесть — о боже мой! —
Я слабею весь, душа темна,
Комната кружится предо мной.

Пусть я был бы мудрым и речистым —
Перед этим взглядом чистым
Я не вдруг соображу,
Почему я здесь сижу.

Игра глазами

В этом взоре, глубоко разящем,
Скрыта возвышающая сила.
Я люблю, я жажду видеть чаще
Ту, что разум мой закрепостила.
Видя, как я предан ей, она
Безусловно верить мне должна.

Сердце к ней стремилось не случайно,
Я тоску не в силах превозмочь.
Вижу эту комнату, где тайно
Проводил я с нею день и ночь.

Кто вернет мне эти времена,
Если так противится она?

Верность ею ценится так мало!
Я, мужчины, обращаюсь к вам:
Нет ей веры! Ей лишь брань пристала,
Похвалы — для благородных дам.

Почему мне портит кровь она,
Если так любовь моя верна?

Радости любви

И лето вновь, и птичий хор,
Надежд, желаний шумный рой.
Мне сердце веселит их спор,
Я жду награды дорогой.

Отрадна лета красота,
Но мне еще отрадней там,
Где чтима женщин чистота,
Где красит честь и дев и дам.

Та женщина, что мне мила,
Отраду сердцу подала,
И красоту, что так чиста,
Любви венчает красота.
Красавица должна любить,
Чтобы любви достойной стать,
Но право всеми чтимой быть
Лишь добродетель может дать.

Любовь для блеска красоты
Нужна, как злату самоцвет.
Когда ж и помыслы чисты,
То совершенней дамы нет.

Кто служит той, в кого влюблен,
В мечтах уж избран, награжден,
И нет в служенье том растраты,
Те муки радостью чреваты.

Душа от радости поет,
Когда один нам брошен взгляд.
Так как же радуется тот,
Кто вправе больших ждать наград.
В нем сердце до краев полно,
Хотя не радостен другой.
Где верность и любовь — одно,
Там верх блаженства, там покой.

Кто выстрадал свой жребий славный
С красивой, чистой, добронравной,
Тот глуп, скажу я по-простому,
Своей женой хвалясь другому.

Тот не мужчина, кто живет
Не зная женщин, не любя.
Пусть проиграл — с одной просчет,
Зато он выиграл себя.
Ухаживай за нею так,
Чтоб одобряла вся округа.
Не вышло — сбрось душевный мрак,
Другая сыщется подруга.

Мужчины! Помните мой сказ;
И честь и счастье в нем для вас:
Нечистых дел стыдится тот,
Кто с чистой женщиной живет.

Зимнее утешение

Вновь запел я сгоряча,
Где же радость наконец?
Губит глупость богача,
Хмур и, значит, глуп юнец.
Не пойму я, что им нужно,
А когда б они сказали,
Я прогнал бы их печали.

Кто видал прекрасней год,
Кто видал прекрасней дам?
Только вас не прошибет,
Подавай печали вам!
Встретясь, плачетесь друг другу:
Дескать, божьего раба,
Бьет меня судьба.

Лишь одна, с досады плача,
Радость пусть сотрет с лица.
Любо ей, насмешку пряча,
Все отталкивать сердца.

Пусть ее красе когда-то
Славу пели страны все —
Что теперь в ее красе!

Где любовь к любви пришла,
Там уж горе далеко.
Там зима двоим тепла,
И терпеть ее легко.
Лето ли, зима ли —
Если двое заодно,
Значит, счастье им дано.

День зимою невелик,
Ночь длинна — долга любовь.
Ты с трудом ее достиг,
Значит, вспыхнет вновь и вновь.

Боже, как себя я выдал!
Хоть креплюсь — не промолчу:
Снова с нею спать хочу.

Бесконечный спор

Я вижу благосклонность в том,
Что дама здесь, со мной всегда.
Разлука не вошла в наш дом,
Любовь к любви спешит сюда.

Уеду — все ж я с ней мечтами,
Она ж со мной, где б ни был я.
Я телом здесь, а вот душа моя
Там, далеко, поближе к милой даме.
И пусть она повсюду будет с ней,
Чтобы она со мной была, тоскуя.
Глаза ль закрою — тем ясней
Сквозь сердце вижу ту, кого люблю я.

Я мирно, тихо жил всегда,
И эта свара без конца
Пошла от одного лжеца.
Для них потеха, для меня — беда.

В стране у нас, куда ты ни пойдешь,
Царят подонки, подлый сброд,—
Он всюду лезет, всех стрижет.
Бесстыдство, ревность, алчность, ложь
Везде готовы дать совет.
Беда тому, кто власть не взял над ними,
От них мужчины многие страдали,
А женщинам и пуще вред.

Я этому сословью враг
И не скрываю неприязнь мою.
Пускай бранят и так и сяк,
На том стоял я и стою.

Я пел о добром, справедливом,
О том, чье имя — чистота.
Но чувствам подлым и фальшивым,
Любви притворной неспроста
Я кличку дал «безлюбость». Знаю,
Что у притворства много слуг.
Но если буду изгнан вдруг,
Я к вам, о женщины, взываю.

И если тем умнее голова,
Чем больший круг людей ее речам внимает,
Смотрите, ведь мои слова
Потом полмира повторяет.

Я защищать себя не умудрен,
Хитрить, ловчить мне вовсе не пристало.
А мой совет — иным на пользу он,
Да мне в том пользы мало.

Зато людишек вижу я насквозь:
Кто друг, а кто мои слова корежит.
И голову мне льстец уже вскружить не может,
Я про себя отвечу: брось!

■

ЛЕВИК ВИЛЬГЕЛЬМ ВЕНИАМИНОВИЧ (1907—1982).

Советский поэт и переводчик, художник, литературовед. Переводил произведения В. Шекспира, Дж. Байрона, Ж. Дю Белле, В. Гюго, Ш. Бодлера, И. Гёте, Ф. Шиллера, Лопе де Вега, А. Мицкевича, Ш. Петёфи, И. Р. Бехера, Л. Арагона, А. Йожефа, Ю. Тувима и др. Опубликовал сборники «Из европейских поэтов XVI—XIX вв.», «Лирика П. Ронсара», «Сонеты Л. Камоэнса», антологии переводов «Волшебный лес», «Избранные переводы» в 2-х томах (1977), «Генрих Гейне. Стихотворения. Поэмы» (1982). Переводы В. Левика отмечались литературными премиями И. Р. Бехера (ГДР), польского ПЕН-клуба и др.

Литературные иллюстрации

МАКС ФРИШ

Синяя Борода

ПОВЕСТЬ

Перевод с немецкого и послесловие Е. КАЦЕВОЙ

— Вам знаком этот галстук, господин Шаад?

— Мне его уже показывали.

— Этот галстук, как вы знаете, был использован при удушении — жертва, вероятно, была уже задушена, но преступник, очевидно, не надеялся, что женского гигиенического пакета во рту будет достаточно, и потому он использовал еще и этот галстук.

— Я не преступник.

— Вы поняли мой вопрос?

— Да.

— Это ваш галстук или нет?

— Возможно...

— Да или нет?

— Я чувствовал себя в ее квартире как дома, я это уже говорил, может быть, однажды в жаркий день я и снял галстук. Вполне возможно. Я бывал в ее квартире только днем. Я это уже говорил. А потом я, может быть, забыл его, свой галстук, это возможно. Я не всегда надеваю галстук, когда выхожу из дому, и потому галстук мог остаться в ее квартире.

— Господин доктор Шаад...

— Вполне возможно.

— Научная экспертиза не оставляет сомнений, господин Шаад: это ваш галстук.

Оправдан за недостатком улик...

Как с этим жить?

Мне пятьдесят четыре года.

© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1982.

МАКС ФРИШ — MAX FRISCH (род. в 1911 г.).

Швейцарский писатель, драматург. Его первые литературные публикации относятся к тридцатым годам. С 1944 г. М. Фриш стал писать для театра. Его пьесы ставились на сценах многих стран мира, в том числе на советской сцене, выходили отдельными сборниками.

«Иностранная литература» познакомила советских читателей с творчеством Макса Фриша — драматурга и романиста, опубликовав его пьесу «Бидерман и поджигатели» (1965, № 5), романы «Homo Фабер» (1966, № 4), «Назову себя Гантенбайн» (1975, № 4—6), повесть «Человек появляется в эпоху голоцена» (1981, № 1). На русский язык переведены также роман «Штиллер», повесть «Монток».

Повесть «Синяя борода» вышла в издательстве «Зуркамп» во Франкфурте-на-Майне в 1982 г. («Blaubart». Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1982.)

— Вы, значит, не помните, господин Шаад, и все еще не можете сказать, где вы были в ту субботу после обеда, когда Розалинда Ц. была задушена вашим галстуком в своей квартире на Хорнштрассе...

Биллиард — вот что помогает. Я уже не тыкаю судорожно кием, а бью по шару точно и мягко, и он катится. Если играешь каждый вечер, рука становится тверже, и если предстоит продуманно осуществить смелую комбинацию, делаешь это увереннее, спокойнее. Мне удаются уже целые серии в три, а то и четыре попадания. Лишь когда я промахиваюсь и играть должен партнер, а мне приходится стоять у зеленого стола и, натирая кий голубым мелком, ждать, пока партнер промахнется, я снова слышу голос прокурора:

— Когда вы в понедельник пришли на работу и услышали от своей тогдашней ассистентки, что в субботу была убита Розалинда Ц., вы сделали вид, будто ничего не знаете...
— В воскресенье не выходят газеты.
— И потому вы ничего не знали?
— Совершенно верно.
— А почему же вы, господин доктор Шаад, сразу спросили ассистентку, не была ли Розалинда Ц. задушена?
— Мне так подумалось.
— Почему задушена?
— Проституток чаще всего душат.

На биллиарде можно играть и одному. Когда я промахиваюсь и играть должен был бы партнер, будь он здесь, я бью рукой по трем шарам, разгоняя их во все стороны, бью вслепую и наотмашь, так что раздается грохот: роль партнера я поручаю случаю. Я не плутую, это не имеет смысла, я признаю любую позицию, сложившуюся на столе, после того как шары наконец остановились.

— Почему вы лжете? Все, что вы говорите, господин доктор Шаад, не дает вам алиби. Почему вы наконец не признаетесь?

Когда я знаю, как покатится мой шар, и нацеливаюсь кием, моя рука, левая, которая не бьет, а на ней лишь покоится кий, совершенно спокойна.

— А почему вы, господин доктор Шаад, не пошли на похороны? Ведь ничего экстренного, что могло бы вас в это время задержать, не было. Вы тут тоже неверно говорите! Вы сидели в своем кабинете и занимались легким приступом гепатита, а между делом вели долгие переговоры по телефону с бюро путешествий. Разве не странно, господин доктор Шаад, что, хотя вы в этот день были в Цюрихе, вы не пошли на похороны? Как-никак Розалинда Ц. когда-то была вашей супругой...

Время от времени, когда игра уж совсем не ладится, даже пирамидка, я меняю кий. Может быть, дело в кие, бывают короткие и длинные. Правда, прежде чем снова склониться над зеленым столом, чтобы прицелиться, надо помелить новый кий,— возникает пауза, и прокурор снова тут как тут:

— Относительно ваших регулярных посещений Розалинды Ц.: значит, вы знали, каким промыслом она занимается в этой квартире?
— Да.
— И это вас не трогало?
— Нет.
— Это верно, господин доктор Шаад, что, когда вы были женаты на Розалинде Ц., вы страдали, даже если она танцевала с кем-нибудь? Особенно, если в полночь она была не дома, а у своей больной матери. Ваша безмерная ревность известна широкому кругу друзей. Как выразился один свидетель, вы страдали, как собака.
— Когда был женат — вполне возможно.
— А потом нет?
— Нет.
— Вы знали, кто там бывал?
— Это было ее профессиональной тайной.

— Вы, значит, знали, что у Розалинды Ц. были ночные клиенты, и тем не менее вы, господин доктор Шаад, совсем не страдали?

— Нет.

— Чем вы это объясняете?

— Мы стали друзьями... Меня не мучили больше подозрения.

Задача не только в том, чтобы попасть в шар. Надо обдумать позицию для трех последующих ударов. Игра от двух бортов рискованна; если она удается, следующее попадание почти обеспечено.

— Вы, значит, часто видели обвиняемого, господин Биккель. А других посетителей вы видели в подъезде?

— Я работаю только днем.

— Видели вы мужчин, покидающих дом по утрам, когда вы работали, и если да, запомнился вам кто-нибудь из них, могли бы вы его узнать, если и не назвать по имени?

— Я не служу сторожем...

— Тем не менее у человека есть глаза.

— Я могу только сказать, что не обращал внимания на это, а мадам Цогг всегда здоровалась со мной, когда шла к почтовому ящику. Я работаю привратником и в других домах, и там тоже случается, что иной раз утром выходит из дома какой-нибудь господин, который здесь не живет, а потом дама делает вид, будто она вообще никого не видит, если рядом с ней муж. Я не знаю, что вы хотите от меня услышать.

— Вы, значит, видели обвиняемого...

— Да, днем, время от времени.

— А в ту субботу вы его видели?

— Нет.

— Господин Биккель, это противоречит вашему первому показанию в полиции; вы тогда сказали, что господин Шаад в ту субботу не мог поехать на лифте и поднялся по лестнице пешком.

— Его видела моя жена.

— А вы сами его не видели?

— Я ведь был в подвале...

— Вы, значит, не можете сказать, нес ли обвиняемый в ту субботу, когда поднимался пешком по лестнице, потому что лифт не работал, цветы в руках,— ну, скажем, лилии?

— Нет.

— Вы работали в подвале...

— Я и говорю, лифт стоял, я смазывал его дверцы и потому находился в подвале.

— Когда это было, господин Биккель?

— Между одиннадцатью и двенадцатью.

— А потом лифт снова заработал?

— Конечно.

— Еще один вопрос, господин Биккель...

— Мне ведь надо было не только смазать дверцы, я стер и надписи, которые постоянно поганят лифт, это требует времени: ведь нынче в ход пускают не мел или грифель.

— А что же?

— Распылитель.

— Понимаю...

— «Иисус победит».

— Последний вопрос, господин Биккель...

— Теперь это перестали делать.

— Вы не заметили, был ли у обвиняемого ключ от почтового ящика Розалинды Ц. или не пытался ли он каким-то образом вытаскивать письма из ящика?

— Господин доктор Шаад — благородный господин.

Я не могу кормить лебедей.

Их длинные шеи...

Когда я бросаю в воду кусочки хлеба (остатки завтрака), они величаво подплывают, как всегда, наклоняют к воде свои длинные шеи и нежадно и неторопливо склевывают все.

Не знаю, те же ли самые лебеди, которых я кормил прежде, передо мною сейчас, после десяти месяцев предварительного заключения. Они снова выпрямляют свои белые шеи. Они не узнают меня, медленно куда-то уплывают.

— Слово имеет прокурор...

Лебеди — не свидетели.

— Я спрашиваю в последний раз, где вы были, господин доктор Шаад, после того, как около полудня расстались с Розалиндой Ц., как вы утверждаете, в добром согласии.
— Может быть, кормил лебедей.
— Лебедей?
— Да.
— Вы часто кормили лебедей?
— Время от времени.
— Где?
— На озере.
— Не шел ли в ту субботу снег или дождь?
— Лебедям все равно.

Целый день, когда в приемной никого нет, когда меня не вызывают по экстренному случаю и я сижу в кабинете в белом халате, положив ноги на стол, я слышу все снова и снова:

— На первом допросе у окружного прокурора вы утверждали, что в означенный день гуляли по окрестностям, называли даже и местность — Васберг или что-то похожее. Вы говорили, что в таких случаях оставляете свой «вольво» у гравийного карьера, потом бредете по лесу куда глаза глядят, порой не зная, куда вас ведут лесные тропинки... К сожалению, установлено, что ваш голубой «вольво» в ту субботу стоял не у гравийного карьера, господин доктор Шаад, а в гараже на Кройцплац.
— Я ведь признал, что ошибся...
— Затем вы утверждали, что находились в своем врачебном кабинете, хотя в субботу он заперт. Искали налоговые квитанции. Вы указали и точное время: между пятнадцатью тридцатью и семнадцатью ноль-ноль.
— Да.
— Примерно в это время Розалинда Ц. была задушена в своей квартире... К сожалению, ваша тогдашняя ассистентка, работавшая в ту субботу, не видела вас в кабинете, а также и не слышала... Потом вы отказались от своего утверждения, что в означенное время находились в кабинете и искали там налоговые квитанции,— вы показали, что в то время, когда была убита Розалинда Ц., вы якобы смотрели чешский фильм. Ваше описание фильма свидетельствует о превосходнейшей памяти, господин доктор Шаад, ибо установлено, что этот чешский фильм уже полтора года не демонстрируется... Лишь ваше четвертое утверждение, что по пути, а именно на Фельдеггштрассе, вы покупали табак, более или менее подтвердилось. Киоск, где вы покупали табак, стоит недалеко от места преступления...

Собственно говоря, я могу закрыть свою практику. Время от времени бывают экстренные вызовы — это когда пациенты не могут выбирать врача, и тогда мне приходится ночью отправляться к больному. Днем в кабинете тихо; новая ассистентка приводит в порядок медицинские журналы. Одни пациенты, которых я годами пользовал, возможно, умерли во время моего предварительного заключения, другим пришлось переменить врача, я их понимаю, десять месяцев — долгий срок. Халат, который я надеваю, придя на работу, бел как всегда. Пациент, в третий раз оказывающийся в пустой приемной, постепенно теряет к тебе доверие; он испытывает облегчение, когда я в конце концов направляю его к урологу, а я потом читаю старые журналы, разложенные в приемной. У меня никогда не было столько свободного времени. Еще в день моего ареста приемная была переполнена, больные сидели даже на подоконнике. Известно, что я оправдан, но люди слишком много узнали обо мне. Даже новую ассистентку удалось найти с трудом. Она югославка. Прежде чем войти в кабинет, она должна постучать: я не хочу,

чтобы ассистентка видела, как я сижу, положив ноги на стол и сцепив руки на затылке. Пациенты, которые по-прежнему ценят меня как врача, очевидно, в настоящее время здоровы, и я могу с тем же успехом сидеть дома. Домой мне тоже никто не звонит. Кое-кто из знакомых, выступавших свидетелями на суде, очевидно, не ожидали, что я буду оправдан, и теперь, видимо, стесняются встречаться со мной.

— Это верно, господин Пфайфер, будто вы однажды слышали, как обвиняемый сказал, что он мог бы задушить эту женщину?
— Он был изрядно пьян.
— Вы, значит, это слышали?

Свидетель сморкается.

— С каких пор вы дружны с Феликсом Шаадом?
— Я никогда не спал с его Розалиндой!
— Я не об этом спрашиваю.
— Но, может быть, он так думал...
— И поэтому он хотел задушить Розалинду?
— Я находил ее очаровательной.
— Еще один вопрос, господин Пфайфер...
— Я имею в виду — очаровательной хозяйкой.
— Относительно вашего долга...
— Он же потребовал, чтобы я никогда не упоминал о нем. Он помог мне закончить учение. Зачем бы я стал это отрицать? Кстати, он дал мне не взаймы. Когда я попросил занять мне денег, он ответил, что в долг денег не дает: долги осложняют дружбу.
— Какая была сумма?
— Кажется, двадцать пять тысяч...

Свидетель сморкается.

— Я не знаю, чего от меня хотят.
— Вы, значит, часто ночевали у Шаадов?
— Я же не отрицаю этого.
— Вы слышали, как обвиняемый говорил, что он мог бы задушить эту женщину. Или вы отрицаете, господин Пфайфер, что часто рассказывали об этом в кругу ваших общих знакомых?

Когда я мою руки в уборной, мне все еще кажется, что, как только я их вытру, придется вернуться в зал суда и слушать показания следующего свидетеля.

— Вы госпожа Биккель?
— Да.
— Ваше имя?
— Изольда.
— Ваша профессия?
— Уборщица.
— Как свидетельница вы обязаны говорить правду и ничего кроме правды, госпожа Биккель, вы знаете, что ложные показания караются тюремным заключением, в тяжких случаях — сроком до пяти лет...

Вероятно, есть свидетели, которые ждут, чтобы я поблагодарил их кратким письмом за показания на суде.

— Я могу только сказать, что господин доктор — человек, который и мухи не обидит, это все, что я могу сказать.

Три недели прошло с тех пор, как меня оправдали, а я не написал еще ни одного письма, я все еще сижу, скрестив руки на груди, как в зале суда.

— Вы, значит, часто бывали в ее квартире, госпожа Биккель, приходили убирать, когда мадам была одна, и, если я правильно понял, вы делали это до обеда?
— Иногда там сидел и господин доктор.
— А других мужчин вы не видели?
— Только в подъезде... Иногда она просила, чтобы я пришла вечером. Когда у нее

бывало много гостей. И это были, знаете, не только господа, но и супружеские пары, и тогда много разговаривали. Чаще всего подавались холодные закуски. Я не знаю, что за люди приходили, но фрау Розалинда всегда была самой главной, это чувствовалось.

— Господин доктор Шаад тоже присутствовал?

— Нет.

— Не помните ли вы имен?

— Один был грек — некоторое время он и жил там, студент, лысый, с черной бородой, он то и дело приходил на кухню, но он не знал немецкого, и у него всегда было такое серьезное лицо. Мне его почему-то жалко было. Мне кажется, вся эта компания была неподходящей для него, и он все время приходил на кухню, чтобы попить воды.

— Что вы еще можете сказать?

— Больше я действительно ничего не могу сказать.

— На первом допросе вы, фрау Биккель, показали, что в ту субботу, когда фрау Розалинда была убита, лифт не работал...

— Это случается.

— И господин Шаад поднялся по лестнице пешком.

— Ему ничего другого не оставалось.

— В какое время это было?

— Между одиннадцатью и двенадцатью.

— Вы, значит, видели господина Шаада?

— Лифт часто выходит из строя: то дверь плохо открывается, то свет в кабине гаснет — спросите об этом моего мужа, он привратник.

— Ваш муж никого не видел.

— Потому что он работал в подвале.

— Когда вы ушли из дома, фрау Биккель?

— Вскоре после двенадцати.

— А когда ушел из дома господин Шаад?

— Этого я не знаю.

— Но вы ведь были на лестнице.

— Тем временем заработал лифт.

— После того как господин Шаад поднялся по лестнице, вы не слышали на четвертом этаже спора, так сказать, громкого разговора?

— Я убирала на втором этаже.

— Вы ничего не слышали?

— Я всегда убираю сверху вниз.

— Вы знали, что господин доктор Шаад и фрау Розалинда раньше состояли в браке, или вы узнали об этом только от окружного прокурора?

— Я почему-то догадывалась об этом.

— Последний вопрос, фрау Биккель...

— Он никогда не приносил шампанского.

— Почему вы в ту субботу вечером снова пришли на Хорнштрассе? На первом допросе вы сказали, что так было договорено...

— Иначе я и не пришла бы.

— Фрау Биккель, о чем было договорено?

— Что я поглажу и помогу упаковать вещи.

— Фрау Розалинда собиралась уехать?

— Видимо.

— Когда вы позвонили в полицию, фрау Биккель, вы были очень взволнованы, оно и понятно; на первом допросе вы не могли сказать, заперта была дверь в квартиру или нет...

— Мне кажется, она была заперта.

— Это означает, что преступник имел ключ от квартиры, а это очень важно, фрау Биккель.

— Да.

— Вы, значит, считаете, что дверь была заперта?

— Я не знаю.

Биллиард — вот что помогает.

— Вполне возможно, что обвиняемый, как мы уже слышали, и мухи не обидит.
— К сожалению, речь в данном случае идет не о мухе...

Иной раз на помощь приходит судья:

— Господин прокурор, я запрещаю вам этот тон!

Когда в биллиард играешь один, пауза после того, как промажешь, иной раз затягивается; я стою у стола, натираю голубым мелком кий, рассматриваю положение шаров, натираю и натираю — ведь партнера, который нетерпеливо ждет, чтобы я прицелился и начал играть, нет; я стою, мелю кий и слышу своего защитника:

— Значит, верно говорят, господин Шаад, что вы все-таки более или менее знали прошлое этой женщины?
— Я любил ее.
— Я не об этом вас спрашиваю, господин Шаад.
— Я любил ее.
— Это вы уже говорили.
— Я любил ее.
— Значит, вы знали: она вышла замуж в девятнадцать лет, потому что ее изнасиловал офицер, капитан авиации. Ее отец был майором и кантональным советником. С самого начала — неудачный брак. Потому она очень скоро и завела роман. Ее первая любовь. Это было в Сионе. Капитан авиации подал в суд, обвинив ее в прелюбодеянии; потом она училась в Берне.
— Один или два семестра.
— Что вам еще известно?
— Ей не хватало веры в себя.
— Не можете ли вы объяснить это точнее?
— Ее отец, майор, возлагал на нее надежды, которые она попросту не могла оправдать, и в результате Розалинда вообще потеряла веру в себя. Я думаю, она имела успех только как женщина, и это было ей необходимо для самоутверждения. Ее ведь можно понять. Я лишь знаю, что в Берне она жила три или четыре года с мужчиной, которого действительно любила. Он был певец. Имя я забыл.
— Здесь сказано: художник-график.
— График — ее второй муж. Певец был женат, много разъезжал, он лет на десять был старше Розалинды.
— Что вы еще знали?
— Она не была нимфоманкой.
— Но время от времени ей необходимо было самоутвердиться как женщине, потому что ее отец, майор, служивший в Сионе, возлагал на нее другие надежды, и все это вы можете понять, господин доктор Шаад...
— Да.
— Это верно, что у вас, господин Шаад, была связь с Розалиндой, когда она была замужем за графиком?
— Да.
— Это было в Берне.
— Да.
— А вы жили с женой в Цюрихе.
— Да.
— Знаете ли вы, как воспринял в свое время бернский график известие о ее связи, я имею в виду — связи с вами?
— Я думаю, это было ударом для него.
— Розалинда рассказывала вам об этом?
— Да, в общей форме.
— Что вы знали конкретно?
— Она не была нимфоманкой...
— Это вы уже говорили.
— Она по натуре товарищ.
— И потому вы в шестой раз женились.
— Это верно.
— Когда позднее, господин доктор Шаад, уже будучи женатым на Розалинде, вы

однажды утром за завтраком пожелали узнать, что, собственно, происходит последние полгода, как вы восприняли ее сообщение, господин доктор Шаад?

— Вы имеете в виду ее связь с Яном...

— К примеру.

— Она продолжалась уже более года.

— Вы были потрясены?

— Да.

— Вы были потрясены...

Когда на биллиарде играешь один, иной раз находятся зрители, которые, со стаканом в руке, хотят увидеть, как я решу очередную задачу. Это заставляет продолжать игру, и потому я рад, если бывают такие зрители. Обычно они задерживаются ненадолго; промахнувшись два или три раза подряд, я снова оказываюсь один.

— Слово имеет прокурор...

Вынесенный мне оправдательный приговор никогда его не убедит.

— Относительно дверного замка резюмирую: насильственное вторжение в квартиру исключено. Никаких повреждений не обнаружено. Значит, остаются две возможности. Первая: защелкивающийся замок был открыт изнутри, то есть Розалинда Ц. впустила преступника в свою квартиру. Правда, против этого свидетельствует то обстоятельство, что Розалинда Ц. в означенное время, как мы слышали, находилась под действием сильного снотворного. Почему, по-видимому, и не оказала сопротивления. Вторая возможность: у преступника был ключ от квартиры. Мы не знаем, у кого еще, кроме обвиняемого и уборщицы, был ключ от квартиры, но у обвиняемого он несомненно был.

О чем не говорилось на суде: о наших давних мальчишеских играх в гравийном карьере. Маленький Эгон, которому мы связали ноги, потому что индеец не может называться Эгоном, был через три дня найден с воспалением легких полицейской собакой (кто связал ему ноги, он не осмелился тогда сказать); позднее, уже известным пианистом, он погиб в авиационной катастрофе; как свидетель он выпал.

— Фройляйн Шлегель, вы, как ассистентка, тоже можете подтвердить, что обвиняемый, если его к этому не вынуждает врачебный долг, и мухи не обидит?..

Гравийный карьер, где собралась группа бойскаутов в то самое время, когда Розалинду Ц. задушили у нее на квартире, и где никто не видел мой голубой «вольво», расположен, подобно другим карьерам, как я показал на первом допросе, между Цумиконом и Эбматингеном.

Это подтвердила и полиция.

Я благодарен за каждое подтверждение.

— Хотя это и была суббота, вы, значит, находились на работе — неотлучно, все послеобеденное время, так вы утверждаете, фройляйн Шлегель...

— Я ждала телефонного звонка.

— И чтобы не пропустить этого звонка, вы все послеобеденное время не выходили, к примеру, чтобы выпить чашку кофе или купить сигарет...

— Я ведь не курю.

— Я спрашиваю вас в последний раз.

— Я работаю в задней комнате, в лаборатории, поэтому мне не видно, прошел ли кто-нибудь через прихожую. И наконец, у господина доктора есть ключ, ему незачем звонить, когда он приходит.

— Значит, вы не видели обвиняемого?

— Этого я не утверждаю...

— Вы слышали за стенкой обвиняемого?

Свидетельница задумывается.

— Фройляйн Шлегель, вы обязаны говорить правду.

— Возможно, он прошел через прихожую как раз тогда, когда мой друг позвонил, а господин доктор не хотел мне мешать и прошел к себе в кабинет, да, я считаю это вполне возможным.

— В котором же часу ваш друг звонил?
— Я думаю, в начале пятого.
— Когда вы ушли с работы?
— Я думаю, около пяти.
— Так и не увидев обвиняемого...

Свидетельница молчит.

— У меня нет больше вопросов к свидетельнице.

Прокурор откидывается назад.
Свидетельница испугана.
Слово предоставляется защитнику:

— Когда вы работаете в лаборатории, фройляйн Шлегель, вы можете услышать, если в кабинете кто-нибудь кашлянет, например, вам вообще что-нибудь слышно, шаги, например?
— Нет.
— Почему?
— Потому что весь пол затянут ковром.

Снимки, сделанные научно-исследовательским отделом полиции: обнаженный труп в институте, низ живота прикрыт черной материей; важны синие полосы на шее жертвы — снимок их крупным планом; важны также полосы на обеих лодыжках: еще один снимок крупным планом показывает, что ноги жертвы преступник сперва обмотал клейкой лентой. Почему жертва, по-видимому, не сопротивлялась? Это важно, поскольку у Феликса Шаада, арестованного через пять дней после преступления, не обнаружено царапин. Третий снимок крупным планом: женский гигиенический пакет во рту; по-видимому, им жертва и была задушена, и преступнику незачем было душить еще и галстуком. Наконец, снимок, который сейчас требует прокурор: жертва на ковре у кровати, полностью одетая, руки сложены на лоне, на груди — пять лилий.

— Можно со всей уверенностью утверждать: речь идет о преступлении на почве интимных отношений. Убийство с целью ограбления исключается, как я уже излагал. Способ, каким преступник выполнил свое намерение,— удушение жертвы женским гигиеническим пакетом — свидетельствует о том, что побудительной причиной была ревность...

Какое-то время помогают прогулки по окрестностям.

— Почему вы бродили по подлеску?
— Потому что дорога внезапно оборвалась.
— Как это дорога оборвалась?
— Лесовозная дорога...
— Вы говорили, что хорошо знаете этот лес, почему же вы не шли дорогами, которые знаете десятилетия, господин доктор Шаад, тем более в такой туманный день, как сегодня?
— Я не люблю бродить по асфальту.
— Вы любите подлесок...
— Необязательно, нет, не тогда, когда мокро, как сегодня, а ты идешь в полуботинках и все время оступаешься.
— А что вы называете лесовозной дорогой?
— Ее не угадаешь сразу, поначалу это хорошая дорога, довольно широкая, местами идешь по гравию, потом гравия уже нет, но все-таки это еще дорога. Между поваленными стволами. Мне кажется, со стволов была уже снята кора. И вдруг по просеке — только глубокие следы бульдозера, извилины в глине, потом начинается подлесок.
— Вы видели рабочих в лесу?
— Нет.
— Вы слышали механическую пилу?
— Нет.
— Вы, значит, полагаете, господин доктор Шаад, что около часа никто вас не видел?
— Этого я не знаю.

— А вы знаете, где вы в данный момент находитесь?
— За Тогтвилем...
— Почему вы сейчас мочитесь на эту паутину?

Потом мне захотелось пива, сосисок.

— Был ли на господине галстук, когда он зашел в трактир? И если да — какого цвета был этот галстук?

Кельнерша задумывается.

— Вы не помните...
— Нет.
— Вы уже встречали этого господина?
— Я ведь только месяц работаю здесь.
— И вы ничего не знаете о деле Шаада?
— Нет.
— Что вам в связи с ним бросилось в глаза?

Свидетельница задумывается.

— Вам ничего не бросилось в глаза...
— Он приложил руку к зеленой изразцовой печи, да, вот это мне бросилось в глаза, да, еще он пожелал сесть у изразцовой печи, а это место, собственно говоря, только для постоянных клиентов, и еще мне бросилось в глаза, что господин был небрит, по-моему, и он не снял шапки, да, не снял берета.
— Он нервничал?
— Когда я подала дежурное меню, он даже не глянул на меня, сразу заказал маленькую кружку пива.
— Что было дальше?
— Он просто сидел там у изразцовой печи.
— А вы не удивились, что он спросил, как вас зовут, и что он потом записал имя на клочке бумаги?
— Разве?
— Вы этого не заметили...
— Когда я принесла пиво, он заказал жареную сардельку, а их не бывает в такое время дня. Видно, он и не поглядел на наше меню. После двух часов у нас подают только холодные закуски — салями, например.
— Это было, значит, после двух часов...
— Наверняка.
— Господин разговаривал с вами?
— Я, конечно, заметила, что господин то и дело посматривал на меня, когда я стояла у буфета, но для кельнерши это дело привычное. Может быть, он и сказал что-нибудь о погоде. Но я не слушаю, когда клиенты говорят о погоде.
— Больше вам ничего не бросилось в глаза?
— Я вытирала стаканы.
— Сколько же времени он просидел у вас?
— Потом он заказал рюмку шнапса.
— В котором часу это было?
— Без четверти четыре.
— Почему вы знаете это так точно?
— Потому что господин вдруг спросил, который час, хотя часы у нас висят над буфетом, да и у самого господина были на руке часы. Зачем же спрашивать! Это-то и показалось мне странным.
— Больше он ничего не сказал?
— А потом, когда он расплатился и уже поднялся, я сказала, как всегда — adieu! [1] А он сказал — сейчас четверть шестого, фройляйн, ровно четверть шестого! Как будто важно, чтобы я это знала...
— Сколько рюмок он выпил?
— Три.
— Это как-то сказалось на нем?

[1] Прощайте *(франц.)*.

— Он вспотел.
— Что еще бросилось вам в глаза?

Свидетельница задумывается.

— Он не разговаривал сам с собой?
— Он спросил, где у нас телефон.
— И пошел звонить?
— Сперва нет.
— А потом?
— Он вдруг встал.
— Сколько времени он говорил по телефону?
— Он сказал, что не дозвонился, и это правда — мы же видим по счетчику, но потом господин еще раз заходил в кабину и еще раз и сказал, что номер занят.

Правду и ничего кроме правды.

— Господин Шаад, кому вы хотели позвонить из трактира?
— Розалинде.
— И номер был занят?
— Этот номер уже отключен.
— Сегодня исполнился год, как Розалинду Ц. убили, и вас удивляет, господин доктор Шаад, что этот номер отключен?
— Нет.
— Тем не менее вы неоднократно пытались?
— Трижды...

Алкоголь тоже не помогает.

— Вы часто видели его пьяным?
— Иногда.
— Как он вел себя в таких случаях?
— Об этом я не хочу говорить...
— Становился ли он, к примеру, агрессивным?
— Меланхоличным.
— Вы имеете в виду — плаксивым?
— Я этого не говорил.
— Вы имеете в виду: он начинал жалеть самого себя?
— Я не думаю, что папа убийца, этого я не думаю. Эгоист — это да, он эгоист. Как он обращался с моей матерью, но я тогда был еще ребенок, а что иногда моя мать рассказывала, пусть она сама вам расскажет. Как она с ним обращалась, я ведь тоже не знаю. Мне шестнадцать лет, и я теперь уже не всему верю.
— Что вы понимаете под словом «эгоист»?
— Я хотел сказать: эгоцентрик.
— А в чем разница?
— Эгоист ничего не дает.
— А про вашего отца этого нельзя сказать?
— Нет, видит бог, нет.
— А что же такое эгоцентрик?
— Такой скорее с собой покончит.
— Если он не трус.
— Я этого не говорил.

Свидетель всхлипывает.

— Не могу же я обсуждать своего отца!

Три недели прошло с тех пор, как меня оправдали, а меня все еще защищают, куда бы я ни шел, где бы ни лежал или ни стоял; в данный момент я сижу в сауне, упершись локтями в колени, уткнув лицо в руки.

— Относительно микроследов на галстуке — речь идет, значит, о трубочном табаке, как мы слышали от эксперта, и если я вас правильно понял, господин профес-

сор, нет ни одного предмета одежды обвиняемого, на котором бы не было обнаружено следов табака, даже после чистки...

— Совершенно правильно.

— Но обвиняемый никогда и не отрицал, что галстук, которым воспользовался преступник,— его галстук, и я не понимаю, что эта экспертиза должна доказать?

— Я не хотел бы, чтобы меня неправильно поняли...

— А разве преступник должен обязательно курить трубку?

— Как я уже говорил, речь идет о микроследах, которые мы исследовали, причем результаты анализа бесспорны, но, к сожалению, частицы на галстуке, использованном при удушении, слишком малы, и мы не можем с уверенностью сказать, идет ли речь о том же сорте табака, что обычно курит обвиняемый.

— Вы поняли мой вопрос?

— Я могу только повторить то, что сказано в нашем заключении, вы слышали это заключение и получите его в письменном виде.

— Почему вы не отвечаете на мой вопрос?

— Полученные нами данные не исключают того, что обвиняемый, который повсюду оставляет микроследы табака, является преступником.

— Это ясно.

— Какой вопрос вы задали?

— С другой стороны, мне важно знать, где еще, кроме галстука, были найдены микроследы табака...

— Об этом ведь сказано в нашем заключении.

— Если я правильно понял: на полотенце в туалете, на подлокотнике одного кресла следы есть, на постельных принадлежностях Розалинды Ц. их нет, зато они есть во многих местах на кухне, на левом рукаве пальто — словом, повсюду, но только не на трупе, если я правильно понял, не на платье, которое было на убитой, и поэтому я спрашиваю: чем господин эксперт может объяснить, что микроследы табака, указывающие на обвиняемого, обнаружены чуть ли не повсюду в квартире, но только не на самой жертве?.. Может быть, господин Шаад в тот день не курил, его руки были чистые, как во время работы во врачебном кабинете или в клинике, и что же в таком случае следы табака на галстуке доказывают — то, что этот галстук когда-то ему принадлежал, да, ну и что?

— Я отсылаю вас к нашему заключению.

— Господин профессор, это я слышал.

— По-моему, я уже говорил, что все зависит от материи: очень гладкий шелк, к примеру, в отличие от шерстяного галстука, которым пользовался преступник, или от льняного полотенца, или от гобелена на спинке кресла,— очень гладкий шелк относится к самым неблагоприятным материям, когда речь идет о следах, и это касается также отпечатков пальцев, как я, по-моему, говорил в нашем заключении, шерсть галстука, правда, благоприятна; когда речь идет о табачных следах, но столь же мало благоприятна, как шелк, когда речь идет об отпечатках пальцев, и все было сделано для того, чтобы сохранить отпечатки пальцев только господина доктора Шаада; что же касается следов табака, то они действительно не обнаружены на жертве, но они обнаружены на ковре, где лежала жертва, причем в большом количестве, как я уже говорил, и речь идет не о пепле сигаретного табака, он тоже не обнаружен, но мы знаем, что сигаретный табак сгорает полностью или совсем не сгорает, смесь же пепла и опаленного табака, даже в микроследах, указывает на трубочный табак. Причем результаты анализа бесспорны.

В зале суда нельзя фотографировать; печать воспроизвела только зарисовки: обвиняемый, скрестив руки, уставился в потолок.

— Вы фрау Шаад?

— Да.

— Ваше имя?

— Лилиан.

— Ваша девичья фамилия Хаберзак.

— Совершенно верно.

— Профессия?

— Воспитательница в детском саду.

— Вы в разводе.
— Совершенно верно.
— Вы, следовательно, знаете обвиняемого лично.

Смех в зале.

— Как свидетельница вы обязаны говорить правду и ничего кроме правды, вам известно, что ложные показания караются тюремным заключением, в тяжких случаях — сроком до пяти лет.

Когда допрашивают супруг, зал полон: как видно, и для студентов брак — проблема.

— Применял ли обвиняемый, когда вы еще были его женой, по отношению к вам физическое насилие или угрожал им? Скажем: когда вы ссорились, он бил вас или хватал за горло, так что вы боялись, что он может вас задушить?

В сауне можно не разговаривать, все сидят голые и потеют, собственно, даже и не смотрят друг на друга, пока не отправляются под душ, потом на воздух, чтобы остыть.

— Значит, это верно, фрау доктор, что, хотя обвиняемый и не занимался рукоприкладством, вы страдали от его ревности, несмотря на то, что оснований ревновать у него не было?

Свидетельница кивает.

— И в чем же выражалась эта его почти патологическая ревность?

Свидетельница задумывается.

— Он вскрывал ваши письма?
— Вряд ли.
— И тем не менее он вам не доверял...
— Например, он посылал мне цветы. Не указывая отправителя. А когда я их разворачивала, он наблюдал за мной, не смущена ли я.

Я все еще сижу и остываю, обмотав бедра голубым полотенцем, и когда слово предоставляется официальному защитнику, я кажусь себе более голым, чем другие купальщики, остывающие рядом со мной.

— Это верно, фрау доктор Шаад, что после развода у вас были дружеские отношения с обвиняемым?
— Почему бы и нет?
— Можете ли вы вспомнить, как вел себя обвиняемый, когда вы в последний раз назначили с ним встречу в вегетарианском ресторане, чтобы получить у него совет по налоговым делам?
— Я не получила у него никакого совета.
— Как бы то ни было, вы встретились, фрау доктор Шаад, через два дня после убийства, это было в понедельник; не было ли у вас впечатления, что господин Шаад ожидает ареста?
— Нет.
— Он нервничал?
— Я показала ему повестку налогового управления, и он сделал вид, будто его это вообще не интересует...
— Что же он сказал?
— Он был какой-то странный, да, пожалуй,— странный.
— Не такой, как обычно?
— Он не постоянный мой советчик по налоговым делам...
— Вы вместе пообедали?
— Он вообще ничего не ел.
— Он не постоянный ваш советчик по налоговым делам, а о чем же еще говорил доктор Шаад в этом вегетарианском ресторане?

Свидетельница задумывается.

— Он говорил о Розалинде Ц.?
— Да.
— Вы уже знали об убийстве?

— Нет.
— Вы узнали об этом от доктора Шаада?
— Да.
— Что же доктор Шаад вам сказал?
— У него на глазах были слезы.

Я переменю сауну. Я могу ходить только туда, где никто меня не знает, где банщик меня не приветствует, где никто не смотрит, как я потею, упершись локтями в колени, закрыв глаза.

— Вы тоже фрау Шаад?
— Да.
— Ваше имя Гизела?
— Гизель.
— Ваша девичья фамилия Штамм?
— Совершенно верно.
— Вы тоже состояли в браке с обвиняемым и теперь в разводе с ним, фрау доктор Шаад, следовательно, личность обвиняемого вам знакома...

Свидетельница кивает.

— Сколько времени вы состояли в браке?

Свидетельница задумывается.

— Примерно?
— Да мы и до того жили вместе, когда Шаад был еще женат, а потом мы поженились, но не жили больше вместе, знаете, как это бывает, я не знаю, что сказать, он ведь не считает, что это был брак.
— Тем не менее вы носите его имя.
— Совершенно верно.
— Ваша профессия?
— Я была ассистенткой врача...

Хуже любых показаний, которые могут дать супруги,— воспоминания, которых суд присяжных не слышит: серый кролик (Пиноккио) под бритвой, и как маленький Феликс плакал целыми днями после гибели кролика, мама купила ему другого, но он никогда не любил его так, как серого.

— Верно ли, господин Шаад, то, что свидетельница сказала?
— Наши воспоминания расходятся.
— Свидетельница говорит, вы неоднократно грозили, что просто оставите ее багаж на перроне и уедете один, если она еще раз придет на перрон с опозданием, и это — в первый же год брака.
— Я этого не помню...
— А однажды вы, господин доктор Шаад, по словам свидетельницы, так и сделали, через три года: свидетельница пошла купить сигареты в киоске и кого-то по дороге встретила или засмотрелась на витрину, а когда она вернулась, все ее вещи стояли на перроне, а вы, ее супруг, помахали ей из отъезжающего поезда.
— Это было в Берне.
— Это вы, значит, помните.
— Да.
— Говорят, что, если ваши мужские желания тотчас же не удовлетворяются, вы очень легко теряете самообладание. Это правда, господин доктор Шаад?

Если обвиняемый смеется, это производит неблагоприятное впечатление. Свидетельница не держится раскованней — наоборот, а прокурору это облегчает дело:

— Верно ли, фрау доктор, что время от времени вы ночевали у подруги, хотя обвиняемый, как вы свидетельствуете, вас никогда не душил и не угрожал физическим насилием?
— Я не понимаю вопроса...
— Сознайтесь, фрау доктор, разве вы не потому время от времени ночевали у подруги, что испытывали страх перед этим человеком?

Защитник отклоняет вопрос:

— Относительно ночевок у подруги я хочу задать вопрос обвиняемому: вы, значит, знали, господин Шаад, где ваша тогдашняя супруга время от времени ночевала, когда испытывала страх перед вами?
— Да.
— Откуда вы это знали?
— С ее слов.
— А вы спрашивали когда-нибудь эту подругу, знает ли она, что ваша перепуганная жена время от времени ночует у нее?
— Да, однажды я позвонил...
— Потому что вы сомневались в этом.
— Потому что я боялся за нее.
— И ваша перепуганная жена была там?
— Да.
— Вы говорили с ней?
— Нет.
— Как так — нет?
— Ее подруга сказала, что моя жена уже спит, и действительно было очень поздно; около трех часов, я извинился.
— Вы успокоились?
— Я был пьян.
— И ваша жена узнала об этом...
— Да, к сожалению, я, вероятно, наговорил много глупостей, наутро моя жена узнала об этом.
— Потом вы никогда больше не звонили?
— Нет.
— В другой раз, когда ваша жена не чувствовала себя в безопасности дома и потому ночевала у вышеупомянутой подруги, вы пошли в концертный зал и в фойе видели вышеупомянутую подругу. Верно это?
— Верно.
— Что вы подумали?
— Она была очень смущена.
— Что же сказала подруга?
— Мы только кивнули друг другу.

Надежно, хотя и на короткое время, помогает эргометр — как врач я часто его рекомендовал. Большинство пациентов считают это занятие скучным. Десять минут стресса, сидишь, уставившись на процедурные часы. Затем частота пульса нормализуется и становится легче.

— Вы тоже фрау Шаад?
— Да.
— Ваше имя Коринна.
— Совершенно верно.
— Ваша девичья фамилия?
— Фогель.
— Вы тоже в разводе...

Если присяжные видят, что свидетельница нагоняет на обвиняемого скуку, это производит неблагоприятное впечатление: скука содержит в себе элемент жестокости.

— Вы тоже, фрау Шаад, не помните, чтобы муж угрожал вам физическим насилием, зато вы страдали, когда он ходил взад-вперед по комнате и читал лекции, как вы это называете, иной раз даже после полуночи...
— Да.
— Такое часто случалось?
— Два или три раза в месяц.
— Можете вы нам сказать, что за лекции вам читал обвиняемый, ходя взад-вперед по комнате?

Свидетельница задумывается

— Он ругал вас?
— Это не в его характере!
— Что же вам казалось жестоким?
— Я хотела спать...
— Вы, значит, не помните, что за лекции часами читал вам господин доктор Шаад, не давая спать?
— Теорию...
— Какую?
— Он хотел меня переубедить...
— И это ему не удавалось?
— Однажды, когда я не слушала, Феликс швырнул чашку об стену, такое бывало.
— Потому что вы не слушали?
— Чашка была дорогая.

Дом на Линденштрассе, где свидетельницу мучили не физически, но морально, снесли, а жаль: дом был в стиле модерн. По-видимому, это произошло уже некоторое время тому назад: мусор за забором покрылся травой, «Доступ посторонним строжайше запрещен», даже сквозь изгородь проросло; только с брандмауэра соседнего дома видно, где прежде были этажи, лестница, голубые туалеты один над другим; там, где мы раньше жили, порхают воробьи.

— Это верно, господин Шаад, что нам говорит свидетельница?

Одинаковой памяти не бывает.
Биллиард — вот что помогает.
Если на зеленом прямоугольнике под лампой не возникает особенно трудной задачи, я наловчился, играя, слушать показания следующих супруг.

— Вы тоже фрау Шаад?
— Это верно.
— Ваше имя?
— Андреа.
— Ваша девичья фамилия?
— Падрутт.
— Ваша профессия — домашняя хозяйка.
— Это неверно.
— Но здесь написано: домашняя хозяйка.
— В настоящее время я работаю в художественной галерее.
— Как называется ваша профессия?
— Я училась в институте...
— Как свидетельница, фрау доктор, вы обязаны говорить правду и ничего кроме правды, вам известно, что ложные показания караются тюремным заключением, в тяжких случаях — сроком до пяти лет.
— Я изучала романистику...
— Сперва вас допросит господин прокурор.

Больших усилий все еще требуют удары из-за спины или как их там называют; они мне редко удаются.

— Вы поняли вопрос, фрау доктор Шаад?
— Нет.
— Угрожал вам обвиняемый физическим насилием, когда вы были за ним замужем? Например: когда вы ссорились, бил он вас кулаками или хватал за горло, так что вы боялись, что он вас задушит?

Надо наконец освоить удар из-за спины: ударить в низ шара так, чтобы он, столкнувшись с другим шаром, тем самым затормозился и в силу собственного вращения покатился назад. Удар должен быть решительным, но точным, чтобы кием не задеть сукно. Первый удар не удался. Второй удар не удался, третий попал в цель, но привел в такое безнадежное положение мои шары, что четвертый удар опять не удался; затем начинается серия удач, я не считаю попаданий, удачи следуют одна за другой, я хватаю голубой мелок и мелю кий.

— Вы можете привести пример, фрау доктор? Вы говорите, Феликс Шаад нежная натура, но с наклонностями собственника...
— Потому-то дело и дошло до развода...
— Вы можете привести пример?

Свидетельница задумывается.

— Фрау Шаад, может быть, вам поможет, если я напомню, что в то время у вас была связь с мужчиной, к сожалению, женатым.
— Я не понимаю вопроса...
— Вы сопровождали его, фрау Шаад, в качестве ассистентки на конгрессы по всему миру, это не было секретом, и об этом знал Феликс Шаад.
— Это входило в мои служебные обязанности.
— Чего вы тогда боялись?
— Я не понимаю вопроса...
— Когда господин Шаад поинтересовался, не роман ли у вас, вы отрицали, ибо, как я полагаю, вы чего-то боялись.
— Я хотела его пощадить.
— Вы хотели его пощадить...
— Совершенно верно.
— Ибо вы боялись, что обвиняемый, узнав то, что другие знали давно, будет способен на все, например, снимет галстук и тут же вас задушит?
— Я не думаю, чтобы он был на это способен.
— Тем не менее вы его боялись?
— Он бывает очень несдержанным.
— Вы можете привести пример?

Свидетельница задумывается.

— Когда однажды, уже позднее, он узнал со стороны, что вы три года жили с ним только потому, что профессор Л. женат да еще имеет детей, и вы в общем и целом подтвердили это, как повел себя обвиняемый?
— Он держал себя в руках.
— Каким образом?
— Молчал.
— Сколько времени?
— Несколько дней, а потом уехал...
— И пришло письмо из Вены,— суд ознакомился с копией, не знаю, помните ли вы это довольно длинное письмо, фрау Шаад?
— К этому времени история, которую он имел в виду, уже кончилась.
— И что было потом?
— Он ночевал в своем рабочем кабинете.
— А потом?
— Я была тогда очень подавлена.
— Потому что у него наклонности собственника.
— Потому что он начал пить.
— А когда он пил, фрау Шаад,— и это мой последний вопрос,— что он делал, когда напивался?
— Он говорил...
— О чем?
— Всегда одно и то же...
— А именно?
— Я уже не помню...
— Вы уже не помните...

Иной раз это надоедает и судье:

— Теперь уже можно отпустить свидетельницу?

Свидетельница берет свою сумку.

— Допрос свидетелей будет продолжен в понедельник в восемь часов.

Я ставлю биллиардный кий на подставку. Надеваю пиджак. Галстук я и не снимал перед игрой; я его затягиваю. В баре поблизости я заказываю бокал «Ферне-Бранка».

Стою в пальто и кепке. На улице день. Нахожу свою машину. Штрафная квитанция не наклеена, хотя время стоянки истекло. Сажусь за руль. Идет дождь. Включаю зажигание и пробую сообразить, где я сейчас живу.

— Господин Кнюттель, вы, значит, помните, что он был в вашем магазине и вы разговаривали с ним. Это верно?
— Да.
— Он, значит, интересовался антиквариатом...
— Это верно.
— Он искал что-то определенное?
— Я обратил внимаиие на господина, потому что он подолгу стоял на улице перед моей витриной, иной раз минут по пятнадцать, даже когда шел дождь, у него было на примете что-то определенное, так мне казалось.
— Вы знаете, что у него было на примете?
— Нет.
— Господин доктор Шаад утверждает, что несколько недель у вас стоял английский письменный стол вишневого дерева, отделанный зеленой кожей...
— Это верно, да, правильно.
— Когда господин Шаад вошел наконец в магазин, чтобы посмотреть этот английский письменный стол, он справился у вас о цене?
— Это верно, да, теперь я вспоминаю, но английский письменный стол был уже продан, когда господин Шаад в первый раз зашел в магазин и справился о цене. Господин как будто разбирался в мебели.
— Вы не помните, от кого стол попал к вам?
— От одной дамы.
— От одной из фрау доктор Шаад?
— Вполне возможно...
— Обвиняемый что-нибудь сказал об английском письменном столе, который был уже продан, или он только его рассматривал?
— Он хотел знать точные размеры.
— А зачем?
— Этого я не знаю. Я измерил: проданный письменный стол был как раз того размера, что господин и предполагал.
— И после этого он покинул магазин?
— Нет.
— Что же было дальше?
— Он огляделся... У меня были и другие письменные столы, но, видимо, не то, что искал господин. Потом он спросил, можно ли посмотреть склад, и я ему показал склад. Он очень внимательно смотрел. Его заинтересовало кресло, кресло-качалка. Он в него сел. Когда я сказал, что это кресло очень удобное, он засмеялся: «Я знаю». И еще он спросил о стоимости одних французских напольных часов.
— Которые к вам попали от той же дамы?
— Совершенно верно.
— Что было дальше?
— Когда я заметил, что господин знает цену вещам, я предложил ему чашку чая, как это принято, и он не отказался, но не сел, а пил чай стоя и сказал, что чувствует себя в моем магазине как дома.
— Господин Шаад приходил снова к вам?
— Нет.

Сны тоже подлежат допросу:

— У вас, значит, было такое чувство, будто вы можете летать. Я вас правильно понял — летать?..
— Но только короткое время.
— Сколько времени приблизнтельно?
— До тех пор, пока я мог двигать локтями. Как крыльями. Но это требует большого напряжения. И все же я почти достигал потолка этого зала.
— Здесь восемь метров высоты.
— Собственно говоря, это не разрешается, я знал, но это наполняло меня радостью, а также своего рода гордостью: ты единственный, кто умеет летать.

— Что было дальше?
— Планирующий полет.
— Как это понимать?
— Потом я сделал вираж — вираж мне удался, но это было уже не в зале суда, подо мной вдруг открылся ландшафт, гористая местность, зеленоватый водоем, я испугался, что не долечу до берега, а берег был отвесный, как скалы, совершенно отвесный.
— И на этом вы проснулись, господин Шаад?
— Нет.
— Что же было дальше?
— Я снова сидел здесь...

Шестьдесят одного свидетеля — мужчин и женщин — ввел в зал и усадил служитель; некоторых я видел прежде лишь мельком.

— Господин директор, вы отец жертвы...

Есть свидетели, которые смотрят только на судей, потом на прокурора или защитника, но никогда — на обвиняемого, хотя когда-то были с ним в родственных отношениях.

— Когда вы в последний раз видели свою дочь и с ней разговаривали?
— Когда Розалинда была еще замужем.
— Вы, значит, никогда не бывали на ее последней квартире?
— Никогда.
— Вы знали, на какие доходы жила ваша дочь?
— Вы хотите сказать — после развода?
— Или вы не имели никакого представления?
— Известно, сколько примерно врач зарабатывает, и я полагал, что Розалинда обеспечена. Я имею в виду — соответственно своему положению.
— Так что до конца жизни ей не придется самой зарабатывать...
— Я имею в виду: соответственно своему положению.
— Еще один вопрос, господин Цогг.
— Письмо, которое обвиняемый послал тогда моей жене, чтобы сообщить о своем разводе,— этого письма у меня, к сожалению, больше нет,— оно звучало вполне успокоительно.
— То есть?
— Он и Розалинда остаются друзьями и тому подобное.

Следующий свидетель — ребенок.

— Тебя зовут, значит, Вренели?
— Да.
— Ты знаешь господина Шаада, который здесь сидит?
— Нет...
— Ты даже не видел его никогда?
— Да.
— Ты должен говорить нам только то, что ты знаешь.

Ребенок кивает.

— Ты знаешь, что мадам Розалинда потом умерла, но ты еще видел ее в окне. Так ты сказал. Ты не помнишь, когда это было? Я имею в виду: в какое время дня. На улице было еще совсем светло?
— Да.
— И она, как всегда, помахала рукой?

Ребенок молчит.

— Ты не помнишь...

Ребенок кивает.

— Она подошла к окну?
— Да.
— Что же она там делала?

— Я не знаю.
— Окно было открыто?
— Да.
— Она закрыла окно?
— Да.
— И потом задернула шторы?

Защитник что-то записывает.

— Вренели, не можешь ли ты вспомнить, как мадам Розалинда была одета, прежде чем она задернула шторы? Она была в своем белом халате или в своем кожаном пальто?

Ребенок молчит.

— Ты не помнишь...

Ребенок пожимает плечами.

— Ты не видел, был ли еще кто-нибудь у нее в квартире? Может быть, какой-нибудь господин? Молодой, пожилой? Кто-нибудь вроде господина Шаада...

Ребенок пожимает плечами.

— Ты слышал шаги?

Ребенок молчит.

— Ты не помнишь...
— Нет.
— Да ведь это и было давно.

Не знаю, требуется ли у нас официальное разрешение на покупку револьвера. Магазин в воскресенье закрыт. Можно воспользоваться и одним из охотничьих ружей, висящих в небольшой витрине. Хозяин магазина как свидетель исключается, поскольку по воскресеньям его нет в магазине. Не думаю, чтобы кто-нибудь видел меня у витрины.

— Это было сегодня утром?
— Да.
— И ни одного человека на улице?
— Было довольно рано.
— Примерно в котором часу?
— Между семью и восемью.
— Что же вы делали в такое время в городе, господин доктор Шаад, в воскресенье между семью и восемью, когда Цюрих еще спит?
— Гулял...

Иной раз помогает алкоголь... Я хожу по комнате взад-вперед, со стаканом в правой руке, и, пользуясь возможностью, которую предоставляет только алкоголь, произношу другое последнее слово.

— Я не считаю себя невиновным...
— Правду и ничего кроме вашей правды...
— Чем короче, тем лучше! — говорит мой защитник...
— Я прошу показать снимок обнаруженного трупа...
— Поблагодарить я хочу прежде всего служителя...
— Кто-нибудь из вас знал эту женщину?
— Я ее не знал...
— Я не завидую присяжным: откровенно говоря, я разделяю вашу строгую безучастность при виде этого снимка...
— Чем короче, тем лучше!
— Начиная с четырнадцатилетнего возраста, я испытываю чувство вины, это верно, хотя, с другой стороны, я не могу сказать, где я находился в ту субботу после обеда...
— Из снимка этого не следует...
— Я могу говорить, сколько хочу...

— Снимок нам больше не нужен...
— Перехожу к делу...
— Чего вы только не нашли в моей биографии, господин прокурор, вот это да, ничего не скажешь — поработали на славу...
— Поблагодарить я хочу также прессу...
— Относительно мотива...
— Я благодарю далее судебную медицинскую службу за черную материю, которой на снимке, что вы неоднократно видели, прикрыт низ живота у трупа, каждый подросток может себе это представить...
— Что такое вина?
— Но я не преступник...
— Или я это уже говорил?
— От улик, собранных прокурором, не отмахнешься, это я признаю, они меня потрясли, откровенно говоря, и я благодарю моего защитника за то, что он не дал себя потрясти...
— К сожалению, я в данный момент изрядно пьян...
— Свидетели обязаны говорить правду и ничего кроме правды...
— Прошу еще раз показать снимок...
— Благодарю!
— Снимок мне больше не нужен...
— Мне повезло...
— Да вы слушаете ли меня?
— Десять лет тюрьмы...
— И ничего кроме правды...
— Далее я благодарю господина председателя за терпение, проявленное при допросе моих супруг...

Как только я протрезвляюсь — не позднее следующего утра, когда я сижу в своем врачебном кабинете, сцепив руки на затылке и положив ноги на письменный стол,— все возобновляется.

— Вам больше не приходилось строить догадки, вы знали о ее ремесле, как вы говорили, и хорошо себя чувствовали в ее квартире, вы были друзьями...
— Да.
— И о чем же вы беседовали?
— О боге и о мире.
— Говорила ли с вами Розалинда Ц. и о своей профессии?
— Никогда.
— Но вы ее консультнровали по налоговым вопросам.
— Она была такая беспомощная. Как все мои супруги. Это моя вина, я знаю. В семье всеми делами занимался я, по возможности без их участия, а потом, после развода, они оказывались беспомощными.
— Значит, вы знали, каков размер ее доходов?
— В точности не знал, нет, я ей только говорил, сколько она может тратить от своих доходов, а ей, как я знал по опыту совместной жизни, требовались значительные суммы: на туалеты, машину, шофера и так далее, а также, думал я, на театральные билеты, и почему бы, думал я, не на книги, пластинки и так далее — иные клиенты хотят не только вышивки, но и атмосферы интеллигентности. Она ведь была не уличная женщина. По-видимому, заходили и люди, вовсе не знавшие об ее ремесле, и, стало быть, они не должны были платить, они создавали, так сказать, атмосферу, позволяя за это угощать себя, как во времена нашего брака.
— Последний вопрос, господин Ша́ад.
— Мы были друзьями.
— Как это получилось, господин доктор? Я хочу сказать: что же в конце концов избавило вас от вашей патологической ревности?
— Видео.
— Не понимаю...
— Вы не знаете, что такое видео?
— Конечно, знаю...

— Я сделал это не тайком, а по ее предложению: однажды я сел в соседнюю комнату и — не куря! — смотрел на экране, как она занимается любовью с другими мужчинами, причем именно в тот момент, когда я это видел. Поначалу мне было не по себе, но Розалинда настояла. Чтобы избавить меня от ревности. Это был важный урок. Я тогда видел трех клиентов, каждый раз дело происходило, конечно, по-другому, но не так уж и по-разному.
— Почему это был важный урок?
— Хотя экран довольно маленький, все было ясно видно: как правило, половые отношения для нее почти ничего не значили. В лучшем случае, говорила она, коитус ее забавляет. Даже если мужчине удавалось вызвать у нее экстаз, это у нее никак не было связано с личной симпатией, я не знаю, заметил ли это второй клиент. Он не знал, что до него один уже здесь побывал и он унаследовал ее в состоянии определенного возбуждения, которое ему льстило. Он отнес его на свой счет... Потом мы вместе пошли в Кроненхалле, мы говорили о других вещах, и я не чувствовал себя обманутым. В сущности, я давно уже мог это знать. Еще во время нашего брака. Постель не была для Розалинды слишком интимной областью.

Я сижу в своем врачебном кабинете, сцепив руки на затылке, уставившись в окно (выходящее на задний двор с пятью березами и детской площадкой) или в затянутый зеленым ковром пол, а снаружи на входной двери все еще висит медная табличка:

Д-Р МЕД. ФЕЛИКС ШААД
ТЕРАПЕВТ
ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ

Югославка не решается постучать, когда она не знает, чем ей заниматься. Вероятно, она читает и учит немецкий. Когда мои руки затекают, я снимаю их с затылка и стригу себе ногти.

— Есть ли еще у кого-нибудь вопрос?

Чего только не находит прокуратура:

— «Должен признаться, вчера на футбольном поле я думал только о тебе: две команды в качестве постельных партнеров, одиннадцать в белых майках и одиннадцать в красных, плюс еще лысый судья и два судьи на линии — итого двадцать пять человек. Как ты сказала. От этого представления мне уже не избавиться. В конце концов тебе ведь тридцать один год. Мне не следовало спрашивать, сколько мужчин переспали с тобой,— ты так искренне ответила! Прости меня за этот вопрос. На футбольном поле я учел и то, что двоих, судя по твоим словам, ты бы охотно вычеркнула, и потому я попросту игнорировал обоих судей на линии — оставшихся тоже хватало, ты — с двумя полными командами, да еще запасные игроки на скамейке, и еще один, бегающий по краю поля, чтобы согреться,— с ума можно сойти, а вечером я вижу тебя под душем»...

Через три месяца после того, как меня оправдали (свою практику я тем временем продал), прокурор все еще допытывается:

— Как бы то ни было, подобные письма, отправленные или неотправленные, свидетельствуют о патологической ревности и склонности к мании преследования, никоим образом не исключающей действий в состоянии аффекта — действий, которые преступник, естественно, сразу же вытесняет из своего сознания воспоминаниями, например, о том, как он кормил чаек или лебедей...

Цюрих — город небольшой; на улице неизбежно встретишь, рано или поздно, кого-нибудь из выступавших на суде в качестве свидетеля:

— Я полагаю, господин Штоккер, вы каждый раз по телефону договаривались о времени, так что, когда вы звонили, Розалинда Ц. знала, кто стоит у ее двери.
— Разумеется.

— Бывало когда-нибудь, чтобы дверь ее квартиры вообще не была заперта, так что, просто нажав ручку, можно было войти?
— Нет.
— Такого с вами никогда не бывало...
— Никогда.
— И вы никогда, не позвонив в дверь, просто не нажимали ручку?
— Это не в моем характере.
— Я полагаю, господин Штоккер, вы иной раз во время своих визитов пользовались ванной и если да, то не видели ли вы когда-нибудь галстука, галстука, принадлежащего другому посетителю?
— Да, но не в ванной.
— Где же?
— В прихожей.
— Вы помните, какого цвета был галстук?
— Конечно, я знал, что я там не единственный посетитель, и потому мне не было дела до этого галстука. Но заметить я его заметил, должен признаться. Это было в декабре. Я даже, помнится, что-то сказал, какую-то шутку, и в следующий раз галстука на вешалке уже не было.
— Где же он был?
— Этого я не знаю.
— Вы знали, чей это галстук?
— О таких вещах не спрашивают, господин прокурор...

Если встретишь на улице человека, которого видел только в зале суда, кто должен первым поздороваться: оправданный или свидетель?

— Когда вы в последний раз были у Розалинды Ц.?
— В январе.
— Согласно книге записей Розалинды Ц., это было шестого февраля, и это сходится также с датой на вашем последнем чеке, господин Штоккер.
— У меня нет с собой моей записной книжки.
— Еще один вопрос, господин Штоккер...
— Относительно чека, мне кажется, вы неправильно себе представляете дело. Розалинда не была проституткой, уличной девкой, как вы, по-видимому, считаете, господин прокурор.
— Кем же она была?
— Иной раз мы только разговаривали.
— И за это вы потом оставляли чек...
— Я, конечно, задавался вопросом, каким образом Розалинда все это может оплачивать — хорошую квартиру и вообще, копченую лососину и шампанское, известно, сколько все это стоит, и все эти книги, которые лежали на ее кровати, и вообще.
— Что это были за книги?
— Я не очень большой интеллектуал.
— Вы считали Розалинду интеллектуальной?
— Да, я бы так сказал.
— Относительно книг, которые лежали на кровати: у вас, господин Штоккер, было впечатление, что Розалинда Ц. читала эти книги, или эти книги лежали просто так — для создания атмосферы?
— Я не понимаю вопроса...
— Почему книги лежали на кровати?
— Я тоже задавался этим вопросом.
— Господин Штоккер, а о чем вы говорили?
— О людях и вообще.
— Например, о господине докторе Феликсе Шааде?
— Нет.
— Ни слова?
— Я знал, что есть такой господин — доктор Шаад.

Попадаются и свидетели, от которых никакого толка:

— Разве Розалинда Ц. выдавала себя за венгерку или вы просто считали, господин Шпицер, что дочь валлийца и уроженки Аппенцеля не может быть такой очаровательной?
— У меня в этом отношении нет никаких предрассудков.
— Вы знаете настоящих венгерок?
— Едва ли.
— Другой вопрос, господин Шпицер: пользуясь ванной, вы не видели галстука — галстука, принадлежащего другому господину?
— Нет.
— И в прихожей тоже нет?
— Нет.
— Вы знали о существовании господина доктора Шаада?
— Я думал, его зовут Цогт.

Ничего другого не остается, кроме биллиарда. Конечно, я испробовал и кино, но я редко просиживал до конца сеанса: я не выношу сцен с насилием.

— Вы тоже сказали бы, что обвиняемый и мухи не обидит?

Через тридцать недель после моего оправдания меня уже почти не волнует, когда я вижу, как прокурор вяло поднимает руку, чтобы попросить разрешения задать новый вопрос свидетелю,— ему приходится подождать, пока я ударю шар, и если попаду, ему приходится подождать, пока я обойду стол и, неторопливо рассмотрев положение (к сожалению, нужен опять удар из-за спины), снова ударю по шару.

— Когда ваша сестра была замужем за Феликсом Шаадом, вы, значит, часто видели ее с заплаканными глазами?
— Да.
— Правильно ли говорят, господин Цогт, что Розалинда была мягкой и покладистой женщиной, которая все готова снести от мужчины, если она его любит?
— Она умела быть покладистой.
— Когда вы видели ее заплаканные глаза, господин Цогт, вам не приходило в голову, что обвиняемый причинял Розалинде, вашей сестре, физические или моральные страдания?

Свидетель задумывается.

— Разве Розалинда никогда не рассказывала, что господин доктор Шаад болезненно ревнив, что он едва справляется с собой, если она с кем-нибудь танцует, что он устраивает сцены, если целый вечер не знает, где она?
— Моя сестра была очень скрытной.

Не следует делать никаких записей — в один прекрасный день тебя могут арестовать по ложному подозрению, и прокурор зачитает:

— «Она мразь, мразь, даже если иной раз и не врет, а мразь не задушишь».

Свидетелям защиты нелегко:

— Господин Шаад спас мне жизнь.
— Каким образом?
— Не как врач... Я видел, как он кормил лебедей, и заговорил с ним, не будучи с ним знаком. Я тогда еще учился. Была суббота, я это помню, потому что позже у нас было общее собрание.
— Дождь шел?
— Нет.
— Или снег?
— Нет.
— Значит, это было не восьмого февраля.
— Да я этого и не говорил...
— Вам известно, господин Росси, что ложные показания караются тюремным заключением, в тяжких случаях — сроком до пяти лет, а сейчас это и был бы тяжкий случай: речь идет об алиби заключенного.

— Я и говорю только правду.
— Каким же образом господин Шаад спас вам жизнь?
— Я могу только сказать, что не ожидал этого, когда заговорил с незнакомым господином. Дождешься такого от взрослых! Это был первый человек, который не держался так, словно он все знает лучше всех.
— Господин Шаад вам представился?
— Он меня слушал.
— И таким образом спас вам жизнь...
— Да.
— Кормя лебедей...
— Так сказать.
— Господин Росси, речь идет о серьезном деле.
— Господин заметил мое настроение и вдруг спросил, как я хочу покончить с собой. А я вовсе не говорил о себе. Я просто плел всякую чушь. Сейчас я уже не могу сказать, почему я тогда хотел покончить с собой. Господин Шаад говорил очень по-деловому. Без всякой морали. О чисто технических деталях.
— Относительно самоубийства?
— Да.
— Что же он вам говорил?
— Если бы я только помнил...
— И это-то, господин Росси, и был тот разговор у озера, который, как вы считаете, спас вам, ученику, жизнь?
— Господин Шаад, может быть, этого и не знает.

Иной раз и обвиняемый узнает что-то новое.

— Вы художник-график?
— Дизайнер.
— Вы знали обвиняемого?
— Я и сейчас его знаю.
— Вы были друзьями, когда Розалинда, ваша тогдашняя супруга, состояла в тайной связи с господином доктором Шаадом в Цюрихе.
— Да.
— Вы были друзьями...
— Мы вместе гуляли по окрестностям.
— Верно ли, господин Швандер, что во время одной из прогулок обвиняемый попытался откровенно поговорить с вами о вашем браке, но вы попросту не захотели слушать. Это было на Альбисе под Цюрихом, так утверждает господин Шаад, и вы с ним три часа просидели тогда в гостинице, но вы попросту не хотели ничего слушать, господин Швандер, о его связи с Розалиндой. Это верно?
— Припоминаю...
— Почему вы не хотели слушать?
— Я знал о другой тогдашней связи Розалинды, но у меня было впечатление, что Феликс ничего об этом не знает, и мне не хотелось говорить о моем браке, это верно.

Прокурор нашел еще одну запись, она касалась моей патологии:

— «Я смотрю, например, как она чистит спаржу, мы о чем-то говорим, вдруг я пересчитываю очищенные тугие стебли на кухонном столе — их двадцать четыре, я, конечно, ничего не говорю, но думаю: одного не хватает!»

Сколько кессонов на потолке зала суда? Мне кажется, тридцать шесть. Зал продолговатый. Это значило бы четырежды девять? Попробую еще прикинуть: их было сорок пять. Квадратные или ромбовидные? Решаю остановиться на квадратах. И балки чем-то разрисованы, это я помню, сам же потолок белый. Или наоборот? Посредине висела торжественная люстра. Я знаю: когда снаружи светит солнце, ее не замечаешь; лишь при дождливой погоде нужен ее торжественный свет. Сколько рожков у этой люстры? Я бы сказал, они медные. Признаюсь: я не знаю! — хотя я и просидел там по меньшей мере сто часов, скрестив руки на груди, уставившись в потолок, в то время как мои супруги давали показания о своем браке.

— Вы фрау профессор Йетцер?
— Я не профессор.
— Значит, фрау Йетцер...
— Пожалуйста.
— Имя?
— Хелена-Матильда.
— Ваша девичья фамилия Кнухель?
— Я домашняя хозяйка.
— Вы были первой супругой обвиняемого, фрау Йетцер, прошло много времени, и вы, конечно, не обязаны давать показания, если не помните...

Если по лицу обвиняемого видно, что он растроган, и если он сидит, не скрестив руки на груди, а всем видом своим выражает сочувствие и согласие еще до того, как свидетельница начала отвечать,— это производит благоприятное впечатление.

— Вы поняли вопрос, фрау Йетцер?
— Мы оба были очень молоды.
— Феликс Шаад вас никогда не бил, не угрожал физической расправой, он выносил мусор, уходя на работу, в воскресенье мыл посуду и так далее... Что вы еще помните, фрау Йетцер?
— У нас было мало денег.
— Я спрашиваю об особых происшествиях.
— Феликс работал ассистентом.
— У вас было мало денег...
— Очень мало.
— А что вы еще помните?
— Мы много бродили по окрестностям.
— У вас никогда не было впечатления, фрау Йетцер, что Феликс Шаад страдал болезненной ревностью, хотя, как правило, обуздывал себя? Я хочу сказать: даже когда у него не было повода к ревности.
— У него не было поводов для этого.
— Вы много бродили по окрестностям...
— Летом с палаткой.
— Вы оба любили природу...
— Зимой мы бегали на длинные дистанции.
— Почему же дело дошло до развода?
— Я думаю, мы оба разочаровались.
— А почему?
— У меня это тоже был первый брак.
— Позднее вы снова вышли замуж, госпожа Йетцер, стали матерью трех дочерей, очевидно, причина непрочности брака не в вас.
— Со временем я стала более зрелой...

Мы переоцениваем память людей, ежедневно читающих бульварную прессу. Я могу без стеснения подойти к киоску, где несколько недель назад висел мой портрет со словами: «У Шаада нет алиби», «Рыцарь Синяя Борода перед судом», «Доктор с семью женами». А между тем я ношу тот же костюм, что и до суда. Даже когда я покупаю новые очки и оптик, собственноручно записав фамилию, смотрит клиенту в глаза, чтобы измерить расстояние между зрачками, я не чувствую себя узнанным.

— Что означает для вас крест, господин Шаад?

Сны тоже подлежат допросу.

— Какой величины был этот крест?
— Небольшой. Примерно как аварийный знак. Поэтому я и хотел поставить его на дороге. Как аварийный знак. Вдруг он стал большим, величиной почти с меня. Как надгробный крест.
— А откуда у вас взялся этот крест?
— Не имею представления.
— Если он был небольшой, как аварийный знак, господин Шаад, возможно ли, что вы нашли его в багажнике, когда искали настоящий аварийный знак?

— Это возможно...
— А как он попал в багажник?
— Не имею представления...
— Вы хотели, как вы говорите, поставить на дороге аварийный знак, а когда пешеходы заметили, что это надгробный крест, из железа и с орнаментом, они остановились.
— Вдруг собралась целая толпа.
— Вы можете точнее описать этот крест?
— Он был довольно тяжелый.
— А еще?
— Мне кажется, он был ржавый.
— Вы хотели воткнуть его в асфальт?
— Да.
— Как аварийный знак?
— Мне так кажется.
— Прохожие что-нибудь говорили?
— Я ничего не слышал. Нет. Впрочем, я был готов к тому, что меня арестуют.
— Почему?
— Потому что крест мне не принадлежал.
— Вы это сознавали, господин Шаад?
— Кто-то спросил, откуда он у меня, этот крест, но это был не полицейский. Скорее знаток. Он проявил интерес как антиквар, не спрашивая цены.
— А потом?
— Мне стало стыдно.
— Вы помните, почему вам стало стыдно?
— Потому что ничего не получалось, я снова и снова пытался вколотить крест в асфальт, все это видели, а у меня ничего не получалось...
— На этом вы проснулись?
— Я был весь мокрый от пота... Помню только, что вдруг оказался в преисподней, или мне это почудилось, и я совсем не удивился; когда же я захотел положить крест обратно в багажник, мою машину украли. На глазах у свидетелей! Но они ничего не знают, или их больше нет...

Путешествия — в Японию, например, где никто не знает об обвинении и никто не слышал показаний свидетелей,— совсем не помогают; я сижу, обхватив руками левое или правое колено, на скамье в императорских садах в Киото и слышу показания эксперта-психиатра:

— Несомненно, налицо параноидный элемент, как нередко бывает у алкоголиков. Как мы видели, это находит свое выражение прежде всего в письмах, которые часто остаются неотправленными, что, с другой стороны, свидетельствует о том, что обвиняемый, как правило, уже через несколько часов осознает, сколь сильно он поддался подозрительности. Его повышенную эмоциональность я уже охарактеризовал вначале. Резюмирую: обвиняемого нельзя признать ограниченно вменяемым...

Сады камней и т. д., искательницы жемчуга в таком-то месте — все это знаешь и не побывав в Японии. Для алиби этого недостаточно. Даже если я рассказываю, как японская массажистка трамбует своими маленькими пятками мой позвоночник, это не доказывает, что я сейчас нахожусь в Японии,— об этом тоже можно было где-то прочитать.

— Относительно японских садов камней, которые вы, господин доктор Шаад, якобы посетили в то воскресенье, и маленьких искательниц жемчуга в Микимото — так, кажется, называется это место,— это вам известно из журналов, которые лежат в вашей приемной, господин доктор Шаад, или вы это сами видели?

Недолгое пребывание в Гонконге тоже мало помогает. Две ночи в китайском борделе. Уже во время экскурсии в гавань я снова слышу вопросы присяжных:

— Я тоже полностью прочитал письма, имеющиеся в распоряжении суда, и хотел бы спросить у господина доктора Шаада: разве женщина не имеет права сжечь любовные письма?
— Да, конечно...
— Почему же вы оставили копии?

— Вы шесть раз разводились, господин доктор Шаад, а почему ваши браки становились все короче?
— Жизнь становится короче.
— Вам не кажется, господин доктор Шаад, что причина в вас? Зачем же вы женитесь снова и снова?

— Я хотел бы спросить у обвиняемого, считает ли он, что когда-либо понимал женщину. Мне кажется, что нет, господин доктор: ведь вы постоянно приписываете женщинам то, что сами думаете, а если какая-нибудь женщина не соответствует вашему мужскому истолкованию, что тогда?

— Относительно цветов, которые лежали на трупе: кровавое злодеяние произошло в феврале, и, следовательно, это могли быть только оранжерейные лилии, это ясно, относительно лилий — мы ведь их видели на снимке, и я, как садовник, хочу задать один вопрос: известно ли суду, сколько времени могут сохраняться оранжерейные лилии? Как специалист я считаю, что только сам преступник мог принести эти лилии, иначе на снимке, который мы сейчас видели, они не были бы такими свежими... Это не вопрос, это констатация.

Незабываем также один друг:

— Вы, значит, беседовали с обвиняемым главным образом об астрономии, это мы слышали, господин Нойенбургер, и то, что вы охотно распивали с ним бутылочку старого бордо, хотя обвиняемый, как вы заверяете, вообще ничего не понимает в астрономии, это мы тоже уже слышали.
— Он попросту не умеет думать.
— Господин Нойенбургер...
— А в остальном он славный малый.
— Вы знали Розалинду Ц.?
— Я не знаю ни одного врача, умеющего думать. К примеру, мой врач удивляется, что я до сих пор жив, и он мне за это благодарен. Врачу, который никого не отправил на тот свет, просто везет...
— Вернемся к моему вопросу.
— А Шааду просто не повезло.
— Как он говорил о Розалинде?
— В то время я как раз занимался Эйнштейном...
— Вы хотите сказать: Шааду приходилось при этом помалкивать?
— Говорить об Эйнштейне, если собеседник ничего не смыслит в математике, очень нелегко, но, к счастью, у меня есть две собаки, и если нужно переменить тему, стоит только похлопать себя по бедру — и они уже тут как тут, а собачьи истории всегда забавны... Шаад начисто лишен юмора... Я бы не хотел быть его женой... Глядите, я уже двадцать четыре года женат, все ведь дело в юморе, человеку этого не выдержать, если у него нет юмора, моя жена тоже чуть не стала актрисой...
— Когда вы видели Розалинду в последний раз?
— Он ведь представлял мне каждую женщину, на которой собирался жениться, и говорил, пусть бог его проклянет, если он когда-нибудь ее обманет.
— Что вы этим хотите сказать?
— Да это же нелепость.

Свидетель хихикает.

— Господин Нойенбургер...
— Мне жаль Шаада.
— Вы назвали Розалинду Ц. коровой, в то же время вы этой женщине однажды подарили и посвятили рисунок...
— Стало быть, я имел в виду другую.

— Но речь идет о Розалинде Ц.

— Меня никогда не интересовали браки моего друга, и я думаю, он это ценил. Я сам тоже не рассказываю о своем браке. В делах сексуальных мой дух безмолвствует.

— Последний вопрос, господин Нойенбургер.

— Врач, который не знает, что в биохимии происходит революция, это же нелепость, в таком случае я уж лучше отправлюсь гулять со своими двумя собаками...

— Вернемся к обвиняемому.

— Мои собаки всегда действовали ему на нервы.

— В каком смысле господин Шаад — славный малый?

— В конце концов мы тридцать лет друзья, хотя нам и нечего сказать друг другу. Но я охотно пью с ним вино. Я лично в друзьях не нуждаюсь. Я сам умею думать.

— Вы говорили об Эйнштейне...

— Я без конца занимаюсь Эйнштейном, значение его мыслей до сих пор по-настоящему еще не осознано. В философском плане. Я человек философского склада, моя жена — скорее музыкального.

— Я не об этом спрашивал.

— Меня раздражает его вранье, лучше уж действительно говорить только об Эйнштейне; когда Шаад рассказывает что-нибудь о себе, все вообще неверно...

— Вы можете привести пример?

— Я не хочу о нем говорить ничего плохого.

— Вы можете вспомнить, о чем говорил обвиняемый, ваш друг, когда он не молчал?

— Этого я не помню...

— Как свидетель, господин Нойенбургер, вы обязаны говорить правду и ничего кроме правды, вы знаете, что ложные показания караются...

— И потом Шаад ведь такой чувствительный, сверх всякой меры!

— Когда он узнаёт, что́ вы говорите за его спиной...

— Тогда он целый год мне не звонит.

— А вы ему звоните?

— Я думаю, он этого ждет... А потом он уже опять женат, я даже не знал, что он развелся с этой Розалиндой Ц.!

Свидетель хихикает украдкой.

— Последний вопрос, господин Нойенбургер...

Путешествия заканчиваются возвращением домой. (Цюрих — Клотен.) Таксист, приветливый венгр, знает, как ехать — через Кройцплац. Мой свидетель, хозяин гаража, как раз там отпускает горючее.

— У вас, значит, было впечатление, что он пьян?

— Он даже не помнил, что утром уже был здесь и что я ему утром говорил о сцеплении.

— Он был вашим клиентом?

— Много лет.

— Когда он привез вам свой «вольво»?

— До обеда, я точно помню, и не будь господин доктор старым клиентом, я бы ему не обещал, что он в тот же день сможет поехать за город. По субботам у нас работает только один механик.

— Когда господин Шаад опять пришел?

— Вскоре после полудня.

— Вскоре после полудня...

— Я все ему объяснил — сцепление долго не выдержит. Оно напрочь сносилось. А чтобы заменить сцепление, как известно, требуется время.

— Его машина, следовательно, в полдень еще не была готова...

— К сожалению.

— Значит, он не мог поехать за город...

— Господин доктор огорчился, но это единственное, что я мог в субботу обе-

щать, и господин доктор это понимал, я сказал, что попытаюсь еще раз подтянуть сцепление.

— Когда господин Шаад опять пришел?

— Около шести часов. Как договорились.

— И его машина была уже в порядке?

— Вроде бы.

— Придя около шести часов, обвиняемый все еще был в галстуке, как в полдень?

— Вроде бы.

— Да или нет?

— Он висел довольно криво, его галстук, и довольно расхристанно, ну как это бывает, когда человек перебрал, потому-то я и не выдал машины, это по меньшей мере стоило бы ему водительских прав. Уж очень от него пахло. А что врачу делать без водительских прав!

— Я не об этом спрашиваю, господин Люшер.

— Уж очень пахло.

— Я спрашиваю вас: когда вы в ту субботу видели обвиняемого около шести часов, на нем был галстук или нет?

— Так я же это уже сказал.

Сцепление еще и по сей день не в порядке.

— Господин Шаад, почему вы то и дело качаете головой?

Я еще и сегодня жду, чтобы мой официальный защитник, в течение трех недель старавшийся заставить моих бывших супруг дать обеляющие показания, наконец ознакомил девятерых присяжных с тем, что тоже является правдой:

— Напомню о его многолетней деятельности в совете общины, о его дельных советах при постройке больниц, не забудем его личного участия в размещении и устройстве беженцев, его борьбы против загрязнения наших озер, не говоря уже о его повседневной работе в качестве практикующего и популярного врача, далее напомню о его самоотверженном труде тогда в Биафре, где он три месяца лечил больных, а также о его многочисленных лекциях по поводу планирования семьи, не забудем его деятельности по борьбе с наркоманией среди нашей молодежи, его серьезного изучения иглоукалывания и не в последнюю очередь — его успехов в лечении иглоукалыванием. В конце концов его биография состоит не только из браков! Не в последнюю очередь напомню о его интересе к музыке, например...

Прокурор нашел еще одну запись:

— «Если эрекции порой не получается, а сейчас это именно так, женщины склонны ставить под вопрос и все другие способности мужчины. Не проходит дня без нескольких небольших укоров. Я и в самом деле делаю ошибку за ошибкой: в обществе, за рулем, в саду и т. д., надеюсь, хоть не в клинике».

Помощь приходит со стороны присяжного — садовника:

— Я хотел бы задать вопрос обвиняемому, то бишь спросить насчет этого дела и не отвлекаться от него, ведь эта Розалинда Ц. как женщина не была неудовлетворена, я хочу сказать, в то время, когда она была убита, и зачем бы ей доводить придирками господина доктора Шаада до того, чтобы он убил ее, ведь он же улаживал ее налоговые дела, этого я не понимаю.

Иной раз я остаюсь лежать в ванне после того, как вытекла вода,— только капает из крана, я лежу с закрытыми глазами и слышу:

— У нас служила испанка, и Феликс иногда готовил, это доставляло ему удовольствие. Пожалуйста, не сочтите это жалобой! Он знал, что я не его служанка.

— Он знал это...

— Феликс всегда был очень великодушен.
— Но материально вы чувствовали себя зависимой от него...
— Этого я не могу отрицать.

Это могла быть белокурая Андреа.

— Я играла на скрипке, например.
— Но у вас же времени на это не хватало...
— Возможно, я сама была тут виновата.
— В чем вы были виноваты, фрау Шаад?
— Я очень требовательна к себе.
— А Феликс Шаад этого не понимал?
— Я часто посещала собрания Эраноса.
— Что это такое?
— Он считал, что от университета мне было бы больше пользы, какой-нибудь курс лекций или семинар, а потом экзамены, но по каким предметам, он тоже не знал.
— Понимаю...
— Но это еще не значит, что я просто домашняя хозяйка.
— Это верно.
— Я вышла замуж за Шаада, потому что любила его.
— Чем вы до этого занимались?
— Мне нужно было зарабатывать на жизнь.
— Вы работали внештатной учительницей?
— Да.
— А кем вы работаете сейчас?
— Я больше не верю в наше школьное дело.
— И вы можете на это жить, фрау доктор Шаад?

Я намыливаю голову.

— Вы тоже, фрау доктор Шаад, сказали бы, что обвиняемый и мухи не обидит?
— Я бы так не сказала.
— А как бы вы сказали?
— Когда он выходил из себя, я хочу сказать, когда он терял рассудок, или как это назвать, он был в состоянии разорвать на себе рубашку, я не раз это видела, или он хватал какой-нибудь предмет и разбивал его вдребезги на моих глазах.
— Что за предмет?
— Что попадет под руку...
— Например?
— Если он не мог это сделать на моих глазах, я думаю, он не стал бы это делать. Например, на моих глазах разбивал свою трубку, самую лучшую, или свои очки — чтобы меня наказать.
— За что?
— Это-то больше всего и выводило его из себя: я не знала, за что он хочет меня наказать. Я только видела, как он разбивал свои дорогие трубки, одну за другой, потому что я не понимала, чем вызвала его ярость. Однажды он выбросил свои часы из окна.
— То есть предметы, которые принадлежали ему.
— Это я и имею в виду, когда говорю: одержимый собственными переживаниями.
— На других он, значит, не кидается?
— Этого мне не доводилось видеть.
— Этого вам не доводилось видеть...
— Скорее он задушил бы себя.

Это Гизель.
(Она тоже пополнела.)
Я намыливаю голову.

— И когда он вышивал, фрау Шаад,— а это доводилось видеть и вам,— он ходил взад-вперед по комнате и говорил.

— О да.
— Это доводилось видеть и вам...
— Я давала ему выговориться.
— Ни в чем не возражая?
— Он этого-то и ждал.
— И потом вы шли спать?
— В полночь.
— А что делал он?
— Он вызывал во мне жалость.

Это Коринна.
(Или Андреа?)
Я споласкиваю волосы.

— Вы знали, фрау доктор, что Феликс Шаад, будучи женат на вас, вел что-то вроде тайного дневника?

Свидетельница молчит.

— Вы этого не знали.
— Я предполагала.
— Почему?
— Когда мы ссорились, я хочу сказать, когда Феликс вел себя так, словно больше не выдержит, как это, вероятно, бывает во всяком браке, раньше у нас была собака, и он уходил с собакой в лес, но когда нашу собаку переехало, мы не хотели заводить другую, и теперь, когда мы ссорились, Феликс уходил не в лес, а в свой кабинет, и я предполагала, что он, возможно, ведет там дневник, потому что через час или около того он как бы успокаивался. Это я заметила. Когда он возвращался из своего кабинета, он вел себя так, будто говорить больше не о чем.
— Потому что он записал свою версию.
— Он становился другим человеком.
— А вас не задевало, что муж, вместо того чтобы высказаться в откровенном разговоре, исписывал тетрадку за тетрадкой?
— Предполагать-то я предполагала...
— Вы никогда не заглядывали в такую тетрадку?
— Я знала, где он их прячет.
— И вы не интересовались?
— Когда он еще прогуливал собаку, я ведь тоже не знала, что он говорил нашей собаке в лесу.
— Вы не интересовались...
— Иногда я находила тетрадки в кармане его пиджака, но, откровенно говоря, не считала таким уж интересным то, что Феликс записывал в них.
— Вы, следовательно, шпионили?
— Нет.
— Откуда же вы, фрау доктор, знаете, что написано в этих тетрадках? Кстати, их несколько десятков.
— Мне надо было только выждать.
— Что вы имеете в виду?
— Когда мы в очередной раз ссорились, Феликс выкладывал все, что он думал по поводу последней или предпоследней ссоры.
— И вы не считали это интересным?
— Откровенно говоря, нет...

Это Лилиан.
(Мать моего сына.)
Я сушу волосы.

— С какого времени у вас есть водительские права, фрау доктор?
— Я должна посмотреть.
— Примерно?
— Я думаю, со времени моего совершеннолетия.

— У вас была когда-нибудь авария, фрау доктор, я имею в виду не просто царапины или вмятины на кузове, а такая авария, после которой Феликс Шаад беспокоился бы о вас, когда вы ездили одна в машине?
— Я езжу лучше его.
— Машина у вас застрахована на полную стоимость?
— Кажется, наполовину.
— Вы, значит, как водитель уверены в себе. По праву. У вас никогда не было настоящей аварии, фрау Шаад, ни до брака, ни после того, как вы стали фрау доктор Шаад и ездили на «моррисе».
— Это был «фиат».
— Потом уже, после «морриса».
— Я еще и сейчас езжу на этом «фиате».
— Фрау доктор Шаад, помните ли вы семейную ссору в Милане: обвиняемый, ваш тогдашний супруг, чтобы положить конец ссоре, хотел отправить вас одну домой на машине, а сам полететь самолетом? Так это было? И вы будто бы сказали: «В таком случае я наеду на дерево».
— Во время семейной ссоры всякое говорят.
— Что ответил господин Шаад?

Свидетельница задумывается.

— Что он вам сказал: «Ну и наезжай на дерево!» — или он сказал: «Что это, шантаж?»
— Это было не в Милане.
— Где это было, фрау Шаад?
— Мне кажется, в Пьяченце, вернее, я точно знаю, что было в Пьяченце, он хотел взять такси до Милана, но не взял, и мы вместе поехали через Сен-Готард.
— Кто тогда сидел за рулем?
— Я.
— Относительно дерева: обвиняемый утверждает, что есть фразы, которые он никогда в жизни не мог бы произнести,— например, фразу: «Ну и наезжай на дерево!» Поэтому он и возмутился, когда вы потом говорили его друзьям, будто Шаад сказал вам: «Ну и наезжай на дерево!»
— Это были мои друзья.
— А вы действительно это говорили, и он пригрозил вам разводом, если вы не возьмете обратно свои слова, причем письменно?
— Я это и сделала.
— В таком случае у меня нет больше вопросов.

А вот Андреа:

— Но сказал же он это!

Одинаковой памяти не бывает.

— Можно отпустить свидетельницу?

Один раз, один-единственный раз за три недели участковый судья, который держит у левого уха руку, когда дают показания свидетели, задает вопрос:
— Вы знаете, господин доктор Шаад, как выглядит машина — «фиат», например,— после того, как она наехала на дерево?
— Нет.
— Конечно, дело зависит от скорости.
— Наверное.

— Вы, значит, никогда не видели машины, которая на дозволенной скорости — восемьдесят километров в час — наехала бы на дерево?

Им осталось допросить еще одну супругу.

— Вы, значит, не разведены, фрау доктор Шаад?
— Нет.

— Вы замужем за Феликсом Шаадом?
— Да.
— Это правда?

Мы улыбаемся друг другу.

— Я полагаю, фрау доктор, что год назад, выходя замуж, вы знали о прошлой жизни обвиняемого, например о его шести браках, или вы узнали о них на этом процессе?
— О большей части я знала.
— И это вас не испугало?
— У меня тоже есть прошлая жизнь.
— Это верно, что вы иной раз называли обвиняемого рыцарем Синяя Борода, фрау Шаад?
— Это ласкательное имя...
— Вы так считаете?
— Феликс — рыцарь.
— А почему вам пришло в голову прозвище Синяя Борода?
Потому что он как-то сказал, что у него в погребе уже сидят шесть жен, и, наконец, я знала: его прежние жены живут неплохо.
— За исключением Розалинды Ц.

Свидетельница молчит.

— Вы знали Розалинду Ц.?
— Он рассказывал о ней.
— Что, например?
— Что́ она думает о новом папе.
— Значит, вы знали, что господин доктор Шаад регулярно ее навещает, и это вас не трогало?
— Нет.
— Верно ли, фрау Шаад, что вы и господин доктор Шаад видитесь редко, что вы вместе путешествуете, но живете врозь?
— Это верно.
— Вы считаете это правильным...
— Я не девочка, господин прокурор, мне тридцать шесть лет, и я давно уже знаю, что никогда больше не захочу жить вместе с мужчиной.
— И господин Шаад не возражает?
— Он рыцарь.
— Тем не менее я хочу задать еще один вопрос. Если я правильно прочитал ваши письма, фрау Шаад, вы с самого начала заявили, что не собираетесь давать зарок — вдруг какой-нибудь мужчина заинтересует вас и так далее.
— Я не понимаю вопроса...
— Как к этому отнесся обвиняемый?
— Если что-то изменится между нами, мой муж может быть уверен, что я дам ему знать.
— И господин доктор Шаад был уверен...
— Вначале ведь не знаешь и по большей части ошибаешься, а уже через две недели видишь, что с другим мужчиной вовсе не так интересно, и я не считаю нужным, чтобы Феликс каждый раз это знал.
— И он этого не знает...

Это Ютта
(в настоящее время живет в Кении).
Свидетели всегда вызывают больше доверия, чем обвиняемый, поэтому защитник охотнее обращается к свидетельницам:

— Вы, значит, считаете это счастливым браком...

Я справился в библиотеке: сказку о рыцаре, который убил своих семь жен и трупы спрятал в погребе, написал француз, Шарль Перро, в семнадцатом веке.

— Объявляю слушание дела законченным. Суд удаляется на совещание. Приговор будет оглашен в пятницу в одиннадцать часов.

Чтение газеты помогает ненадолго.

Папа выздоровеет...

Розалинда не воскреснет.

— Часто ли случается, чтобы какой-нибудь посетитель спрашивал, где найти определенную могилу? Я имею сейчас в виду не могилу родственника.

— Случается.

— Вы никогда не слыхали о деле Шаада?

— Нет.

— Оправданный утверждает, что ему пришлось трижды задать свой вопрос, прежде чем вы наконец перестали подстригать газон и остановили машинку — иначе вы вообще не могли услышать, о чем он вас спрашивает.

— На каждой могиле есть табличка.

— Вы не знали, где находится разыскиваемая могила, и продолжали работать. Верно? А господин смотрел на вас.

— Какое-то время да, верно.

— Какое время?

— Он так смотрел, будто никогда не видел машинки для подстригания газонов, хотя начинался дождь, это было, я думаю, около шести часов. А в шесть кладбище запирается.

— Господин Шаад знал об этом?

— Это ведь написано на вывеске при входе.

— Пока оправданный смотрел, как вы подстригаете газон, он вас еще о чем-нибудь спрашивал, или вы не слышали?

— Он пошел дальше.

— Верно ли, господин Кнапп, что оправданный сначала пошел не в том направлении, хотя вы ему сказали, где примерно находятся февральские захоронения прошлого года?

— Может быть, он не расслышал.

— Из-за машинки для подстригания газонов?

— Наши машинки совсем не такие громкие.

— Господин Кнапп, вы можете нам показать на этом плане, где вы вчера подстригали траву, когда оправданный справлялся о февральских захоронениях прошлого года?

— Вот здесь, да, примерно здесь...

— То есть недалеко от ворот?

— Как раз там, где газон.

— И это было, как вы сказали, около шести часов вечера, а ведь кладбище очень обширное, тем более если сначала идешь не в том направлении...

— Скажем: без четверти шесть.

— А вообще это возможно, господни Кнапп, чтобы, пойдя не в том направлении, человек мог за четверть часа найти могилу, которую искал, и вовремя уйти с кладбища?

— Едва ли.

— Вы его больше не видели?

— Возможно, это было и раньше, скажем, в половине шестого. Я ведь не мог стричь до шести часов. Возможно, он ушел с кладбища, когда я отводил машинку на склад. И потом ее нужно еще мыть, машинку-то. А находят или нет люди свои могилы, я хочу сказать, могилы своих родственников, это в конце концов не мое дело. Я отвечаю за газон и за венки, которые предназначены для компоста, а в шесть я кончаю работу.

— Последний вопрос, господин Кнапп.

— Что человеку делать ночью на кладбище?

— Когда оправданный, как вы сказали, ступил на газон, что строжайше запрещено,— не было ли у него в руках каких-нибудь цветов?

— Мне кажется, нет.

— Лилий, например?

Далее:

— Когда это было, фрау Хофер?
— Сегодня.
— В какое время дня?
— Сегодня утром. Я удивилась: я ведь первой вошла, когда открыли ворота, это всегда бывает в девять часов, я это знаю, точно в девять часов.
— Чему же вы удивились?
— Тому, что господин стоял уже там.
— Правильно ли я понял вас, фрау Хофер: могила, за которой вы ухаживаете, находится в том же ряду, что и могила Розалинды Цогг?
— Да, это так, к сожалению.
— Вы знали о деле Шаада?
— К счастью, мой покойный муж ничего об этом не узнает.
— Вы, значит, удивились, фрау Хофер. А как себя повел этот господин, когда увидел, что вы идете?
— Он стоял на пути.
— Что вы имеете в виду?
— Я думаю, он не видел меня и даже не слышал, а ведь на этой гравийной дорожке слышен каждый шаг. Он просто стоял там. Обычно я прихожу справа. Но я не хотела мешать господину, так глубоко задумавшемуся.
— Вы видели его впервые?
— Прошел уже год, как умер мой муж, и я каждую неделю хожу на кладбище, но у этой могилы я никогда никого не видела. Он просто стоял там и держал руки в карманах брюк — это все, что я могу сказать, да, а когда я подошла с другой стороны, он вдруг вынул сигарету, закурил ее и ушел.
— Господин был побрит или нет?
— Я не присматривалась.
— А на могиле, фрау Хофер,— я имею в виду могилу около вашего умершего мужа,— вам ничего не бросилось там в глаза?
— Множество окурков.
— Еще что?
— Там все еще нет могильной плиты — только веночек от кладбищенской администрации и табличка с номером.
— Никаких цветов?
— Там лежало несколько лилий...
— Эти лилии были свежие?
— Так было уже два или три раза, потом они лежали целую неделю, эти несколько лилий, пока садовник не уносил их и не выбрасывал.

Далее:

— Вы, значит, не отрицаете, господин Шаад, что провели ночь на кладбище, хотя это запрещено?
— Нет.
— Зачем вам это нужно было?
— Так получилось...
— Вы обнаружили, что ворота заперты.
— Совершенно верно.
— Почему вы не позвонили сторожу? Там ведь должен быть сторож, когда кладбище заперто. А около ворот находится будка. Почему вы не позвонили в полицию?
— Я не подумал об этом...
— Значит, вы остались на кладбище, хотя шел дождь, и что же вы делали все это время?
— Дождь шел недолго.
— Правильно ли я вас понял, господин доктор Шаад: вы впервые посетили эту могилу?
— Да.
— Хотя когда-то вы были женаты на жертве... Год назад, во время похорон, вы еще не были арестованы господин доктор Шаад. Вас арестовали позднее. И вы знали, когда и где состоятся похороны. Почему же вы тогда не пришли на похороны?

— Об этом меня уже спрашивал окружной прокурор.
— Вы ведь не были в отъезде.
— Нет.
— Когда хоронили жертву, вы были в своем врачебном кабинете и вели прием пациентов, которые могли и подождать два часа. Верно? Согласно записям, в одном случае это была хроническая мигрень, потом предстательная железа — вы направили больного к урологу, затем дама, которой вы сообщили, что анализы удовлетворительные. То есть никаких срочных случаев.
— Верно.
— Тем не менее вы не пошли на похороны.
— Верно.
— Разве это не странно, господин Шаад?
— Да.
— Согласно протоколу, вы ответили окружному прокурору, что не любите похороны, не выносите, когда евангелический священник пытается охарактеризовать покойного, которого он никогда в глаза не видел.
— Да, я это сказал.
— Относительно вашего нынешнего посещения кладбища: вы всю ночь простояли около ее могилы?
— Нет.
— Что же вы делали?
— Я потом нашел скамейку, какое-то время я, вероятно, поспал, а на рассвете опять пошел к могиле, чтобы посмотреть, все ли еще лежат там пять лилий.
— Эти лилии принесли вы?
— Нет.
— Кто же принес эти лилии?
— Этот вопрос я тоже задавал себе всю ночь.

Промежуточный вопрос председателя:

— В беседе с психиатром вы утверждали, что Розалинда Ц. никогда не знала сексуального удовлетворения. В том числе и со своими прежними партнерами. Откуда вам это известно?
— Она так говорила.
— А почему она говорила это вам?
— Чтобы сказать правду...
— Вы врач, господин доктор Шаад, и я полагаю, вы откровенно и по-деловому беседовали о том, что Розалинда Ц. понимала под сексуальным удовлетворением.
— Я не хотел бы больше говорить об этом.
— А когда она вам это сказала?
— После развода... До этого я был уверен, что дело во мне. Тогда ей было лишь немногим больше тридцати. Я только знал, она боится, что всю жизнь останется неудовлетворенной, и я не хотел быть повинным в этом.
— И потому вы потребовали тогда развода?
— Я любил ее.
— Потому развод...
— Совершенно верно.

Звонок от Нойенбургера: у него есть бутылка совершенно необыкновенного старого бордо. Он предлагает искренне, я знаю. Он хихикает. Разве от суда присяжных я ждал не комедии, а чего-то другого? Он хихикает так громко, что мне приходится отвести трубку от уха.

— Вы, значит, не можете сказать, господин Шаад, кто была та женщина, которая, как вы утверждаете, сунула вам в руку три пилюли?
— Нет.
— Она хотела вам помочь?
— Вроде бы.
— Вы говорите, у вас в руках был револьвер, маленький револьвер. Но откуда он у вас взялся, вы не знаете. И какой системы был револьвер, вы

тоже не можете сказать. Вы только знали, что он заряжен и снят с предохранителя.

— Да, я это знал.

— И тем не менее не выстрелил?

— Я пытался три раза.

— И вы считали, что вы одни?

— Я был один.

— Но где это происходило, вы тоже не знаете. В лесу или в вашем врачебном кабинете. Вы, значит, приставили револьвер к правому виску, господин доктор Шаад, и это было всерьез, вы хотели застрелиться...

— Что же еще?

— У вас была определенная причина?

— Это было всерьез.

— А женщина, которая вдруг там оказалась и видела, что револьвер не выстрелил,— вы можете сказать, какого цвета были у нее волосы?

— Нет.

— Тем не менее вы узнали эту женщину?

— Она была мне очень хорошо знакома, о да...

— Следовательно, женщина, которая видела, что нелепый револьвер не выстрелил, и которая вдруг сунула вам в руку три пилюли со словами, что и одной пилюли достаточно, не была вам неизвестна, а была вполне определенной личностью?

— О да...

— И она улыбалась.

— Она действительно хотела помочь.

— Что же было дальше?

— Я почувствовал, что за мной наблюдают, сначала это была лишь небольшая группка, по-видимому, ее новые друзья, но вдруг их стало больше, и все они видели, что я слишком труслив, чтобы проглотить три надежные пилюли.

Когда приступают к чтению приговора, обвиняемый должен встать; трое судей и девять присяжных сидят, каждый из них старается, чтобы публика в зале не догадалась по выражению лица, как он во время семичасового совещания высказался — «виновен» или «невиновен»; прокурор и защитник сидят уже не напротив обвиняемого, а на своих местах справа и слева, оба равнодушно уставившись в потолок зала; зал полон, требование обвинения известно: десять лет тюрьмы, за вычетом времени, проведенного в предварительном заключении. А на улице светит солнце, поэтому в зале суда так светло. Итак, обвиняемый стоит; лишь по рукам его видно: он не считает, что судебная ошибка невозможна. А потом, услышав приговор, он роняет руки на маленький стол, его подбородок начинает дрожать, он плачет, опустив голову,— очевидно, от счастья.

ВСЛЕДСТВИЕ ЭТОГО СУД ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обвиняемый Феликс Теодор Шаад, д-р мед., не виновен в рассмотренном преступлении и оправдан.
2. Издержки по производству расследования и суда берет на себя судебная касса.
3. За перенесенное предварительное заключение сроком в 291 день, равно как за причиненные судебным производством неприятности обвиняемому причитается возмещение убытков в размере 178 000 фр.
4. Уведомить прокуратуру, обвиняемого, потерпевших, а также эксперта-психиатра господина профессора д-ра Герберта Феттера.
5. Данное решение может быть опротестовано путем подачи кассационной жалобы в кантональный суд и суд конфедерации; обе должны быть поданы в течение десяти дней председателю суда присяжных.

За недостатком улик —
почему мне это послышалось?
В приговоре этого нет.

ДАЛЕЕ СУД ВЫНОСИТ РЕШЕНИЕ:

1. Орудия преступления, а также модель квартиры на Хорнштрассе передать в качестве вещественного доказательства в полицейское управление Цюрихского кантона.

2. Конфискованные в квартире, а также во врачебном кабинете обвиняемого документы — письма, фотографии, дневники и т. д.— после вступления приговора в силу передать в распоряжение обвиняемого.

Самоубийство после оправдания за недостатком улик исключается: оно было бы истолковано как признание своей виновности задним числом.
Что нужно сделать:
составить новую налоговую декларацию
(сокращение заработков из-за предварительного следствия),
проверить зубы и т. д.

— Вы господин Шаад?
— Да.
— Имя: Герман?
— Да.
— Вы отец оправданного?

Предостережение судьи о том, что ложные показания караются тюремным заключением, в тяжких случаях сроком до пяти лет, излишне, когда допрашиваются мертвые:

— Вы помните историю с кроликом? Феликсу было девять лет, и вы подарили ему кролика. Это верно? Серого кролика...

Документы — письма, фотографии, дневники и т. д.— я должен лично получить в полицейском управлении Цюрихского кантона; там же остается мой галстук в качестве вещественного доказательства.

— Ваш сын, господин Шаад, оправдан...

Прогулки по окрестностям — вот что помогает.
(Альбис)
Мой отец был учителем.

— Ты знаешь, что такое нагельфлю?
— Нагельфлю — это скала.
— Так ли?
— Вот это нагельфлю, это видно по тому, что здесь вкраплено множество мелких камней, причем характерно, что они круглые, эти камни, как в ручье, и потому мы видим, что они занесены издалека и по пути отшлифовались; Альбис частично состоит из нагельфлю.
— А что такое нагельфлю?
— Морена.
— Правильно.
— Все эти камни когда-то упали с горных вершин на глетчеры, когда они еще существовали, потом их несла вода таявших глетчеров, они катились, поэтому они такие круглые, а потом глетчеры исчезли, но за миллионы лет они успели спрессоваться, поэтому нагельфлю твердый, как скала, но это не скала, а нагельфлю.
— Что ты еще знаешь?
— Нагельфлю типичен для нашей родины.
— А что еще у нас есть?
— Песчаник и известняк.
— А еще?
— Сланец.
— Я сейчас другое имею в виду.
— Но сланец тоже есть...
— Ты не знаешь, что я имею в виду?
— Когда-то глетчеры покрывали всю нашу родину, поэтому образовались следы глетчеров на скалах и нагельфлю, где можно рыть гравийные карьеры.
— А что же еще у нас есть?
— Озера...

— Мы говорим о горных породах, Феликс.
— Я не знаю...
— Что мы видим здесь, в лесу?
— Это ледниковый валун.
— Правильно!
— Да, они у нас тоже попадаются, но только редко.
— А что такое ледниковый валун?
— Ледниковый валун — это настоящая горная порода, но она откуда-то занесена, это тоже связано с глетчерами, которые потом исчезли, а валун остался, когда ледниковый период кончился, потому что глетчер не унес его дальше, это ледниковый валун, например, из сланца.
— Разве это сланец?
— Нет.
— Что же это?
— Ледниковый валун.
— Это гранит?
— Нет.
— Что такое гранит?
— «Кварц, шпат, слюда — не забуду никогда».
— Правильно.

Письмо из Кении:
«До скорого! Твоя Ютта».
Я уже опорожняю пепельницы.

— Вы, значит, считаете, фрау Шаад, что это, в общем-то, счастливый брак, если я правильно понимаю, свободный брак, вы пользуетесь личной свободой и никоим образом не чувствуете угроз со стороны Феликса Шаада, вашего супруга...
— Совершенно верно.
— Вы называете его настоящим рыцарем...

Алкоголь тоже уже не помогает.

— Вы были матерью Феликса Шаада?
— Да-да.
— Вы состарились, фрау Шаад, вам почти восемьдесят. Тем не менее вы, может быть, помните какое-нибудь происшествие той поры, когда Феликс ходил в школу...
— Да-да!
— Сперва вас допросит господин прокурор...

Мертвые тоже могут ошибаться.

— Сколько лет ему тогда было?
— Семь или около того.
— И отчего же умер его кролик?
— Феликс так ревел.
— Вы видели тогда бритву?
— Да-да.
— И что вы подумали?
— Он вскрыл кролика, да-да, так он мне сказал, да-да, он хотел посмотреть, почему кролик умер...

Как правило, я не думаю, чтобы кто-либо смотрел, как я играю на биллиарде, только потому, что знает мою биографию; но вдруг я замечаю: человек смотрит совсем не на то, как шары катятся, а только на мою руку — на руку возможного убийцы, и когда я поднимаю на него глаза, он уходит в бар.
К этому тоже привыкаешь.
Отъезд был бы почти равнозначен признанию.

— Вы, значит, говорите, что ничего такого вам не пришло в голову, когда самолет сел без Ютты. Вы не рассердились, что она опять отложила свое возвра-

щение? Вы говорите, самолет опоздал, а когда стоишь у выхода и видишь только незнакомых пассажиров, но никакой Ютты, вы, конечно, были несколько разочарованы...

— Это верно.

— Но не рассердились?

— Я забеспокоился.

— А что вы сделали потом, господин Шаад?

— Поехал домой.

— Сразу?

— Я не торопился.

— Почему вы поехали к гравийному карьеру?

— Не знаю...

— Вы хотели погулять?

— Я сидел в машине...

— Сколько времени?

— Потом я пошел в кино...

— Это верно, господин Шаад, это доказано, вас видели на сеансе между пятнадцатью ноль-ноль и семнадцатью пятнадцатью, справа в последнем ряду.

— Возможно.

— Какой фильм вы смотрели?

— Не помню.

— Феллини.

— Возможно.

— Почему вы не остались до конца?

— Я подумал, может быть, дома есть телеграмма — так оно и оказалось. Я почувствовал облегчение. По крайней мере я узнал, что Ютта уже в Женеве.

— Вы почувствовали облегчение...

— И что сегодня она приедет!

— Это было, значит, вчера.

— Да.

— А почему Ютта осталась в Женеве?

— Самолет делал промежуточную посадку в Женеве, я это знал, и она, конечно, вышла после семичасового полета, чтобы освежиться, это можно понять.

— А почему она потом не полетела дальше?

— Потому что она опоздала на посадку.

— Согласно телеграмме.

— Да.

— Есть ведь и поезда из Женевы в Цюрих.

— Для этого Ютта чувствовала себя слишком усталой.

— Она переночевала в отеле...

— Согласно телеграмме.

— А почему Ютта не позвонила вам из отеля?

Гравийный карьер заброшен. Он зарос травой, ленточный транспортер все еще стоит там, но он заржавел, как и вывеска «Вход воспрещен». Хотя нагельфлю здесь еще очень много. Решето для гравия лежит в коричневой луже. Неподалеку куча серого гравия. С позавчерашнего дня дождя не было: на глине еще отчетливо видны следы моей машины, четкий рисунок шин, мой позавчерашний поворот.

— Когда вы узнали, что он оправдан, фрау Шаад, вы, значит, находились в Кении и ждали, когда пойдет дождь...

— Совершенно верно.

— Вы работаете в кино?

— Да.

— В качестве ассистентки кинооператора?

— Собственно говоря, я монтажница, но у нас маленькая съемочная группа — кинооператор и звукооператор плюс этнолог и водитель. В такой маленькой группе приходится делать то одно, то другое.

— Понимаю...

— Я была незаменима.

— Понимаю.
— Конечно, я почувствовала облегчение, когда узнала об оправдательном приговоре, вы можете себе представить, какое я почувствовала облегчение, я плакала, как ребенок!
— От облегчения...
— Можете спросить у группы.
— Вы не подумали, что нужны будете оправданному, когда он вернется домой после долгого предварительного заключения и суда?
— Наши съемочные работы затянулись.
— А вы были незаменимы...
— Собственно говоря, монтажница при съемках еще не нужна, это верно, но Герберту было важно, чтобы я присутствовала с самого начала, таково было его условие в договоре, он хочет, чтобы монтажница видела не готовый материал, а была знакома со всем процессом.
— Кто такой Герберт?
— Наш кинооператор.
— Значит, съемочные работы затянулись...
— Мы ждали, когда пойдет дождь.
— Без этнолога...
— От обоих писем Феликса веяло скорее покоем: он сидит в своем кабинете, и наконец у него есть время для чтения, он играет на биллиарде, да, и я тоже написала ему довольно большое письмо.
— О съемочных работах...
— Да.
— Позавчера, когда вы вернулись из Кении, фрау Шаад, и оправданный вас встречал на аэродроме, вам что-нибудь в нем бросилось в глаза?
— Он похудел.
— А еще?
— И постарел, да, это тоже.
— Оправданный утверждает, что вы испугались, когда увидели его, и что вы позволили поцеловать себя только в щеку.
— У меня было так много багажа.
— Это верно, что у него дома было припасено шампанское, чтобы отпраздновать встречу, и что в этот первый вечер, то есть позавчера, вы не хотели рассказывать о Кении?
— У меня не было сил.
— Поэтому вы не хотели и шампанского?
— Я теперь не пью.
— Вы хотели спать...
— Да.
— Почему вы легли в комнате для гостей?
— Мы давно не виделись.
— В последний раз на суде.
— Когда Феликс упомянул, что он продал свою практику, меня это очень испугало, и я, конечно, спросила, как же он представляет себе свое будущее.
— Что он ответил?
— Он пожал плечами.
— И вы пошли спать...
— Я не могла спать...
— Почему не могли, фрау Шаад?
— Он, по-моему, сидел в гостиной и один пил шампанское — я слышала каждый удар часов.
— Еще один вопрос, фрау Шаад...
— Что Феликс будет делать без своей практики?
— Верно ли предположение оправданного, что вы боялись, как бы он в постели не признался в преступлении и вы вдруг не оказались бы рядом с убийцей?
— Я убеждена в его невиновности.
— Значит, фрау Шаад, не это является причиной того, что вы спите в комнате для гостей?
— Нет.

— Вы убеждены в его невиновности...
— Совершенно.
— Относительно вчерашнего вечера, фрау Шаад...
— Я сдержала свое слово, что дам ему знать, если между нами что-то изменится, а сейчас это произошло.
— Как он это воспринял?
— По-рыцарски.
— Как вы и ожидали.
— Да.
— А когда, фрау Шаад, это произошло?
— Я не хотела говорить ему этого до суда.
— Я понимаю.
— Писать об этом я тоже не хотела.
— Последний вопрос, фрау Шаад...
— Писать — это трусость.
— Каковы теперь ваши планы, фрау Шаад?
— Мы еще не знаем, все зависит от того, останется ли Герберт на телевидении или нет.

Помогают прогулки по окрестностям.

— Вы слышали, господин доктор Шаад: между Юттой и вами что-то изменилось.
— Я ценю ее откровенность.
— Десять месяцев — долгий срок для женщины, которой около тридцати пяти, вы это понимали еще во время предварительного заключения, господин Шаад, и, значит, вчерашнее открытие вас не поразило...
— Я ценю ее откровенность.
— Вы оставили машину у гравийного карьера и бродили четыре часа; начался дождь, и вы полчаса сидели на пне, господин доктор Шаад, вы не были поражены, но промокли до нитки и все еще ни о чем не могли думать. Это верно?
— Да.
— Ютта сдержала свое слово.
— Я ценю ее откровенность.
— Вы уже это говорили.
— Если между Юттой и мною что-то изменится, она даст мне знать — так она обещала.
— Вас знобит, господин Шаад...
— Я ценю Ютту.
— Тем не менее вы простудитесь, господин Шаад, вы все еще сидите на этом пне, он мокрый, вы без пальто и без кепки и надеетесь, что Ютта проснулась и кинулась вас искать. Это верно?
— Это верно.
— Почему вы перестали гулять?

Чего я в прошлом году из-за предварительного заключения не видел: первой зелени на кустах, пашни в комьях земли, черных, как корочки шпика. Пастбища у ручья еще красноваты. Трактор оставляет позади себя черные кусочки земли на асфальте, и пахнет навозом. Я избегаю лесовозных дорог. В воздухе прогрохотал реактивный истребитель. Я знаю, где я. Вдали горы. Фруктовые деревья еще голы, леса прозрачны, над голыми ветвями видно небо, а между стволами иной раз поблескивает озеро, не голубое, но светлое, как цинк. На опушке елового леса в тени пятнами лежит еще снег, воздух теплый, первая бабочка...

— Когда были похороны вашей матери?
— Шесть лет назад.
— С тех пор вы в Рацвиле не были?
— Нет.
— Вы понимаете, почему я спрашиваю?
— Нет.

— Вам пятьдесят пять, господин доктор, и вы не можете сослаться на старческую забывчивость. Не странно ли, что вы все забыли? При первом допросе вы утверждали, что в действительности никогда не видели креста, который однажды хотели использовать в качестве аварийного знака.

— Я беру обратно свое показание...

— И вдруг шесть лет спустя вы вспоминаете: этот крест, который никак не подходит в качестве аварийного знака, именно этот вычурный крест находится на церковной башне в Рацвиле, где похоронена ваша почтенная матушка.

— Мне это сейчас пришло в голову...

— Вы этого не забыли, господин доктор Шаад, вы это вытеснили из памяти. Как и многое другое. И вдруг вам понадобилось, пока вы бродили, отказаться от своих прежних показаний.

— Ничего не поделаешь.

— Вас это не пугает?

— Нет.

— А не может ли случиться, господин доктор Шаад, что вы вдруг, например, чистя зубы, вспомните, где вы на самом деле были после обеда в ту субботу, когда Розалинда Ц. была задушена женским гигиеническим пакетом и вашим синим галстуком, и что преступник — вы?

Помочь могли бы занятия греблей.
Моя лодка лежит на берегу у здания клуба.
Я думаю, они ждут моего выхода.

— Вы, следовательно, знаете обвиняемого?

— Как яхтсмена.

— Что бы вы сказали о его характере?

— Надо заметить, Феликс Шаад всегда был очень корректным яхтсменом. Общественными делами клуба он занимался мало: у врача не много времени... Конечно, мы не знали того, что знаем сейчас, что напечатано в газете, я хотел бы только сказать, что эта Розалинда Ц. никогда не бывала в нашем клубе. Это видно из книги посетителей...

Я не знаю, каким образом ее альбом оказался среди моих старых регистрационных папок. Альбом, переплетенный в синюю искусственную кожу. Подписи под фотографиями ее рукой:

НАШ САД В СИОНЕ
РОЗАЛИНДА ВО ВРЕМЯ ПРИЧАСТИЯ
НАША СОБАКА АЯКС
ПРОГУЛКА НА ГОРНЕРГРАТ
СВАДЬБА (С КАПИТАНОМ)
ПАЛЬМА ДЕ МАЛЬОРКА
ПАПА В ФОРМЕ МАЙОРА
МОЙ ТРЕНЕР (ТЕННИС)
МЕДВЕЖИЙ РОВ В БЕРНЕ
РЕПЕТИЦИИ «ФИДЕЛИО» (ПЕВЕЦ)
ПИКНИК С ДРУЗЬЯМИ
ИГНАЦИЙ В МАСТЕРСКОЙ (ГРАФИК)
В КАССЕЛЕ
ЗИМА В ВЕНЕ (ПЕВЕЦ)
ПАПА В БЕРНЕ
КРИТ (ГРАФИК)
ЛЕБЕДИ ПОД ЦЮРИХОМ
ФЕЛИКС В СВОЕМ ВРАЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ
МАМА В БОЛЬНИЦЕ
ИГНАЦИЙ И ФЕЛИКС ЗА ПИНГ-ПОНГОМ
ФЕЛИКС В ЛОДКЕ (ДВАЖДЫ)
МОЕ ТРИДЦАТИЛЕТИЕ
НАШ АРХИТЕКТОР (ЯН)
НАШ ДОМ В ЦУМИКОНЕ

Улыбающаяся жертва:

ДЕВОЧКА С СОБАКОЙ
НЕВЕСТА ПЕРЕД ЦЕРКОВЬЮ
СТУДЕНТКА В БЕРНЕ
РУСАЛКА НА ПОБЕРЕЖЬЕ (С ГАРПУНОМ)
ДОЧЬ В КРУГУ СЕМЬИ
СОБИРАЕТ ГРИБЫ
ЗА РУЛЕМ «ПОРШЕ»
ЗА СТОЛИКОМ В «КРОНЕНХАЛЛЕ» (ЦЮРИХ)
ТАНЦУЕТ С АРХИТЕКТОРОМ
ХОЗЯЙКА ДОМА (ЦУМИКОН)
ПОДСТРИГАЕТ ГАЗОН (ТАМ ЖЕ)

— Вы Розалинда Ц.?
— Да.
— Ваша профессия — терапевт?

Улыбающаяся жертва.

— Вы знаете, кто вас задушил?

Улыбающаяся жертва.

— Кого вы, фрау Цогг, видели в вашей жизни последним?

. . .

— Это был господин доктор Шаад?

. . .

— Когда он навестил вас в ту субботу, между одиннадцатью и двенадцатью часами, вы вместе пили чай. Так? По-видимому, это был ваш первый завтрак — чай и тосты с гусиным паштетом. Ничего другого в вашем желудке не обнаружено... Фрау Цогг, вы не помните, о чем шел разговор в то утро?

. . .

— Когда Феликс Шаад ушел из вашей квартиры?

. . .

— Согласно показаниям уборщицы, с тех пор, как вы имеете собственную квартиру, обвиняемый, ваш бывший супруг, регулярно навещал вас, он знал, чем вы зарабатывали себе на жизнь. И это не вызывало его недовольства. Так он утверждает. А вы, фрау Цогг, ценили его помощь как советчика в налоговых делах. Верно это? Он считает, что вы относились к нему как к товарищу...

Улыбающаяся жертва — невеста.

— Вы ссорились в ту субботу?

Улыбающаяся жертва.

— Оправданный не помнит, о чем шел разговор в то утро. Или он об этом умалчивает. Он даже не помнит, в каком пеньюаре вы были...

Улыбающаяся жертва — дама.

— После обеда вы были в брюках.

. . .

— Что-нибудь произошло, фрау Цогг, или вы что-нибудь сказали, настолько взволновавшее вашего бывшего супруга, что он через три часа вернулся к вам и задушил вас своим галстуком, или вы тоже утверждаете, что с тех пор, как между вами и Феликсом Шаадом прекратилась половая связь, у вас отношения были вполне дружеские, даже гармоничные?.. Вы знаете, что Феликс оправдан?

Улыбающаяся жертва — с гарпуном.

— Это верно, что после ухода посетителя вы, как правило, запирали дверь квартиры? И если да, то у кого, кроме жены привратника и господина доктора Шаада, имелся ключ от квартиры на Хорнштрассе?

. . .

— Вы не хотите сказать...

Улыбающаяся жертва — подстригает газон.

— Вы пользовались в ту субботу гигиеническим пакетом? Простите за этот вопрос. И если нет, то где преступник мог взять использованный гигиенический пакет? По всей вероятности, не в гостиной же, фрау Цогг, где вас нашли.

. . .

— Почему вы днем приняли снотворное?

. . .

— По всей вероятности, вы потому и не сопротивлялись, когда вам связывали ноги, или вы считали, что это любовная игра?

Улыбающаяся жертва — девочка.

— Бывало ли, чтобы господин доктор Шаад приходил к вам с цветами? И если да, то были ли это лилии? Обвиняемый утверждает, что он не любит лилий и никогда в жизни не дарил лилий. Вы можете это подтвердить? И если да, то кто в ту субботу принес или прислал вам свежие лилии, которые были найдены на трупе?

Улыбающаяся жертва — с собакой.

— Как жертву вас нельзя заставить давать показания, фрау Цогг; с другой стороны, ваши показания были бы очень полезны.

. . .

— Фрау Цогг, мы не можем с уверенностью установить, когда вы приняли снотворное. Согласно экспертизе, не исключено, что в шестнадцать часов вы еще были в состоянии открыть дверь в квартиру. Одной свидетельнице — правда, она несовершеннолетняя — кажется, что она помнит, как вы позже задернули шторы. Верно это? Мы точно знаем, что вы не обедали. Чем вы занимались, фрау Цогг, до убийства?

Улыбающаяся жертва — собирает грибы.

— Относительно галстука, который вы однажды убрали из прихожей, после того как он вызвал недовольство посетителя: вы знали, чей это галстук?

Улыбающаяся жертва — за рулем «порше».

— Суду известна лишь небольшая часть ваших посетителей, фрау Цогг, поскольку в вашей книге записей они значатся чаще всего только по имени и расплачивались, очевидно, не чеками... Возможно, был какой-то посетитель, который обнаружил указанный галстук обвиняемого в вашей зеленой бидермайеровской спальне и пришел в ярость?

. . .

— Вы поняли вопрос?

. . .

— Бывают мужчины, которые влюбляются, даже если платят за любовь, они не хотят признавать то, что им, собственно, хорошо известно, и, так сказать, падают с неба на землю, когда случайно обнаруживают галстук, принадлежащий другому...

Улыбающаяся жертва.

— Кто бы это мог быть, фрау Цогг?

Улыбающаяся жертва — в кругу семьи.

— Я задам вопрос иначе...

Хуже всего — полусон, когда кажется, что на улице уже стоит наготове машина с маленькими зарешеченными окошками, хотя и в полусне знаешь, что ты оправдан.

— Так какая же это была рыба?

— Большая.

— Щука?

— Больше.
— И рыба лежала на сухом месте?
— Да.
— Но она была живая — так вы сказали.
— Да.
— Вы когда-нибудь слышали, господин доктор Шаад, чтобы рыба, какой бы большой она ни была, проглотила змею?
— Я тоже удивляюсь.
— А что случилось дальше?
— Я смотрел. Это было ужасно: сперва она проглотила половину змеи, переднюю половину, и я видел — больше рыба не может. Я видел, как змея начала медленно шевелиться, и рыба вдруг поняла, что умирает, а змея стала медленно выкручиваться из мертвой рыбы...
— И на этом вы проснулись?
— Это было ужасно.
— Господин доктор Шаад...
— Ужасно!
— Вы знаете, что́ этот сон означает?

Ничего не остается, кроме прогулок по окрестностям.

— Вы все еще утверждаете, что расстались с жертвой в добром согласии?
— Да.
— От этого показания вы не отказываетесь?
— Нет.
— Когда вы вспомнили, что в то утро, пока вы вместе пили чай, непрестанно звонил телефон, и Розалинда встала, чтобы вытащить штепсель, и вы рассмеялись, потому что это напомнило вам времена совместной жизни?
— Вот сейчас пришло на память.
— Вы не сказали об этом на суде.
— Это выпало у меня из памяти...
— Зато на суде вы сказали, что в то утро, придя к Розалинде, вы не видели в ее квартире лилий.
— Совершенно верно.
— От этого показания вы не отказываетесь?
— Нет.
— Далее вы утверждали, что никогда не дарите лилий, вы не любите этих цветов, считаете их пошлыми...
— Избито-патетичными.
— Вы так сказали, господин доктор, и, к счастью, одна свидетельница, жена привратника, подтвердила на суде, что, когда она в то утро встретила на лестнице господина доктора Шаада, он не нес цветов для мадам Цогг, не говоря уже о лилиях...
— Это правда.
— Вы никогда в жизни не дарили лилий.
— Это правда.
— Вы были потрясены, когда увидели сделанный полицией снимок: труп на ковре, пять лилий на трупе...
— Это было ужасно.
— Эти лилии не вы подарили?
— Я там часто видел лилии.
— Вы об этом не сказали...
— Каждый раз пять штук.
— Почему вы об этом не сказали?
— Не знаю...
— Предварительное заключение длилось почти десять месяцев, господин Шаад, судебное производство три недели, у вас было много времени, чтобы обо всем сказать.
— Это выпало у меня из памяти.
— А сего́дня здесь, в лесу, где никакой судья не спрашивает, вам вдруг пришло на память: вы часто видели там лилии!

— Каждый раз пять штук.

— А когда телефон непрестанно звонил, она, очевидно, знала, кто звонит, потому и вытащила штепсель из розетки, и вы рассмеялись, потому что это напомнило вам времена совместной жизни, а когда Розалинда пошла на кухню, чтобы приготовить еще тостов, вы не удержались и встали, чтобы взглянуть на письмо, которое Розалинда так и не вынула из маленькой пишущей машинки. Верно это? Вы прочитали по крайней мере обращение.

— Это верно.

— Что же это было за обращение?

— Патетичное.

— Вы не помните имени?

— Это было ласкательное имя...

— Обо всем этом вы не сказали на суде, потому что вам неприятно, господин доктор Шаад, что вы заглянули в чужое письмо, или почему-либо другому?

— Это действительно выпало у меня из памяти.

— Потому что вам это неприятно.

— Какое мне было дело до ее романов!

— И еще у вас выпало из памяти, что потом, после того как вы выпили по дороге, вас обуяло желание зайти в цветочный магазин и послать пять лилий...

— Это была шутка.

— В котором часу это было?

— Не имею представления.

— Но это были лилии...

— Совершенно верно.

— Господин доктор Шаад!

— Это правда.

— Что еще выпало у вас из памяти?

Прогулки по окрестностям тоже, конечно, не помогают.

— К сожалению, господин Шаад, то, что вы вчера сказали в полиции,— неверно: вы не пешком прибыли в Рацвиль. К сожалению! Иначе вы не лежали бы сейчас здесь, в больнице.

— Нет...

— Вы наехали на дерево.

— Да, признаюсь...

— А дорога вообще была не скользкая, даже не мокрая. Это вы тоже неверно сказали, господин Шаад, и на асфальте не лежало листвы, сейчас лето, вам стоит только открыть глаза, и вы увидите за окном зеленые листья.

— Как так не пешком...

— Вы чувствуете, что кто-то держит вас за руку?

— Да.

— Вы знаете, кто держит вас за руку?

— Женщина.

— Почему вы не открываете глаз?

Все кругом белое, без очертаний и белое.

— Почему вы поехали именно в Рацвиль?

— Это моя родная деревня.

— Правильно, господин Шаад, но почему вам понадобился унтер-офицер именно рацвильской полиции, когда вы вдруг решили сделать признание, что вы убили Розалинду Ц.? Ведь вы могли это сделать в любом полицейском участке.

— Но я был в Рацвиле.

— Вы давно уже не были в Рацвиле, вы ведь едва узнали деревню. По меньшей мере у двух человек вы справлялись, Рацвиль ли это. В гостинице «У медведя», где вы пили черный кофе после минеральной воды, вы рассказали хозяину, что прибыли в Рацвиль пешком, хотя ваша голубая машина стояла у церкви.

— Утром она стояла у гравийного карьера.

— Как обычно, когда вы гуляете...

— Совершенно верно.

— Возможно, вы хотели погулять, вполне возможно. Но, вероятно, вы передумали, господин Шаад, и вернулись к машине, чтобы поехать в Рацвиль. Вы этого не помните?

— Я вдруг оказался в Рацвиле.

— Согласно полицейскому донесению, вы были совершенно трезвы, когда появились у унтер-офицера Шлюмпфа. Через два часа вас отпустили — ровно в семнадцать десять, опять-таки трезвого. И вы не заходили в гостиницу «У медведя», чтобы выпить что-нибудь, или в гостиницу «Под короной» — это по времени невозможно: авария произошла в двадцати девяти километрах от Рацвиля, меньше чем через четверть часа после того, как вас отпустили из общинного управления Рацвиля; для этого вам нужно было ехать со скоростью сто двадцать километров в час.

— Это был бук?

— Почему вы хотели наехать на дерево?

— Правду и ничего кроме правды.

— Это был не бук, а сосна, господин доктор, вне всяких сомнений; по-видимому, вы уже раньше хотели наехать на дерево, один раз вы увидели липу, потом, возможно, бук.

— А это была сосна...

— Да.

— И это были лилии...

— Вы говорите опять о другом, господин Шаад... Относительно вашего признания: понял ли вообще этот унтер-офицер, о чем вы говорили? Или вам пришлось рассказать всю историю убийства, про удушение галстуком, прежде чем он надел на вас наручники?

— Ему это было неприятно.

— Он знал о Розалинде Ц.?

— Я даже не заметил, как он защелкнул наручники. Мы вместе ходили в школу, унтер-офицер Шлюмпф и я,— правда, в разные классы, унтер-офицер Шлюмпф на год моложе меня.

— Когда вы заметили наручники?

— Теперь он все время повторял: господин доктор. Если это правда, господин доктор, я должен составить протокол, господин доктор, если это правда, господин доктор, и вы должны этот протокол подписать.

— И вы это сделали...

— Без наручников.

— Что было дальше?

— Я почувствовал облегчение.

— Вы почувствовали облегчение...

— Правду и ничего кроме правды.

— Чего вы ожидали, господин Шаад, когда сидели один в караульном помещении и заметили наручники?

— Мне нельзя было курить...

— Когда вы вспомнили, что совершили преступление, господин Шаад, причем так подробно, как записано в этом протоколе? Вы забыли только о женском гигиеническом пакете во рту жертвы.

— Эти наручники очень легкие...

— Когда унтер-офицер через некоторое время вернулся и повел вас не к тюремной машине, а в общинное управление, в так называемую «комнату бракосочетаний», где с вас сняли наручники,— о чем вы думали, когда вам пришлось там снова ждать?

— Мне нечего было курить...

— Вы помните, что кто-то пришел в комнату бракосочетаний, чтобы поговорить с вами с глазу на глаз?

— Да.

— Это был секретарь общины.

— Он понял, что мне нечего курить, и предложил сигареты — всего остального он не понял.

— Вы помните, что́ он вам говорил?
— Что мое признание — ложное.
— Это вы помните?
— Он даже не читал протокола, этот молодой человек, а когда я попросил его прочесть, он бегло пробежал его глазами и вернул мне, вот и все.
— Ваше признание, господин Шаад, ложное.
— Он так сказал.
— Преступник — греческий студент, его зовут Никос Грамматикос, в данное время он находится в окружной тюрьме.

• • •

— Говорите громче, господин Шаад, мы не понимаем, что вы говорите, господин Шаад.

• • •

— Вы наехали на дерево.
— И это была сосна!
— Господин Шаад, вы могли разбиться насмерть.

• • •

— Почему вы не открываете глаз?

• • •

— Господин Шаад, операция прошла удачно.

• • •

— Что вы сказали?

• • •

— Мы не понимаем, господин Шаад, что вы хотите сказать.

• • •

— Почему вы сделали это признание?

• • •

— Вас мучают боли.

Оправдан... за недостатком улик

Наверное, нет ничего удивительного в том, что такой художник, как Макс Фриш, может смело менять регистры и переключаться с одной формы на другую и во всех оставаться верным себе.

За последние несколько лет Макс Фриш написал три небольших повести, удивительно разные: «Монток» (1975), «Человек появляется в эпоху голоцена» (1979), и, наконец, в марте нынешнего года появилась «Синяя Борода».

Первые две повести вышли на русском языке, и читатель мог уже убедиться, насколько различны были авторские задачи и форма их художественного решения[1].

«Монток» — сугубо автобиографическая, выстраданная книга, тонко передающая все оттенки переживаний и размышлений писателя, беспощадная в своей искренности и потому глубоко волнующая.

Книгу «Человек появляется в эпоху голоцена» можно определить как философскую повесть. Возможно, замысел родился на волне тех «апокалипсических» настроений, которые западная интеллигенция переживает в последние годы, когда угроза атомной смерти, чуть ли не неизбежного конца цивилизации, волнует умы и сердца людей. Нет, нельзя сказать, что Макс Фриш поддается абсолютному пессимизму, что он не видит проблеска надежды. Вопреки всему герой повести стремится сохранить культурные ценности, сохранить память, тот необходимый минимум знаний и достижений цивилизации, без которого вообще человек — не человек[2].

И вот «Синяя Борода»... Повесть в диалогах. Не станем говорить о ее сюжете:

[1] В предисловии к книге «Макс Фриш. Повести» («Прогресс», М., 1982) Д. Затонским обстоятельно рассмотрен творческий путь писателя.

[2] Глубокий анализ повести «Человек появляется в эпоху голоцена» дан Е. Книпович в послесловии к журнальной публикации (см. «Иностранную литературу», 1981, № 1).

она перед вами. Пожалуй, эту повесть можно отнести к жанру «психологического детектива». Но ударение при этом следует делать на первом слове; детектив же — лишь постольку, поскольку речь идет об убийстве и судебном разбирательстве.

Повесть иронически названа «Синей Бородой» — по одноименной сказке Шарля Перро: так шутливо называла Феликса Шаада его последняя жена. Подобно герою этой сказки, доктор Шаад был семь раз женат. Но разница в том, что во всех этих браках стороной страдающей оказывался сам Шаад — каждая из жен словно олицетворяет ту или иную грань бездуховного существования.

Повесть по сути глубоко трагична. Человека обвиняют в убийстве. Он оправдан. Казалось бы, все прекрасно! Но оправдан-то он не потому, что его невиновность доказана, а «за недостатком улик». Как с этим жить? Из этого капкана человеку не выбраться. Быть оправданным только за недостатком улик — значит оказаться в пожизненном одиночестве. Ф о р м а л ь н о он чист, но на самом деле он под вечным подозрением — даже у людей, благожелательно относящихся к нему. Близкие, друзья, знакомые, пациенты — все в прошлом, настоящего, не говоря уже о будущем, у него нет, есть только бессмысленное, однообразное существование и глухая пустота вокруг. И хотя истинный преступник тем временем найден, спасения нет. Людские пересуды пощады не знают: никому ничего никогда теперь уже не докажешь.

Толчком к написанию повести, по-видимому, послужил реальный случай: года два назад Макс Фриш присутствовал на судебном процессе над ювелиром из Винтербурга — Гансом Келлером, которого обвинили в том, что он задушил свою жену. В течение шестидесяти часов Фриш слушал показания свидетелей, каждого с его версией, с его видением, с его памятью (а «одинаковой памяти,— читаем мы в повести,— не бывает»). Полного алиби у обвиняемого не было, он, как и герой повести — врач Феликс Шаад, тоже путался в показаниях, пытаясь восстановить течение того дня своей жизни, когда была убита его жена. Однако и доказательств его виновности тоже не было. В результате «оправдан за недостатком улик». Как и Феликс Шаад.

Повесть построена на формальном приеме рефрена: повторяющиеся, как формулы, фразы, вопросы к свидетелям, подчеркнуто стандартные в устах туповато-агрессивного прокурора, постоянно повторяющего в полувопросительной, полуконстатирующей интонации фразу за фразой свидетеля. А свидетели то и дело «задумываются». О чем? Способен или все-таки не способен обвиняемый совершить это ужасное преступление?

Почему же оправданный в конце повести признается в преступлении, которого не совершал? Потому ли, что не видит выхода из тупика, в который попал? Или потому, что всю жизнь чувствовал себя виноватым? Но почему виноватым? Может быть, потому, что мальчиком взрезал любимого кролика, чтобы посмотреть, что там внутри. А может быть, потому, что вольно или невольно причинял страдания своим близким. Это ведь естественно: когда уходит из жизни кто-нибудь из близких, совестливый человек не может не испытывать какой-то вины перед ним. Но может быть, и в том дело, что Феликс Шаад, стараясь отключить постоянно вертящийся в его мозгу механизм, который все снова и снова воспроизводит диалоги в суде (отсюда и его безуспешные попытки отвлечься игрой на биллиарде в одиночку, алкоголем, путешествиями), доходит до полубезумного состояния, сцена убийства предстает перед ним во всех деталях с такой отчетливостью, прокурор с такой неколебимостью уверен в его виновности, что он и сам начинает верить в нее. Вот такая психологическая аберрация...

Очень разные эти три повести Макса Фриша — разные по сюжету, жизненному материалу, стилю, языку. И тем не менее что-то их объединяет. Может быть, это «что-то» — присущие Максу Фришу ощущение трагизма жизни, неизбывного одиночества, сосредоточенность на поисках человеком самого себя, «идентичности» с самим собой.

■

Критика

Анкета «Иностранной литературы»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТАЛАНТА

СЛОВО — ПИСАТЕЛЯМ МИРА

В этом номере Мария Корти, Пауль Джорджеску, Гунасена Витана, Андре Ремакль, Глория Гуардиа, Шандор Шомоди Тот, Ангелика Мехтель, Ефрем Каранфилов отвечают на вопросы нашей анкеты:

1. Как отражаются актуальные проблемы современности в Ваших творческих замыслах? Над чем Вы сейчас работаете?

2. Как может служить произведение искусства, литературы сохранению мира на земле?

МАРИЯ КОРТИ (ИТАЛИЯ)

1. Думаю, не будет парадоксом утверждение, что чем глубже писатель проникает в суть современной ему действительности, тем сильнее звучит его призыв, обращенный к людям будущего, к другим странам.

Я недавно закончила роман «Поезд терпения», главный герой которого — целое поколение итальянских рабочих первых послевоенных лет (1945—1946). Это поколение пытается из патриархальной крестьянской среды перейти в круг индустриального рабочего класса. Мой роман — история поезда, состоящего из товарных вагонов, в которых вчерашние крестьяне ежедневно отправляются на работу в город и затем возвращаются домой. Но вместе с тем это и рассказ о символическом путешествии человечества, стремящегося преодолеть существующее во все времена огромное расстояние между миром умирающим и миром нарождающимся.

2. В «Querela pacis» великого голландского гуманиста Эразма Роттердамского персонифицированный Мир упрекает людей, забывших о том, что земля — их общая родина. Истинное произведение искусства выражает ту же мысль, своей универсальностью оно показывает, что преодолеть границы государств возможно, оно свидетельствует о существовании общемировых ценностей, и, значит, такое произведение обращено ко всем.

Главная задача писателей, как и интеллигенции вообще, заключается в пробуждении у народов твердого сознания того, сколь много у них общего на земном пути. Отсюда вытекает и то высочайшее социальное значение, которое приобретает произведение искусства в любой сфере человеческой деятельности, прежде всего в сфере борьбы за мир.

Marie Corti

ПАУЛЬ ДЖОРДЖЕСКУ (РУМЫНИЯ)

1. Размышляя над проблемами нашей эпохи, я ощутил необходимость разъяснить — и моим молодым читателям, и себе самому — происхождение, эволюцию этих проблем, а также суть наиболее характерных литературных персонажей моих произведений, выражающих свое время. Думаю, определенные стороны нынешней жизни могут быть правильно поняты лишь при исследовании важнейших событий, предшество-

Продолжение. Начало см. «ИЛ», 1982, № 4—10.

вавших современности и в значительной степени ее обусловивших. В разнообразной и интересной румынской прозе мне не хватало двух литературных типов, которые и стали в моих книгах ключевыми. Во-первых, это образ интеллигента межвоенного периода — человека серьезного и, казалось бы, совершенно аполитичного, которого, однако, профессиональная честность и человеческая порядочность заставляют восстать против попрания фашизмом духовных ценностей и — не сразу, не вдруг — присоединиться к нелегальному коммунистическому движению. Этот образ стал центральным для «Доктора Поенару», книги о драме поколения, оказавшегося между жерновами двух войн.

Второй образ — образ юноши, постепенно прозревающего гибель окружающего общества, безнравственность немецко-фашистской оккупации, военной диктатуры Антонеску, наконец, преступность войны против СССР. Многое поняв и прочувствовав, он вступает в Союз трудящейся молодежи: гнев против мерзости фашистского режима дает ему силы противостоять палачам в застенке («Перед молчанием»). Я упоминаю только книги, переведенные на русский язык.

Но меня волнует и более широкий аспект проблемы: почему все-таки стало возможным фашистское чудовище? Ведь были же честные люди, массами владели радикальные идеи, существовала, пусть буржуазная, урезанная, но какая-никакая демократия. Все это словно бы гарантировало, что фашизм не пройдет. Но он прошел. Почему? Из стремления понять это родилась трилогия, две части которой уже опубликованы («Новый год» и «Барочное лето»). Межвоенный период рассматривается в трилогии как неизбежное движение к кровавому финалу. В этих романах, как и во многих других, я использовал реальные ситуации и лица: воображение отступает перед тем, что пережито.

Иначе было с романом «Бурное солнцестояние» (вышел в издательстве Эминеску), где первопричины, корни исторических событий я ищу в первых годах нашего столетия. Понадобилась ретроспектива начала века. Я родился в 1923 году, поэтому — за неимением личных воспоминаний и впечатлений — вынужден был прибегнуть к беспрецедентному способу: позаимствовать персонажей и сюжетные ходы из классических румынских романов. Естественно, мое авторское видение совсем другое, чем у прозаиков прошлого: ведь я стремлюсь найти корни, истоки социального и нравственного зла, обнаружившегося в полной мере позднее. Румынская буржуазия, отказавшись от буржуазно-демократической революции, пошла на коалицию с помещиками. Смешение партий и программ привело к зыбкости демократических позиций, отсутствию истинных моральных ценностей, капитулянтским настроениям.

Роман, над которым я сейчас работаю («Метаморфозы»), состоит из трех самостоятельных частей. Первая описывает события апреля 1944 года, вторая — лета 1948-го, третья — лета 1963-го. Трехчастное произведение объединяется личностью главного героя, борца-коммуниста. Три книги — три любви в жизни человека, жизни, поставленной в широкий социально-политический контекст и рассматриваемой в диалектическом соотношении внешнего и внутреннего.

2. Для нас, писателей, познавших в той или иной форме опыт войны, борьба за мир — это и непосредственное изображение человекоубийственной битвы (пусть сам писатель и не принимал в ней участия), и стремление показать, как кровопролитие повлияло на дальнейшую жизнь людей и отношения между ними. Например, в одном из моих новых романов — анализ человеческого сознания, которое уродует война. Воспоминание о фашизме без конца возвращается на страницы моей прозы, оно живо в моей душе. Ведь фашизм, к несчастью, принадлежит не только прошлому.

Paul Georgescu

ГУНАСЕНА ВИТАНА (ШРИ ЛАНКА)

1. Я пишу о внутренних проблемах своей страны и о проблемах международных. При этом идеологической основой моих книг является марксизм. С приходом в 1970 году к власти правительства Объединенного фронта была сведена на нет направленная против нас деятельность «Азиатского фонда» — империалистической организации, созданной для диверсий в области культуры. Тогда многие литераторы, ранее служившие интересам империалистов, отошли от прежних позиций. Однако в настоящее время страна вновь стала жертвой империалистических махинаций, и некоторые наши писатели — увы — вновь приняли отнюдь не прогрессивную точку зрения. Одни, получив стипендии, находятся в Америке и Западной Германии. Другие заняты пропагандой реакционных идей в своей стране, создавая низкопробные произведения, способствующие воспитанию у читателей лишь низменных вкусов. В связи с ростом цен на бумагу и стоимости набора лишь немногие писатели имеют возможность теперь издавать свои произведения.

В течение последних трех лет я написал три детские книги, писал книги для юношества и для взрослых. Моя научно-популярная книга (первая в нашей стране) называется «Дети матери-земли». Среди юношества пользуется успехом моя книга «Повстанцы революции» — о введенных в заблуждение молодых людях, которые под влия-

нием маоизма подняли в 1971 году мятеж. В 1981 году был опубликован мой роман «Сарадиэль». По свидетельству издательства «Прадипа пракашакайо», в котором вышла книга, роман быстро раскупается. В основе его — жизнь реального лица, молодого человека, боровшегося против британских колониальных властей. Еще в 1968 году я выступил с идеей «народной литературы» и в нынешних условиях ясно осознаю свою ответственность как «народного писателя». Нашей главной задачей является привлечение внимания читателей к проблемам сегодняшнего дня. Наша обязанность — писать о них с гуманистических позиций, учитывая уровень читательской аудитории. Думаю также, что я должен писать в интересах создания в нашей стране национального единства и борьбы против эксплуатации. Мое перо, перо каждого прогрессивного писателя у нас в стране должно служить делу национально-освободительного движения и сохранения мира. Своим интернациональным долгом считаю борьбу против антисоветской кампании, проводимой в Шри Ланке маоистами.

Нашим читателям нужна литература антиимпериалистической направленности. Я работаю над историческим романом для юношества и книгой по истории для детей. В основу романа положены два эпизода: первый имел место в 1815 году, когда после завоевания Цейлона Великобританией один буддийский монах сорвал и растоптал английский флаг, водруженный завоевателями. Второй — в 1948 году, когда другой буддийский монах надел корону на сингальского юношу и провозгласил его сувереном Цейлона вместо английского короля. Собираю материалы и для еще одного романа. Планирую опубликовать сборник критических статей к 25-й годовщине Ассоциации писателей стран Азии и Африки. В этих статьях я попытаюсь рассмотреть проблемы культурного развития афро-азиатских стран, подрывные действия империалистов и маоистов в области культуры, дать картину расцвета художественного творчества в СССР, рассказать о том, как за истекшие 25 лет писатели стран Азии и Африки под руководством своей Ассоциации боролись своими произведениями за свободу народов и мир. Надеюсь, этот сборник будет способствовать разоблачению американских агентов у нас в стране и явится достойным отпором антисоветчикам.

2. Научный подход к вопросу о классовой борьбе делает ясным ответ на вопросы: «Кому нужен мир? Кто выступает против мира?» Эксплуатация существует только в классовом антагонистическом обществе. А в обществе, основанном на эксплуатации, нет мира. Угнетение — причина агрессии. Сейчас империализм снова угрожает войной. В странах, подобных нашей, диверсии империализма в области культуры подрывают основы мира. Администрация Рейгана намерена производить нейтронное оружие, накапливает запасы оружия ядерного, выступает против национально-освободительного движения. Она встречает поддержку со стороны маоистов и нынешних китайских правителей. Серьезную угрозу миру представляют, например, агрессивные действия Китая против Вьетнама, подавление национально-освободительного движения в Сальвадоре, поддержка контрреволюционных сил в Афганистане, помехи на пути создания независимого палестинского государства. Мы стремимся сделать Индийский океан зоной мира. А цель империалистов — сделать его полем военных сражений. Они хотят превратить в свою базу Цейлон, так же как сделали это с островом Диего-Гарсия. Уже сейчас американские компании взяли в аренду наш крупнейший порт — Тринкомали.

Вот почему писатели и деятели искусства должны направить всю свою творческую энергию на сохранение мира. Нельзя оставаться безучастными. Проза, поэзия, критика, драматургия, кино — все должно служить делу мира. «Фронт народных писателей» — влиятельная организация в нашей стране. В своих произведениях мы пропагандируем миролюбивую политику, проводимую социалистическими странами, тот вклад, который СССР вносит в дело мира, разрядки и разоружения. Наши произведения направлены против эксплуатации и войны.

Gunasena Withana

АНДРЕ РЕМАКЛЬ (ФРАНЦИЯ)

1. Есть две пословицы, родившиеся из крестьянских наблюдений над погодой и ее приметами, над посулами земли. И хотя обе они главным образом относятся к труду сельскому, сдается мне, что их можно приложить и к литературному творчеству — ведь оно тоже и сеет, и взращивает плоды.

Первая из этих пословиц гласит: «Одна олива в день святого Жана — тысячи к празднику всех святых».

Я твердо верю: писаное слово, фраза, поднимающаяся из глубины сознания, которые составляют роман, стихотворение, начиная с посева букв через посредство печати, с весны творчества до осени воплощения в готовую книгу, умножаются от слияния мысли писателя с мыслями его читателей — и вот первоначальная, простейшая олива воспроизводится тысячу тысяч раз. При условии — столь же непременном, как и хороший сорт дерева для плодоношения,— что писатель дает читателям зеркала, в которых они видят себя и, быть может, себя открывают.

Вторая пословица тоже представляется мне важной для моих собственных попыток писать — в том смысле, что она с улыбкой приоткрывает еще запертые сегодня двери будущего: «Тому, кто начинает год в месяце мае, будет весело круглый год».

Олива святого Жана, месяц май, окончательно разгоняющий холодные тучи,— разве это не есть в сущности символ всего того, что люди веками отчаянно противопоставляли угрозе стрел, пуль, снарядов, бомб,— всего того, что побуждает людей — и число их все растет — восставать против апокалипсиса, каким чревато ядерное оружие, установленное на подводных лодках, самолетах, ракетах и уже, возможно, на искусственных спутниках, летающих вокруг земли.

Писатель, если он живет проблемами своего времени, должен быть в этой борьбе на передовой линии огня.

Я всегда хотел с помощью своих романов быть свидетелем и зеркалом проблем, стоящих перед моими современниками. Не зря в одном из них, написанном около двадцати лет назад,— «Женщина, облаченная в солнце» — есть такая параллель: француженка с обожженным лицом и польский моряк проездом во Франции, которого мучит воспоминание о пламени пожарищ, разрушивших Варшаву в годы войны. При виде лица молодой женщины с пятном от ожога мужчина чувствует, как в нем поднимается волна памяти.

«Глядя на это лицо с прикрытыми глазами, с ожогом на щеке, который будит тревогу, он снова представил себе то, что составляло ужасные переживания его детства: разбомбленный город, дымящиеся остатки домов, запах разлагающихся трупов, мать и сестер, от которых остались лишь обуглившиеся тела. Все это, весь ужас смерти, обрушившейся с неба, он тащит за собой. Рисунок, оставленный им сейчас на бумажной скатерти уютного бара, расположенного между прудом и нефтеочистительным заводом, внутри которого полыхает огонь, обжигает так же, как и его воспоминания».

Не случайно и то, что в своем творчестве я словно бы проиллюстрировал этапы, пройденные по пути к подписанию Стокгольмского воззвания и многих последовавших за ним воззваний за мир и разоружение. Желая передать ужас войны, я сочинил в последние тридцать лет немало стихотворений, в том числе поэму — она была подхвачена, словно ветром, одной из самых многолюднейших демонстраций в моем солнечном Марселе. Припев ее звучит так:

Я — мир с истерзанными руками,
С кровоточащими ранами.
Я — мир со светлой улыбкой.
Я — сознание человека,
Смех ребенка и нежность матерей.
Я — плоть ваших надежд,
Ваших клятв [1].

«Как вы стремитесь отражать в своих произведениях проблемы современности?» — спрашивает редакция «Иностранной литературы». Не знаю, ответил ли я на вопрос. В самом деле, писателя формирует время, в которое он живет, и никому не дано этого избежать, хочет ли он изменить свое время и направить в русло прогресса — так, как он его понимает,— или затормозить, остановить бег времени, чтобы повернуть его вспять. Время, в которое живет писатель, независимо от его суждения о нем, всегда настоящее!

Недавно я написал книгу «Марсель с открытым сердцем», где рассказал историю старейшего города Франции, насчитывающую две тысячи шестьсот лет. И хотя я вовсе не ставил перед собой такой задачи, моя книга рассказывает о прошлом сквозь призму настоящего. Воскрешая, например, легенду о встрече греческого мореплавателя Протиса и девушки из местного племени Гиптис — то есть о том, как возник Марсель,— я не мог не рассказать вместе с тем и о настоящем этого города: «Другие греки и другие лигурийцы узнают один другого в радостях любви. Марсель развивается под знаком Артемиды эфесской и Аполлона дельфийского. Сплав светловолосых девушек-лигуриек и смуглокожих юношей-ионийцев придает марсельцам неповторимую индивидуальность. Даже сохраняя свои костюмы, язык, обычаи и богов, фоссейцы уже не совсем фоссейцы. Даже привнося в жизнь города сельские, пастушеские нравы и не отрекаясь от своих божеств, лигурийцы уже не совсем лигурийцы. Вступая в любовный союз, и те и другие становятся массалиотами, древними марсельцами. Всю жизнь Марселя знаменует такое постоянное слияние людей города с пришельцами извне».

Мне думается, в этом все дело: от своей эпохи не уйти, и менее всего в таком случае, как мой, когда я сделал выбор, связав будущее с надеждой на социализм, неотделимый от сохранения и защиты мира.

2. Как может произведение искусства или литературы способствовать защите мира на земле? По-моему, в этом вопросе, как и во многих других, готовых рецептов не существует. Только я постоянно возвращаюсь к мысли, принадлежащей Мильтону, которую я уже не раз повторял за ним: «У мира есть свои победы — и не менее знаменитые, чем победы войны».

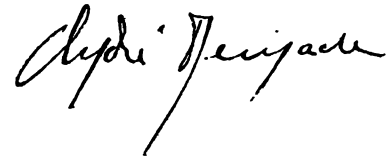
Именно эти победы достойны и человека, и искусства, и литературы.

---

[1] Подстрочный перевод с французского Л. Завьяловой.

Ограничусь двумя примерами. Возьмем памятник адмиралу Нельсону на Трафальгарской площади в Лондоне и скульптуру на площади небольшого городка Сере в Восточных Пиренеях, созданную Пикассо во славу мира. Чему я отдал бы предпочтение? Думаю, критерием здесь, наверное, должно служить вот что: утверждает ли произведение искусства величие человека, прославляя мир, или отрицает это величие, воспевая военные сражения.

Вот почему я буду и впредь ухаживать за оливковым деревом, растить его, стремясь, чтобы олива святого Жана принесла обильные плоды.

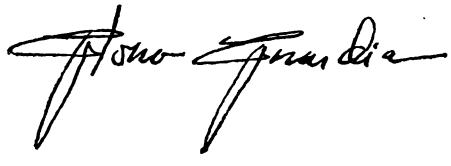


ГЛОРИЯ ГУАРДИА (ПАНАМА)

1. Исхожу из предпосылки, что я писательница и, как таковая, в силу своего ремесла, должна быть свидетелем-описателем всего, что меня окружает. Если я верна своей миссии, я высказываю мнение о первоочередных проблемах, волнующих людей. Однако надо также принимать во внимание и следующее: если писатель надеется выйти за рамки хроники-памфлета, ему потребуется свободное поле деятельности, иначе говоря, ему важно писать без ограничений, свойственных этому жанру, простодушно подчинившему себя предписанным установкам. Так, я считаю, что свидетелями-описателями драмы существования человека во времени были, среди других, Гомер, Данте, Сервантес, Шекспир и Горький. Они поставили свое творчество на службу проблемам гуманизма и потому были и будут — на протяжении веков — современниками всех людей

2. Сейчас я пишу серию рассказов, посвященных некоторым проблемам, которые на первый взгляд свойственны исключительно полному конфликтов современному обществу латиноамериканских стран. Однако, если анализировать их в более широком контексте, они отражают — или пытаются отразить — драму человеческого существования, порождаемую скоротечностью жизни.

Всякое литературное произведение есть прежде всего акт человеческого общения. А человеческое общение — согласимся с этим — есть самое действенное средство разрушить предубеждения и завязать диалог, который, в свою очередь, создает предпосылки для воцарения мира на земле.



ШАНДОР ШОМОДИ ТОТ (ВЕНГРИЯ)

У нас принято говорить о «писателях-учителях» и «писателях-журналистах» в венгерской литературе, смотря по тому, откуда пришел в нее писатель. Меня, конечно, надо отнести к отряду «учителей», ведь я преподавал пятнадцать лет, и объекты моего литературного интереса носят педагогически-психологический характер. Это может показаться наивным, но я верю в воспитательную силу литературы.

Я учитель и знаю, что такое внимание. Одни считают вниманием самостоятельное усердие и умение принудить себя учиться, другие — наблюдательность, постоянную «настроенность» глаза, уха. По-моему, это не так. Внимание — это бой, целенаправленная борьба, концентрированная сила чувств, ума и подчас самых неистовых эмоций. Если человек внимателен в моем понимании слова — в мимолетном движении для него воскресают века. Это прекрасно иллюстрирует собака в момент охоты. Вытянувшись, она посылает корпус вперед: в скульптурной позе ее тела — дикая дрожь десяти тысячелетий охоты и напряженной борьбы, и эта эмоциональная память веков и поколений так же важна, как сиюминутный акт борьбы, испытание всех ее живых способностей.

Писатель — именно такой внимательный человек. Если он не таков, не поможет ни вдохновение, ни усердный подбор материала, ни кристальная ясность мысли. Заблуждение, будто ребенка или «простого» читателя интересует в книгах лишь сюжет. Они ищут моменты, которые могут вызвать сопереживание, будь они «сюжетные» или «несюжетные».

Я родился в бедной семье, и это означало для меня необходимость трудиться с детства. Работа моя была с виду солидная: я уже тогда преподавал. Мои ученики

не были гениями. С ужасом вспоминаю одного, которого учил играть на скрипке. К этому мальчику вполне подходило выражение «медведь на ухо наступил»: у него совершенно не было музыкального слуха. Он не улавливал секст, а я учил его играть на скрипке. Усердно учил и не помышлял об отступничестве, хотя он и водил смычком по моим натянутым нервам. Невеселая была работа! Этот мальчик стал для меня символом всех, кто делает не то, что мог бы делать, а порой и прямо противоположное,— людей без музыкального слуха, играющих на скрипке. На войне, в педагогической деятельности, политической борьбе, любви я встречал множество людей, неспособных к тому, за что они брались, и не отдающих себе отчета в том, что им это не под силу.

Я не смотрел ни с удивлением, ни с недоверием на людей, знающих свои возможности: самопознание естественно для человека. Но дело вовсе не в этом. В тринадцатилетнем возрасте я впервые прочитал «Преступление и наказание», и ужасный эксперимент Родиона Раскольникова стал для меня мерой человеческих поступков. Это осталось на всю жизнь. Когда я добровольно спускаюсь в ад Раскольникова — каждый год, и неоднократно, в молодости и теперь,— в его страшном поступке я вижу вечный конфликт идеи и действия. Я ни в коем случае не ставлю знака равенства между добром и злом, мудростью и глупостью и не хочу сказать, что такова человеческая натура. Я не питаю слабости ни к старым, ни к новым формам нигилизма. И не считаю, что мой образ мыслей — следствие педагогической работы. Правда, дети — самые бескорыстные и чудесные мои друзья; на их лицах, в их жестах я отчетливо, без прикрас, иногда до головокружительных глубин вижу всю истинную суть человечности; большую роль сыграло общение с детьми в том, что в конечном счете я верю в победу жизни.

Однако меня не покидает чувство, что зачастую нам нечем гордиться перед детьми, а порой даже должно быть стыдно. Думаю, нередко мы вызываем их неодобрение, хотя они не всегда его выражают.

Первый мой роман («Перелом позвоночника», 1959) — книга о чуткости, может быть, повышенной чувствительности; она исследует пределы человеческого унижения и воспевает целительный хмель «самопознания». Однако это лишь диагноз, не терапия. Моя вторая повесть («Ты был пророком, мой милый», 1965) развивает тему. Это повесть-предостережение против оказывающегося иногда губительным отсутствия сострадания, сердечности, доброты. Ведь человек бывает слаб в несчастье, и это делает в тысячу раз труднее борьбу за жизнь против смерти.

Венгерские поэты, художники, музыканты ищут простой, естественный, детски наивный, древний, первобытно-примитивный — как еще это назвать? — у каждого по-своему преломляющийся способ ви́дения, чтобы вновь открывать человека и мир, без конца нуждающийся в открытии, поскольку изменяется с каждым днем. Любой из них изображает своеобразный и все же универсальный мир — так возникает, например, неповторимая лирическая интонация Шандора Вереша или Ласло Надя, казалось бы, упрощенный до детского, однако иронически-сложный способ художественного ви́дения Ласло Борнемисы. Венгерский психологический роман сейчас делает свои первые шаги, хотя у нас есть уже несколько превосходных книг, например романы Ласло Немета.

За тридцать шесть лет после Освобождения Венгрии в обществе произошло столько изменений, точно минуло столетие. Человеческая психология до неузнаваемости изменилась, изменился также и характер общения. Появились новые социальные типы. У поколений людей, выросших при социализме, при всех существующих между ними различиях, основные социальные критерии — общие. Однако по-прежнему множество споров вызывают такие проблемы, как нарушение экологического равновесия и его последствия, старость, преступность, болезни, особенно нервные заболевания, людские страдания, проблемы воспитания, поведения в коллективе, сексуальной жизни...

Даже простое перечисление тем показывает, что литература занята многогранной и ответственной работой и, если есть условия для ее плодотворного развития, она действительно помогает обществу, будоража совесть, побуждая к размышлениям.

Я считаю простоту наиболее современным способом художественного выражения, когда сложное показано в естественном и безыскусном. Но простота и непринужденность изложения могут быть следствием только проникающей в суть вещей истинности. Уверен, что революционность выражается в действиях, создающих общество, нацию, что дух коллективизма и самоотверженность становятся массовым явлением, если мы прикладываем силы к настоящему делу, ради хороших целей. Я мог бы сказать еще многое, но вернусь в заключение к мысли о детях. Ребенок — зеркало нашего биологического и исторического прошлого, общественного и естественного бытия и сокровенная надежда на возможность материалистического научного предсказания. Ничто не выражает так ярко мир жизни и жизнь мира, как символ развития — маленький ребенок.

Если бы человек мог посмотреть на свою вселенную с первородной чистотой детского взгляда и, ужаснувшись и изумившись, сделать единственно верные выводы, этот взгляд был бы равносилен революции.

АНГЕЛИКА МЕХТЕЛЬ (ФРГ)

1. Все мои романы, рассказы, публицистические работы — это попытка истолкования проблем современного общества. Я исхожу из того основного положения, что, как писательница, несу ответственность за социальное, политическое и культурное развитие. Я не должна стоять в стороне от общества, в котором живу, а напротив, обязана работать ему во благо, вместе с ним, даже если мой личный вклад не очень велик.

В настоящее время я работаю над литературным изложением записок о США и Канаде (результат моей шестинедельной командировки по этим странам). Возможно, из этого получится книга. Я нахожусь еще в самом начале этой работы.

Большая часть моего времени была заполнена недавно организационной работой, поскольку мы с моим коллегой Гердом Э. Гофманом готовили по заданию Союза писателей ФРГ конгресс «Интерлит-82» («Интернациональные дни литературы»). Тема конгресса — «Современные писатели и их вклад в дело мира: границы и возможности».

2. Я не придерживаюсь точки зрения, будто какая-то отдельно взятая книга может помочь сохранению мира на земле. Такого не было в истории человечества. Но каждый, кто имеет дело со словом и информацией, может — своими произведениями и личным вкладом — помочь возникновению духовного климата, благоприятствующего миру на планете. В этом аспекте я, например, и рассматривала свою работу по организации «Интерлит-82». Мой коллега Герд Э. Гофман и я тратили много времени и даже жертвовали кое-чем, чтобы внести этот, пусть небольшой, вклад в дело мира.

ЕФРЕМ КАРАНФИЛОВ (БОЛГАРИЯ)

1. Я постоянно стремлюсь к тому, чтобы все, о чем пишу, было обращено к современности. Моя книга «Болгары», например,— об исторических героях прошлого, но ее проблемы современны.

Сейчас я работаю над книгой (она будет называться «Творческий характер и социалистический труд»), в которой главная проблема — социалистический гуманизм.

2. Писатели не должны забывать, что истинная литература всегда служила и будет служить гуманизму.

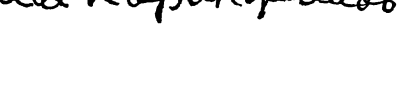
Никогда еще над человеком — «мыслящей тростинкой» — не нависала такая огромная и реальная угроза, как ныне. Атомный взрыв не только сломает тростинку, он отнесет ее в небытие. Сегодня гуманизм означает борьбу за мир.

Мы выступаем и будем выступать против войны. Но чтобы бороться с темными силами зла успешно, нужно создавать произведения яркие и значительные. Лишь живое и талантливое писательское слово может противостоять военным арсеналам.

Мы должны верить в свои силы. Снаряд, выпущенный из одной-единственной пушки, может уничтожить любой источник радио- и телевизионных волн. Но ничто не может уничтожить эмоционального и интеллектуального импульса, исходящего от произведений Толстого или Горького, Пушкина или Маяковского.

Стрела Аполлона все еще способна поразить пяту разъяренного Ахилла.

Мы не должны забывать об этом!



◆

Критика

С. ПРОЖОГИНА

ОБВИНЕНИЕ

Капиталистический Запад в творчестве франкоязычных писателей-североафриканцев

В тех странах Северной Африки, которые долгое время находились под французским колониальным господством, новые национальные литературы возникли в сущности незадолго до обретения народами политической независимости. 50-е годы — вот, пожалуй, реальная точка отсчета начала бурного развития художественной литературы в странах Магриба — Алжира, Марокко, Туниса. Несомненно, процесс этот был связан с подъемом национально-освободительного движения в целом, когда и для писателей, выражаясь словами туниса Альбера Мемми, «пришла наконец пора четко осмыслить действительность и ту роль, которую в ней играл колониализм».

Именно этот фактор решающим образом сказался на проблемно-тематическом характере новой литературы, на выборе писателями «болевых точек» не только в недавней истории своих стран, но и в современной жизни других стран и народов, в чьем социально-историческом и политическом развитии увидели они сигнал тревоги. Он прозвучал в их книгах как предупреждение не повторять ошибок того пути, по которому прошел Запад.

Известно, что для многих африканских стран стало обычным (особенно на первых порах) использование в литературе языка бывшей метрополии. В Магрибе при этом сказалось и длительное «присутствие» Франции, сопровождавшееся значительным ущемлением национальных культур и языков, а также немалое воздействие на писателей — представителей наиболее образованной части общества — прогрессивной французской художественной традиции, ее гуманистического, социально-критического пафоса. В то же время, как это показало дальнейшее развитие франкоязычных литератур этой части Африки, обращение к западному языку не лишило их самобытности, тех особых свойств и признаков, которые позволяют говорить о них как о литературах национальных. При этом мы имеем в виду не черты их формально-эстетической непохожести на литературы Запада, но именно их отличие содержательное, сущностное, связанное с отражением в литературах Магриба национальной реальности [1] и с обращением писателей-североафриканцев к западному миру, который дает им большой материал для размышле-

[1] О том, как современная действительность Алжира, Туниса и Марокко освещается в творчестве магрибинских писателей 60—70-х годов, см. подробно статью С. Прожогиной «Пора тревог и надежд» в «ИЛ», 1980, № 3. *(Прим. ред.)*

ПРОЖОГИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА.

Советский литературовед, доктор филологических наук. Автор книг «Литература Марокко и Туниса» (1968), «Франкоязычные литературы стран Магриба (Алжир, Марокко, Тунис)» (1973), «Магриб: франкоязычные писатели 60—70-х годов» (1980) и ряда работ по истории и теории литератур стран Северной Африки.

ний особого рода (последнее чрезвычайно характерно именно для франкоязычной части литератур Алжира, Марокко и Туниса на всем протяжении их существования).

Художественное многообразие вхождения темы Запада в творчество самых различных магрибинских писателей, как и очевидность воздействия на них современной западной литературы, не мешает, однако, обнаружить достаточно однозначную позицию, которую эти писатели последовательно занимают вот уже почти три десятилетия, несмотря на смену литературных поколений. Эта позиция выражается в остром, социально-критическом видении капиталистической действительности, в отношении к ней как к «отрицательно заряженному миру».

Но эта характерная черта франкоязычной литературы Северной Африки обусловлена, конечно, не столько субъективными предпосылками — упорным стремлением писателей, прибегающих к европейскому языку, быть «непохожими», отделить свою литературу от французской (хотя тяга к ней по-прежнему все еще сильна), сколько совершенно четко осознанной объективной необходимостью, возникающей в процессе политической и духовной деколонизации народов.

Сама национальная история, еще не столь далекое колониальное прошлое, особенности нынешнего независимого развития государств, активно приобщающихся к достижениям современной цивилизации, определяют тот особый угол зрения, тот охват западного мира, который присущ творчеству писателей Алжира, Марокко, Туниса. Причем отображение Запада в художественной литературе, а также своего, восточного мира, слитого с национальной основой жизни, оказалось взаимосвязанным в художественном творчестве магрибинцев, запечатлевшем сам процесс эволюции национального самосознания.

Ибо, как это ни покажется парадоксальным, осмысление Запада — не в плане формальной антитезы Восток — Запад, но в его колониальном обличье, в рамках его собственной буржуазной действительности, в известной мере ускорило социально-историческое самопознание североафриканцев, столкнувшихся с чуждым миром. А это одновременно позволило извлечь из его истории и его нынешней реальности уроки, которые кажутся необходимыми и для правильной оценки происходящих сегодня в странах Магриба перемен (разумеется, с учетом того общего и особенного, что есть в каждой из них), и для будущего развития народов.

Вот почему тема Запада представляет немалый интерес при изучении литератур бывших колоний и зависимых стран. Она решается здесь не как *противопоставление* одного мира другому, но как *противостояние* миру *чуждому*, как выражение своего с ним несогласия и показ по законам художественной правды этого неприятия.

Таким образом, можно говорить об определенной тенденции отражения Запада в литературах Магриба как в социально-историческом, так и в социально-психологическом аспекте. Колониальный лик Запада; Запад глазами североафриканских эмигрантов; человек в плену капиталистической цивилизации; проблема конфликта «двух миров» — вот основные «составляющие» этой темы, и они оказываются одинаково значимыми на протяжении всего периода развития франкоязычной литературы.

Если тунисец А. Мемми (роман «Соляной столп», 1953), алжирцы М. Диб («Большой дом», 1954), К. Ясин («Неджма», 1956), марокканец Д. Шрайби («Простое прошедшее», 1954) и другие еще в 50-е годы сумели показать суть колониального присутствия Франции, изнанку ее «царствия», жестокость столкновения с миром угнетателей тех, кто на своей земле был лишен всех прав, то марокканцы А. Катиби (роман «Татуированная память», 1972) и Т. Бенджеллун («Харруда», 1973) уже в 70-е годы обратятся к трагической для их народа истории, снова покажут подлинный лик колонизаторов, суть их «цивилизаторской миссии».

Но и для поколения писателей 50-х, и для писателей 70-х годов было одинаково важным сказать правду о колониализме [1].

Герои их романов — «колониальные дети», привыкшие к нищете, но не свыкшиеся с ежедневно ощущаемым унижением. Мир тех, кто насильно завладел их родной землей, казался им изначально чуждым, «устроенным по другим человеческим законам». «Люди, колонизовавшие меня, — писал Катиби в «Татуированной памяти», — их дети жили словно в другом жизненном ритме...» Железная схема норм «новой» жизни была навязана тем, кого считали всего лишь «туземцами», а не людьми, существами неполноценными, почти «дикарями», неспособными оценить тот «разумный порядок», который установила в Африке Европа. Стихийный бунт детей из романа Катиби, вытаптывающих газоны французского парка в европейской части города, «построенной словно укрепленный военный лагерь», был выражением инстинктивного, бессознательного неприятия «чуждости» этого порядка, с помощью которого шло одновременно и постепенное отчуждение личности колонизованного. Те, кто занимался не только колонизацией земли, но и колонизацией души «подопечных», утверждали и внушали им, что колониализм — высшее благо. В книгах, по которым учили маленьких североафриканцев, значилось, что раньше в Африке «все было хаосом». С каждой страницы учебника, писал Катиби, «катились отрубленные головы воюющих между собой правителей, династии теснили и сменяли одна другую, лошади кочевников, поднимая копытами пыль, опустошали землю... Взволнованный такими беспорядками Запад, конечно же, должен был вмешаться во имя всеобщего блага. Аллилуйя, колониализм! И вот те-

[1] А. Мемми в яркой публицистической форме написал еще в 1957 году социально-психологическое исследование «колониальной ситуации», которое и сегодня не утратило своей политической остроты и служит как бы своеобразным итогом, обобщающим раздумья многих магрибинских писателей о колониальном прошлом своих народов. См. A. Memmi. Portrait du colonisé, précédé du portrait du colonisateur.

перь — укройся трехцветным знаменем... празднуй рождество Христово и воображай укутанную снегом елку!..» (Писатель ничего не преувеличил — книги, по которым учили детей в колониях, полны и еще более гротескных примеров: маленьким алжирцам, марокканцам, тунисцам, открывавшим учебник истории, например, надо было запомнить, что их предки — галлы...)

Так шло медленное отлучение людей от своих истоков. С болью и гневом Катиби свидетельствовал: «Колониальные цели известны: противопоставлять, милитаризировать, разделять города на этнические зоны, закопать поглубже культуру колонизованных народов... Обнаружив, что его земля сделалась чужбиной, этот народ будет бродить, потерянный, по разрушенной земле своей истории».

Но пробуждавшееся сознание приобщавшихся к культуре Запада начинало видеть не только изъяны средневековой отсталости Востока, но и гримасы европейской цивилизации в колониях, ибо ничего подобного тому, о чем писали, например, книги великих французских гуманистов, что было связано с лозунгами «Свободы, равенства и братства», невозможно обнаружить в условиях колониальной действительности.

«Для любого из нас, — напишет, например, в одном из эссе Мемми,— осуждавшего лицо Европы в колониях, речь шла не о том, чтобы отказаться от Европы вообще. Мы лишь хотели, чтобы она признала наши права. К нашему огорчению, мы не скоро начали понимать, что такие надежды иллюзорны...» Не только А. Мемми, но и Д. Шрайби, К. Ясин, М. Фераун, М. Маммери и многие другие писатели покажут в своих книгах, как рушились надежды их героев, как их идеалы, сталкиваясь с беспощадной реальностью, рассыпались осколками разбитых иллюзий (один из персонажей романа М. Маммери «Когда спит справедливость», 1953, даже сожжет в отчаянии книги великих французских мыслителей...). Они покажут, как постепенно вызревал справедливый гнев против тех, кто принес их народам цепи нового рабства.

Подобное столкновение с Западом отмечено в основном эпохой французского колониализма, хотя в книге Катиби «Татуированная память» есть еще одно «ви́дение» западного мира, когда «колониальным детям» приоткрылась дверь и в другую эпоху. Близившаяся к концу вторая мировая война эхом донеслась и до берегов Северной Африки, и люди увидели «американскую солдатню, которая, распоясавшись, вела себя как дома, решив, что «Марокко — это один огромный бордель...» Дикая для марокканцев разнузданность нравов, продемонстрированная заокеанскими суперменами, их грубость и произвол в отношении арабов, обращение с ними «как с диким зверьем», как с «загнанными в клетку животными» — все это осталось в памяти писателя и его героя, «вытатуировалось» в сознании тоже как один из образов Запада.

Но если в книге Катиби, так же как и многих других его предшественников, Запад — это прежде всего оскал колониализма и расизма, несправедливость именно политического и социального миропорядка, навязанного другим народам, то в книге Т. Бенджеллуна «Харруда» Запад возникает в его техническом, «машинном», бездушном натиске, с корнями вырывающем из памяти и жизни народа его собственную историю и культуру. Писатель показал, что наряду с известными благами технической цивилизации, с новыми формами знания, принесенными Западом, традиционный уклад жизни искусно и хитроумно втягивается в сети жестоко-расчетливого мира капитала, как без особого труда в него вторгаются, разъедают изнутри и насильно разрушают. Трагедия заключалась в том — и Бенджеллун поведал об этом с замечательным мастерством, — что в сознании народа старый мир, пусть уже «одряхлевший» и «иссохший», был «своим», привычным, хотя и нуждавшимся давно в «омовении» и «очищении». Но его отторгали, уничтожали, срывая с лица земли вместе «с корнями», как древний могучий дуб, что рос посреди медины — арабской части города. Этот дуб надо было убрать, как и весь старый квартал, расчистить место для новой дороги, но он противился, упорно стоял, и тогда его взорвали. «Нам оставили,— писал Бенджеллун,— развалины старого города и искры гнева...» «Инопришельцы», как называет колонизаторов писатель, не улучшали жизнь, но умножали страдания народа, лишая его права на собственный выбор.

Подобный образ Запада был, естественно, результатом или, вернее, следствием колониального опыта и самих писателей, и их героев. Но знакомство с Западом происходит в книгах магрибинцев и на самом Западе, то есть в условиях европейской либо американской действительности. Туда вело стремление расширить круг познаний о жизни, найти идеалы, продолжить учебу либо необходимость эмиграции в поисках средств существования, работы. И там, вплотную столкнувшись с искомыми «прогрессом» и «цивилизацией», буржуазной «демократией» и «свободой», сполна вкусив плоды «капиталистического рая», североафриканцы увидели не только «лицо Европы», но и само нутро того общественного устройства, которое было способно породить такие формы угнетения и подавления человека, как колониализм, расизм, безжалостная эксплуатация наемного труда. Художественная проза, поэзия, публицистика, драматургия Алжира, Марокко и Туниса неизменно свидетельствуют об итогах «свидания со свободой».

Для тех, кто ехал искать идеалы, встреча с Западом была тем более тягостна, чем увереннее было их стремление и осознание необходимости порвать со «средневековым Востоком», «дремлющим» и «застойным», с миром прошлым, как они его называли, и стать человеком нового мира, увидеть реальное воплощение понятий справедливости, равенства, братства.

В романе «Скорпион» А. Мемми расскажет о той драматической утрате иллюзий, которую пережил его герой, попав в Париж, где полагал учиться «разуму и добру» в «храме мысли» — Сорбонне, где с горячей юношеской верой рассчитывал получить «ответы на все вопросы жизни, затрагивающие судьбы всего человечества»:

«Суета и будничная канитель упражнений, формальных лекций, во время которых основной заботой было, как сказать, а не что сказать, и главное — не сказать правды...» Крахом иллюзий закончились и годы учебы в Париже героя уже цитированного романа А. Катиби: «Что же осталось в памяти от пронесшихся как вихрь пяти лет пребывания в Европе? Обрывки знаний, пыль психоанализа, рокочущий голос модного социолога за кафедрой... Я говорю об этом прошлом как о времени, которое надо вычеркнуть из жизни».

Не менее горек урок, преподнесенный Западом и герою книги тунисца М. Тлили «Кипящая ярость» (1979). Молодой арабский журналист, решивший сделать карьеру в Нью-Йорке, ощутил этот город «огромной безмолвной бездной», несмотря на «адский грохот, бушующий в ней», — бездной «безликой чуждости и холодного равнодушия», несмотря на кишащие в ней «мрачные страсти». Преступления, коррупция, расизм, убогость негритянских кварталов, гетто черное, желтое, презрительное отношение к пуэрториканцам, мексиканцам, арабам — так город постепенно открывал свой неприглядный лик, а заодно и лик той «страны свободы», какой рисовалась когда-то в воображении героя Америка. Свобода эта обернулась свободой лжи, насилия, свободой «черной ненависти белых людей», свободой страдания существ, «выброшенных себе подобными на обочину жизни».

Но, пожалуй, самым жестоким это «свидание со свободой» оказалось для тех, кто уехал в Европу в поисках работы, куска хлеба. Тема североафриканской эмиграции на Запад — одна из самых жгучих в литературах Магриба: писатели с глубокой болью и гневом рассказывают о нечеловеческих условиях жизни алжирцев, марокканцев, тунисцев, оказавшихся волею судеб, подобно многим другим собратьям по несчастью (туркам, португальцам, африканцам), на положении людей третьего сорта в тисках капиталистической эксплуатации, в недрах технической цивилизации Запада.

Еще М. Фераун в романе «Земля и кровь» (1953) запечатлел первый период этого интенсивно проходившего в начале XX века процесса «исхода» североафриканцев в Европу на заработки, показал драматическую судьбу тех, кто, поверив рассказам о возможности найти работу в больших и богатых городах, уезжал с родины, «сжигая корабли»... Писателю удалось нарисовать замечательную по своей психологической глубине картину финала этих поисков счастья: возвращение измученных лишениями эмигрантов в родные края, в уже полузабытый мир с пустым багажом, разбитой душой, утраченной верой (а порой и языком) и, самое главное, с осознаваемой невозможностью заново приспособиться к когда-то оставленной жизни, обрести уже «обрубленные корни». Перенеся всю тяжесть жизни на чужбине, эти люди стали почти чужими среди своих, и это было «не менее страшно, чем тот страх», который испытали они в краю изгнания, встречая «смерть лицом к лицу», страх беспросветной нужды, увольнения с работы, болезней, страх быть убитыми расистами в темных закоулках бедняцких кварталов, где ютились эмигранты, страх смерти от несчастного случая в шахтах или на заводах, где арабы и «черные» использовались на самых тяжелых и опасных работах...

Марокканец Д. Шрайби в романе «Козлы» как бы продолжил рассказ своего алжирского коллеги, восстановив ужасающую картину жизни во Франции «бико» — «козлов», как там презрительно называли арабских эмигрантов. Он поведал о постепенном превращении человека в существо, лишенное всех прав, жизненных основ, самой земли, «на которой можно стоять, не боясь упасть». Книга Шрайби вышла в самый разгар алжирской войны (1954—1962) и прозвучала еще одним обвинением преступлениям колониализма, обличением того социального устройства, где, как пишет Шрайби, расистам дозволено «с высоты христианской морали смотреть с презрением на «бико» через решетку, на которой висит табличка с надписью: «Араб, настоящий»...

Некоторые французские критики в свое время поспешили заявить, что Шрайби, как и другие арабские писатели, показал невозможность адаптации своих собратьев, «несовместимость» их с европейской цивилизацией. Однако Шрайби, как и другие магрибинцы, показал, от чего именно страдали «бико»: не от своей неспособности к «адаптации», а от того, как их «адаптировали», не априорную «несовместимость» миров и культур Востока и Запада, но социально-политическую природу этого «конфликта».

И в 70-е, и в 80-е годы магрибинским писателям снова приходится, к сожалению, обращаться к этой проблеме — ситуация мало чем изменилась по существу, разве что в количественном отношении: североафриканских иммигрантов в Европе теперь не десятки тысяч, а миллион...

Тахар Бенджеллун в книгах «Люди под саваном молчания» (1971), «Одиночное заключение» (1976), «Самое глубокое одиночество» (1977), «На волнах памяти» (1980) снова покажет продолжающиеся мытарства соотечественников, так же как и других африканцев, уехавших в поисках работы во Францию, их психологическую и социальную отчужденность, непрекращающуюся тоску по родине, «жгущую душу невыносимой болью», «разъедающую тело», покажет и существующий барьер расизма, который держит их на «дне» жизни... Эти образы сливаются в книгах Бенджеллуна в «единую боль» тех, кто, попавшись на приманки «капиталистического рая», сполна ощутил уродства европейской цивилизации, воочию убедился в существовании разрыва между мечтой и действительностью.

Трагическая бессмысленность пути из мира, претерпевшего колониальное порабощение и все еще несущего на себе его следы, в мир другого рабства, где разрушалась уже сама человеческая личность, где совершалась ежедневная и систематическая «декристаллизация души» человека, которого лишали всех надежд, — и в книгах марокканца М. Хайреддина «Разрыватель могил» (1973), «Запах гари» (1976), и в книгах алжирца Р. Буджедры «Солнечный удар» (1972), «Идеальная топография для характерной агрессии» (1975). Хайред-

дин, называя условия жизни североафриканцев в Европе «постоянно творящимся над народом насилием», воссоздает страшный образ того мира, который способен изгнать человека из круга людей и обречь его на звериное существование.

Один из персонажей романа Р. Буджедры «Солнечный удар» вспоминает в больнице о жизни в Европе с помощью зарисовок в блокноте — он забыл родной язык, так и не научившись говорить по-французски: «Он отвечал, рисуя черные от копоти города, над которыми лили дожди... Он рисовал заводы и подземелья, по которым на ощупь пробирались люди... Это были ему подобные несчастные существа, которых так долго угнетали и презирали, так унижали, что они в конце концов сошли с ума».

Рашид Буджедра вернется к теме эмиграции алжирцев и в романе «Идеальная топография...», но решит ее уже в другом ключе. Он покажет не условия существования иммигрантов во Франции, но с необыкновенной силой художественной правды создаст символический образ самой чудовищной системы, которая сжимает «стальным обручем», давит громадой безвыходного «подземного лабиринта» и обрекает на смерть человека.

Рисуя «адский» образ парижского метро, куда попадает бедняга — крестьянин из Алжира, Буджедра как бы стремится создать в нем образ мира, где люди мечутся в инфернальной какофонии стального грохота и скрежета в «пещере безразличия и равнодушия». Они, как и неграмотный крестьянин, приехавший искать счастья в высокоразвитую страну, подвергались ежеминутно и ежедневно «агрессии» этой цивилизации, и главная опасность состояла в том, что они не замечали, не ощущали уже всей чудовищной силы ее вторжения, ее тяжести, гнета, не чувствовали, как «выжимали» из них человеческую душу и превращали в своеобразные автоматы по перевариванию благ «общества потребления».

Об этом и многие другие произведения магрибинских писателей, где возникают образы — «сгустки Запада». Таковы Симона из «Козлов», Рют из «Вас навестит друг» (1967), Маривонн из «Смерти в Канаде» (1975) Д. Шрайби. Созданные целиком на западном материале, они нужны писателю именно как обобщенный образ человека, находящегося в плену у капиталистической цивилизации.

Трагедия Симоны, истерзанной нищетой и безнадежностью, — в пассивном медленном угасании, «выключенности» из жизни, в отсутствии всякого сопротивления злу. Трагедия Рют — это трагедия «трижды безумного мира», понявшего бесцельность и бессмысленность движения по кругу, не пожелавшего своего дальнейшего «повторения»: Рют сжигает собственного ребенка, видя в этом акт самоуничтожения. Трагедия Маривонн — это «смерть души», обреченность на ту самую «свободу», которая в ее понимании была свободой раскрепощенного буржуазного индивидуализма, это жизнь, не знающая устремления к высоким идеалам, не ведающая порывов вдохновения и признающая только разумность бизнеса... В романе «Допрос в деревне» (1981) Шрайби создает и некий восточный вариант жертвы западной цивилизации, вариант, так сказать, «ускоренного развития» личности экс-колонизованного под воздействием Запада. Гротескная фигура полицейского чиновника, нахватавшегося на стажировке во Франции и Америке внешних признаков «современной культуры», говорившего на смехотворной арабо-франко-английской смеси языков, заболевшего повышенной брезгливостью к «отсталым соотечественникам» и признающего только деньги и карьеру, являет собой колоритный пример уродливого «гибрида», появившегося в результате перенесения на восточную почву худших ростков западной цивилизации.

Пожалуй, именно в романах Шрайби наиболее всесторонне представлено «царство лжи и механизированного стандарта», создан яркий «портрет того социального устройства, где в человеке планомерно и хитроумно создают такой комплекс свойств, который, обезличивая, превращает его в «человека-толпу» (роман «Толпа», 1961), сформированного, запрограммированного по нормам и стандартам буржуазной демократии.

Как-то в одном из интервью Д. Шрайби отметил: «Это все европейские проблемы», могут сказать мне. Но мы, «люди третьего мира», не идем ли и мы с беспечностью навстречу подобным формам общественного устройства?» В этой фразе — тревога всех североафриканцев, для которых проблема отношения к Западу встала не как вопрос о совместимости или несовместимости Востока и Запада, но как вопрос о выборе пути, о возможности и необходимости усвоения достижений Запада и в то же время отрицания и неприятия многих форм его социального и политического устройства. Такой подход к проблеме несомненно во многом диктуется осознанием и своих собственных внутренних проблем, озабоченностью процессами социального и духовного преобразования развивающихся обществ, желанием увидеть скорейший выход своих стран и народов на дорогу подлинного прогресса и независимости.

Поэтому, возможно, так резко виделись, так остро ощущались изъяны того мира, с которым связывались надежды на приобщение к великим достижениям человеческого разума. Но именно там, где, казалось бы, не было вековой ночи колониального рабства, где не была искусственно задержана социальная и культурная эволюция, именно там человек обрел цепи иной несвободы, оказался в плену новых суеверий, нового невежества и безмерной бедности духа...

Все это не означает, конечно, что в книгах магрибинцев есть некое огульное отрицание Запада. Те вполне четкие и реально обозначенные контуры «зла»: бездуховность, отчуждение, угнетение, эксплуатация, коррупция, колониализм и неоколониализм и связанные с ними расизм и шовинизм — все эти конкретные «элементы отрицания» Запада удерживают писателей в определенном идейном равновесии, не позволяя как отступать на позиции национализма, «востокоцентризма», так и превра-

щать свою критику в анархическое бунтарство и тотальный негативизм, особую форму мщения тому миру, на который возлагается основная вина за пороки и несчастья мира собственного.

Может быть, не случайно Т. Бенджеллун так настойчиво в поэтическом сборнике «На волнах памяти» ищет иные образы Запада, возвращается мысленно к своим встречам с теми замечательными людьми, с которыми свела его судьба на чужбине, людьми, без страха и сомнений отдающими себя борьбе за счастье народов, служению «всем угнетенным и обездоленным земли». В них, этих людях, увидел поэт прообраз будущего человечества, объединенного любовью к свободе, бескорыстным служением всеобщему благу.

Может быть, не случайно и в романе «Обладатель кубка» (1981) Р. Буджедры именно Франция предстает огромной ареной драматических событий, местом, где продолжается во времени и пространстве борьба за судьбу алжирского народа, его независимость. Выстрел, прогремевший во время футбольного матча на стадионе и означавший убийство еще одного предателя, получает в романе и символическое звучание: он становится не просто эхом алжирской революции, докатившимся до другого берега моря, но громом, прогремевшим в сознании всех тех, кто должен был понять, что народ победить нельзя, что он — единственный и вечный «обладатель кубка». Этот выстрел был напоминанием о том, что люди проливают кровь и расплачиваются жизнью, чтобы свести «исторические счеты» с несправедливостью, чтобы выиграть свой финальный матч, главное сражение за свободу, и в эту «окончательную игру» втянуты все, в ней нет зрителей, но все — участники.

Вот почему, когда магрибинские писатели выбирают проблему «столкновения миров» (как это делает, например, М. Фераун в «Дневнике» (1968), Н. Фарес в книгах «Пассажир с Запада» (1971), «Поля олив» (1972), они решают ее всякий раз однозначно, исходя из того, что народы не должна разделять граница ненависти. Этот барьер встает тогда, когда существуют политические и социальные причины, приводящие людей к войне и истреблению друг друга. Вот почему для них так важно исчезновение этого барьера, вот почему один из основоположников алжирской литературы писатель М. Маммери еще раз настойчиво повторит мысль о том, что главное на земле — не просто сохранить мир, но устранить саму возможность возникновения войн между народами, искоренить само стремление подчинить историю и судьбу одного народа воле другого (пьеса «Пир», 1973).

Может быть, колониальное прошлое, остро переживаемое и вспоминаемое писателями как тяжелый кошмарный сон, держит их в постоянной тревоге за судьбу не только своих, но и других народов, усиливает их желание найти такой способ существования человечества, когда разделение его на Восток и Запад будет проходить только на карте полушарий земли и когда сам земной шар будет навсегда огражден от опасности разлететься на куски по чьей-то безумной прихоти.

◆

ВАЛ. РУШКИС

РАССКАЗ О ДРУГЕ

В гостях у Сары Лидман

Худенькая, с коротко остриженными седеющими волосами, стоящими на макушке дыбом, отчего и вся Сара Лидман кажется навсегда взъерошенной, она безыскусственно рада нам: гости добираются до нее так редко! Тысяча километров от Стокгольма!

— Ты приехал из Таллина? — спросила меня Сара.— И в Швеции впервые? Интересно?

— Очень!

Она обратилась ко мне на «ты». Ну что ж, отлично. Это удобно, сразу переводит отношения в более непринужденные. Вообще-то все шведы обращаются друг к другу на «ты», кроме сугубо официальных случаев.

Хозяйка двухэтажного дедовского дома в Миссентрэске, Сара водила нас из комнаты в комнату, сообщая историю каждой вещи: стенных часов, бабушкиного комода, раздвижных кроватей деда Сары и ее дядей — когда-то в этом доме было тесно, стоял ребячий гомон, слышались голоса взрослых с их вечными крестьянскими заботами.

Потом этот дом опустел. «Как многие-многие крестьянские дома на планете»,— сказала Сара. Дети разъехались кто куда. Когда родители умирали, Сара вернулась сюда. «Уже после Вьетнама»,— невзначай поставленной вехой обозначила она свой путь.

Ее характеристики были ярки и неожиданны. Например, о дереве под окном она сказала: «Это мой муж. Близкий, но немного холодный. Впрочем, он всегда старается принарядиться для меня, сейчас — хотя бы с помощью снега». Тамара Тумаркина переводила, я поспешно записывал — исписал целую тетрадь.

На увеличенной до предела фотографии давней деревенской свадьбы Сара не только назвала каждого человека — соседа по Миссентрэску, но рассказала и о его судьбе. И это были своего рода новеллы, в которых начальным рефреном звучало: «Вот эти уже умерли... этот уехал... эта семья перебралась в столицу...»

— У нас, в Вестерботтене, на севере Швеции, становится все меньше людей. Нет работы. Это очень страшно — безработица. Люди теряют уверенность в завтрашнем дне, чувствуют себя ненужными... Вам хорошо — в Советском Союзе я видела спокойных и уверенных людей. Помнишь, Тамара,— ведь это ты показывала мне Москву, Ленинград, Узбекистан... Подумать только — двадцать лет назад! Тогда я только что вернулась из Африки и в вашей стране был опубликован роман «Я и мой

РУШКИС ВАЛЕНТИН СОЛОМОНОВИЧ (род. в 1910 г.).

Советский прозаик, очеркист, поэт-переводчик. Автор книг «Утро Эстонии» (1950), «Повесть о подвиге» (1962), «Повесть о славных делах Волли Крууса и его верных друзей» (1964), «Рассказы об Эстонии» (1966), «Иду следом» (1981), ряда книг документальной прозы. Перевел с эстонского несколько пьес, сборников стихов и песен.

сын» — первая из моих книг, переведенная на русский язык...[1]

Да, в огромный дом советских людей эта шведская — подчеркнуто шведская — писательница вошла романом о ЮАР, книгой, пафос которой разожжен сочувствием к черной Африке и ненавистью к апартеиду. Сара Лидман отправилась в ЮАР не новичком в литературе — роман «Смолокурня», которым она дебютировала в 1953 году, «Край морошки» (1955) и две другие книги, посвященные ее родному северу, были отмечены критикой и читателями как событие. В Африку — ЮАР, Кения, Танзания — Сара Лидман направилась не туристом, не ради любования экзотикой: она стремилась познать суть неправедно устроенного мира.

В романе «Я и мой сын» крепко слажен сюжет, выписаны сложные характеры. Симпатия белой женщины к негру в атмосфере расизма — уже романическая ситуация. Но главное для Сары Лидман — сочувствие к угнетенным и вечно голодным африканцам, в уста которых автор вкладывает язвительные обобщения:

«Одиночные убийства наших людей тем и страшны... что их много».

«— Мы сильнее, чем думаем сами.
— Недоедание подтачивает силы.
— Невежество еще больше».

«— Какое чудо природы человек!
— Какого цвета?»

Затем она написала второй роман об Африке. Следующая горячая точка планеты — Вьетнам, разве Сара могла не поехать туда? И новая ее книга — «Беседы в Ханое» (1966), известная нам по фрагментам, опубликованным в журнале «Дружба народов». Вернувшись на родину, Лидман-публицист и здесь бросается в бой: она пишет «Рудник», книгу о тяжком труде и невыносимой жизни горняков шведского заполярья, о забастовке, перекинувшейся с одного рудника на другие. Сара боролась за их права, выступая в печати и на митингах, а гонорар за книгу передала в стачечный фонд. И эта ее книга есть на русском.

Наконец, в 1978 году, в издательстве «Художественная литература», вместе с романом «Я и мой сын», вышел и роман «Край морошки». Это потрясающе честное, обнаженное и лаконичное повествование о людях севера Швеции в период такого, казалось бы, безмятежного процветания нейтральной страны — между двумя мировыми войнами. И вдруг...

Край морошки — вот он сейчас тут, за окном, родной край Сары Лидман. Сразу за дорогой начинается долгий спуск к бесконечным болотам с озером посередине — «трэск». На взгорье, в деревне, где поставил свой дом дед Сары, жили крестьяне, «бонды». Герои романа уж совсем нищие бедолаги, «торпари», получившие от казны наделы на болотном «Острове», на бугре, под обязательство осушить и раскорчевать свой участок, построить дом и «покрасить его суриком». Вот почему, оказывается, и в вымышленной деревне Экстрэск, и в ее прототипе — Миссентрэске так много одинаково красно-коричневых домов и домишек...

Но и там, где денег на сурик наскребли, и там, где лачуги так и остались недокрашенными, а тем более в хибарах, где торпари не выполнили и более серьезных своих обязательств и подлежат выселению, романистка показывает беспросветную, нечеловечески тяжкую жизнь. «Одна маета, никакого смысла, ступай ко мне,— шепчет торпарю потолочная балка,— докажи, что есть еще капля гордости»; и торпарь отвечает: «Да ведь у меня и веревки даже нет». Ну что ж, «сходи в деревню, займи, потом никто с тебя не спросит»...

Сара Лидман рисует страшноватую горбунью, прозванную Ведьмой; очаровательную девушку, сломленную торпарской жизнью, безропотных трудяг и ропщущих лентяев; жалкие фигурки бесчисленных детей нищеты — новое поколение людей без будущего.

Лишь на последних страницах романа в дикости этой и темноте появляются штрихи каких-то изменений: вот в нескольких домах провели электричество, вот вырывается отсюда одна из героинь книги — уезжает в город в желтом автобусе, который появился на белой дороге... Но как медленно приходит новое сюда, к северянам! И надежен ли его приход?

Сара Лидман последовательна в своей борьбе, в своих привязанностях и антипатиях. Многое о ней говорит ее анкета — «Автопортрет», опубликованный в декабре 1980 года шведской социал-демократической газетой «Арбетет».

Вот некоторые фрагменты [1].

АВТОПОРТРЕТ

писательницы Сары Лидман, 57 лет, Миссентрэск, Йёрн.

— Худшее, что ты можешь себе представить?

— Пытки.

— Где бы ты хотела провести жизнь?

— Остаток — в Миссентрэске.

— С какими недостатками тебе труднее всего мириться?

— Со своими собственными.

— Кого ты ставишь превыше всех?

— Не люблю культа личности. Возведенные в ранг святых, самые хорошие люди подчас совершали ужасные злодеяния...

— Твой герой в реальной жизни?

— Труженики-родители, находящие силы любить семью и товарищей по труду.

— Твое любимое имя?

— Имя моего любимого.

— Что тебе противнее всего?

— Бесчувственность, которая находит выражение в порнографии.

— Какой военный подвиг ты ставишь выше всех?

— Изгнание вьетнамцами американских оккупантов.

— С кем бы ты хотела переписываться?

— К сожалению, я плохой письмописец. Почти все силы уходят на текст насущный: мои книги и статьи — это письма.

— Если бы ты выиграла миллион, что бы ты с ним сделала?

— Послала бы Вьетнаму.

— Какое шведское слово, по-твоему, самое красивое?

[1] Опубликовано в «ИЛ», 1962, № 5.

[1] Выдержки из «Автопортрета» и «Речи на митинге» переведены Т. Тумаркиной.

— Любое — в соответствующем контексте.

— Когда ты последний раз плакала?

— Позавчера.

— Что бы ты сделала, если бы стала невидимкой?

— Исправила бы какое-нибудь недоразумение... подняла бы себя за волосы... спасла бы озонный слой... помешала какому-либо извергу рода человеческого... помешала бы ООН поддерживать Пол Пота... помогла бы человеку, страдающему от несправедливости...

Вот такой автопортрет. Тут можно найти шутливые ответы на вопросы не столь уж существенные; но о главном Сара Лидман и здесь говорит прямо, страстно и убежденно. Ни одного неискреннего слова. Страдающим от несправедливости она помогает всю жизнь.

Бесстрашную правдивость романов Сары Лидман о родном севере подчеркивает их язык, так щедро пересыпанный диалектизмами, что она сопровождает эти книги (для шведов!) «Словарем некоторых диалектных и архаичных слов». Так же написаны и новые ее романы об Экстрэске, в частности — роман «Камень Набута», вышедший из печати в конце прошлого года и встреченный прямо-таки салютом хвалебных отзывов периодической печати Швеции...

— Сара, тебя можно поздравить — во всех газетах такие рецензии о твоей новой книге... И о спектакле...

— Удивительный спектакль! Молодой режиссер Лейв Сундберг сам сделал инсценировку по моим последним книгам об этих местах. Конечно, там было слишком много материала, но он сумел отлично им распорядиться!.. Инсценировку осуществил Норботтенский региональный театр, но премьера была — где бы вы думали? В соседней деревне, в спортивном зале школы. Решили показать тем, о ком я писала, прототипам моих героев. Жителей Миссентрэска пригласили на генеральную репетицию. Знаете, и стокгольмским рецензентам пришлось приехать на премьеру сюда, к нашим болотам!

— Но как же театр поместился в спортзале?

— Они все это сделали с отменным вкусом. Театр все-все привез с собой в большом автобусе. Круглый занавес выделил нечто вроде палатки; посередине сцена, размером с вот эту мою кухню, вокруг скамейки для зрителей. А декорация нарисована прямо на занавесе: леса, озера, наш ландшафт. Сцена кое-где была затянута оленьими и коровьими шкурами. Очень изобретательно и экономно. Иногда появлялся коврик, сплетенный из тряпок, из лоскутков — так у нас плетут...

Надев передник, Сара моет посуду. Ковбойка навыпуск, в красную и серую клетку, узенькие черные брюки, хохолок на затылке — кабы не седина, девчонка, да и только.

Подошла к столу за очками, вздыхает:

— Как старость меняет человека! Приходится надевать вот это... Я стала похожа на свою мать. Шесть лет назад, вернувшись в Миссентрэск, я встретила старых подруг. Вижу их, а кажется, что это их матери. Голоса, жесты, образ мысли, сама речь... Такие меткие выражения, чудесный местный говор — наверно, мои книги о Вестерботтене очень трудно переводить.

— Да, когда Лев Жданов переводил твой «Край морошки», он совсем замучился с диалектом. Но в конце концов, по-моему, справился.

— Да, мне уже хвалили его работу. Я рада. Но ведь именно так говорят в нашем крае... Разговоры о шерсти, вязанье, дойке, бесконечные рассуждения о погоде — когда я тут жила подростком, мне это надоедало до тошноты. Сейчас слышу все по-иному и речи соседок кажутся мне естественными и прекрасными. Ведь даже говоря о самом обыденном, они касаются и великих загадок рождения и смерти.

Помолчала.

— Соседи приходят, рассказывают, а я у них краду. Иногда сюжет — ни один писатель не может построить его так замысловато, как это делает жизнь. Иногда детали, реалии. Ничего им не говорю, но когда выходит книга — дарю и указываю страницу, где есть хотя бы строчка, взятая у этого человека. А они читают и пожимают плечами: что ж тут особенного, написала все как было. Правду.

За перегородкой зазвонил телефон, и Сара, извинившись, метнулась к нему.

— Звонили из Стокгольма,— вернулась Сара.— Комитет «За безъядерную зону на Севере Европы» напоминает, что через три дня мне выступать на митинге. Спрашивают, готова ли. А я все еще мучаюсь.

— Мы тебе мешаем.

— Ничего. Главное, я знаю, что скажу. Еще не знаю *как*, но скажу, что нельзя допускать войны. Что нельзя, живя богато, забывать о пятидесяти миллионах умирающих с голоду. Мы здесь живем за чужой счет. Ты был в Африке? Нет? Во Вьетнаме? А я была, видела и голод, и войну.

Большие, старые стенные часы начали бить, звонко и молодо.

— Нет, мне здесь хорошо. Стены этого дома полны жизни — ведь вещи сохраняют что-то от прошлого! Вот та бутылочка на шкафу осталась от моей бабушки. А часы за шестнадцать крон в 1916 году купил мой дед. Такие часы были здесь во всех домах, кроме уж самых бедных. Как у русских иконы. Все, кто жил в этом доме, продолжают в нем жить.

— Они приходят помочь тебе писать.

— Да. Когда лучше всего пишется, я не знаю, кто пишет,— я или они. Иногда самовольничают: придумаешь отличную концовку главы или даже всей книги, идешь к ней — и вдруг мои герои сворачивают в сторону. Просто горе... Впрочем, когда писатель начинает хвастаться своими несчастьями, это романтично. Недолюбливаю писателей, большинство из них просто играет на своих бедах. И все ужасаются: ах, писатель страдает! Будто это хуже, чем страдания какого-либо другого человека. Ничуть! В мире бесконечное число несчастных, которые даже не умеют сформулировать, в чем их несчастье...

Мы возвращаемся с прогулки.

Неподалеку от своего дома Сара указывает на косогор, где из-под снега выглядывает путаница картофельной ботвы:

— А на этом поле мой дед сеял ячмень

и сажал картошку. Теперь картошку тут сажает сосед, а осенью отдает два мешка мне.

— Ты типичный эксплуататор,— шутливо ворчу я.— О таких писал Ивар Лу-Юханссон: даешь пахать землю и отбираешь урожай.

И вдруг Сара понимает меня без перевода: ну, ясно, «эксплуататор» — слово интернациональное, Ивар Лу-Юханссон писал о трудной жизни шведских батраков... Сара возражает мне — тоже в шутливом тоне:

— Эксплуататор? Я? Но я приглашаю их на кофе весной, когда картошка посажена, и осенью, когда собран урожай!

— Вот-вот. За все труды две чашки кофе! Не знаю, может быть, хозяйка уже не шутит.

— Я приглашаю всю семью! А у них тут работы всего на два часа, все делает трактор, а горючее для него добывают арабы... Но если говорить серьезно, все это надо переменить.

Мы топчемся на крыльце, стряхивая налипший снег. Сара снимает свою неизменную куртку, примелькавшуюся на многих фотографиях — удобная куртка с большим круглым значком, где на желтом фоне алое солнце окружено лаконичной надписью: «Атомная энергия? Нет, спасибо». Я разглядываю значок. Ах да, ведь ей предстоит выступать на митинге в Стокгольме...

— Я все-таки мешаю тебе готовиться к выступлению.

— Нет. Когда вчера ложилась спать, положила наброски речи себе под подушку и уже с утра все знаю.

Иногда она с подкупающей серьезностью говорит такие вещи...

— Сара, видишь ли, я собираюсь написать о тебе. Ты не могла не заметить, что я вторые сутки все записываю, записываю...

— Конечно, заметила. По-моему, ты записал обо мне уже все, что тебе нужно.

— Нет, еще не все.

— Отлично, — сказала Сара Лидман. Она прочно и удобно устроилась на раздвижном диване и подняла на меня серо-голубые глаза. — Спрашивай.

— Спасибо. Совсем недавно вышел твой новый роман. Эта книга...

— Вот она, — протянула Сара толстый том. — Я приготовила ее для тебя.

Характерный для шведских книгоиздательств крупный шрифт и отличная плотная бумага. На суперобложке: «Сара Лидман. Камень Набута». И странная лошадиная голова с оскаленными зубами и косящим глазом. Сара улыбнулась:

— Лошадь на обложке выглядит несколько сумасшедшей, но у нее есть для этого основания.

— А почему нарисована именно лошадь?

— Это тотем шведа-мужчины. У индейцев в их верованиях есть тотем, животное, охраняющее род. У нас лошадь и мужчина были как бы одним целым. Куда без лошади? Она вывозила лес, пахала поле — самый добрый друг мужчины.

— И твой герой, Набут?..

— Нет-нет, о нем в этой книге — она пока третья в этой эпопее — лишь напоминается, его история рассказана в первом томе. Это книги о наших краях. Государство когда-то решило заселить здешние места, где самое главное — лес, наше национальное богатство. Поселенцам давали кусок леса возле болот; если выяснялось, что семья смогла укорениться, добавляли еще участок. Но что могли получить крестьяне от этого леса? Разве что бревна для постройки дома. И они вымирали — целыми семьями. Приезжал новый хозяин и начинал жить. Иногда воспитывали уцелевшего ребенка погибшей семьи, может быть, он был с новыми хозяевами даже в каком-нибудь родстве, в деревне всегда все немножко «свои». Такой приемыш становился полусыном, полуслугой. Набут был таким приемышем. Он не главное лицо. Главное — хозяйский сын Дитрик. А в первой книге...

Она показала рукой на стену, словно призывая нас заглянуть в соседнюю комнату, на книжную полку...

— Они рыли канавы, чтобы осушить болото. У каждого своя канава, и Набут наткнулся на камень. Поднять его он не смог и снова вышел на прямую, лишь обведя канаву вокруг камня. Над ним начали смеяться, но Набут спокойно ответил: «У воды спина не болит». А сам каждый вечер ходил к этому камню и пытался его выворотить. Словно его судьба зависела от проклятого камня. И все понимали, что он хочет утвердиться, увериться в своих силах, выбросив этот камень. Однажды вечером Дитрик с друзьями застали Набута у канавы и начали издеваться. Дитрик выкинул камень. А на следующий день...

Сара понизила голос.

— А на следующий день камень снова лежал в канаве. А Набут исчез — он уехал в Америку. И камень Набута всю жизнь давил на Дитрика. Дитрик и его жена — главные персонажи третьей книги.

— Ты будешь писать их историю дальше?

— Обязательно. Будет еще две книги, одна — во что бы то ни стало. Я доведу рассказ до 1889-го года.

— Почему именно этот рубеж?

— Пуск северной железнодорожной магистрали, пришедшей к нам, изменившей всю жизнь края. Во всех трех книгах красной линией проходит подготовка к постройке дороги. Это рассказ о малочисленных крестьянах, которые жили на опушке леса, в замкнутом кругу своего жилья, быта: еда — хлеб, молоко; одежда от овец; обувь из коровьих шкур — они сами снабжали себя всем. А владельцы лесопилок хотели, чтобы они валили лес и возили к ним. Чтобы купить крестьян, привозили товары со всего мира — сахар, кофе, перец, овес, часы, краски, все это продавалось в кредит... Потом акционерные общества требовали: «Отдай долг». А долги вырастали непомерно; леса, дома и земли, выделенные поселенцам, продавались с аукциона, лесопромышленники скупали их за бесценок, за какие-нибудь пятьсот крон. Потом за те же пятьсот крон — не дешевле, конечно! — они продавали хозяйства — кроме леса! — прежним владельцам, опять в кредит! И чтобы выплатить эту сумму и проценты, крестьянин всю жизнь валил лес

и корчевал пни, работая уже на владельцев лесопилен!

— Ты читала Ленина «Развитие капитализма в России»?

Отрицательно качнув головой, Сара спешит в соседнюю комнату, возвращается с двухтомником сочинений Владимира Ильича, изданным в Москве на шведском языке.

— Здесь этого нет,— вмешивается мой переводчик, — но недавно в издательстве «Прогресс» вышла первая книга нового десятитомного издания сочинений Ленина, там есть и эта работа. Мы тебе пришлем.

— Спасибо... Обо всем этом я рассказываю на примере одной семьи.

— Сара, твоя книга вызвала такой интерес... Наверняка читатели рассматривают эту эпопею не только как историческую хронику. А ты сама?

— Конечно! Книга имеет прямую связь с современностью! Эти земли было так трудно освоить, а теперь сюда больше не хотят вкладывать капитал. А нынешняя централизация промышленности ведет к постройке новых гигантов на юге Швеции, города растут там. У нас семьи были многодетные, до десяти детей в семье, было невероятно трудно всех их выкормить, вырастить. А теперь лет в семнадцать люди уезжают отсюда. Мелкие фабрики и заводы закрываются, газеты публикуют статьи, призывающие уезжать из северных областей, идет набор рабочих в новые города, где и без того так много безработных... И ведь так во всем капиталистическом мире!

Она полистала книгу.

— Я пишу о необыкновенных судьбах поселенцев, показываю этих мужественных и сильных людей страдальцами, но и триумфаторами! Освоение севера не только их пот, кровь и слезы, но и радостная песня, великая любовь, безумие, раскрытая человечность. А их язык, какой у них язык! А единение с землей, с небом, с животными домашними и дикими, с лесом! Лес — это рубашка бедняка. Один мой сосед и до сих пор говорит: «Там, где речка и лесок, и для пуза есть кусок!» В прежние времена такой человек-лесовик стоит, бывало, на двухметровом сугробе, да как крикнет по-особому — белка замертво падает к его ногам!

Она жестикулирует широко и плавно, она играет роли — охотника, белки, леса — всех сразу.

— Еще два вопроса. Первый: за что же ты борешься этой... пока — трилогией?

— Мои книги написаны не в лоб, с ними нельзя идти на демонстрацию. Я стараюсь показать душу нашего края, показать силу наших предков. Показываю: вот старый крестьянин с его лошадью. Они умерли. Но ночью, когда его сын и лошадь сына спят, мертвый старик встает и со своей лошадью еще раз перепахивает все тот же участок земли. Своей любовью. Своими воспоминаниями. Они же тут всюду вокруг нас! Значение живших до нас не кончается с их смертью. Сидя в вагоне поезда, едешь по жизням строителей железной дороги. Нельзя говорить о человеке, употребляя только экономические термины. Я мечтаю, что эта хроника возродит интерес к моему лесному краю, поможет его населению остаться в родных местах. И поможет самому лесу, с которым здесь так плохо обращаются — вырубают на больших территориях, посыпают ядом... Так что это и борьба за окружающую среду. Еще вопрос?

— Ты публицист. О чем твои последние статьи в газетах?

— Совсем недавняя — за признание нового правительства Кампучии, против Пол Пота. Но она не опубликована, ее вернули. А другие статьи последних лет вошли в книгу «Каждый листок — это глаз». Там собрано больше сорока моих статей. Сейчас я ее поищу...

Зазвонил телефон — на этот раз уже о наших билетах на поезд. Сразу все заторопились. Начались сборы. Мы назначили встречу через два дня в Стокгольме.

Пасмурно, моросит дождь. На стенах вестибюля метро афиши — «Все на митинг!» Очень крупно: «Сара Лидман». Ниже — фамилии еще нескольких ораторов.

Кунгстрэдгорден — Королевский сад, с его аллеями вязов, не так давно спасенными от гибели молодежью Стокгольма,— тут должна была расположиться станция метро.

Невероятное смешение времен года: осенние желтолистые вязы, среди них пышная скульптура — Карл XIII, в мокрой от дождя мантии, с мокрыми львами, лежащими у его ног, рядом по-летнему цветущие алые розы, а позади памятника... каток, где веселая детвора лихо шпарит на коньках.

Впрочем, главное — перед памятником. Тут возникла большая трибуна, кто-то налаживает микрофон, и над площадью несется громкое: «Эн, тво, трэ...» Справа от трибуны — автомобили организаторов митинга и сами эти организаторы — у них на рукавах красные повязки. И все больше народа собирается перед трибуной, школьники-старшеклассники приходят строем, но чаще люди вливаются незаметно, по одному, по два, так что кажется, будто многотысячная толпа перед трибуной возникает спонтанно, сама собой.

Мы отходим под навес, стараясь отыскать глазами Сару Лидман среди людей с красными повязками. Не тут-то было! Там представители не только комитета — инициатора демонстрации («За безъядерную зону на Севере Европы»), но и двадцати присоединившихся к этому комитету организаций — женских, молодежных, борьбы за мир, содействия ООН, писательского центра.

Втискиваемся в толпу демонстрантов — уже огромную, заполнившую все пространство Королевского сада, уже единую, взметнувшую над собой плакаты: «Мир на земле», «Мир и свобода», «Миллиарды, идущие на вооружение, — на питание!», «Мы хотим будущего без ядерного оружия!»....

Фоторепортеры целятся объективами в выступающую Сару Лидман.

ЕЕ РЕЧЬ:

— Товарищи, вот мы тут стоим и раздумываем, близкие друг другу или не очень близкие. Стоим, отделенные необъятным океаном от субъекта, который обращается к нам с того берега. «Я могу себе представить ограниченную войну с применением ядерного оружия в Европе», — говорит

этот субъект. Когда ищешь ответ на этакое, рот у тебя словно набит золой.

То, что сбросили на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года, было из класса двадцатикилограммовых, всего лишь пара субботних продуктовых сумок простой семьи из Тенсты или Сваппаваары. Но какая смерть изверглась из этих капсул, как неостановима она была, как до сих пор пронизывает лучевой болезнью мозг и кости, как невозможно все это *себе представить*. А ведь те бомбы были такие маленькие, их радиус действия был так ограничен рядом с тем, что нынче именуют тактическим оружием,— с тем, что субъект в Белом доме может себе представить в сердце Европы.

Одно бюро путешествий в США летом додумалось до такой рекламы: «See Europe before it's destroyed» — то есть посетите Европу, пока она не стерта с лица земли. Может быть, это лишь уродливый юмор, скорее неуместный, нежели опасный. Но когда в таком духе рассуждает государственный деятель — куда нам деваться от стыда?

Существует древнее представление о слитности человечества Если части человечества нанесен ущерб, всем людям становится плохо...

Вот почему у нас язык прилип к гортани от стыда в тот первый день, когда Рейган там, на другом берегу, представил себе, как за несколько секунд уничтожить нас по эту сторону Атлантики. Постыден сам его выбор слов: *«Я могу себе представить»*...

Каждый имеет право на жизнь.

Угроза, прозвучавшая на днях с такой силой, должна остеречь нас на будущее, чтобы мы ощутили дыхание атакуемых голодом, должна побудить нас остановить и войну, где орудие — отказ в хлебе насущном.

Требуя свободы от ядерного оружия на нашем севере, во всей Европе, в мире, мы делаем это и потому, что хотим жить, и потому, что хотим дать жить другим.

Есть африканское приветствие, распространенное в Зимбабве Оно звучит столь жизнерадостно, что его стоило бы вписать в Устав ООН. Когда двое встречаются, один говорит: «Такафари», что означает «Я вижу тебя», а также имеет подтекст «Я узнаю тебя». Другой отвечает: «Макадини», что означает «Надеюсь, ты здоров!». Мы должны уничтожить оружие голода и оружие расщепленного атома, если желаем человечеству здоровья.

Такафари! Макадини!

Еще до начала митинга она предусмотрительно показала нам, где выйдет Но едва Сара появилась на этих ступеньках, ее атаковали корреспонденты. Текст речи? У нее только два экземпляра, а ей еще придется выступать сегодня же... Хорошо, одну копию она может отдать — вот вам, другие газеты вряд ли отведут много места И отдала свои листочки представителю газеты «Норшенсфламман» — «Северное сияние», орган Рабочей партии — коммунисты Швеции.

— Нам необходимо твое выступление в защиту самостоятельности Афганистана! — пользуясь появлением Сары в Стокгольме, наседал на нее очень молодой и ретивый корреспондент одной влиятельной реакционной газеты. Когда Сара отказалась, он с искренним недоумением воскликнул: — Но почему же? Ты всегда выступаешь в защиту правого дела!

— Вот поэтому я и не напишу того, чего вы хотите, — спокойно сказала Сара Лидман. Поискала глазами обещанную ей автомашину; автомобильчик стоял на месте, но хозяина его не было видно. — Идемте пешком, до Модерн-музея близко, — подхватила она Тамару. — Бежим!

— Ты молодец! — похвалил я ее.

— Конечно, — улыбнулась Сара. — То ли еще будет! Мы собираемся первого мая провести в защиту мира такое... И не только, будем бороться и до мая, и после него.

Обступив залив, вечерний Стокгольм гляделся в него своими удобными домами и контурами пронзительных шпилей.

К кассе Модерн-музея стояла нетипичная для Швеции длинная очередь — на улице! — за билетами на литературный вечер. Билеты дорогие, сбор — в фонд защиты мира. Выступление Сары Лидман по программе последнее. Она решила подготовиться обстоятельнее. Поискала глазами, нет ли свободного стула, — не нашла, неподалеку от стола, за которым бойко шла торговля книжными новинками, прислонилась к стене и принялась листать книгу «Камень Набута», выбирая нужный отрывок. Увлеклась, начала жестикулировать. Опустила на пол помешавшую ей сумочку, потом и сама присела. Наконец, стоя на коленях, положила книгу перед собой и ушла в свое дело, совершенно забыв об окружающих.

Через полчаса она уже читала этот отрывок с трибуны большой, мест на тысячу, аудитории музея, где заняты были все кресла полукруглого амфитеатра, да еще вдоль стен тесно жались опоздавшие.

Освещенная прожектором, вся в белом, с белыми волосами и смуглым лицом, она сразу овладела залом.

А закончив чтение и переждав аплодисменты, Сара Лидман на всю аудиторию, а из репродукторов — еще дальше и громче — воззвала:

— Остановите Рейгана!

И повторила свою недавнюю речь.

В марте из ее родных краев, с севера Швеции, от Хапаранда, по всей стране прошла эстафета мира.

В мае в Гётеборге состоялся стотысячный митинг в защиту мира. Движение разрасталось, могучим маршем шагая по планете.

И во всем этом потоке проявлений возмущенной совести человечества, в слитном хоре голосов неизменно слышится и голос Сары Лидман из далекого Миссентрэска.

◆

Трибуна переводчика

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПЕРЕВОДАМИ ШЕКСПИРА

В окно осенняя листва
с утра глядит Арденнской чащей,
ждут Розалиндины слова
тебя — чтоб речью стать звучащей...

Они ждут, но ты все не можешь добиться, чтоб они наконец зазвучали по-болгарски. Ты рассеянно смотришь в окно, не видя ни осенней листвы, ни чего-либо другого, и решаешь все ту же проблему: переведенная дословно фраза плохо звучит, а уходить от текста тебе не хочется. Слуга двух господ — старого английского автора и сегодняшнего болгарского читателя, ты ломаешь голову над трудным куском. И в тысячный раз ставишь перед собой и пытаешься решить извечный вопрос переводческого искусства. «Каким должен быть перевод — как можно более точным или как можно более естественно звучащим? Чему переводчик должен быть более верен — букве или духу?» — вот различные формулировки вопроса, уходящего корнями в те трудности, которые встречаются при перенесении текста из одной языковой культуры в другую. Вопрос этот ты решаешь на практике, в каждом новом случае заново, чаще всего неосознанно, но каким-то методом ты, вероятно, все же руководствуешься, какие-то общие принципы у тебя, наверное, есть; если призадуматься, ты, быть может, сумеешь, не слишком теоретизируя, растолковать их себе самому и своим собратьям по труду и призванию.

Скажу с самого начала: в целом я твердо стою за максимальную близость к подлиннику. Это для меня главное. Опыт работы над Шекспиром показал, что каждый раз, когда я отходил от текста, я неизменно по прошествии времени — сам или по совету своего несравненного редактора — возвращался к нему во власянице раскаяния: классики потому и классики, что выразили то существенное, что они имели сказать, наилучшим образом, и наилучший способ воплотить это существенное — непрерывно и упорно стремиться к возможно более точному переводу ими написанного.

Однако при переводе Шекспира добиться такой максимальной верности нелегко. Трудности, как всегда, начинаются с лексики. Правда, должен с радостью и гордостью сказать, что современный болгарский язык оказался способен передать все богатства шекспировской мысли и поэзии. У некоторых смысловых единиц в английском языке больше синонимов, но зато в других случаях наш язык оказывался более щедрым. (Так, например, я, к сожалению, поздно дал себе отчет в том, что Шекспир говорит неизменное «my country» там, где я мог бы перевести и «родина», и «отечество», и «татковина».) И все же дословное приближение к тексту часто натыкается на препятствия по чисто языковой линии. Скажем, шекспировский текст кишит шутами, а первое значение английского слова, обозначающего «придворного дурака» — fool, было в свое время «слабоумный», что часто связано с контекстом пьес. В болгарском же слове «шут» такое значение отсутствует. И мне приходилось искать окольные пути, чтобы обрисовать общий облик этого персонажа, состоящий из насмешек, глупости, бубенцов, проблесков гениальности, драк и непристойностей. Но это все же отдельные случаи — как правило, повторяю, наш язык предлагает нужные языковые соответствия, и я всегда усердно искал их, чтобы добиться дословного перевода (или подойти к нему вплотную).

Другие трудности, встающие на пути точной передачи текста, связаны с общеизвестной разницей в «густоте» этих двух языков — английского и болгарского. Как перевести, не допуская потерь в содержа-

---

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ (род. в 1920 г.).

Болгарский поэт, драматург и сценарист; лауреат Димитровской премии, народный деятель культуры. Автор многих книг стихов: «Птицы летят к северу» («Птици към Север», 1935), «Стихотворения» (1949), «Дни, в которые мы живем» («Дните, които живеем», 1952), «Дождь идет — солнце светит» («Дъжд вали — слънце грее», 1967), «В шутку» («На смях», 1970), «Стихотворения и поэмы» (1977) и др. В 1970—1981 гг. вышли семь томов его переводов Шекспира.

На русском языке издана книга В. Петрова «Поэмы». В «Иностранной литературе» публиковались отрывки из поэмы «Погожей осенью» (№ 2, 1965), главы из книги путевых заметок «Африканский блокнот» (1966, № 11, 12), подборка стихов (1977, № 6).

Статья «Размышления над переводами Шекспира» была напечатана в болгарском журнале «Панорама» (1980, № 3).

нии и не растягивая текст, тот или иной кусок, если он написан на языке, который более сжат, чем твой, в соотношении 2:3? Это математика, от нее никуда не денешься. Если ты хочешь сохранить число строк, тебе придется здесь пожертвовать «несущественным» эпитетом, там пропустить что-то, что «само собой разумеется», и т. д. Но поэтическая «информация», как известно, не измеряется битами, и одно дело перевести дословно, что паруса «забеременели от игривого ветерка», и совсем другое — сообщить, что паруса надуты ветром. (Пожалуй, даже лучше, если ветерок будет не «игривым», а «блудливым», но это уже другая тема...) Поэзия при этом несет потери. Если же ты хочешь сохранить поэтические образы и стиль и все-таки не увеличивать количества строк, тебе неминуемо придется прибегать к тем «сгущениям» и микронасилиям над синтаксисом, которые делают сценическую речь неудобопроизносимой и неестественной. Шекспир же естествен и музыкален — его стих только внешне выглядит «корявым». Что же остается? (Можно было бы, конечно, действовать «по горизонтали», то есть удлинять строку, но наш шестистопный ямб всегда казался мне неуклюжим и «тяготеющим» к цезуре.) Поэтому увеличение числа строк — в известных пределах, разумеется,— кажется мне наименьшим злом. Режиссеры начнут черкать своими красными карандашами, но эти господа и без того к ним прибегают, кроме того, они сокращают большими кусками, не затрагивая стиля, в то время как переводчик, «резюмируя» текст или укладывая свою речь в прокрустово ложе, тем самым меняет характер произведения. Следовательно, для болгарского языка удлинение по вертикали, позволяющее строго придерживаться текста, в данном случае наилучший путь к максимально верному воспроизведению оригинала.

Мотивы, вынуждающие переводчика Шекспира отходить от текста, связаны и с тем, что многое в шекспировских драмах устарело и непонятно нынешнему читателю или зрителю. (А это именно драмы, и там звездочкой не отошлешь к примечаниям.) Но и по этой линии я придерживался и придерживаюсь текста оригинала. Кое-где незнакомое слово можно, тщательно все взвесив, заменить другим, но систематическое осовременивание было бы, на мой взгляд, ошибочным. Шекспир на протяжении веков подвергался бесчисленным изменениям — каждая эпоха оставляла на его творениях отпечаток своего вкуса и своих запретов,— но ни одно из этих изменений не закрепилось, а оригинальный текст остался свежим и неувядающим. Сейчас нам кажется, что, приглушая историческое дыхание текста, мы тем самым приблизим его мысли к нашему времени но не правильнее ли обратное: чем ярче в переводном тексте присутствие XVI века, тем легче современный читатель и зритель принимает наивные фабулы, условности елизаветинской сцены и проч. от которых мы так или иначе не можем освободиться, и тем настойчивее все напоминает нам, что заключенное в этих наивных фабулах и условностях содержание — мысли, характеры, конфликты, поэзия,— столь мудрое и верное сегодня, было создано четыре столетия назад! Так прозрения Шекспира о человеке начинают звучать, мне кажется, еще более мощно, ибо мы слушаем их с полуосознанной мыслью, что, коль скоро они действительны и в наше время, хотя пришли к нам из такой дали, значит, наверное, будут действительны во все времена.

Но одно дело быть в этом уверенным, а другое — применять свои взгляды на практике. Приведу только один пример: шекспировские храбрецы на каждом шагу говорят о своей печени, потому что в то время печень считалась вместилищем храбрости. Там, где эта «печень» казалась мне особенно неуместной, я, хоть и не без сожаления, заменял ее «сердцем». Думаю, что поступал правильно, но неплохо было бы нынешнему переводчику в подобных случаях сознавать, что сердце — такое же вместилище храбрости, как и печень, и что мы, сегодняшние поэты, продолжаем говорить: «Сердце мое полно тем-то...» спустя много веков после открытий в области кровообращения, сделанных современником Шекспира — Гарвеем... И, право, жалко, что приходится опускать эти смешные на первый взгляд детали — они и любопытны, и имеют определенную познавательную ценность. (Здесь уместно помянуть и весьма смелый язык многих шекспировских героев и героинь. В течение веков он подвергался цензуре со стороны викторианцев и французов, но упоминавшийся уже шекспировский шут пробивался сквозь их запреты и, торжествуя, адресовал им свой циничный жест. Этот жест следует сохранить, потому что он знак своей эпохи и потому что без него буффонады становятся скучными. Что школьники будут хихикать в классе, не столь уж страшно — так было и так будет,— но важно, чтоб до нас дошел не умерщвленный эвфемизмами, а сочный и полный жизни язык Ренессанса.)

В связи со сказанным выше следовало бы снова вернуться к вопросу о языке. Не надо забывать, что нынешние переводы классиков исходно осовременены уже тем, что их словарь и синтаксис — в отличие от словаря и синтаксиса оригинала — современные, сегодняшние. Поэтому я стремился к тому, чтобы язык перевода, сохраняя естественность, в то же время не звучал *слишком* современно: избегал сугубо современных слов и оборотов и, более того, сознательно вводил кое-где то архаичное слово, то витиеватую структуру; когда же, ввиду отсутствия эквивалента, с наслаждением мастерил какое-нибудь новое слово, меня вдохновляла не только надежда, что оно пустит корешки в нашем языке, но и то обстоятельство, что вновь созданные слова — как это ни парадоксально — часто дышат стариной, и возникает та стилевая патина, о которой я здесь говорю. При этом, разумеется, надо действовать с мерой и тактом.

В своем стремлении придерживаться оригинала переводчик встречает немало трудностей и оттого, что в тексте речь идет о некоторых особенностях английского быта, незнакомых нашей публике. Их легко заменить или отретушировать, но и здесь, на мой взгляд, не следует отходить от текста из-за того, что то или иное место труд-

но для понимания. Я стремлюсь тем или иным способом объяснить неясную деталь из быта тогдашних овцеводов или матросов, но не хочу ее терять, потому что и штрих национальный, как и исторический, по-моему, не отдаляет, а приближает пьесы Шекспира к нам, подчеркивая их общечеловеческую значимость. Именно потому, что у нас никогда не носили желтых подвязок Мальволио, а господин этот нам родной брат по суетности, мы понимаем, что люди, несмотря на бытовые различия, всюду одинаковы.

Несколько лет назад мне встретилось, помню, в «Много шума из ничего» слово «теннис». Тогда я опустил его, оно показалось мне слишком современным. Позже, работая над «Генрихом IV», я встретил его снова. На этот раз нельзя было его обойти, да уже и не хотелось. Я сказал себе: пусть читатель или слушатель удивится и осознает, что в этой стране играют в теннис вот уже пятьсот лет, и пусть не падает духом, когда англичане окажутся на корте сильнее нас!.. Поэтому в старом споре о том, следует ли сохранять экзотику или надо ее разреживать, я — за первое. Одно из лучших созданий Шекспира — его простолюдины, а они говорят на своем языке, более, правда, литературном, чем представляют себе некоторые, но, безусловно, живом и окрашенном местным колоритом. Этот местный колорит должен быть передан: пастухи из «Зимней сказки» должны говорить на народном языке, не становясь при этом шопами[1], ремесленники-актеры из «Сна в летнюю ночь» должны разговаривать живо и просто, но как англичане, а не как герои Чудомира[2].

А что делать с пословицами? Когда мы располагаем образчиками нашей народной мудрости, болгарская окраска которых не слишком очевидна, их, я думаю, следует использовать. Но, может быть, и в этих случаях предпочтительнее перевести дословно английскую пословицу, если она образна и интересна, если может хорошо прозвучать и по-болгарски: не исключено, что какая-либо из этих пришелиц привьется к стволу нашего народного творчества — так ведь и происходит у человечества обмен опытом! То же относится и к некоторым выражениям — например, «уксусное лицо», «уксусная физиономия». Чем было это во времена Шекспира? Образом, выдуманным поэтом, или расхожим выражением? Установить это сейчас трудно, но если у нас «уксусная физиономия» звучит свежее, чем выцветшая «кислая физиономия», думаю, правильнее сохранить ее во имя яркости и колорита. Чем ближе к оригиналу, тем лучше!

Еще одна причина, требующая от переводчика особого внимания к подобным местам текста, состоит в том, что они чаще всего встречаются у Шекспира в картинах, нарисованных с натуры, которые, в свою очередь, нередко принадлежат к наибольшим его поэтическим удачам; в искусстве и боги, и простые смертные подчиняются одним и тем же законам: своими изысканными и манерными завитушками, на которые он, видимо, очень рассчитывал, поскольку они были модными у элиты того времени, сейчас Шекспир навевает скуку или вызывает смех, зато он пленяет нас описанием какого-нибудь английского пейзажа, призванным заменить отсутствующие декорации, или какими-нибудь словно бы случайно скользнувшими из-под его пера воспоминаниями о маленьком городке, о жизни народа, о детских играх. Эти картины и эпизоды наиболее «местные», однако же они оказываются наиболее близкими нам. В «Как вам это понравится» Жак, говоря о семи действиях человеческой драмы, описывает «шмыгающего носом мальчишку с лоснящейся утренней физиономией и сумкой в руке, который неохотно, как улитка, ползет в школу». Нет, века не отражаются на истинной поэзии, и национальные барьеры для нее не существуют! Чтобы передать такие места — как я уже сказал, обычно наиболее насыщенные бытовыми подробностями и реалиями,— переводчик должен работать с педантичным чувством ответственности. Сторонники более вольного, творческого отношения к оригиналу правы, когда говорят, что перевод должен стать фактом в «литературе-восприемнице», но то или иное произведение имеет, мне кажется, больше шансов стать фактом в иноязычной литературе, если оно сохраняет свой оригинальный цвет и может украсить ее — говоря по-шекспировски,— как иноземный бриллиант в ее короне.

Итак, лавируя среди подводных скал трудностей, которыми усеян оригинал, затыкая уши перед соблазнами «вольничанья», я стремился и стремлюсь к возможно более точному воспроизведению текста. Привяжи себя к мачте, переводчик!

Но иногда мы сталкиваемся с такими затруднениями, когда отступления от текста неизбежны, и мы позволяем себе вольности по отношению к великому автору во имя верности его созданиям.

Обратимся к примеру: на сцене — динамичный момент. Герои ссорятся, хватаются за шпаги. Что произойдет, если реплика, которая по-английски умещается в пять слогов, в дословном переводе на болгарский заняла бы десять? Наш герой, не успев произнести ее до конца, падет, пронзенный шпагой! Законы сцены, ритм действия также необходимо иметь в виду при переводе, и это порой заставляло меня уходить от текста и жертвовать деталями. Или другой случай: в «Зимней сказке» несчастный юный принц говорит пожилому придворному, что он собирается бежать из страны, отдав себя во власть волнам и ветрам. Придворный возражает, что подобный поступок был бы «desperate», то есть отчаянным. Смысл этого слова как будто ясен, и при буквальном переводе каждый понял бы, что, по мнению придворного, затея юноши обречена на провал. Однако тут перед нами не практическая, а морально-религиозная оценка: юноше предъявлено обвинение в том, что своим «отчаянным» поступком он отказывается от «чаяния» то есть от упования на божественный промысел. Смысл, стало быть, совсем иной, и его не передашь буквальным воспроизведением

[1] Областная группа болгарского народа, населяющая западные районы страны, в том числе окрестности Софии. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Чудомир (1890—1967) — болгарский писатель-юморист.

реплики — пришлось искать окольные пути... Или третий пример: на сцене разыгрывается клоунада, главной целью которой явно было вызвать взрыв смеха среди публики, занимающей стоячие места «колодца» — партера; клоунада эта построена на игре слов или, точнее, на каскаде каламбуров. Что получилось бы, если бы переводчик, педантично верный тексту, парализовал себя буквальным переводом ключевого слова всего каскада, а тем самым и всю сцену (как и актеров, ее исполняющих), сделал бы ее бескрылой, полной языковых натяжек? Во всех подобных случаях — а их у Шекспира немало — мне приходилось уходить от текста и смело и настойчиво искать близкое ключевое слово, которое позволило бы и по-болгарски сделать сцену смешной и яркой...

Подобной смелости требовали и смысловые имена, также нередкие у Шекспира. Их приходилось переводить, то есть заменять новыми именами, которые, передавая в какой-то степени смысл подлинника, звучали бы «слегка по-английски» и были бы по возможности фонетически близки к именам Шекспира. Что могут сказать болгарскому зрителю такие имена, как Куикли, Тачстоун, Шеллоу, и не узнает ли он больше об их носителях, если мы назовем их, к примеру, Скокли, Точилко[1], Плиткоу?[2] (В сущности, перевод смысловых имен не следовало бы относить к переводческим вольностям. Переводчик в этом случае придерживается смысла текста; наоборот, фонетическое транскрибирование означало бы, что на карте произведения остаются белые пятна, и это было бы отступлением от его стиля и стиля эпохи.) Но иногда смысловое имя столь известно, что менять его не представляется возможным. Вспомним «Гамлета»: интриги и звон шпаг при датском дворе умолкли. Осталось только молчание. И кто появляется, чтобы водворить порядок в этом гнилом государстве и предъявить на него свои сомнительные права? Принц Фортинбрас. Пришлось оставить его имя таким же, как в оригинале, но оно ничего не говорит нашим читателям и зрителям, и я счел за благо посредством легкого вмешательства в текст подсказать им, что «Фортинбрас» значит «сильная рука», прояснив тем самым вероятную мысль автора и приблизив этот образ к нашему времени, когда диктаторы рвутся к власти во имя этой самой «сильной руки», долженствующей расправиться с «общественным беспорядком».

Итак, встречаются случаи, когда ради духа или смысла приходится жертвовать буквой. Однако вопрос об отступлениях от текста более сложен и глубок; в процессе перевода отходы от текста — сознательные или нет — совершаются беспрестанно в результате того творческого состояния, в котором находится переводчик. Мы говорим, что для перевода поэзии нужен поэт (неважно, пишет ли он при этом собственные стихи). Это так, ибо те, кто обладает поэтическим даром, чувствительнее резонируют в ответ на чужой лирический трепет, их сильнее волнуют образы, созданные их собратом, они тоньше улавливают его ассоциативные связи и т. п. Он может быть велик, а они — малы, но они, как звезды Лермонтова, говорят друг с другом. Кроме того, переводчик должен быть поэтом, то есть мастером поэтического слова и видения, потому что только при этом условии он может перенести — с большим или меньшим числом потерь — поэтическое произведение из чужого языка в свой. Поэтическое произведение представляет собой единство формы и содержания, при переводе же существенная часть формы — язык — тотально меняется, и, следовательно, содержание тоже не может не претерпеть изменений: из магмы разрушенного оригинала надо построить новое единство формы и содержания, возможно более сходное с единством оригинала, но все же другое, новое. Процесс этот, стало быть, есть процесс художественного творчества и, так же как оригинальное творчество, требует художника. А художник, мне кажется, не может вполне раствориться в переводимом авторе; как бы ни был его талант родствен другому или пластичен, все же у него свой собственный словарь, привязанность к тем или иным словам и оборотам, ритм фразы, дыхание, интонация и т. д. В поисках эквивалента данной фразе, когда вспыхивают и гаснут исследуемые варианты, мысль поэта-переводчика неминуемо движется, придерживаясь определенных стереотипов, проложенных ранее путей, как бежит по непременным коридорам лабиринта мышь из психологических опытов. Когда поэт переводит, он — так же, как когда пишет свое,— работает по строго определенным лексико-грамматико-ритмическим моделям, к которым привык; вне их процесс перевода свелся бы к комбинированию, решению ребусов. А Шекспир — это поэзия, не шарада! Поэтому, думается, переводчик должен иметь возможность действовать как поэт.

Возникает здесь и вопрос о стихосложении. Чтобы не заходить слишком далеко, я до сих пор его не затрагивал. (А, вероятно, надо было, поскольку стихотворная форма оригинала входит в понятие «текст», и проблема верности переводчика этой форме тоже интересна и важна). Однако сказать тут несколько слов все же необходимо. Дело в том, что и по линии стихосложения поэт-переводчик неизбежно в чем-то отступает от оригинала. При работе над Шекспиром вопрос этот, к счастью, решается сравнительно легко: и у англичан, и у нас силлабо-тоническое стихосложение, и у них, и у нас есть пятистопный ямб — это не то что переводить с японского! — но разница между английским ямбом и нашим все-таки велика. Благодаря преобладанию в английском языке коротких слов английская строка, при том же числе слогов, производит впечатление гораздо более длинной, чем наша; по ряду других причин, рассмотрение которых далеко увело бы нас от темы, он более гибок, свободен и разнообразен, чем наш, и при этом сохраняет свою мелодичность. Однако при всех моих попытках точно скопировать его структуру, ритм терялся даже для меня, что уж говорить об актере на сцене или о читателе.

[1] В переводе Т. Щепкиной-Куперник «Оселок».

[2] От болгарского слова «плитко» — «плоско».

И что осталось бы от этого автора, которого за его музыкальность назвали «звонским лебедем»? Чтобы передать эту музыкальность, переводчик должен не копировать слоги и ударения, а работать в соответствии с требованиями своей литературы. И тогда вступают в действие поэтические традиции его страны, та стадия развития, на которой находится в ней ритмически организованная речь, и т. д. (Быть может, в будущем, при дальнейшем развитии этой речи, у нас появятся возможности большего приближения к шекспировскому стиху, но что можем мы знать о будущем? Переводчик — кроме тех случаев, когда он великий прокладыватель новых путей — работает в свое время и для своей публики.) Подчиняясь, таким образом, собственному поэтическому механизму, поэтике своей страны и своего времени, он по-своему решает важнейшую при переводе текста задачу — перевод самой поэзии, заключенной в нем. Вот заговорила героиня «Как вам это понравится», ее устами говорит сама высокая лирика, и переводчик чувствует, что по-болгарски это получится лучше всего, если позволить себе маленькую... но какое там «если» — он уже позволил себе маленькую вольность, и «Розалиндино слово», которого ждали от него, зазвучало мелодично и чисто. Возвратиться к буквальной близости? Как бы не так!.. Известная вольность, известная свобода — дерзну употребить это слово — значит, необходима при переводе. Отвязывай себя от мачты, переводчик!

Итак, на своем опыте я пришел к мысли, что максимальное постижение переводимого поэтического произведения есть результат этих двух тенденций — приближения к тексту и удаления от него,— тенденций, хоть и противоположных, но состоящих в союзе, в симбиозе, взаимопроникающих и взаимообусловливающих друг друга на пути к достижению общей цели.

Но в этом сотрудничестве то одна, то другая тенденция берет верх. Размышляя об этом, я сформулировал для себя нечто вроде принципа, которым очень гордился, пока не узнал из книг, что другие пришли к нему раньше меня. По сути дела, этим принципом — я называю его про себя «принципом плавающей точки» — руководствуется на практике каждый переводчик. Он знает или чувствует про себя, что, работая над большим произведением, он изменяет в зависимости от многих факторов свою близость к буквально переданному тексту (или свое отстояние от него), что точка, на которой он находится, плавает, меняет свое положение, что, кроме принудительного микродвижения этой точки под воздействием трудностей, существует и сознательное ее перемещение, то есть целенаправленное изменение переводчиком степени своей свободы по отношению к тексту. В клоунской сцене он может очень далеко отойти от буквального перевода, но, приступив к великому монологу — известному своей глубиной, тысячи раз цитировавшемуся, давшему жизнь другим художественным произведениям,— будет как можно более строго придерживаться буквы. Между этими двумя крайностями бесчисленное множество промежуточных случаев, каждый из которых требует от переводчика своей степени близости или удаления. И решающее значение здесь приобретает глубокое понимание данной сцены, данного куска, серьезное и свободное от предубеждений проникновение в его суть, сопровождаемое мыслью о подстерегающих нас ошибках, которые в наибольшей степени угрожают нам именно тогда, когда мы чувствуем себя от них застрахованными. Все дело именно в этом: правильно определить жанровую принадлежность текста, ясно себе дать отчет, что́ за сцену ты переводишь, что в ней главное и что — второстепенное, каково было основное намерение автора и т. д. Все это — акт критики и требует, стало быть, и интуиции и знаний. В противном случае, того и гляди, поставишь ошибочный диагноз, придашь незаслуженное значение комической сцене, вставленной лишь для отдыха, а не заметишь, допустим, что могильщики, которые объясняются с принцем, не просто потешны и реплики их не только остроты,— что это великая сцена, в которой шутам поручено произнести одни из самых серьезных слов, которые человек когда-либо говорил о себе и о своем месте на земле.

Но движение «плавающей точки» должно иметь границы, иначе мы рискуем допустить произвол. Я признаю за поэтом право использовать свое дарование, но оно строптиво и подлежит укрощению. Не помню, в какой именно из исторических драм была сцена, где король жалуется на бессонницу и говорит, что монархи не могут спать, потому что их роскошные мягкие ложа не помогают им, когда над ними день и ночь бодрствуют, точно слуги, заботы и страхи. У меня получилось что-то вроде:

...когато денонощно бдят над тях
слугите Грижи, мажордомът Страх[1].

Эти строки понравились мне и остались в переводе, но я не уверен, что не перешагнул здесь границу дозволенного. Переводчик, сказал я, движется к истине двумя путями, но по одному из них — по пути дисциплины — мы идем неохотно, трудно, мучительно, по другому же — пути вольного воссоздания — легко и радостно. В этом, когда мы не достаточно ясно осознаем ответственность стоящей перед нами задачи, таится серьезная опасность. Знакомое выражение «море по колено» — не только образ: море действительно по колено тому, кто вошел в него только по колено. Так же обстоит дело и с морем большого писателя. Однако оно скрыто от твоего взгляда, и ты, не имея возможности определить, как далеко ты зашел, можешь подумать, что исследовал его до конца, в то время как оно еще, быть может, таит в себе просторы и дали, «куда не достает лот».

К этому добавляется еще и тщеславие поэта-переводчика. В нем непрестанно борются две силы. Он не только слуга двух господ, но он, как Яго, служа начальству, думает и о себе. Если он пойдет на сбой ритма по подобию оригинала, кто из читателей поймет, что его толкнула на это вер-

[1] Болг. дословно: «... когда день и ночь бодрствуют над ними слуги—Заботы, мажордом Страх».

ность, а не неумение? Шекспир едва ли знал, что он гений, и допускал небрежности; кроме того, он писал для театра, где неточность стиха обычно не улавливается, а переводчик должен думать и о читателе, который легко заметит на бумаге всякое несовершенство стиха и припишет его не гению, а ему. И поскольку он думает об этом, перевод его местами получается более гладким при чтении, но, быть может, менее пригодным для сцены. Или другой случай: если герой в «Кориолане» (которого в свое время играли в ренессансных костюмах) скажет своей матроне «госпожа», опять-таки его же, переводчика, обвинят в отсутствии чувства стиля и эпохи. И он предпочитает избегать этого обращения. Или третий пример: в конце своего творческого пути Шекспир приходит к речи, напоминающей стенографическую запись. Его герои, особенно когда они взволнованы, говорят так живо и неправильно, что иногда произносят нечто прямо противоположное тому, что они явно хотели бы сказать, при том что их собеседник или зрители этого не замечают. Подлинная жизнь! Как поступал тут писатель — то ли невероятно быстро записывал поток своих мыслей, то ли глубоко познал законы разговорного языка? Так или иначе переводчику, опять же думающему о себе, хочется сгладить эти синтаксические ошибки героев (и вместе с ними — самое жизнь!). Кроме того, тщеславие переводчика связано и с его личными вкусами. В ранних произведениях Шекспира рифмованный стих встречается гораздо чаще, чем в драмах его зрелого периода; помню, как я радовался каждой обнаруженной в тексте рифме и как даже, не посчитавшись в некоторых случаях с советами редактора, кое-где прибавлял их от себя, потому что в начале и моего пути как переводчика Шекспира строка, увенчанная звонкой рифмой, казалась мне более привлекательной, да и просто хочется иной раз блеснуть умением! В дальнейшем, следуя за развитием своего великого водителя, я стал воспринимать рифму как внешнее украшение, как условность, умаляющую жизненность сценического действия, но... что делать, все мы человеки со своими страстями. И если вглядеться в типы отступлений от текста, о которых мы говорили до сих пор, то окажется, что в основе их чаще всего лежат не теории, а недостаточное осознание переводчиком той истины, что подлинная его слава — в прославлении автора, такого, каков он есть.

Поскольку же соблазны эти налицо, снова повторяю то, что сказал вначале: я твердо стою за строгое следование тексту, за сведение амплитуды отклонений к возможному минимуму — это единственная гарантия от ошибок, единственный путь к хорошему переводу!

Есть у Шекспира слово «security», которое тоже трудно поддается переводу. Оно обозначает тяжкий грех, в который мог впасть тогдашний христианин и который мы сегодня можем выразить как «чрезмерная уверенность; убеждение, что ты застрахован по отношению к судьбе и к богу, самонадеянность». Это «security», думается мне,— главный враг переводчика. И потому я заканчиваю призывом, обращенным как к читающим собратьям, так и к пишущему эти строки,— призывом бороться с самонадеянностью. Чувство ответственности, дисциплина и, если можно употребить это слово, «смирение» перед великим автором не мешают переводчику гордиться сознанием своей высокой миссии.

Вот, в сущности, то основное, что я хотел сказать. Мои заметки — это некая попытка вникнуть в какие-то моменты процесса перевода, притом моменты явные, очевидные, ибо то, что происходит там, в царстве истинных поисков слова, на территории спора между упомянутыми «игривым» и «блудливым», понять и выразить нелегко. Сложная штука, должно быть, эта «магма», о которой шла речь. Как происходит — да простится мне биологический термин — перевод содержания и формы в межклеточном пространстве, к которому ведут капилляры одного языка и от которого отходят капилляры другого? Как смешиваются там два языка и не приходят ли им на помощь и другие языки? Насколько даже дословный перевод полностью совпадает с оригиналом? Это все вопросы, на которые одно эссе, гораздо более лирическое, чем научное, не может дать ответа. Для этого нужна другая подготовка и другой склад ума...

Сложен, подчас мучителен труд переводчиков, и они знают, как почти после каждого переведенного куска остается горькое ощущение компромисса. И все же какая радость переполняет сердце (вот оно, снова «сердце»!), когда искомое слово найдено. Смотришь в окно, ничего не видя, и твоя маленькая муза, словно бы играя, а по сути дела испытывая глубокое счастье, отзывается на голос великой Музы классика:

...Пусть говорят: «Вот нрав дикарий,
анахорет он, нелюдим!
Но за столом сидит моим
сам Уильям Шакеспеаре!

Перевод с болгарского Н. ГЛЕН

◆

Культура и современность

ПУТЬ К СВОБОДНОМУ ЗАВТРА

«Вдруг — женщины-поэтессы из Южной Африки. Факт феноменальный... Они обращаются к вашим сердцам... стремясь донести до вашего сознания то, чем они живут, чтобы вы, услышав их голоса, сочли неотложным действовать вместе с ними. «Нас угнетают и унижают»,— звенит их коллективный голос, взывающий от имени тех, чьи слезы и слова заглушены свистом полицейских пуль... «Мы будем свободны»,— утверждают страстно и непреклонно строки стихов, связующие узами надежды всех, задавленных апартеидом».

Так начинает свое предисловие к вышедшему весной этого года в Дар-эс-Саламе (Танзания) сборнику стихотворений южноафриканских поэтесс «Малибонгве» редактор и одна из участниц книги Соно Молефе. Полное название книги, дающее точный ключ к ее пониманию, звучит так: «Благодарение женщине. Женщины АНК [1]: поэзия — тоже их оружие».

Почему и откуда это «вдруг» и что за феномен скрывается за скромной желтой обложкой сборника?

Появление этой книги, первой в южноафриканской поэзии книги поэтесс, в основном представительниц небелого населения страны, прежде всего — показатель бурного роста прогрессивного искусства и шире — культуры страны. Книга эта — весьма характерный пример литературы и культуры, рождающейся в глубинах народных масс, встающих на бой с системой расизма и апартеида. Культура со всеми ее «видами оружия» — составная, неотъемлемая часть этой борьбы. В начале 70-х годов, в период суровых сражений с португальскими колонизаторами, руководитель национально-освободительного движения в Гвинее-Бисау, герой Африки А. Кабрал писал:

«Утверждение империалистического господства требует культурного угнетения рабов и, следовательно, стремления прямо или косвенно ликвидировать все то, что является ценным в народной культуре порабощенных масс, которые могут организоваться и начать освободительное движение уже потому, что способны сохранить живой свою культуру... И даже в том случае, если вооруженное сопротивление народа сломлено, он продолжает сопротивляться самим сохранением своей культуры».

[1] Африканский национальный конгресс Южной Африки.

Но вернемся к сборнику «Малибонгве» и зададимся вопросом: действительно ли выход произведений женщин-поэтесс столь уж неожиданное явление для южноафриканской литературы? Нет. Среди имен мастеров поэзии этой страны поэтесс немало, имена их достаточно известны в стране и за рубежом, в том числе и в Советском Союзе. Рут Миллер, Мэри Уэбстер, Адель Наодэ, Энн Уэлш, Элизабет Эйберс и другие внесли свой вклад в развитие художественного слова. Имя Ингрид Йонкер, ее поэзия и трагическая судьба стали явлением в южноафриканской литературе, положив начало целому литературному течению. Но все вышеупомянутые поэтессы, с их либеральными, порою даже протестующими выступлениями, сегодня не могут быть названы единственными выразителями современной трагедии ЮАР.

Что касается поэтесс, вышедших из среды небелого населения, то их произведения можно встретить на страницах нескольких журналов для небелых читателей, да и то стихи, говорящие о жизни народа, зовущие к ликвидации несправедливости и неравноправия, не могут появиться на страницах любого печатного органа, издающегося на территории страны. Их трибуна — печать эмиграции.

И вот перед нами большая и представительная — 23 поэтессы — книга. И если сборники поэзии патриотов ЮАР выходили за последние годы неоднократно, познакомив широкие круги прогрессивной мировой общественности и читателей с лучшим, что создается сегодня в южноафриканской литературе, то «Малибонгве», составленная и изданная по инициативе организации, возглавляющей национально-освободительное движение против расистского режима, действительно феномен в этом поэтическом ряду. Она — первая в числе будущих «женских» книг, которыми, безусловно, будет полниться и гордиться литература и культура грядущей Южной Африки, за новую жизнь которой сражается сегодня поэзия «Малибонгве». Эта книга, рожденная в суровый период истории сражающегося народа, ее дух, ее вера в победу, горькая любовь к родине останутся в истории ее культуры.

Примечателен тот факт, что АНК твердо отстаивает принципы единства всего населения страны без различия цвета кожи, провозглашенные ею в известной Хартии Свободы, подписанной представителями

всех народов и наций, населяющих ЮАР. И этот принцип неукоснительно проводится в жизнь во всех областях деятельности организации. Выход в свет книги женщин-поэтесс — показательный штрих: на ее страницах помещены рядом стихи и белых и небелых поэтесс.

Выход на арену литературной, а значит,— в условиях ЮАР — и политической борьбы целой группы женщин, мастеров художественного слова, говорит о самом главном: о росте политической грамотности и сознания среди женского населения страны. Широко известно Марксово замечание о том, что об уровне развития общества можно судить по его отношению к женщине. Отношение южноафриканского общества к женщине, особенно к чернокожей, ужасно.

Вот что писали две южноафриканские общественные деятельницы Френе Гинвала и Ширли Машиане в статье «Женщины и апартеид», опубликованной в журнале «Курьер ЮНЕСКО» в августе 1981 года:

«Хотя чудовищная жестокость апартеида затрагивает всех жителей Южной Африки с черным цветом кожи, африканская женщина подвергается воздействию наиболее страшных его сторон...

Каждодневное воздействие апартеида на африканок ставит их жизнь в жесткие рамки, сказывается на всех сторонах их существования, отказывает им в нормальной семейной жизни, контролирует их труд, ограничивает передвижение, ставит в зависимое положение, обрекает на нищету, заставляет их бороться за выживание в условиях множества законов, постановлений, ограничений, пропусков и запрещений. Все это привело к росту политического сознания африканок в Южной Африке».

Действительно, рост политического сознания женщин в ЮАР — одна из наиболее примечательных черт освободительного движения за последние годы. Плечом к плечу с отцами и мужьями, сыновьями и братьями африканские женщины — батрачки, чернорабочие на фабриках, прислуга в семьях белых и в первую очередь те из них, кто в неимоверных условиях системы сумел получить какое-либо образование,— пополняют, к ужасу правящей элиты, отряды борцов против расизма и, что самое страшное для ревнителей расового разделения общества, воспитывают новые поколения южноафриканцев в духе неприятия, протеста и сопротивления царящему режиму.

Среди поэтесс, чьи произведения включены в «Малибонгве», почти нет профессиональных литераторов. Рядовые участницы борьбы за свободу, они, как и многие их сестры, обратились к оружию художественного слова как бойцы АНК, сражающиеся в отрядах партизан «Умконто ве-Сизве», в подполье и в эмиграции. Читатель узнает их имена, хотя у ряда стихотворений стоит как вынужденная дань условиям борьбы короткое слово-псевдоним.

Сейчас же можно сказать, что среди них — женщины, шедшие в первых шеренгах колонн школьников Соуэто навстречу полицейским кордонам с их собаками и пулеметами в жаркие дни июня 1976 года. Это учащиеся, студентки, бывшие школьные учительницы, медсестры. Их путь, их борьба — полностью осознанная линия поведения, выстраданная в условиях страны — застенка для ее черных граждан.

«Представлены разные поколения...— пишет автор предисловия книги,— которые твердо идут рядом, преодолевая преграды с энергией, проистекающей из усвоения проверенной и побеждающей идеологической перспективы».

Отсюда очевидная связь: поэтические строки, выплеснувшиеся на страницы сборника, наполнены личным, интимным содержанием, передающим духовные устремления поэтесс. Здесь мало романтики, хотя почти все поэтессы говорят о любви, уходящей глубокими корнями в жизнь любимой страны, в ее историю, природу. Нет в сборнике и отчаянного, беспросветного пессимизма, напротив, он зовет к вере, к убежденности в неминуемой победе над расизмом, к вере во всеафриканскую и интернациональную солидарность народов планеты с правым делом патриотов. Нерв книги, как и главная, генеральная направленность всей рождающейся культуры грядущей свободной Южной Африки,— суровая реальность окружающего мира.

Но может ли слово поэта, кисть художника, песня или танец стать действенным оружием в этой битве с антикультурой? Этот вопрос — один из ключевых в цикле статей о современной южноафриканской поэзии, опубликованных в журнале «Сечаба» — органе АНК (сам факт, что журнал, издающийся в нелегких материальных условиях, последовательно в пяти номерах публикует серию статей о поэзии патриотов, говорит о значимости «оружия» культуры для общереволюционного дела). Вот что пишет в статье «Поэзия: навстречу революции» ее автор Мокоена Ксихоши:

«Скептики спрашивают, и часто с ухмылкой, возможно ли противостоять врагу, размахивая перед его носом томиком стихов или читая ему героические поэмы о подвигах предков. Этот вопрос по существу является основным. Достаточно ли ответить на него, заявляя, что не единым хлебом жив человек?..

На сложный вопрос нет прямолинейных ответов. Здесь же мы хотели бы подчеркнуть, что... искусство и культура всегда будут одним из важнейших элементов этой борьбы».

Отвечая на тот же вопрос, известный южноафриканский писатель и общественный деятель Алекс Ла Гума говорит:

«Этот вопрос обычно задают те, кто во что бы то ни стало стремится отделить культуру или искусство от политики...

Слово «жизнь» не означает только вдох или выдох... Понятие «жизнь» должно включать в себя также и борьбу человека за свободу от всего, что мешает его развитию».

Эта статья не критический разбор сборника южноафриканской поэзии. Это лишь размышления о месте поэтического слова в широком контексте культуры сопротивле-

ния, национально-освободительного движения на юге Африки. В связи с этим хотелось бы затронуть еще один существенный вопрос: почему именно литература, а в ее пределах именно поэзия, вышла на передний край сражения двух миров в ЮАР — справедливости и равноправия на одной стороне баррикад и оголтелого расизма и человеконенавистничества на другой?

Безусловно, большую роль играют здесь глубокие культурные традиции народов Южной Африки. Стихи-гимны, стихи-восхваления, песни в честь воинов и вождей, а точнее, стихи и пение, слитые воедино, часто сопровождаемые танцем и музыкальным аккомпанементом — широко распространенные жанры южноафриканского искусства еще дописьменного периода. Поэтому и современная поэзия «упала» здесь на благодатную почву. Современные поэты, стремящиеся быть понятыми их аудиторией — многонациональной, многоязыкой, не могут не учитывать этот фактор. Отсюда элементы традиционной, напевной поэтики, композиционное построение, стилевой лексический отбор слова. Риторический стиль некоторых произведений — тоже следствие этой близости к традициям, к устной природе народной поэзии и песни.

Конечно, можно отметить и другие влияния на эту поэзию: это классики прошлого, в первую очередь английской и современной западной поэзии. Особенно той, которая в той или иной форме затрагивает жизнь чернокожих (литература США, Латинской Америки, Карибского бассейна), и африканской литературы XX века, представленной такими фигурами, как Л. С. Сенгор, Э. Сезэр, Б. и Д. Диоп и, безусловно, афро-американской поэтической струи с ее Гарлемской школой (К. Маккей, Л. Хьюз, Дж. У. Джонсон, Д. Тумер), и другими. Однако, говоря здесь в основном о поэтах-патриотах ЮАР, следует особенно подчеркнуть влияние на их творчество двух не менее важных, а часто самых важных для них поэтических течений: это знакомство и осознанное восприятие принципов новой социалистической поэзии в лице таких ее представителей, как В. Маяковский, Б. Брехт, Н. Хикмет, П. Неруда и целого ряда других мастеров, а также обостренный интерес поэтов этого направления к близкому им по духу, политически заостренному искусству их братьев из соседних португалоязычных стран, недавно сбросивших с себя узы колониального угнетения. Мотивы и темы, еще недавно звучавшие в стихах таких поэтов, как мозамбикцы Душ Сантуш, Ноэмия де Соуза, Краверинья, ангольцы Агостиньо Нето, К. Андраде, подхвачены и развиты в сегодняшних стихах их южноафриканских товарищей.

Таким образом, богатые народные традиции, изучение всего лучшего, что создано в мировой поэзии, и умелое использование его применительно к южноафриканским культурным и политическим условиям способствовали тому, что поэзия патриотических сил ЮАР законно оказалась в фокусе внимания страны. Но это объясняет лишь наличие того, что должен узнать, услышать и взять на свое культурное вооружение борющийся народ. А как дать ему это оружие, как донести до широчайших неграмотных и малограмотных масс слово поэта, в какой форме дойдет оно до слушателя— ответы на эти вопросы также показывают, что ни роман или драма, ни даже короткий рассказ — столь распространенный в Южной Африке литературный жанр — не могут соперничать по своей доступности и действенности с поэзией.

Присущие поэзии непосредственность и экономность формы (а эти качества весьма важны в условиях подполья и выступлений на массовых митингах и собраниях) делают ее идеальным средством выражения прогрессивных идей там, где иные формы литературы и искусства более уязвимы в паутине фашистских законов и запретов. Записанные на клочке бумаги, изустно или в передаче зарубежной радиостанции, стихи мгновенно могут войти в сердце тысяч слушателей, не требуя ни специальных приготовлений, ни высокой грамотности. Надо только, чтобы стихи эти были настоящей поэзией, нужной людям, говорящей с ними на одном языке об их горестях и надеждах.

Поразительный подъем поэтического творчества среди южноафриканских патриотов служит барометром растущего политического самосознания и борьбы в стране. Перелистав страницы сборника «Малибонгве», мы попытались рассмотреть меняющийся к рассвету, вчера еще мрачный и безмолвный пейзаж поэзии Южной Африки. Сегодня это уже не «шепоты в ночных сумерках», как еще недавно выражались либеральные писатели, бравшиеся разглядеть литературную панораму страны апартеида. Просто они уже не слышны в раскатах грома, грохочущего в небе этой страны.

В наши дни, когда поэзия несогласия и протеста поднимается вместе со всем национально-освободительным движением, как неотъемлемая часть его культурного возрождения, на новую ступень, становясь поистине поэзией народного сопротивления, голоса поэтов-патриотов, мужчин и женщин, черных и белых, звучат как набат, как приговор идущего в наступление народа. В этом штормовом хоре все явственнее слышны и строки южноафриканских поэтесс — дочерей своего народа. Это стихи с передовой линии сражений, они рождаются в рядах борцов и служат верным оружием в их борьбе.

Таков феномен, с которого мы начали наши размышления. Да, он есть, если смотреть на него из прошлого, когда любое патриотическое слово в южноафриканской литературе не встречалось без слова «вдруг», и его нет, он исчезает, если смотреть на него с высот грядущей свободной литературы Южной Африки.

ФЕЛИКС БУРТАШОВ

◆

Публицистика

ГАНС-ПЕТЕР ДЕ ЛОРЕНТ

ОХОТА ЗА ВЕДЬМАМИ

Главы из книги

Как известно, вот уже около десяти лет в ФРГ действует пресловутый закон о «запрете на профессии». Гражданина ФРГ, заподозренного в «инакомыслии» (читай: в критическом отношении к существующему правопорядку и его учреждениям, в принадлежности к прогрессивным, «левым» организациям и профсоюзам, а тем более к ГКП), он позволяет не принимать на государственную службу или, если он на ней находится, увольнять.

Тысячи специалистов — научных работников, адвокатов, врачей, учителей в итоге действия этого закона лишились своего основного права — права на труд. Вряд ли можно себе представить число тех, кто живет в постоянном страхе: не коснется ли завтра этот закон его самого?

Все, что происходит с Кристианом Гюнтером, героем документальной повести «Охота за ведьмами», случилось и с самим автором. Практически Гюнтер — его двойник. Избранный де Лорентом прием дает ему возможность вывести в «мозаичном монтаже» повести-репортажа реальных людей и вместе с тем наблюдать за собственными и их действиями как бы со стороны.

Кристиан Гюнтер — выпускник педагогического факультета и курсов молодых педагогов-стажеров — узнает от сенатора (члена городского совета) Гамбурга, что его принадлежность к ГКП и правлению курсов стажеров препятствует заключению с ним типового договора на преподавание в школе. Его принимают на работу — но на время и на птичьих правах.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В ШКОЛЕ

Я отправился туда загодя: сколько нужно ехать до Бергедорфа, я не представлял, не знал и того, в какую школу получу направление.

В пятницу мне не удалось попасть на прием в управление к нужной мне школьной советнице.

— Лучше всего поезжайте туда в понедельник утром. Работать будете в Бергедорфе, это вам известно. Там позвоните с вокзала фрау Эльснер. Она назовет вам школу,— так было сказано в управлении.

В половине восьмого утра стою в телефонной будке на вокзале в Бергедорфе.

— Эльснер у телефона.

— Добрый день, фрау Эльснер. Говорит Кристиан Гюнтер. Я...

— Да-да, вы хотите узнать, в какой школе будете работать. Это школа на Лойсингштрассе. Фамилия директора Курцман.

Один из моих друзей составил по моей просьбе список с перечнем всех школ Бергедорфа. На случай если мне разрешат выбирать, у столбца с наименованием одних стояла пометка «желательно», у другого столбца — «в высшей степени нежелательно». Школа на Лойсингштрассе значилась первой во втором столбце.

В учебной части невероятная суета и неразбериха. Входят и выходят учителя — одних интересуют списки учеников, других — расписание занятий, в нерешительности топчутся родители «новеньких». Меня посылают в приемную директора. Там уже сидят две учительницы — выпускницы педагогического института в Саарбрюккене. Как и я, они только что присланы в эту школу. Я их почти не понимаю: они говорят на саарском диалекте. Судя по всему, обсуждают, как им устроиться на новом месте.

Через час появляется директор, бросает на ходу: «Я скоро вернусь» — и тут же исчезает.

Жду еще битых два часа. Успел тем

© Weltkreis-Verlag-Gmbht, 1980.

ГАНС-ПЕТЕР ДЕ ЛОРЕНТ — HANS-PETER DE LORENT (род. в 1949 г.).

Немецкий журналист (ФРГ). Изучал педагогику и психологию. Работал учителем в школах и реальных училищах. С 1976 г. редактор гамбургской «Учительской газеты» (орган профсоюза учителей). Опубликовал книгу «Враг ли я конституции?» («Bin ich ein Verfassungsfeind?», 1977).

Книга «Охота за ведьмами», главы из которой предлагаются читателю, вышла в Дортмунде в 1980 г.(«Die Hexenjagd». Dortmund, Weltkreis-Verlag, 1980).

временем узнать от моих новых коллег, что обе они получили классное руководство в седьмых классах. Интересно, куда меня пристроят?

Наконец директор возвращается. Начинает без околичностей:

— Вам тут придется туго. Чересчур поздно мне о вас сообщили. Класса я вам дать не могу. Может быть, через два месяца замените беременную учительницу. Что у вас за предметы? По немецкому языку и основам политических знаний свободных часов нет. Как насчет математики, физики, химии, французского?

Мы проходим в учительскую.

В дверях встречаю человека, с которым, кажется, где-то виделся.

— Это господин Леверенц, доверенное лицо профсоюза. Вы, наверное, знакомы по профсоюзу.

С чего он взял, что я знаком с кем-то из профсоюза?

Два тоскливых часа ожидания. Все бегают туда-сюда, кто вносит свои фамилии в какие-то списки, кто заказывает книги— от этого мельтешения голова идет кругом. На меня никто не обращает внимания. С преувеличенным интересом изучаю доску объявлений

Звонок на урок. Суета в учительской затихает. я остаюсь в одиночестве.

На доске объявлений прочел, что распределение часов состоялось до каникул. Все учителя обеспечили себе нагрузку, новичкам, видимо, придется «штопать» пустые квадратики в учебном плане.

После пяти часов ожидания, разнервничавшись, уезжаю домой, директора увидеть больше так и не удалось.

Все остается неясным. Не знаю, откуда для меня наберутся 28 часов. С другими учителями пока не познакомился, только с одним обменялся несколькими фразами. В поисках для себя места в учительской спросил у молодого учителя, кто где садится, каков порядок.

— Нет-нет,— ответил тот.— Ничего подобного у нас нет. Такого порядка не заведено. Каждый садится где пожелает. Нет, не сюда, пожалуйста. Это мое место.

ГОРЬКИЙ ОПЫТ

И в последующие дни мало что проясняется.

Труднее всего получить подходящие уроки. По моим предметам все занято. Немецкий язык преподают сами классные руководители. До окончания курсов педагогов-стажеров я никогда не преподавал математики. Тем не менее пытаюсь заполучить математику хотя бы в двух-трех классах. Тогда по крайней мере обеспечишь себе по пять часов в каждом.

Через неделю математика в двух восьмых классах все же мне достается. Кроме того, у меня еще немецкий (два часа для отстающих), физкультура, английский, история, два спецсеминара по искусству и физика. От физики отбивался руками и ногами. Но директор полагает, что тот, кто дает уроки математики, может преподавать и физику. И вот еще что:

— Через неделю нам пришлют еще двоих из Саара. Им и передадим физику. А до тех пор объясняйте что попроще. Подчитайте-ка в учебниках... .

В конце сентября мне предстоит заменить беременную учительницу — классного руководителя 8-го класса. Опытные учителя называют его кошмарным. Один произносит даже что-то о «команде смертников»...

Первое мое впечатление — класс вполне приличный. Один из учителей попросил подменить его — провести с учениками беседу. «Вы не выручите? Мне нужно на комиссию по составлению расписания».

Как быть? По пути в класс решаю обсудить тему «Уотергейт». Получается недурно. В беседе участвуют многие. Особенного шума нет. При этом я, конечно, не заметил, что они меня проверяют. И оценку мне дали вполне точную: вежливый, дружелюбный, если что-нибудь эдакое учинить, сядет в лужу. Именно это и происходит на следующих уроках...

Класс собран с бору по сосенке. Есть и несколько «беглецов» из реальной школы и гимназий. Как постоять за себя в трудной ситуации, как определить, кто есть кто в классе — во всем этом я, можно сказать, «плаваю». Да и где было «ума набраться»? В университете нас просвещали в теории, с практикой ничего общего не имеющей, на курсах часами проверяли правильность составленных кем-то планов уроков. Вот и попадаешь в переплеты, к которым не готов...

Особенно ощутимо в подобном положении то, что нет еще контактов ни с одним из коллег. Простой разговор во время перемены мог бы какие-то узелки развязать тут же. Еще больше гнетет необходимость скрывать свои затруднения: лучше производить впечатление педагога квалифицированного и знающего.

Вот разве что у коллег из Саара положение в школе в некотором смысле даже хуже моего: без всякой школьной практики, без специальной подготовки их прямо после института «завербовали» в Гамбург.

После своего первого рабочего дня Вернер сказал мне:

— Если так пойдет дальше, в субботу сбегу, наверно, официального договора я ведь пока не подписывал. Но и ученички — нет, это что-то страшное. В восьмом «Б» просто не знаешь, на каком ты свете. На уроках дерутся, орут друг на друга. А выражения, ругательства — половины я никогда не слышал, от остальных краснел.

В тот же день встретил в коридоре Герберта. Он вышел из физического кабинета, прикрыл за собой дверь, прислонился к ней спиной и выдохнул:

— Это ад.

Вечерами чувствую себя совершенно разбитым. К урокам и подготовке к ним надо еще прибавить бесконечные собеседования и совещания. Кстати, там говорят и о том, что надо что-то предпринять против угрозы «запрета на профессии».

Через две недели настроение портится до такой степени, что я уже почти готов задать вопрос: а что хуже на самом деле — оказаться уволенным или вынужденным работать в подобных условиях?

НАЧИНАЕТСЯ

В пятницу прихожу в школу к третьему уроку. В учительской директор сразу ко мне с вопросом:

— Скажите-ка, что вы за человек такой? О вас пишут ужасные вещи.

На «профсоюзной доске» висит опубликованное в печати заявление о моем «случае».

— Загляните ко мне после урока, надо обо всем этом как следует потолковать.

Он что, ничего не знал? Я был уверен, что в управлении работают четко и что описание моих «особых примет» прибыло сюда еще до моего появления.

— Вот так история! Скажу вам сразу: я против этих «запретов на профессии». Если партия — как ваша ГКП — не запрещена конституционными установлениями, ее членам не должен наноситься ущерб.

Начало обещающее, я приятно удивлен. Выпили с ним по чашке кофе. Курцман рассказал о своем отце, социал-демократе, попавшем при Гитлере в концлагерь. Потом поговорили о ГКП, о социалистических странах. Правда, тут у него полно предрассудков.

— Будучи членом СДПГ, я, разумеется, должен бороться против ГКП.

Пытаюсь убедить его, что социал-демократы и коммунисты ни в коем случае не должны видеть друг в друге врагов. Их общий противник — крупные концерны и правые партии. В совместной борьбе против них позиции обеих наших партий, как показывает опыт Франции, только укрепятся.

После беседы на душе полегчало. Много ли таких директоров учебных заведений? Хотел бы я знать, почему у этой школы дурная репутация.

В тот же день со мной заговаривают и другие коллеги.

— Знаешь, я тоже в СДПГ. Некоторые из наших просто слепы. История их ничему не научила. Закон против социалистов, времена нацизма... Боже мой, в конечном итоге это оборачивается против самих социал-демократов. Я таких людей не понимаю...

И еще один коллега подходит ко мне. Прежде мы с ним никогда не разговаривали.

— Вы в ГКП? Я считаю, что это хорошо. Теперь в нашей школе представлены все направления. В СДПГ у нас многие, один — в ХДС. Почему бы не быть и коммунисту? От этого дело пойдет только живее и интереснее. Можно будет при случае обсуждать возникающие проблемы с разных сторон.

На последней перемене сижу рядом с одной из «саарок».

— Скажи, пожалуйста... я слышала, будто у тебя тоже нет официального договора?

Я объясняю, что тут сыграли свою роль политические мотивы.

— Что ты имеешь в виду?

— Во время учебы на курсах стажеров я был уполномоченным по Гамбургу. И у нас было несколько стычек с управлением.

— Ах вот оно что. А я-то подумала, что ты в ГКП.

— Да, ко всему прочему я член ГКП.

Она растерялась.

— Правда? — И после несколько затянувшейся паузы спросила: — Но ведь ГКП не запрещена, по-моему, или как?..

Мнения остальных коллег по этому поводу я пока не знаю. А в понедельник педсовет, и на повестке дня вопрос обо мне.

ПЕДСОВЕТ

«Вопрос о господине Гюнтере».

Появление этого пункта повестки дня в книге служебных записей всех взбудоражило. Что бы это могло за ним числиться? У меня появилось чувство, будто за мной вдруг стали очень пристально наблюдать.

Первым выступает Курцман. Он предлагает мне подробно остановиться на моих анкетных данных. Я рассказываю о разговоре с сенатором по вопросам образования. Коллеги слушают внимательно, большинство — с явным недоверием. Кажется, мои дела обстоят неважно.

Начинают задавать вопросы. И, конечно, прежде всего главный:

— Вы действительно член ГКП?

Сейчас ты сидишь не перед представителями официальной власти, разбирающими твое дело, а перед коллегами, с которыми намереваешься работать и впредь. Тут не скажешь: «Этот вопрос недопустим с конституционной точки зрения. Членство в политической организации, не запрещенной федеральным конституционным судом, не может повлечь за собой ущемления в правах».

Казалось бы, единственно возможная позиция. Но встретит ли она понимание у коллег?

— Я полагаю, что для преподавания и работы в школе не существенно, является ли учитель членом одной из легальных политических партий, будь то СДПГ, ХДС, ГКП или СвДП. Партийная борьба в школе неуместна. И все же хочу ответить на вопрос. Мне нечего скрывать: я член ГКП, а во время учебы в университете состоял в студенческом союзе «Спартак». Участие в политической жизни и организациях я считаю одним из основных прав человека, обеспеченных конституцией.

Судя по всему, атмосфера вокруг меня начинает сгущаться. Недаром ведь в печати такие понятия, как «радикалы», «экстремисты», «террористы» и «коммунисты», подаются, можно сказать, как синонимы. Газета «Ди вельт» писала, например, что из школ будут изгоняться только «зачинщики вооруженных демонстраций». Как же должен рассуждать воспитанный в духе антикоммунизма учитель, обнаружив вдруг такого «зачинщика» в своей среде?

Меня спрашивают:

— Когда вас выбрали уполномоченным курсов в Гамбурге, разве вы не знали, что все ваши предшественники либо остались без работы, либо получили ее с превеликим трудом?

Мой ответ «да!» лишь усугубляет общее недоумение. Некоторое время спустя

коллеги договариваются, что нужно более обстоятельно разобраться в существе дела. Я соглашаюсь предоставить дополнительные материалы. Во время работы на курсах стажеров мы собрали убедительные свидетельства. Я помещу эти материалы на «черной доске» — доске объявлений.

Один из коллег замечает:

— Как бы «черная доска» не превратилась в «красную»!

УЧЕНИКИ ПРОЯВЛЯЮТ АКТИВНОСТЬ

— Мы хотим просить вас дать нам интервью для нашей школьной газеты. До нас дошло, что вам запрещают работать учителем.

Я не возражаю.

На другой день они берут у меня интервью для школьной газеты «Вирус». Странное дело — в беседе с ними жесткое распределение ролей «учитель — ученики» словно бы предстало в новом свете. На уроках мысль о возможности такой перемены в отношении мне и в голову прийти не могла. Оценка происходящего обоими «редакторами» вполне однозначна:

— Это просто свинство! Нельзя же вышвыривать вас только за то, что вы член ГКП.

Проходит неделя после опубликования моего интервью. У дверей в спортзал меня перехватывают мои ученики.

— Господин Гюнтер, господин Гюнтер! Там говорят, что вас выгонят. Вроде так написано в «Вирусе». Это правда?

Для меня это новость. Предлагаю поговорить об этом потом, а пока заняться физкультурой. Во время занятий заметно, что ребята взволнованы. Дисциплина — идеальная. Как и во время беседы с редакторами «Вируса», ощущение такое, словно вдруг появилось что-то общее, связывающее нас.

Перед уроком ребята караулят меня около учительской.

— Мы спросили господина Фляйшера. Он не против, если обе группы соберутся вместе. (На уроках немецкого для лучшего усвоения класс обычно делится пополам.) Я договариваюсь с Фляйшером, что мы зачитаем вслух и обсудим статью в «Вирусе». Подобные обсуждения в школе приняты и соответствуют учебному плану. Урок ведет Фляйшер, я сижу в последнем ряду среди учеников и отвечаю на вопросы.

И вновь убеждаюсь, как мало я еще знаю своих учеников. И еще: те из них, кого до сих пор не удавалось увлечь на уроках, с живым интересом участвуют в беседе.

Большая часть времени уходит на разъяснение таких понятий, как «основной закон», «федеральный конституционный суд», «сенат», «государственные служащие». Многие до сих пор даже не знали, что существует ГКП.

Когда несколько учеников задали вопрос, что же можно сделать, раздался звонок на перемену.

На следующем уроке провожу в другом классе контрольную по математике; тут пока «Вирус» не читали.

Тетради собирали долго, уже давно началась большая перемена. Поэтому я вошел в учительскую одним из последних. Там творилось что-то немыслимое. Директор бушевал...

После общего урока немецкого языка мой класс, оказывается, не отключился, как обычно бывало, от темы, которая обсуждалась. Наоборот, приняли решение что-то предпринять. И так как параллельный класс, где я тоже преподаю, был уже в курсе событий, учащиеся обоих классов собрались вместе после перемены и начали совещаться. Среди них оказались и оба учителя, чьи уроки были назначены на этот час. На доске кто-то написал: «Выпустим листовки, настенные плакаты, начнем сбор подписей».

Случайно совпало, что по плану в одном классе шел урок рисования, а в другом — труда. Кто-то предложил взяться за дело немедленно. Оба учителя в принципе не возражали, но из осторожности решили спросить разрешение у директора. Того чуть удар не хватил. Вне себя от ярости, он примчался в класс, накричал на недоумевающих учеников, запретил продолжать дебаты, а обоим учителям и Фляйшеру объявил по выговору. На пятницу назначил новое заседание педсовета, сделав соответствующую запись в книге распоряжений.

Большинство коллег в полном неведении: те, кто не читали статьи в «Вирусе», оказались совсем в нелепом положении. На первом же уроке со всех сторон посыпались вопросы:

— Почему господина Гюнтера хотят уволить?

Тех, кто не хотел или не мог ответить, припечатывали:

— Вы небось тоже за это, да?

ЗАБАСТОВКА

Положение осложнилось. Ползут разноречивые слухи. Никто толком ничего не знает. Из воплей Курцмана школьники сделали соответствующий вывод: все решается за закрытыми дверями. В суть дела никто из учителей не посвящен.

Ко мне подходит Уве:

— Значит, так. Мы решили ничего больше учителям не говорить. Вам тоже. А то потом скажут, будто вы нас подстрекали.

Толковая мысль. Однако кто знает, что они там задумали.

Уроки идут с полной отдачей. Ученики дисциплинированны, активны. На переменах со мной здороваются многие из тех, кого я прежде вовсе не знал. Во дворе подбегает мальчишка из 7-го класса и сообщает:

— Весь наш класс — за вас!

Педсовет состоялся в последний день перед каникулами. Все явно встревожены, циркулируют невероятные версии, но ничего нового пока не происходит.

Курцман выступает с сообщением. Он говорит о собраниях учеников, о том, что якобы готовится забастовка, составляют списки бастующих, собирают подписи под обращением, изготовляют листовки, что все это совершается без ведома учителей, от которых ученики все это тщательно скры-

вают, что забастовка должна начаться сразу после осенних каникул: ученики придут в школу, но на уроках будут безмолвствовать.

— Не вижу в этом ничего угрожающего,— говорит Хайнер, но никто не смеется.

По мнению Курцмана, верховодят всем четыре класса: наряду с двумя моими восьмыми он называет классы Райнгарда и Герда. Райнгард и Герд — учителя, курирующие «Вирус».

Выступление Курцмана немало меня озадачило — беседа с ним в первые дни моей работы в школе ничего общего с сегодняшними речами не имела. Я зол на самого себя; понял, с какой наивностью попался в его сети.

Участники обсуждения нападают в основном на кураторов «Вируса». Их упрекают в том, что они пропустили заметку, о которой никто из учителей не знал и которая вызвала у многих учеников нежелательную реакцию.

Правда, многие коллеги возмущены позицией директора. С этого момента в нашем учительском коллективе начинается открытая поляризация сил.

Детально договариваются, как после каникул помешать забастовке. Представители ученического комитета на первом же уроке получат указания директора и председателя родительского комитета.

— Главная задача — внушить ученикам, что забастовка господину Гюнтеру не поможет.

Под конец у Курцмана вырывают для занесения в протокол оговорку, что при возможном сообщении в «школьный надзор» должно быть подчеркнуто то обстоятельство, «что школьники сами решились на такие меры, а не подстрекались господином Гюнтером».

После трехчасового заседания все расходятся по домам усталые донельзя. Столь долгого педсовета в самый канун каникул эта школа еще не знала.

Забастовка школьников не состоялась. Директору Курцману удалось обмануть их, объяснив, что любое выступление пойдет во вред Кристиану Гюнтеру. Тогда дети решают обратиться с письмом к сенатору по вопросам образования с просьбой оставить Гюнтера их преподавателем. Школьная конфликтная комиссия, которой предложено разобраться в сложившемся положении, самоустраняется от решения: понимая, что директор в корне неправ, члены ее все-таки не осмеливаются пойти на конфликт с ним.

Северогерманское телевидение намеревается подготовить интервью с Гюнтером по вопросу о «запретах на профессии». Курцман самовольно, вопреки всем сложившимся правилам, запрещает сотрудникам телевидения проводить съемки в школе, тем более — на уроках Гюнтера. Режиссеры ведут по отношению к нему двойную игру, задают двусмысленные, подчас явно провокационные вопросы. И только твердая позиция молодого учителя, четкость ответов, основательность аргументов приводят к тому, что в конечном итоге это интервью, хотя и показанное в сильно урезанном виде, объективно сыграло положительную роль. Многим из тех, кто прежде стоял в стороне, опасность закона о «запретах на профессии» стала гораздо очевиднее. Многим, но далеко не всем...

ТРУДНОСТИ

Сообщение в книге служебных записей: «Всех коллег, претендующих на классное руководство в будущем году, просим внести свои фамилии в список». Я записываюсь. Два дня спустя все кандидаты собираются в кабинете директора.

— Прежде чем начать распределение классов,— обращается он ко мне,— я обязан довести до вашего сведения, что на вас мы рассчитывать не можем.

— Почему же?

— Из вашего договора не ясно, останетесь ли вы у нас дольше чем на год. Учеников не устраивают замены классного руководителя посреди года.

— Но разве нельзя предположить, что договор может быть продлен? Меня не удовлетворяет амплуа просто «предметника». Хочется попробовать свои силы и на работе воспитателя, классного руководителя в одном из классов. Ну и не совсем понятно, почему я не располагаю в этом смысле теми же правами, что и мои другие коллеги.

— Дискуссии по этому поводу излишни. Я принял решение. Это — моя прерогатива.

Наш неприятный диалог краток. Коллеги становятся свидетелями пикировки. Они явно подавлены.

Поднимаюсь и направляюсь к двери.

— Я обращусь в управление кадров.

Намерения Курцмана достаточно прозрачны. Он хочет ухудшить мое положение, наверняка рассчитывая, что я подам заявление о переходе в другую школу. И конечно, опасается, что, упрочив контакты с учениками и родителями, я в значительной мере осложнил бы возможность уволить меня. Но тут он просчитался. Я веду математику в пяти классах. Не думаю, что родительский комитет без возражений проглотил бы мое увольнение. Директору школы и вышестоящим чиновникам эта процедура тоже сулит неприятности.

Наши отношения обостряются. Курцман явно готов на все, вплоть до самых подлых приемов.

В школе пять новых учителей, все они получили половинную нагрузку. Чтобы как-то облегчить им вхождение в коллектив, мы условились встретиться с ними. Мы — это Герд, Райнгард и я, делегаты и уполномоченные профгруппы.

Появляется первая учительница. Оглядывает нас:

— А где же четвертый?

Мы в недоумении.

— Я была уверена, что вас четверо. В самый первый день директор прямо сказал мне, что в школе есть четверо левых, которых я должна остерегаться. Где же четвертый?

Тем временем подошли остальные «новенькие», Курцман и их предостерегал. Спросил сначала, состоят ли они в профсоюзе. Потом обратил их внимание на «подозрительных».

— Первый из них — профсоюзный функционер. Мелет неведомо какую ерунду.— Это он о Герде.— Другой тоже наверняка заговорит с вами. На него заведено судебное дело из-за каких-то политических обстоятельств.

Меня не перестает удивлять в Курцмане сочетание бесстыдства и глупости. Неужели ему не приходило в голову, что мы окажемся ближе «новичкам», чем он, директор? И что мы очень скоро узнаем, как он вводит новичков в курс школьных дел?

Наряду с тайными «боевыми действиями» он занимается и откровенными провокациями. Не проходит и месяца, чтобы на доске объявлений не появилось вырезки из газет на тему «ГКП враждебна конституции» или «Судебный приговор экстремистам». Рядиться в либеральные одежды он больше не считает нужным. Мне кажется, его антикоммунизм сродни болезни, мании.

Естественно, многие из мер директора затрагивают впрямую и меня. Я был бы рад, подобно другим учителям, всецело отдаться ученикам, урокам, школе. Но о спокойной работе остается только мечтать. Правда, мои коллеги вскоре убеждаются, что многие из них явно спровоцированы Курцманом. Но некоторые склонны видеть в общей нервозности мою вину: до моего появления, дескать, все было благопристойнее, конфликтов такого накала никто не помнит.

В своей слепой ярости Курцман все чаще обрушивается на профсоюз. Однако профсоюзная группа у нас довольно крепкая, я получаю поддержку от многих коллег, с которыми уже успел подружиться. Двое из них перешли к «антикурцмановским» действиям. Они вырезают из «Франкфуртер рундшау» или «Зюддойче цайтунг» статьи с выражением протеста против «запрета на профессии». И тоже помещают их на доске объявлений. После этого Курцман несколько умерил свой пыл. Видимо, понял, что разбудил силы, которые предпочел бы видеть спящими.

ВЫЙТИ?..

— Почему бы тебе попросту не выйти из ГКП, раз они большего не требуют? Поступишь на государственную службу. А в крайнем случае ты ведь потом можешь опять вступить.

Как часто слышал я этот «ценный совет»! И чаще всего от коллег, которые всерьез задумывались, чем мне помочь. Поначалу мне было нелегко найти толковый ответ. Они не понимают меня, видят во мне какого-то оторванного от жизни мученика. А теперь я задаю встречные вопросы:

— А что бы ты посоветовал Рюдигеру Оффергельду, которого вышвырнули с работы за то, что он был в Баварии функционером профсоюза педагогов и научных работников? Уж не выйти ли ему из профсоюза, чтобы ему вновь позволено было стать учителем? А Шарлотте Нисс? Выйти из СДПГ? Или Гансу-Генриху Хеберляйну, члену объединения отказавшихся от исполнения воинской повинности? Из каких еще организаций выйти? Неужто проблема будет решена, если в ФРГ останутся только члены ХДС?

Для некоторых ищу другие, более основательные доводы. Пытаюсь объяснить им, что есть большая разница в том, вступаешь ты в ГКП или в футбольный клуб. Клуб сменить легко. Можно даже прекрасно играть в футбол, не будучи членом клуба. Человек, вступающий в ряды ГКП, делает это, следуя своим убеждениям, своим взглядам. Принадлежность к партии — это часть твоей личности. Как же тут «выйти»? Отступиться от самого себя?

Мое появление заставило кое-кого из коллег посмотреть на вещи по-новому. На «коллективном пикнике» один из учителей рассказывал мне:

— Я в СДПГ уже 14 лет. До сих пор я безоговорочно поддерживал «положение о радикалах». Но то, как поступают с вами, не лезет ни в какие ворота.

Другой, можно сказать воинствующий антикоммунист, как-то в самом начале нашего знакомства сказал мне:

— Коммунисты хотят покончить с нашим общественным порядком. Они наши злейшие враги. С ними нужно бороться повсюду, где бы они ни появлялись.

Это он говорил в нашей учительской, после уроков.

Теперь даже у него появились какие-то сомнения. Я не укладываюсь в его жизненную схему. Против моей работы в школе он ничего не имеет. Но всякий раз после каникул интересуется:

— Вышли вы наконец из ГКП?

Не стану я облегчать ему жизнь. Пусть сам справляется с ее сложностями.

Есть коллеги, которых интересует мое мнение. Часто возникают вопросы о разоружении, о финансировании системы народного образования. И само собой, постоянно возникает разговор о жизни в социалистических странах.

В этом отношении они впрямую меня «перевоспитывают» Приносят мне вырезки из «Шпигеля» или «Штерна». Я беру реванш, показывая им статьи из «Унзере цайт» или «Ди тат». Кое-кому я давал уже почитать романы Вилли Бределя и книги из серии «Библиотечка рабочего».

— Ты парень стоящий. С тобой и поспорить можно. Но вот другие...

Такие разговоры приходится слышать каждому члену нашей партии. Нужно еще много потрудиться, пока люди поймут, что ты — не исключение.

В конце декабря 1976 года Кристиан Гюнтер сумел добиться, чтобы вопрос о его приеме на государственную службу был принят к рассмотрению в судебном порядке. Маленькая справка: к этому времени он работает в школе уже два с половиной года, и с ним заключают лишь временные договоры, не дающие ему как специалисту никаких юридических гарантий.

НИЧТО ЕЩЕ НЕ РЕШЕНО

За три дня до моего срока слушаются два других таких же дела—Ауфермана и Леппина. Я отправляюсь в суд. Хочу познакомиться с атмосферой разбирательства.

Зал переполнен. Внешний вид судей не предвещает ничего доброго. Глядя на председательствующего, вспоминаю нацистских судей. Присяжные похожи на типов с рекламы кетча. Возможно, я сужу предвзято. Но предчувствия подтверждаются почти с первых же реплик. Кончить разбирательство как можно скорее — кажется, это главное, что заботит судей. Частности их не волнуют. Оценка личности малосущественна. О расхождении во мнениях сенатора и членов комитета они даже не упоминают. Самое для них важное:

— Так вы член ГКП или нет?

И на этом — точка.

— Внесите в протокол: «Истец считает вопрос о членстве в ГКП недопустимым и антиконституционным». Есть ли у коллег еще вопросы? Нет? Хорошо.

Заявление ответчика, защитительная речь адвоката принимаются к сведению нехотя.

Судьи удаляются на совещание.

Возвращаются через полчаса.

— Ваш протест отклоняется. Обоснование последует примерно через четыре недели.

Вот так-так! Никто особых иллюзий насчет этой юстиции не питал. Но что неправый суд правится с подобной откровенностью!..

Час спустя начинается следующее судебное заседание. Судьи — другие. И тактика тоже иная.

Председательствующий держит в руках тезисы ГКП. Он намерен погрузиться в «политические и идеологические глубины личности» Бернда, дабы «дать ему возможность подвергнуть проверке собственную критическую позицию». Судьи едва ли не в отчаянии. Они так хорошо подготовились! Но и Бернд считает, что задавать вопросы о членстве и деятельности в легальной политической организации недопустимо с точки зрения законности.

— Я хочу обратить ваше внимание на то, что отсутствие гражданского мужества свидетельствует против вас. Член компартии Италии, Франции или Испании поступил бы иначе. Он признал бы свою принадлежность к партии,— говорит судья.

Какой цинизм! Я едва сдерживаюсь.

Если признаешься в принадлежности к ГКП, в верности ее программе — сразу прощайся с работой. Единственный «шанс», который тебе дан,— это признаться, что являешься членом легальной организации — ГКП, тут же отмежевавшись от ее программы и линии. «Я, правда, состою в ГКП, но ее политику поддержать не могу» или: «Я член ГКП, но, если разобраться, вступил только ради моей жены». Они были бы очень рады услышать такое!

Вынесение решения по делу Бернда откладывается. Сомнений по поводу того, каким оно будет, ни у кого не остается.

Перед разбором моего дела никаких надежд на положительное решение у меня нет. Беседуя с коллегами перед заседанием, мы поставили целью не дать себя провести так дешево и гнусно. Мы хотим подробно объяснить нашу позицию.

Готовился я как к экзамену. На каждый возможный вопрос подобрал документы и письменные ответы.

Дело принимает неожиданный оборот.

— Это донельзя запутанная история,— объявляет судья в самом начале заседания.

Ну да: сенатор — «за», а комиссия — «против».

Представитель управления школ должен дать пояснения. Он в затруднении. Достает из папки какой-то листок. Верно, сенатор по вопросам образования был за мое зачисление на государственную службу, пока не «вскрылись новые обстоятельства».

— Недавно господина Гюнтера избрали в Альтонский районный комитет ГКП и делегатом на окружную конференцию.

Вот за что он ухватился!

Председательствующий совершенно сбит с толку. Он предлагает пригласить сенатора и представителя комиссии, чтобы выслушать, чем они объясняют противоположные решения, принятые ими. Затем обращается ко мне:

— А это что еще за ужасные вещи? Райком! Президиум окружкома! И вы в них состоите? Я ничего в этом не понимаю. Объясните-ка мне! Кто еще в них входит! Сколько человек? Чем занимаетесь вы лично? Мы должны представить себе полную картину.

Я обращаю его внимание на решение Верховного суда: «Членство или участие в деятельности политической организации, не запрещенной Верховным конституционным судом, не может быть причиной для ущемления в правах». Я не отвечаю на их вопросы.

— Но ведь мы просто хотим поближе с вами познакомиться. Политические взгляды человека — всегда важный фактор.

Я предлагаю обратиться сначала к другим факторам. К моему удивлению, судья со мной соглашается.

— К истории с ГКП нам придется впоследствии еще вернуться.

Зачитываются характеристики. Протокол беседы с сенатором. Подробные объяснительные записки по этому поводу. После двух часов разбирательства судьи прерывают заседание суда.

— Продолжим в будущем году. С тем чтобы сенатор и кто-то из комиссии выступили в качестве свидетелей. А мы, со своей стороны, соберем дополнительные документы.

Выходя, председательствующий спросил меня:

— А в какой школе вы теперь работаете?

— В полной реальной школе Бергедорфа. Я там, кстати, преподаю математику дочери сенатора по внутренним делам Штаака.

Я не знаю, что и думать о прошедшем заседании. Судьи старались разобраться, отрицать этого нельзя. О возможном решении тоже пока судить рано. Скольких людей послали на смерть судьи, премило улыбаясь при этом!

ВЫЗОВ В «ИНКВИЗИЦИЮ»

События развиваются. Ведомство по охране конституции на процессе в декабре выложило на стол новые данные обо мне. Теперь, три месяца спустя, я должен держать ответ.

Это называется «выслушиванием сторон». Мне предоставлена «возможность высказаться по поводу серьезных сомнений в моей верности конституции».

Времена меняются. Тебя не швыряют больше в темную, грязную камеру гестапо, чтобы под пытками выжать признание. Все происходит как в правовом государстве — «демократично». Ведется протокол. Чего же еще желать?

Маленькая комнатка на восьмом этаже высотного здания. Инквизитора зовут Майснер. Он именуется «ведущим беседу». Ему помогает эксперт-юрист Леман. Он неловко сует мне руку и изображает некое подобие поклона. Очевидно, ему многому еще придется поучиться у своего «учителя» Майснера — хитрого, целеустремленно делающего карьеру юриста-бюрократа. Майснер отнюдь не бывший нацист, ему не больше тридцати пяти лет.

В маленьком кабинете душновато. Его почти весь заполняет большой, порядком послуживший стол.

Майснер знает свое дело. Перед разговором со мной он раз двадцать вел такие же беседы. Большинство протоколов я читал, готовясь к встрече с ним.

Держится он подчеркнуто дружелюбно, как бы призывая меня последовать его примеру: поговорим, дескать, как разумные, взрослые люди. Вы расскажете мне немножко о себе и ГКП. Потом мы составим чистенький протокол — и делу конец.

Со мной у него это не пройдет.

Прежде чем ответить на вопросы, я позволяю себе высказаться по поводу их методов.

— Я считаю этот допрос совершенно излишним. Мои профессиональные качества подтверждены многолетней работой.

Впрочем, мне безразлично, как вы здесь оцените мою профпригодность. В 1974 году меня не приняли на государственную службу, хотя сенатор по школам и сенат высказывались за это. Почему я должен говорить с вами, а не с комиссией по утверждению в правах служащих?

Майснер непроницаем. С этим возражением он неоднократно встречался. Для начала он хочет выиграть время для размышления и сам обстоятельно наговаривает на пленку все, что я сказал. И потом снова за свое: а может, я тем не менее соглашусь? Что поделаешь — таковы правила разбора конфликтов... У него есть ко мне несколько вопросов, кое-что ему неясно. И вот уже начинается игра в «вопросы-ответы», когда заранее известно, что скажет каждый из нас. И всем присутствующим понятно, чем это кончится. Если бы мы действительно беседовали! Или даже спорили, отстаивая свои позиции! Ничего подобного. Разговор получается пустой и бесплодный.

Майснер дает мне выговориться, а затем сам записывает все сказанное мной на пленку. Так он переводит дух. Потом задает очередной вопрос.

Большую часть времени говорю я. Как и обычно, речь идет о моем членстве в ГКП. Со стоическим спокойствием опытного чинуши Майснер пропускает мимо ушей мою тираду, составленную из выдержек из конституции, судебных решений, Европейской конвенции о правах человека вплоть до Заключительного акта Совещания в Хельсинки.

Майснер еще раз журчащим голосом констатирует, что его сомнения не развеяны. Я повторяю все сначала.

В конце разговора Леман снова как бы нехотя протягивает мне руку. Майснер и при прощании имеет вид безукоризненного чиновника.

Протокол составлен по всем правилам. Копию мне обещают прислать через неделю.

Отправляюсь домой. Я опустошен, выжат, как лимон. Никак не могу отделаться от мыслей о том, что этот бюрократический аппарат делает с человеком.

Я мог говорить что пожелаю. Все вносилось в протокол. И сидела передо мной не гестаповская рожа, которая возбуждает в тебе желание сражаться, четко обозначить линию фронта. Постная физиономия Майснера словно говорила мне: мы корректны, к нам не придерешься, а тебе надеяться не на что.

Мне было наперед ясно, что разговор этот ни к чему не приведет. И все же чувствую я себя отвратительно.

ПЛОХИ МОИ ДЕЛА

Что-то у меня не в порядке со здоровьем. В последнее время появилось страшно много дел. Наш профсоюз готовится к предварительному голосованию о предупредительной забастовке.

Без конца проводятся совещания профгрупп, собрания учителей, встречи доверенных лиц. Говорят об одном: имеют ли государственные служащие право бастовать? Можно ли убедить родителей, что речь идет не об уменьшении окладов «хорошо оплачиваемых» учителей, а о будущем их детей?

К напряженной работе в профсоюзе добавилась подготовка ко вторичному слушанию моего дела. Оно должно состояться после каникул, на троицу. Мне не сообщили даже, к чему они пришли после первого слушания.

Так я и думал. Для успокоения общественности ведется «чистый» процесс. Снаружи все выглядит вполне демократично, по закону... Тот, кого это касается, может подумать, что у него появится шанс, если он станет играть в «их» игру. И он готовится к процессу, терпеливо играет, пока не поймет... что всего лишь пешка в руках своих противников. Предоставляет им алиби — дескать, все шло честно и благородно.

В приглашении на вторую явку в «инквизицию» уже содержится формулировка принятого решения. «Лицо, находящееся на службе, отказываясь отвечать на вопросы, важные для определения его профессиональной пригодности, тем самым отказывает в доверии своему руководителю и, в свою очередь, не заслуживает доверия» Итак, и на сей раз речь пойдет о моем членстве в ГКП.

В субботу я чувствую себя препаршиво. Уже в пятницу, во время спортивных занятий, я был не в форме, ужасно болела голова.

В понедельник в школе мне опять стало хуже. Тащусь по лестнице вверх, как старик. Голова прямо раскалывается от боли в висках. Ученики говорят мне: «Вы сегодня на мертвеца похожи». Коллеги советуют взять больничный. Но я хочу продержаться эту последнюю перед каникулами неделю. В двух классах я должен провести контрольные. В четверг большой митинг протеста, организованный нашим профсоюзом. Отдохну на каникулах. Но после обеда решил все же прилечь. К вечеру лучше не стало.

Женщина-врач настойчиво пытается убедить меня, что я болен. А мне необходимо было, чтобы она всего на неделю поставила меня на ноги. У меня берут кровь на анализ. Врач становится такой же бледной, как я.

— Вы потеряли не меньше двух литров крови. Я обязана немедленно отправить вас в больницу.

Она полагает, что у меня желудочное кровотечение. Спустя полчаса оказываюсь в больнице.

Выйдя из больницы, Кристиан Гюнтер в первые же минуты узнает, что во время его отсутствия Курцман не терял времени даром. Надеясь на благодарность вышестоящего начальства и возможное продвижение по службе, он фальсифицирует оценку двух открытых уроков, проведенных Гюнтером, на которых присутствовала и представительница управления школ. Но настроение коллег Гюнтера меняется, они уже не те безмолвные пешки в игре директора Курцмана, какими, возможно, и были в прошлом. Очевидная несправедливость тревожит и возмущает многих из них. Они пишут опровержение курцмановской «оценки» способностей Гюнтера-педагога.

«...И ВАС НЕМЕДЛЕННО ПРИМУТ НА СЛУЖБУ»

Они пытаются добиться своего любыми способами: «Выйдите из ГКП, и на другой день мы примем вас на службу».

В перерыве судебного процесса представитель управления школ сказал Уве: «Если вы порвете с ГКП и вступите в какую-либо демократическую партию, мы сейчас же прекратим судебное дело против вас».

Меня это приводит в бешенство. Предложения подобного рода я и не думаю обсуждать. Разве могу я изменить свое мировоззрение?

Продаваться, превращаться в подлипалу школьного начальства? Лучше брошу работу и найду любую другую.

Мне трудно понять товарищей, которые приняли их условия. Это, конечно, редкие случаи. За несколько лет в Гамбурге нашлось всего трое таких.

Одного из них старший школьный инспектор и директор обрабатывали в течение долгих месяцев.

— Да помилуйте, перестаньте вы упираться. Мы говорим только о вашем членстве в партии. А не о том, о чем вы там думаете. Выйдите — и ваше существование обеспечено. Не забывайте и о своей семье...

Они сущие дьяволы! Когда тебе 35, у тебя двое детей и ты влюблен в свою профессию — тут возможны самые серьезные конфликты.

Он не выдержал. И его действительно приняли на государственную службу.

Только счастливее он от этого не стал. Ясное дело, понимает, что его купили. В любом случае выход из партии — это не только формальный акт. Тем самым ты расстаешься со всем кругом твоих друзей и знакомых. Им нужен не только твой выход из партии, они хотят сломить тебя как личность.

Можно ли всерьез ожидать от меня, чтобы я примерил эту мерку к себе хотя бы на секунду?

Знаю я еще одного, вышедшего из нашей партии.

Он, похоже, долго боролся с собой. Никто его не видел целыми месяцами. А потом до нас дошло известие о его решении. Этот вышел даже из профсоюза. Со всеми потрохами продался в лагерь тех, кто поймал его на удочку. Недавно я видел его подпись под заявлением консервативных преподавателей гимназий. Он пошел по этому пути до конца. Для него и впрямь началась «новая» жизнь. Уж не с таких ли мне брать пример?

Во время стажировки на курсах я встретил одного студента, которого давно знал. Звали его Детлеф Рёмгильд.

Когда я еще ходил в школу, он был в Гамбурге секретарем районной организации неонацистской партии. Он же пытался агитировать в своем духе ребят из моей школы. Даже в 1971 году он писал злопыхательские заметки в местные газеты. А в 1972-м пытался срывать избирательные митинги социал-демократов... Преподавал он немецкий язык и историю. Нацисты — учителя в Гамбурге?

— Скажи, тебе известно, что Рёмгильд закончил учебу? Он теперь стажер?

Я позвонил Гельмуту.

— Гораздо хуже. Ему дали место учителя, приняли на службу. Он преподает немецкий и историю в одной из гимназий Гамбурга. Мы проверяли... Знаешь, что он сделал? Он подал заявление в ХСС. Те сперва поломались... А через год приняли его без звука.

Видите, как все просто. Он сменил этикетку, но не убеждения.

И круг наших «демократов» стал еще шире.

Но на меня пусть не рассчитывают.

ПРОТИВНИК ПРОДОЛЖАЕТ ДОПУСКАТЬ ПРОМАХИ

Я снова в школе. Лишь очутившись в больнице, я впервые вполне осознал, как много значит для меня моя работа.

Курцман меня избегает. При встречах смотрит куда-то мимо.

Пусть. Стычки с ним сейчас ни к чему — вряд ли я смогу сдержаться. Думаю, следующий конфликт не заставит себя долго ждать. Чем дышит Курцман, мне уже известно...

— Здравствуйте, говорит Барбара Шёнтайх из СГТ[1]. Мы планируем через две недели дать по третьей телепрограмме передачу о «запрете на профессии». Хотим показать вашу историю как типичный случай. Могли бы мы приехать к вам?

Я начеку. В прошлый раз у меня возникло ощущение, будто готовится какой-то подвох. Надо быть осторожнее.

Они заявляются ко мне вчетвером. С камерой и магнитофоном. Автор передачи производит на меня хорошее впечатление. Она рассказывает о трудностях в СГТ, когда хочешь говорить правду. На кассете они пишут: «Решение премьер-министра». Заголовок «Запреты на профессию» вызвал бы «нездоровый интерес» контролеров.

Все идет совсем не так, как в прошлый раз. Я могу рассказать все по порядку и дать всему свою оценку. Это заняло несколько часов. Шёнтайх хочет продолжить сбор информации. Есть у нее и просьба.

— Я бы с удовольствием сделала съемки урока. Как иллюстративный материал, если придется подкладывать текст.

— Это будет непросто. Управление школ однажды уже отказало.

— Воспользуюсь своими связями. До сих пор нам удавалось попасть в любую школу.

Проходит неделя.

— Добралась до самого сенатора. Все согласны, но ничего не выйдет. Ваша школа против. Директор сообщил представителю сената по печати что-то о серьезных волнениях среди учеников. Съемки стали бы, мол, последней каплей... Кроме того, он ссылается на родительский комитет, который тоже категорически возражает. Видимо, и впрямь ничего не поделаешь.

Курцман меня не удивил. Но неужели родительский комитет против?

Пишу записку председателю родительского комитета, выражая свое удивление. У меня хорошие отношения с учениками и родителями. Почему же он занял такую позицию?

Проходит десять дней. Телефонный звонок.

— Господин Гюнтер? Говорит Ганзен. Я получил ваше письмо, но никак не пойму, о чем вы толкуете. На родительском комитете и речи не было о телесъемках. Тем более не принималось решений по этому поводу. Вас, по-видимому, неправильно информировали.

— Разве господин Курцман не говорил с вами об этом?

— Нет. Для проверки я созванивался с остальными членами комитета. Одному из них он что-то упомянул об этом в коридоре. Так, между прочим. Остальным не сказал ни слова. Честно признаюсь, я сам не знаю, что сказать о съемках. Надо бы подумать.

С меня довольно. Сажусь и пишу жалобу в конфликтную комиссию. Жалуюсь на весьма легкомысленное обращение Курцмана с фактами.

На другой день иду к старшей советнице — инспектору по школам. Фрау Эльснер (она присутствовала на двух моих уроках) молча принимает жалобу. Как ей реагировать, она не знает. Фрау Эльснер неглупа. Примитивные выходки Курцмана стали ее раздражать.

Атмосфера в школе вновь накаляется. Жалобы, поданные «наверх», пересылаются в копиях директору школы. Он обязан реагировать.

Прочитав копию, директор пришел в ярость и начал наносить удары направо и налево. Марии Луизе он поведал, что я опасный коммунистический функционер, из «ведущих»! Для таких, мол, как я, внешняя вежливость — только маскировка.

На Дорис, другую учительницу, он пытается оказать грубый нажим: в будущем году я, дескать, не буду преподавать математику в ее девятом классе. «Во-первых, он все равно не останется в нашей школе, а во-вторых, он ничего не смыслит в математике».

Тем не менее она хочет, чтобы я остался. Курцман категорически против. Пусть она мне так и передаст. Даже прямо объявить мне об этом у него не хватает смелости.

Надо сказать, что Дорис нелегко возразить Курцману. Она заочно занимается в учительском институте, и вскоре ей предстоит второй госэкзамен. Курцман — один из двух ее главных оппонентов. И все-таки она пишет ему письмо. С его решением она согласиться не может. Дополнительно она сообщает директору, что одну копию письма перешлет мне, а другую — в конфликтную комиссию. Смелый поступок. «Я долго размышляла. Я не позволю, чтоб из меня вили веревки».

Подобное отношение мне куда дороже любых резолюций. Это солидарность на деле, проявленная в тот момент, когда в ней нуждаешься.

Я уже давно не чувствую себя одиноким: многие коллеги изменили отношение ко мне. Рассчитывать, что они все стерпят, Курцману не приходится, пусть и не все держатся столь открыто, как Дорис.

Курцман перегнул палку. Давление, которое он оказывал на всех, начинает оборачиваться против него. Как поет Ханнес Вадер: «Пусть страх обернется протестом, вопреки всему!»

ВТОРОЙ РАУНД

Моя болезнь сдвинула сроки второго «допроса». Бирбаум, который должен его вести, выразил моему адвокату свои сожаления. Он просит дать ему знать, «когда ваш клиент совсем поправится». Это звучит как «будет пригоден для участия в военных операциях».

Все происходит в июле, за две недели до летних каникул и до истечения срока моего договора.

По новым правилам разбора подобных дел у меня есть возможность убеждать в моем корректном отношении к конституции целую сенатскую комиссию. Присутствует Майснер. Старшая советница Эльснер — тоже. И правительственный директор Бирбаум, коллега Делириуса, подписавшего почти все документы о «запретах на профессию» в Гамбурге,— тоже. У него

[1] СГТ — Северогерманское телевидение.

репутация особенно изощренного мастера допросов.

Я рад, что придется столкнуться с ним лично. Ведь было опубликовано несколько моих полемических статей против подписанных им распоряжений.

Место нашей встречи не сравнишь с душным служебным кабинетом Майснера. В большом конференц-зале мы сидим друг против друга в удобных креслах. Трио «допрашивающих» — по одну сторону стола, мы с адвокатом Фюллеборном — по другую. У меня настроение боевое.

Бирбаум играет роль судьи на ринге. Пытается вести беседу в дружелюбном тоне, вежливо, по-людски. Хочет усыпить мою бдительность вопросами о моей семье, о том, как я учился. Его интересует, на сколько лет я старше моих сестер. Как и то, что мой отец — химик. И почему, собственно, я решил стать учителем?

И потом, как бы между прочим, без видимого перехода, желая застать меня врасплох, наносит удар:

— А почему, кстати, вы вступили в ГКП?

Но меня этой тактикой «огорошивания» не собьешь.

Едва я начинаю излагать свое мнение о правовой стороне вопроса, лицо Бирбаума мгновенно мрачнеет. Его маска либерала не пригодилась. Он отбрасывает ее прочь, возвращаясь к привычной роли бесстрастного «охотника за ведьмами». Линия фронта снова четко обозначилась. Я роюсь в своих бумагах и особенно подробно цитирую положение конституции, запрещающее задавать вопросы о моем членстве в ГКП. На лицах Майснера и Эльснер — скука. Это меня подстегивает. Примерно в течение получаса я выражаю свое согласие с основным законом и основными правами. Бирбаума это почти не интересует. В отличие от Майснера он ничтоже сумняшеся задает действительно решающий вопрос:

— В гамбургской учительской газете — в номере пятом за 1977 год — вы пишете, что имели возможность ознакомиться с собственным личным делом. И приводите одну из записей: «Ноябрь 1973: Г. публично признает, что является одним из руководителей курсов молодых педагогов-стажеров». Почему вы не привели полного текста? Вы же заявили тогда, что вы входите в группу учителей — членов ГКП?

Вопрос не в бровь, а в глаз. Я стремительно перебираю в уме несколько вариантов ответа. Я знал, что Бирбаум и его подручные внимательно читают нашу профсоюзную газету. Еще бы, они не в восторге от того как мы разоблачали их махинации. Но такая быстрая реакция! К тому же для протокола! Дело принимает острый оборот. А мне именно этого и надо.

— Ваш вопрос представляется мне грубейшим нарушением многих основных прав, гарантируемых конституцией. Противозаконно ли, по-вашему, писать статьи для профсоюзных газет?

— Мы говорим о том, что вы даете неполные цитаты, упоминая лишь о том, что соответствует вашим политическим интересам.

— Под свободой печати я понимаю право самостоятельно решать, о чем мне писать статьи. Для меня важным был упрек ведомства по охране конституции в том, что я вхожу в число руководителей курсов.

— Тогда почему вы умалчиваете о вашем членстве в ГКП?

— Я ни о чем не умалчиваю. Коллегам из профсоюза и без того ясно, что меня упрекают в членстве в ГКП. Неужели мне следует в каждой статье об этом упоминать?

— Но ведь самое важное в досье то, что ваше публичное заявление подтверждает связь руководства курсов с группой учителей — членов ГКП.

— Мне не дано проникнуть в мысли каждого из шпиков ведомства по охране конституции, которые пробираются на собрания слушателей курсов и берут все на карандаш. Деятельность избранного представителя курсов качественно не меняется от того, состоит ли он в какой-либо политической организации.

Бирбаум то и дело дает указание застенографировать что-либо для протокола. И неожиданно наносит свой второй удар «под дых».

— А как согласуется ваша служебная обязанность не использовать служебного положения в своекорыстных целях с тем, как 19 декабря вы истолковывали на уроке одному из классов ваше «дело»?

Это подлость. В вызове на «выслушивание» Бирбаум написал: «Любые профессиональные отношения строятся в конечном итоге на взаимном доверии». И они всерьез ждут этого от меня? «Доверие»! Эльснер словно в рот воды набрала. Хотя тот «случай» ей известен досконально, и вопрос был исчерпан еще два года назад. Она сама проводила разбирательство. Мне трудно сдерживаться. Фюллеборн внимательно наблюдает за мной со стороны, взглядом предостерегая меня. И я опять, ничуть не теряя спокойствия, объясняю, как обстояло дело.

Метод Бирбаума разгадать несложно. Он касается то одного, то другого. Мы, дескать, этого парня все равно достанем. Где-то он промахнется, сболтнет какую-нибудь глупость. Поймается не на этот вопрос, так на другой.

Он возвращается к нашей газете:

— В «Гамбургской учительской газете», в № 18 за 1976 год, вы пишете: «Увольнение учительницы Инги Каспшак, как и в случаях с Ильзой Якоб и Райнером Науйоком, продолжает имевшую уже в Гамбурге место практику увольнения из школ учителей — детей жертв национал-социализма». Разве это не чудовищное оскорбление сената — обвинять его в планомерном преследовании жертв фашизма?

— Я всего-навсего устанавливаю факт: во всех трех случаях «запрет на профессию» коснулся коллег, чьи родители по политическим причинам преследовались при национал-социализме. За выводы, которые можно сделать из этого факта, несет ответственность сенат, а не я.

Это длится целых два с половиной часа. Протокол содержит в себе взрывчатый разоблачительный материал. Противозакон-

ность действий гамбургских «охотников за ведьмами» очевидна.

Этой беседой я не снискал себе благожелательства сенатской комиссии. К тому же я был слишком агрессивен. Впрочем, не в этом суть. «Хорошее поведение», то есть оппортунизм, не поможет мне остаться на службе.

После беседы с сенатором прошло два года. Трижды со мной заключались договоры. Если бы не давление общественности, от меня давно избавились бы. А благодаря этому протоколу можно продолжать борьбу. Это придает мне силы.

Вежливо прощаюсь с замкнутой Эльснер, молчаливым Майснером и потускневшим Бирбаумом. Похоже, что он не слишком доволен достигнутым результатом. Мое настроение поднимается.

Фюллеборн тоже считает, что сегодня мы взяли верх.

Второй раунд закончился в мою пользу.

ВЗЯТЬ ИЗМОРОМ

«Допрос» прошел давно, но все осталось без изменений. Получив протокол, я переслал его фотокопию в комитет, борющийся против «запрета на профессии». Все считают, что протокол разоблачает «охотников за ведьмами».

Легкая эйфория по поводу удачной беседы сменяется нервозностью. Договор мой истекает в последний день перед каникулами.

Бюрократы хранят молчание, не подавая о себе вестей и не говоря, что же будет дальше. Наслаждаются собственной властью: «Пусть, мол, себе попрыгает».

Последний учебный день. Я все еще не знаю, что мне предстоит. Мой адвокат угрожает управлению школ подачей жалобы по инстанции: три подряд трудовых соглашения, ограниченные по срокам, противоречат закону. Он называет их «не принятыми в общей практике». Но и на сей раз не последовало никакой реакции.

Коллеги интересуются: «Что же будет дальше?» У них подавленное настроение: мысленно они ставят себя на мое место. Примериваются. И не выдерживают.

У меня такое же настроение. Я стал совсем нервным и вспыльчивым. Меня охватило чувство беспомощности — что может быть хуже, чем вылететь с работы? Сплошная неуверенность...

Занятия закончены. Каникулы. Трое коллег накупили вина и пива. Начало каникул мы всегда отмечаем. Но настоящего веселья никак не получается. Я сижу вместе с остальными, но впервые за три года чувствую себя совершенно не в своей тарелке. Остро ощущаю, что я словно изгой среди них.

Снова вспыхивает спор о «запрете на профессии». Кто-то говорит:

— Как-нибудь все обойдется. Не пойдут они на это...

Другие рассуждают реальнее. Они уже имели дело со школьным управлением. Все чувствуют свою незащищенность.

Ко мне подходит Паульсен. Два года назад в одной компании он сказал такое, что я от удивления чуть не потерял дар речи. Его лозунг: «Коммунисты — злейшие враги нашего общества. Надо расправляться с ними повсюду, где ни встретишь». Он так считает. В своих «шуточках» он подчас хватает через край. Дверь моего шкафа в учительской изнутри он заклеил предвыборными лозунгами: «Из любви к Германии — ХДС» и «Свобода вместо социализма».

Паульсен хочет выговориться передо мной:

— Вы знаете, я ведь в принципе против коммунистов. Боюсь, что однажды коммунисты придут к власти и тогда — прощай моя свобода.

Поэтому я считаю, что люди из ГКП не должны работать судьями или учителями. Но в вас я вижу человека, принимающего близко к сердцу дела школы. По-моему, вы во многом улучшили нашу работу. Хотел сказать вам об этом сегодня, потому что, кто знает,— может, вы среди нас последний день? И хотя я против коммунистов, но вам лично я желаю добра.

Ох, уж этот Паульсен! При других обстоятельствах его несколько неуклюжие слова прощания меня бы страшно обрадовали. А сейчас меня сковывает неизвестность.

Дольше я здесь не выдержу. Что мне делать? Освободить шкаф в учительской, все убрать и сдать ключи? Меня охватывает ярость. И не подумаю!.. Если они намерены подленько, втихую вышвырнуть меня во время каникул, у меня будет веская причина еще раз вернуться в школу в первый учебный день.

В учительской появляется Курцман.

— Решение будет принято сегодня,— сообщает он.

Его так и подмывает преподнести мне «радостную новость».

Дома я один, и от этого мне только хуже. Как быть?

Может быть, уже в понедельник придется идти на биржу труда.

Осторожно начинаю прикидывать: для какой работы я, собственно, гожусь?..

Звонит Герд:

— Ты остаешься. Только что я говорил с Майснером. Подробностей он сообщить не пожелал. В любом случае ты после каникул вернешься на работу.

Я мгновенно преображаюсь. Всего минуту назад я был апатичным и вялым, а теперь снова полон сил и энергии. Позвоню Фюллеборну, адвокату!

— Да, как раз перед твоим звонком Бирбаум передал мне решение сенатской комиссии. Нет, просто не верится! Это как в анекдоте: «У меня для тебя две новости — плохая и хорошая. Какую хочешь услышать первой?»

Хорошая новость: нашу позицию в правовом отношении они признали правильной. Мой статус они квалифицируют как статус служащего, работающего по договору с неограниченным сроком действия.

Плохая новость: исходя из этого, я должен быть уволен. Подобное решение готовится.

Фюллеборн полон оптимизма:

— Это не так просто. В этом случае дело будет слушаться в суде. И для увольнения понадобятся неопровержимые причи-

ны. Получив новый договор, мы значительно продвинулись вперед.

Я заражаюсь его настроением. Обычное состояние боевой готовности возвращается ко мне. Более того! Я чувствую, что последние дни не прошли для меня бесследно. Практика «охотников за ведьмами», презирающих людей, лишь усиливает мою ненависть к ним. Я буду еще упорнее продолжать борьбу. Даю себе клятву в этом.

«Война нервов» продолжается на всех уровнях. В школе Курцман подговаривает учеников и неразборчивых в средствах учителей, чтобы они досаждали Гюнтеру и по мелочам, исподтишка, изводили его нелепыми обвинениями и претензиями.

С другой стороны, Бирбаум «защищает» права учеников. В письме к Гюнтеру он доходит до вершин чиновничьей казуистики: «...учитель обязан убедительно объяснять своим ученикам основные ценности и основные принципы нашей конституции. Эта убедительность исключается в вашем случае: то, что вы должны объяснять на уроках, находится в противоречии с вашим собственным к этому отношением, и это противоречие известно ученикам».

Нет ни одного повода, сколь бы нелеп, неприглядан и смехотворен он ни был, который не пытались бы использовать «охотники за ведьмами» и инквизиторы в борьбе с Гюнтером и его единомышленниками. В своих наветах они не брезгают никакими средствами. В конце каникул Кристиан Гюнтер получает уведомление об увольнении. Странный казус! С одной стороны, договор с ним продлили, с другой — увольняют. И снова — суд.

ТЕПЕРЬ ДОКАЗЫВАТЬ — ИХ ЧЕРЕД

Второе слушание дела назначено на ноябрь.

Мы готовимся весьма тщательно. Вместе с комитетом борющимся против «запрета на профессии», я подготовил четырехстраничную листовку. На трех страницах — обвинения в мой адрес и описание дела, на первой — копия моего вызова в суд. Общий заголовок «Приглашение на процесс о «запрете на профессии».

Мы рассылаем ее по 950 адресам. отдельным гражданам и организациям. Комитет призывает отправлять письма с протестами в гамбургский суд. Оповещаем и прессу: «Гамбургская учительская газета» тоже называет день суда.

Готовимся мы и к тактической борьбе. Как нам «пробить» испытанную схему действия суда и управления школ?

«Он занимал какие-то должности»,— утверждает управление **«Так ли это?»**—спрашивает суд **«Подобный вопрос недопустим как антиконституционный»,**— говорит ответчик **«Значит это так»,**— решает суд. Управление находит, что **«сомнения не устранены»** **«Уволить»** — таков приговор.

Но мы не будем играть с ними в их игру Го-то они удивятся.

За три недели до слушания дела я снова заболеваю. Желудочное кровотечение. Вторично. Как не вовремя! Ведь подготовка к суду нами завершена...

Поскольку кровотечение я обнаружил своевременно, ложиться в больницу не нужно. Меня обследовали, прописали таблетки, диету, постельный домашний режим.

Живу в ожидании 3 ноября. Только бы выздороветь. Нельзя, чтобы вся наша подготовительная работа пошла насмарку.

Заболеть — это мы быстро. А вот выздороветь... Чувствую себя неважно. Второй раз за полгода желудочное кровотечение. Что же дальше будет?..

Живу одной мыслью: встать к началу слушания дела. Хоть бы скорее шло время.

Слушание назначено на четверг. Осталось только четыре дня, но я все еще не вполне здоров. Пролежал три недели, а чувствую себя вялым и слабым, болит голова. Если хочу в четверг явиться на суд, надо перед этим пробыть три дня в школе. А иначе что подумают коллеги?..

Бледный, нездоровый, я три дня даю уроки — выдержал. Коллеги ободряют меня. Они обратились в суд с письмом. Еще раз подтвердили, что не видят оснований не принимать меня на государственную службу и не допускать к дальнейшей работе в школе Кроме того, в письме содержится жалоба на то, что слушание назначено на утренние часы: некоторые из них хотели бы присутствовать на суде.

Наконец-то! Полтора месяца думал я об этом дне. Внутренне меня это сильно укрепило: к бою я готов.

Присяжные — новые. Поэтому вся история дела зачитывается вновь. Одно это отнимает более получаса. В оценке общественного защитника улавливаю положительные для меня оттенки.

Председательствующий помахивает скоросшивателем с множеством листков.

— Мы в своем решении свободны,— говорит он.— И оказывать давление на нас не позволим. Пусть это будет даже целая лавина писем,— и снова помахивает этой «лавиной». Писем действительно очень много Они все прочитаны и подшиты, но «оказывать давление» ими не позволяется.

Слабость мою как рукой сняло. Долго я дожидался такого дня. И вот он настал. Одно это для меня уже успех.

Слушание продолжается. После неизбежной юридической перепалки слово дают мне. Будем сегодня нападающей стороной.

Я записал на листке бумаги все их обвинения. И разделываюсь с ними, пункт за пунктом.

«...открыто заявил, что входит в руководство курсами молодых педагогов-стажеров».

«...употребляет термин «запрет на профессии».

Управление школ снова представляет Делириус (один из главных реакционеров и инквизиторов) Он производит жалкое впечатление Его беспокоят присутствующие в зале. Большинство из них отнюдь не на его стороне.

Вмешиваются судьи:

— Вам незачем постоянно дискутировать с господином Делириусом. Важно, что мы думаем по этому поводу, а не господин Делириус. А насчет ваших статей в проф-

союзной газете нам здесь вообще незачем толковать.

— Я того же мнения. Но это показывает, каков был дух собранных против меня обвинений. Это основания для «запрета на профессии»?

Я продолжаю наступать. Делириус беспомощен.

Шум в зале усиливается. Когда он говорит, раздается смех, иронические реплики.

Мой адвокат призывает меня быть сдержаннее. Я только что сказал, что Делириус пытается выставить судей в глупом виде.

— В этом мы сами разберемся,— одергивают меня они.

Доходит черед и до письма об увольнении. Совершенно очевидно, что оно не вызвало у суда благоприятного отношения. Чересчур неловкая, топорная работа. Делириусу нечего сказать по этому поводу.

— А теперь я хотел бы сказать кое-что об обвинениях, предъявленных мне ведомством по охране конституции.

Моментально наступает тишина. Судьи слушают внимательнейшим образом. Становится ясно, что камень преткновения здесь. Моя эффектная перебранка с Делириусом для них была просто болтовней. Своего рода прелюдией.

— Я заявляю, что имеющиеся в досье данные на меня выдуманы от начала до конца и ни в малейшей степени не соответствуют действительности.

Все поражены. Мертвая тишина.

— Минутку. Это мы должны запротоколировать,— в движениях председательствующего легкая нервозность. Еще бы — в их схеме пробита брешь.

— Таким образом, вы утверждаете, что обвинение управления школ по этому пункту не соответствует действительности?

— Именно это я и утверждаю.

Настроение в зале суда меняется. Судьи становятся серьезными. Юристы!..

— Итак, господин Делириус, вы все слышали. Теперь нам нужны ваши доказательства противного.

— Да.

— И вы готовы нам эти доказательства предоставить? Вы думали об этом?

— Да.— Пауза.— Я и сам не знаю, как это доказать.

Хохот в зале. Вопросы и ответы заносятся в протокол. Затем, после небольшого перерыва, заседание суда объявляется закрытым. Управлению школ предложено представить к следующему, третьему по счету слушанию необходимые доказательства. В чем наш план и заключался.

Делириус раздражен. Мы выбили его из седла. До сих пор он только утверждал что-то, пользовался выписками из досье ведомства по охране конституции. До доказательств дело никогда не доходило.

Трудно ему придется: своих шпиков они не выдают. На этом мы и строили свои расчеты.

На суде были представители радио и телевидения. После окончания слушания дела мы задержались с ними, объяснили некоторые детали, вручили письменные материалы.

По СГТ в политической вечерней программе передали фрагменты киносъемок, сделанных на заседании суда. Сенат и управление школ поданы в не очень выгодном для них свете.

Вечером у меня такое чувство, будто я и физически почти здоров.

КАК ТРУДНО РАССКАЗАТЬ ПРАВДУ

У телефона Шёнтайх. На 3-й программе телевидения возникли неожиданные для нее трудности.

— Я этого не выдержу. Передо мной словно пропасть разверзлась. Ни с чем подобным я не сталкивалась до сих пор при подготовке материала. Я звонила в управление школами, к высокопоставленным лицам. Везде отказы, довольно невежливые. Я задала всего несколько вопросов, а они после этого нажаловались на меня начальнику отдела.

Тот заинтересовался отснятым материалом. На кассетах написано: «Решение премьер-министра». Он счел материал слишком острым. И снял с программы. Перенес, то есть «похоронил».

У Барбары Шёнтайх из-за этого неприятности. Но что она может поделать?..

Полгода спустя эта история повторяется. «Вечернее обозрение» включило в передачу репортаж из зала суда. Автором передачи была Петра Майер. Кусок получился удачным. Выходит, что люди, не принадлежащие к левому крылу СДПГ, тоже могут быть против «запретов на профессии» и преследования инакомыслящих.

Она непременно хотела получить информацию о дальнейшем развитии событий.

Я звоню ей.

— В следующую пятницу третье слушание дела.

— А-а, да, да. Видите ли, тут возникли некоторые проблемы. Мой комментарий к последней передаче принес мне чудовищные неприятности. Из высоких инстанций городского магистрата на меня поступила жалоба ответственному редактору: «Комментарий однобокий. Неполное освещение вопроса». Даже совет СГТ занялся изучением отношения редакторов и авторов к «вопросу об экстремистах». Я ничего подобного и вообразить не могла. Ну, что ж... Может, и правда, не стоит освещать один отдельно взятый случай со всеми подробностями. Поднять проблему — само по себе немало. Это продвинет дискуссию вперед. Хорошо бы вам позвонить и рассказать, чем все кончится. Мне интересно.

Как славно жить в свободной демократической стране, где гарантирована свобода слова и печати!

В адрес суда приходят выражения солидарности с Кристианом Гюнтером из разных уголков страны, из Дании, Бельгии, Голландии. Два с половиной миллиона членов французского профобъединения ВКТ поддерживают молодого учителя из Гамбурга. Его характеристика, подписанная учителями школы, безупречна. Ученики просят оставить им их учителя. А что же суд? Позиция его непоколебима: «Мы не позволим оказывать на нас давление».

Некоторые перемены в «хронически нездоровую» ситуацию неожиданно вносит

предвыборное выступление бургомистра Гамбурга Клозе. В предвыборной кампании он, рассчитывая на поддержку молодежи, заявляет: «Лучше 20 коммунистов в общественной сфере, чем 200 000 обеспокоенных молодых людей». Более того, он называет отдельные, чересчур, на его взгляд, «затянувшиеся» дела — «недостойными традиций города». В лагере «охотников за ведьмами» недоумение. Они привыкли, чтобы их мнение всегда совпадало с мнением начальства. Даже временное «структурно обоснованное» и «объяснимое логикой ситуации» расхождение — пусть и чисто терминологическое — с высоким начальством заставляет их испытать испуг. Но с места они не тронулись. А Курцман? Он — типичный оппортунист и, значит, при всех обстоятельствах политический хамелеон. Для вида, чтобы как-то выкрутиться (ведь на нем огонь сосредоточится раньше, чем на других), он даже готов протянуть Гюнтеру руку. От чего тот, разумеется, отказывается. Ибо что, в сущности, изменилось? Слова — еще не дела.

«КАК ДЕЛА?»

Все мои характеристики вот уже несколько месяцев лежат в управлении школ. И ни с места. Кое-кто поговаривает, будто скоро лед тронется. А когда меня спрашивают, скоро ли это произойдет, я отвечаю:

— В управлении решили зачислить меня летом. Но не решили пока, летом какого года.

Прежде пресловутая «тактика проволочек» приводила меня в бешенство. Я боялся потерять работу, лишиться общения с коллегами, учениками и их родителями, со всем тем, что стало для меня важным и дорогим. Но я справился с этим чувством страха, поставив перед собой вопрос: можно ли уступать таким, как Курцман, Делириус, Майснер и Бирбаум,— этим представителям свободно-демагогического «демократического» правопорядка? Сдать им позиции? Да после этого я перестану себя уважать. Я поклялся, что скорее лишусь работы, чем изменю самому себе.

Между тем я продвинулся вперед еще на шаг. Думаю, мы перешли от обороны к наступлению. Больше нельзя закрывать глаза на протесты и сопротивление тактике «запрета на профессии», но «охотников за ведьмами» нельзя сжечь на кострах столетий, как они поступали со своими жертвами. Их отправляют на свалку истории. И мы, чью волю им не удалось сломить, способствуем этому. Даже если они и выгонят кого-нибудь из нас с работы, мы их одолеем. Вопреки всему!

Перевод с немецкого ЕВГ. ФАКТОРОВИЧА

ЭТО ЧУГУННОЕ СЛОВО «БЕРУФСФЕРБОТ»

Ноябрьский туман в Гамбурге ложится на лица липкой пленкой, схватывает за горло потной холодной лапой. Слезящиеся витрины, скользкая мостовая, на которой только что с грохотом столкнулись передо мной две машины.

В мрачноватом лабиринте улиц рабочего района Альтона мне надо найти Макс-Брауэр-аллее, а на ней — дом № 91, а в нем — административный суд, а там — зал № 138, где...

Впрочем, еще до появления вывески с официальной надписью «Вольный и ганзейский город Гамбург. Административный суд района Альтона» вижу, что попал куда надо. Перед зданием — небольшая молчаливая демонстрация. «Люди-сандвичи»: плакат спереди, плакат сзади. На каждом — увеличенная во много раз обложка книги «Охота за ведьмами» и портрет ее автора Ганса-Петера де Лорента.

«Они существуют и сегодня — охотники за ведьмами. Их методы «модернизировались» по сравнению со средневековьем, однако инквизиция, именуемая сегодня «слушанием», принадлежит по-прежнему к их испытанным методам»,— написано на «людях-сандвичах». Двое из них держат транспарант: «Запрет на профессию, запрет на книгу, запрет на убеждения».

Сегодня, 2 ноября 1981 года, в административном суде гамбургского района Альтона начинается «слушание дела» школьного учителя Ганса-Петера де Лорента, автора книги «Охота за ведьмами», по обвинению в оскорблении двух чиновников. «Потерпевшие» тут же, в зале: регирунгс-директор, член комитета по делам школьного образования в городском сенате Карл-Хайнц Делиус и директор одной из гамбургских школ Генрих Ланген.

В обвинении, которое состоит из 32 пунктов, изложенных на 16 страницах, приводятся «оскорбительные выражения», допускавшиеся школьным преподавателем Кристианом Гюнтером по адресу своего непосредственного начальника, директора школы Курцмана, а также сотрудника управления по делам образования Делириуса.

Стоп! Это какая-то фантасмагория. Полубезумные люди или вполне нормальные герои Кафки?

Делиус — Делириус и Ланген — Курцман (вторая пара фамилий соответствует чему-то вроде «Долгов» и «Коротков»). Параллели очевидны, но столь же очевидна маниакальная одержимость истцов, подавших в суд на литературное произведение. Реальный Делиус обиделся за вымышленного Делириуса, который назван в книге «старой крысой». Существующий в жизни Ланген перенес словечко «хамелеон» по

адресу своего прототипа Курцмана, но взвился от негодования, прочитав в книге характеристику: «сочетание бесстыдства и глупости». И оба они, вместе с гамбургским сенатором по школьным вопросам Йостом Гролле, пришли в совершенное возмущение от выражений типа: «представители свободно-демагогического правопорядка».

Так возникло «дело по обвинению в оскорблении», слушание которого началось 2 ноября 1981 года. Впрочем, не совсем так.

Все началось гораздо раньше, еще в 1974 году, когда молодой гамбургский учитель Ганс-Петер де Лорент впервые переступил порог кабинета с табличкой «сенатор по вопросам образования» и услышал: «Вы, очевидно, догадываетесь, почему вы здесь. В связи с вашим назначением возникли проблемы».

Он в точности повторил эти слова сенатора на первой странице своей книжки «Охота за ведьмами», вышедшей шесть лет спустя — в 1980 году. К тому времени изможденный травлей чиновничьей мафии, измученный болезнью, которая не раз обострялась от чудовищного нервного напряжения, школьный преподаватель, член Германской компартии Ганс-Петер де Лорент почти добился того, чтобы городские власти приняли, наконец, решение о зачислении его на службу в качестве чиновника.

Здесь, впрочем, требуется пояснение к тому, что такое чиновник в ФРГ. Формально — это лицо, состоящее на государственной службе. В отличие от служащего, который может работать и у частного предпринимателя, чиновник обладает рядом преимуществ как материального, так и социального порядка. Кроме того, в ряде профессий быть не чиновником, а всего лишь служащим — значит подвергаться дополнительной дискриминации из-за того, что по какой-то причине вам не удалось пройти «испытательного срока» и стать, к примеру, «пожизненным чиновником» (это вполне официальные термины в западногерманской табели о рангах). Это положение в первую очередь относится к таким профессиям, как преподаватели школ, работники почт, телеграфа и транспорта, и к некоторым другим. Вот почему здесь особенно зверствуют ревнители «постановления о радикальных элементах» от 1972 года, стремясь любыми путями оберечь от «разрушительного влияния» касту чиновников. В случае со школьным учителем де Лорентом и тысячами других жертв «запретов на профессии» дело усугубляется страхом властей перед «разрушительным воздействием радикалов на умы молодежи». Как заметил журнал «Шпигель» в заметке о судьбе де Лорента, «охранители государства боятся, что вместо теории множеств преподаватели математики, состоящие в ГКП, будут внушать своим подопечным учение Маркса и Ленина».

Книга опального учителя де Лорента оказалась подходящим поводом для гамбургских властей, которые уже исчерпали все свои аргументы против его полноправного назначения. Одним махом де Лорент был наказан за свой документальный роман вызовом в суд.

В обвинительной речи прокурор потребовал запрета книги и взыскания с ее автора штрафа в размере пяти тысяч марок.

Я не слышал этой речи, опоздав к началу судебного заседания. Но я видел и слышал другое.

Среди публики в зале суда сидело несколько пожилых людей в полосатых робах с номерами-нашивками узников фашистских концлагерей: «болотные солдаты в мундирах полосатых», как пел в известной песне Эрнст Буш. Один из них рассказывал, что провел семь лет в лагере смерти Нёйенгамме — это в нескольких километрах от здания гамбургского административного суда. Старые антифашисты, чудом сохранившие жизнь в нацистских застенках, пришли туда, где судили человека за его политические убеждения и за его литературный труд, пришли потому, что знали по себе, что означает подвергаться преследованиям за свое мировоззрение.

А рядом с ними сидела группа юношей и девушек — школьный класс, в котором преподавал учитель Ганс-Петер де Лорент и который в полном составе явился на суд, чтобы защищать любимого наставника.

И старики в концлагерных «пижамах», и лохматая, джинсовая молодежь напряженно следили за ходом разбирательства, которое внезапно приняло весьма неожиданный оборот.

В руках у судьи — весьма милой молодой женщины — оказалась книжка «Охота за ведьмами». Спокойно и уверенно, как будто это в порядке вещей, г-жа Бригитта Хэзе стала читать ее вслух.

«На семинаре мы часто говорили о запретах на профессии. В теоретическом плане. Как о чем-то, что вполне может произойти. Но с кем-то из нас? В беседе с коллегами я каждый раз обращал их внимание на то, что это может произойти и со мной. Они страшно сердились на меня. Столь практически они не хотели рассматривать эту проблему...» — читала судья г-жа Хэзе.

«Они тоже боятся. Руководители семинаров назначаются властями на срок 18 месяцев. Тот, кто не оправдает себя, возвращается в школу. «Запреты на профессии» выполняют свою задачу. Их жертва — не только я один»,— звучал в притихшем зале голос г-жи Хэзе.

«Времена меняются. Тебя не швыряют больше в темную, грязную камеру гестапо, чтобы под пытками выжать признание. Все происходит как в правовом государстве — «демократично». Обвинение представили мне в письменном виде. Я могу привести с собой своего адвоката. Ведется протокол. Чего же еще желать?» — декламировала г-жа Хэзе.

Чтение продолжалось четыре с лишним часа. «Это был, пожалуй, уникальный случай в судопроизводстве,— писал впоследствии демократический журнал «Культур унд гезельшафт».— Молодым и, казалось бы, неопытным судьей был найден блестя-

щий ход, с помощью которого это разбирательство отошло от обычного «дела об оскорблении», когда Майер судится с Мюллером из-за того, что второй обозвал через забор первого «идиотом». Люди в зале суда, право же, не знали, смеяться им или плакать. Перед ними вставал образ человека, попавшего в шестеренки страшной машины преследования в духе Кафки и буквально измочаленного допросами и инсинуациями. Присутствующим становилось ясно, кто же этот человек и почему он думает так, а не иначе. Судебное разбирательство на глазах превращалось в процесс против литературы...».

А г-жа Хэзе, закончив чтение книги вслух, невозмутимо перешла к опросу истцов.

И вот здесь зал уже только смеялся от души. На вопрос судьи, почему обращение «пострадавшего» в суд затянулось едва ли не на год, коль скоро он счел себя оскорбленным в книге де Лорента, школьный директор Генрих Ланген с прелестной откровенностью заявил: «Я дожидался решения вышестоящих организаций».

Потом г-ну Лангену отшибло память. Несмотря на все свои усилия, он никак не мог припомнить, что он, Ланген, собственноручно извещал «выщестоящие организации» о намерении учителя де Лорента «организовать забастовку школьников», в результате чего преподаватель надолго был лишен работы. Версия с «забастовкой» не подтвердилась, учителя временно восстановили в должности, и вот теперь директор школы тер лоб и скреб в затылке, пытаясь вспомнить, писал он клеветнический донос или не писал. «Ведь на основании ваших сообщений в городской сенат преподаватель де Лорент был подвергнут запрету на профессию, и вы утверждаете, будто ничего не помните!» — возмущенно воскликнул адвокат обвиняемого Клаус Дамман. Тогда г-н Ланген все вспомнил.

Пять часов давали показания истцы — Генрих Ланген и Карл-Хайнц Делиус, «нанеся своему облику куда больше ущерба, чем самый разоблачительный роман» (журнал «Культур унд гезельшафт»).

Белые нитки, подклейки и прочие скрепы обвинения стали расползаться на глазах, и тогда в атаку вновь ринулся прокурор. Правда, после чтения книги вслух ему пришлось из ее первоначальных 16 крамольных пассажей оставить в качестве обвинительных пунктов лишь 7. Но книжку он по-прежнему считает зловредной и не может оценивать ее иначе, ибо она представляет собой пропагандистское сочинение в беллетристической манере, и если сам по себе документальный роман — художественное произведение, то в отдельных деталях он вполне способен наносить оскорбление реальным лицам, как о том свидетельствует выражение насчет «сочетания бесстыдства и глупости», примененное по адресу литературного героя г-на Курцмана, однако, намекающее на присутствующего в этом зале уважаемого директора школы г-на Лангена, что является поистине вопиющим, ибо автор расплатился со своим противником не той же монетой, хотя, конечно, следует принять во внимание неопределенное служебное положение ответчика в течение многих лет, но в то же время следует признать наказуемым его намерение использовать жанр литературы, коим не владеют оппоненты, для расправы с ними, и потому прокуратура считает необходимым подвергнуть автора штрафу в размере пяти тысяч марок, учитывая при этом, что ранее он под судом и следствием не был...

Надо было слышать эту речь, составленную по испытанным в течение веков канонам немецкого судейского крючкотворства, надо было видеть г-на прокурора, который сыпал параграфами и их пунктами, доказывая зловредность и оскорбительность книжки, которую немедленно следует запретить.

Не случайно оба защитника Ганса-Петера де Лорента — уже названный адвокат Клаус Дамман и известный писатель Петер Хотьевиц — назвали обвинение по адресу автора «политическим скандалом».

О «судейском анахронизме» столетней давности, которым является сам этот процесс, говорил К. Дамман, напомнивший статью пятую конституции ФРГ с ее гарантией свободы творчества и сославшийся на мнения и оценки ряда видных юристов и литературоведов, а также органов печати.

Отнюдь не для оправдания книги Г.-П. де Лорента (она в этом не нуждается), а лишь для характеристики ее роли в литературной и общественной жизни ФРГ стоит привести несколько высказываний из объемистой документации, собранной защитниками писателя:

«События такого рода, которые описаны в книге де Лорента, действительно происходят в ФРГ и вряд ли являются для кого-либо тайной. Не в последнюю очередь именно от таких событий исходит сегодня угроза для свободно-демократического правопорядка. И если события, о которых рассказано в книге, реальны, то остается задать вопрос: почему автор, а не главные действующие лица под судом» (профессор правоведения Альбрехт Вельмер, г. Констанц);

«Эффективнее всех юридических экспертиз произведения литературы и документальные сообщения могут содействовать разоблачению антидемократической и антигуманной сущности запретов на профессии. В том, как современные «охотники за ведьмами» прореагировали на книгу Ганса-Петера де Лорента, заключен оптимистический момент: они чувствуют себя пойманными, узнают себя в литературных героях и принуждены открыто признать это, дабы иметь формальную возможность для возбуждения судебного дела. Тем самым они раскрывают свою анонимность, под защитой которой они действовали до сих пор. Можно только пожелать, чтобы этому примеру последовали другие» (профессор права Родерих Васнер, Бремен).

Цитируя эти и многие другие высказывания общественности, защитник де Лорента писатель Петер Хотьевиц напомнил прокурору г-ну Хеерсу о том, что год назад западногерманское правосудие отнюдь не пожелало начать процесс против известного

политического деятеля по обвинению его в оскорблении большой группы писателей-демократов. Тогда вполне реальный председатель правой партии ХСС и премьер-министр Баварии Франц-Йозеф Штраус в присутствии нескольких тысяч человек назвал в митинговой запальчивости прогрессивных представителей художественной интеллигенции «крысами и навозными мухами». Прокурору это напоминание явно не понравилось, но из своего крамольного списка о семи пунктах выражение «старая крыса» он убрал.

Последним впечатлением от процесса было узкое подвижное лицо в рамке длинных волос и бороды, негромкий, но четкий, учительский голос Ганса-Петера де Лоренте. В заключительном слове он сказал всего несколько фраз о том, что в своей книге хотел показать мысли и чувства человека, потерпевшего от несправедливости, и что невозможно судить и тем более осуждать духовный облик такого человека, особенно если выражается он в художественно-образной форме. Де Лорент сказал, что верит в свое оправдание. Честно говоря, у меня такой уверенности не было бы, если бы не внимательный и спокойный взгляд судьи — г-жи Хэзе. То, как она читала вслух в судебном зале книгу, забыть было нельзя.

Под самый Новый год пришло сообщение: Ганс-Петер де Лорент оправдан по всем статьям обвинения. Жаль, что не пришлось побывать в Гамбурге 22 декабря, когда был зачитан приговор: «Роман никоим образом не претендует на документацию и должен рассматриваться как художественное произведение. Опрос чиновников школьного ведомства, которые узнали себя в романе и сочли оскорбленными, показал, что они часто вели себя некорректно по отношению к де Лоренту, а также не выполняли свои обязанности в отношении подчиненного». Жаль, что не пришлось услышать аплодисментов публики и восторженных воплей учеников де Лорента, которые вручили своему учителю букет красных гвоздик. И жаль, что не удалось вновь повидать судью — г-жу Хэзе, которая показалась в первый день робкой и неумелой девочкой. Как приятны такие ошибки!

Впрочем, процессом длиной почти в три месяца мытарства автора книги «Охота за ведьмами» не кончились. Школьное ведомство гамбургского сената передало дело в следующую инстанцию. И вовсе неизвестно, любят ли тамошние юристы читать вслух произведения литературы.

В том же, что здесь достаточно юристов, обожающих чтение книг с красным карандашом в руках, нет никаких сомнений. Некоторое время тому назад во франкфуртском издательстве «Фишерферлаг» вышел сборник статей известных писателей и публицистов ФРГ под заголовком «Мужество иметь свое мнение. Против подцензурной свободы». В книге говорилось: «Положение конституции о том, что «цензуры не существует», имеет столь же мало веса, сколь и утверждение, что «дождь не идет». Ни то, ни другое не способно создать или гарантировать мягкий климат, даже если у нас в Центральной Европе порой стоят солнечные дни, что и способствует иллюзиям. Действуя согласно предписаниям, мы считаем, что обнаружили последнее прибежище цензуры в так называемых тоталитарных государствах. Устремив взгляды вдаль, мы не видим того, что делается под боком. Предполагая, что угнетение существует где-то там, за границей, мы не замечаем власти привилегий над нами и вокруг нас. Цензура у нас повсюду. Она публична. Это не мелочная, придирчивая, работающая с измерительной линейкой цензура, отмеряющая собственные масштабы; нет, это расточительная, давящая до тошноты, свободная цензура, которая пытается скрыть собственный жалкий провинциализм за напускной либеральностью».

История с книгой писателя де Лорента — наглядная иллюстрация к этим желчным словам. Не случайно репортаж с гамбургского процесса в журнале «Культур унд гезельшафт» озаглавлен: «Когда цензура сочетается с глупостью».

Книга «Охота за ведьмами» заканчивается двумя словами — лозунгом, проходящим через демократическую немецкую публицистику со времен Карла Либкнехта: «Trotz alledem!» — «Вопреки всему!»

Ганс-Петер де Лорент и все, кто верил в него, помогал ему, одержали первую большую победу. Но чугунное слово «беруфсфербот» («запрет на профессию»), которое не раз появляется на страницах книги, отнюдь не ушло из жизни его и почти пяти тысяч жертв этой позорной антиконституционной практики. «Вынюхиванию мыслей» и запрету работать по избранной специальности в ФРГ подвергнуты железнодорожный машинист из Вюрцбурга Руди Редер, техники телефонной связи из Штутгарта Ганс Петер и Ганс Майстер и многие другие активисты ГКП, строитель Вернер Кроне из Дармштадта за участие в манифестации против шахского режима в Иране, учитель Генрих Хэберляйн из Нюрнберга за то, что подписал вместе с миллионами других западных немцев знаменитое Крефельдское воззвание сторонников мира «Атомная смерть угрожает всем нам. Никаких ядерных ракет в Европе!», учитель Герхард Биттервольф из того же Нюрнберга, осмелившийся знакомить школьников с положениями Заключительного акта Совещания в Хельсинки, сотрудница почты из Людвигсхафена Роземари Ляйс, протестовавшая против вооруженных провокаций Пекина на границе социалистического Вьетнама...

Однажды эти люди и десятки их товарищей по несчастью устроили сидячую забастовку протеста на центральной площади Бонна, у подножия памятника Бетховену. В руках каменного композитора, склонившего голову под нудным осенним дождем, появился тогда плакат: «В этом свободном и демократическом государстве не имели бы права учить детей Генрих Гейне, Томас Манн, Альберт Эйнштейн и многие другие». Стоит добавить, что и сам Людвиг ван Бетховен вряд ли прошел бы испытательный срок на должность преподавателя музыки в своем родном Бонне.

АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВ

Бонн.

МУЗАФФЕР ИЗГЮ (Турция)

ЧЕМПИОН ПО ОПЛЕУХАМ

Перевод с турецкого РАДИЯ ФИША

Боюсь я полицейских участков, и все тут. Когда мимо прохожу, сердце в пятки уходит, ноги подкашиваются. А если во дворе стоит полицейский или комиссар, сразу поворачиваю обратно. Чего уж там. Не понравится ему моя походка, прическа или взгляд — пригласят и поминай как звали.

Вот на днях получил я через квартального стражника вызов в полицию и обмер. Не обедал, не ужинал: кусок в горло не лезет. Недаром говорят: «Друзья познаются в беде». Когда в доме покойник или иное важное событие, сбегаются родственники, знакомые, соседи. Так вечером, прослышав о вызове, собрались у меня родные, друзья, приятели.

— Рассказывай все сначала!

— Пришел стражник· твое имя написано на бумажке? Мое, говорю. Значит, завтра в девять утра тебе надлежит явиться в участок.

— И ты не спросил, в чем дело?

— Не-е...

— Вспомни-ка получше, что ты натворил в последние дни.

— Ничего

— Подумай толком, с кем водился.

— Ни с кем.

— Прикинь хорошенько, о чем говорил.

— Ни о чем я не говорил.

Мужчины схватились за голову: вот незадача. Женщины молчат, дети будто чуют, что стряслось несчастье, смотрят на меня с жалостью.

— Наверняка полиция что-то пронюхала, думай как следует!

Перебираю в уме по десять раз все, что делал в последнюю неделю, в последний месяц,— голова трещит от натуги. Нет, говорю, ничего такого не было. Глядят на меня друзья и родичи с таким выражением, будто доподлинно знают: быть мне биту. Только не могут решить, сколько затрещин мне достанется. Дело в том, что у полиции есть своя порция оплеух и палок за каждый проступок. За это, мол, столько получай, а за это — столько. А у кого спросишь, что причитается ни в чем не повинному?

— Это самое скверное,— говорит кум.— Порция оплеух за несовершенный проступок не установлена. Иногда целый день бьют, а бывает, и неделю.

— Коли так,— говорит дядюшка,— голодать не годится. Нужно хорошенько подзаправиться, а утром особенно плотно позавтракать. Тогда ты сможешь выдюжить, не то пропадешь ни за понюх. И еда должна быть самая сытная. Неизвестно, сколько дней тебя мучить будут.

— Надо принять таблетку,— советует младший из дядей.— Успокоительную. Станут бить, а ты совершенно спокоен. Не то разнервничаешься, вздумаешь сопротивляться — больше достанется.

— По сути,— замечает приятель,— требуется тренировка. Я думаю так: сперва его сегодня вечером побьем, а завтра утром добавим. Тогда в участке ему все будет нипочем.

Один совет мудрее другого.

— Пусть помоется как следует, побреется,— говорит сосед.— Чтоб не придрались к щетине. И рубаху чистую наденет. А то я как-то раз угодил в участок небритым, так меня отдули по первое число.

— Лучше всего,— предложил отец,— отправимся-ка мы в участок все вместе — кум, двое дядек, я и кто еще захочет.

Это предложение всем понравилось. Жена собрала на стол. Я умял дюжину крутых яиц. Пока грелась вода для бани, сходил к парикмахеру, выбрился как стеклышко. Приятель, дай бог ему силы, отвесил мне в качестве тренировки порцию хороших оплеух. Утром после плотного завтрака дядья повалили меня на пол, стащили с меня ботинки, отлупили палкой по пяткам. И тут же дали мне успокоительного — три таблетки.

Во главе сопроводительной комиссии отправился я в участок. Скажу прямо: сколько ни поддерживали они мой дух, дай им бог силы, не смогли укрепить меня ни тренировочные оплеухи, ни сытный завтрак, ни успокоительные таблетки. Стали подходить к участку, коленки у меня подогнулись, а в дверях, я думал, сердце остановится.

Как бы там ни было, вошли. Ровно семеро нас было со мною вместе — отец, двое дя-

дей, кум, сосед и приятель. А если бы я еще прихватил с собой жену и детей?

Хорошо, что не прихватил... Почему? Да потому, что первым вызвали моего приятеля. Хорошенько отделали. Затем пригласили кума. Дядей вызвали вместе. Пока они там кричали да вопили, схватили за рукав моего отца и тоже увели.

Я превзошел всех. Когда подошла моя очередь, не побледнел, не испугался. Получил свою порцию оплеух и вышел. Да и били меня меньше всех. Прическа у меня была в порядке, щеки выбриты до синевы, рубашка чистехонька. К тому же от принятых таблеток я был абсолютно спокоен. И не думал оказывать сопротивление. Один из полицейских не удержался от похвалы:

— Вот как должен себя вести тот, кто будет бит. Лупить его — одно удовольствие. Чинно, благородно получил свое, и порядок. Глядите, какой благовоспитанный! Прическа, рубашка, выбрит... Будьте любезны, вытяните ноги, а то удары приходятся не по пяткам...

Выползли мы в коридор. Думаем, теперь нас отпустят. Не тут-то было. Заставили ждать, пока снимут показания. Тем временем что-то у них там стряслось, то ли пересмена, то ли еще что. Короче, явился новый комиссар, увидел, как мы сидим рядком, словно голуби, и приказал:

— А ну-ка возьмите их и всыпьте как положено!

На сей раз начали с меня. Затем по очереди получили свое отец, дядья, кум, сосед и приятель. И снова я оказался чемпионом по чистоте, благовоспитанности и выдержке. Полицейские принесли мне свои поздравления. Не обошел похвалой и комиссар:

— Где это вы научились так славно переносить побои?

Ни показаний, ни дознания — отпустили на все четыре стороны. Кинулись мы домой. От изумления никому в голову не пришло спросить: зачем нас звали в участок? В самом деле, ведь стражник приходил за мной по делу.

С полдороги я повернул назад. Пришел и говорю комиссару:

— Вчера меня стражник вызвал в участок.

— Ага. Как фамилия?

Я назвался. Он порылся в бумажках.

— Ага. Мы тебя вызывали, чтоб вручить налоговое извещение. Распишись.

Я расписался. Взял извещение. Комиссар обернулся к полицейскому:

— Вы не забыли всыпать этому приятелю?

— Только что всыпали, мой комиссар.

— Ага. Тогда все в порядке. Можете идти.

Э. М. ДЕЛАФИЛД (Англия)

БРИТАНСКИЙ ХАРАКТЕР

Перевод с английского ТАТЬЯНЫ ЧИСТЯКОВОЙ

Вступление

Однажды кто-то уже сказал, впрочем, не кто иной, как я сам, что каждый англичанин — средний англичанин: это его национальная особенность.

Более того, ни один настоящий англичанин и не хочет отличаться от других. Ему нравится, что сосед его — средний англичанин, ему нравится, что таков он сам. Ему нравится все то, что он знает. Не сомневаюсь, что юмор рисунков Понта придется ему по душе, но лишь потому, что каждая жизненная ситуация, так язвительно изображенная художником, покажется ему очень знакомой. Все его друзья, родственники и он сам не раз оказывались в подобных обстоятельствах и реагировали на них точно так же. Поэтому он с удовольствием будет рассматривать картинки, ни о чем не думая. Ведь самая выдающаяся черта британского характера заключается в том, чтобы не думать.

А сейчас я должен сделать небольшое отступление и заметить, что если в этой книге и есть недостаток, то состоит он, на мой взгляд, в том, что было бы точнее назвать ее «Английский», а не «Британский характер». Все, что я скажу далее, будет относиться исключительно к англичанам и не имеет никакого отношения ни к шотландцам, ни к ирландцам, ни к уэльсцам, ни к другим обитателям Британской империи, поскольку у них есть свои отличительные признаки. Так, например, если англичанам не свойственно думать вообще, то ирландцам свойственно думать иначе, шотландцам — эксцентрично, что еще хуже, а уэльсцам — неясно.

Но вернемся к англичанам.

Итак, предаваться размышлениям не в их характере. Вместо этого у них есть традиции.

Например, традиция домашнего очага.

Даже французы — ветреная и непочтительная нация, не имеющая никакого пристрастия к Альбиону,— предпочли не переводить это слово и признали его бесспорно английским как по происхождению, так и по духу, оставив в своем языке в виде Lé home[1].

Так как же англичане относятся к домашнему очагу, который теоретически и традиционно является главной опорой страны?

Прежде всего они заботятся о том, чтобы как можно скорее отправить своих детей из дома в школы-интернаты — лишь только те научатся ходить — и держать их там, пока они не вырастут, чтобы отправить еще дальше.

Другая их забота — избегать находиться поблизости от родственников. В отличие от латинских народов, англичане вряд ли допустят, чтобы на верхнем этаже их дома жила овдовевшая теща, незамужняя сестра

[1] Домашний уют *(франц.)*, от английского home — дом, домашний очаг.

и две канарейки, на третьем этаже — дядюшка, страдающий астмой, и его экономка, а в чулане за кухней — столетняя кузина.

Англичане говорят, пишут и поют «Home Sweet Home» [1], благодаря чему уже сложилась традиция, что домашний очаг — атрибут исключительно английской жизни. А как только традиция утвердилась — дело сделано. Опасность, что придется о чем-то думать, практически отпала.

Другая традиция, которая укоренилась не только на нашей почве, но и во всем остальном мире,— это любовь англичан к животным. Безусловно, они с большей нежностью будут говорить о своих собаках и лошадях (а также с собаками и лошадьми), чем о друзьях и родных но между собаками и лошадьми, с одной стороны, и всеми прочими неразумными тварями, с другой, проведена четкая граница. Лиса, олень, барсук, выдра, фазан и другие представители животного царства вряд ли что-нибудь сказали бы о любви к ним англичан, даже если бы их об этом спросили. Домашняя кошка и та считается лишь низшей породой собаки, а ее единственным достоинством — то, что она, как и ее хозяева убивает других мелких животных.

Но поскольку англичане никогда не задумываются над этим, они свято верят, что являются единственной нацией на земле, которая действительно относится к животным с большой добротой.

Способность к самообману в нашем выдающемся народе почти феноменальна, тем более что она не является плодом воображения, ведь англичане не только не имеют, но и не желают иметь воображение. Единственное, чем они обладают, и в очень большой степени, так это убеждениями, которые однажды один школьник определил как «веру в то, чего нет».

И сразу в голову приходит целый список догм, которые ни один англичанин не подвергнет сомнению. Если же он все-таки будет вынужден анализировать свои убеждения — что, впрочем, богопротивно,—то лишний раз утвердится в мнении,

что господь бог — англичанин, который, по всей видимости, получил образование в Итоне;

что любая поправка в Британской конституции во вред;

что Англия катится в тартарары;

что Англия — самая прекрасная страна в мире;

что все иностранцы немного сумасшедшие;

что всякий, кто не согласен хоть с одним из этих пунктов, должен быть убит.

Убеждения англичанок касаются в основном домашних проблем:

что все мужчины как дети;

что лучше одеваться неряшливо, чем красиво;

что слушать радио похвально, а читать романы — пустая трата времени;

что на распродаже можно купить вещи дешевле, чем они в действительности стоят;

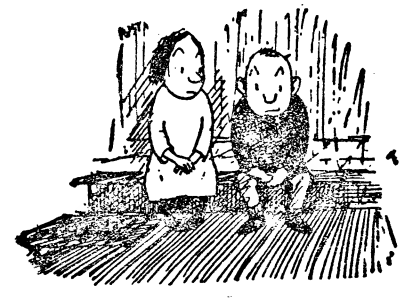
что дети — это благо для родителей.

Думаю, вы уже убедились, насколько англичане, какими бы другими качествами они ни обладали, непоследовательны — правда, выглядит это всегда очень мило (к сожалению, не англичанин, а американец впервые написал: «Не бойтесь быть непоследовательными»).

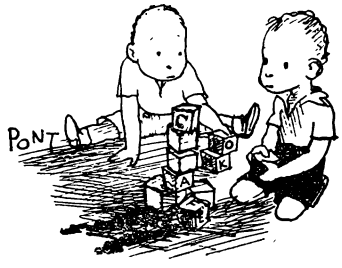
Как истые и непоследовательные англичане, мы не можем не восторгаться замечательными рисунками Понта, изображающими нашу жизнь; мы будем непременно говорить друг другу, как верно все в них подмечено, и мы будем неизменно продолжать жить как раньше.

[1] Первая строка старинной английской песни.

Умение приспосабливаться к новым жизненным условиям.



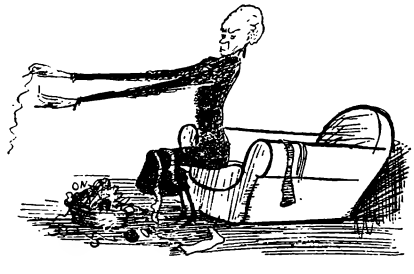
— Придется смотреть фактам в лицо. Полагаю, это означает долгое ожидание.



— *Бывают моменты, когда я действительно задумываюсь над тем, нужно ли все это.*

— *Сегодня на ленч придет еще девятнадцать гостей.*

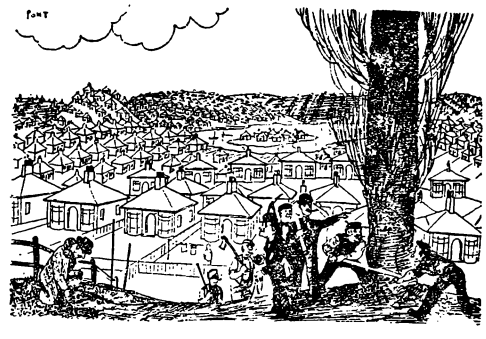
...затем налейте кипящую воду в чайник для заварки.



— *Все в порядке, дорогая, я прекрасно обхожусь без очков, честное слово прекрасно.*

— *Джордж, дорогой, не волнуйся, я вполне обойдусь без этих перчаток.*

— *Когда я был молод, я не носился сломя голову на мотоциклах.*

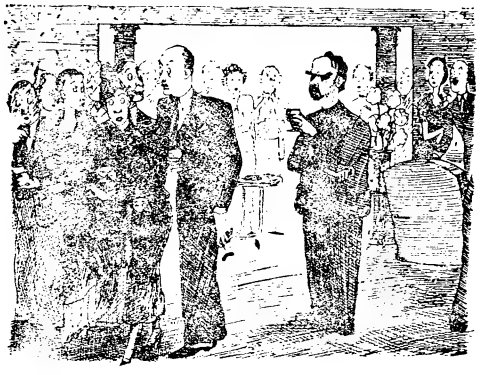


Решительное нежелание сохранять красоты сельского пейзажа.

— *Факт остается фактом, мои друг — и вы не можете этого не признать,— мы уже не так молоды, как сорок лет назад.*

— *И что, мне надо вот так держать руль все время?*

— *Не будь таким глупым, малыш. Ну разве бы мама сказала, что это было, если бы этого не было?*



Как важно не быть интеллектуалом.

Важность чаепития.

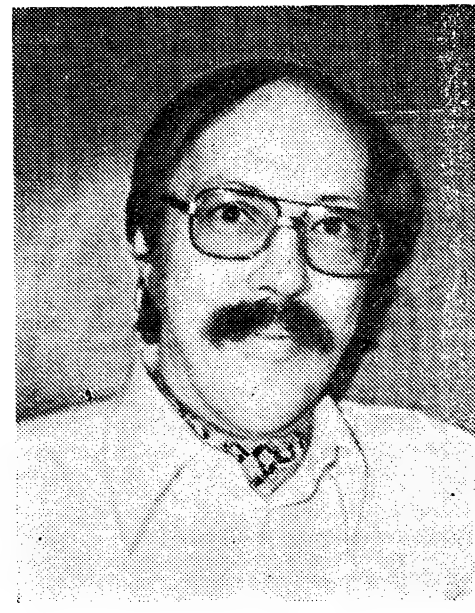
— *Нет, ты не можешь жениться на Грете Гарбо, пока не вырастешь, поэтому перестань реветь, как маленький.*

◆

Наши гости

Роберт Лаури

(США)



Наш гость показывает нам свой журнал. На последней странице помечено: «Отпечатано тиражом в 500 экземпляров. Вручную переплетено редактором. Данный экземпляр имеет номер...» И ниже: «Редактор — Роберт Г. Лаури».

Живут еще на земле энтузиасты. Они выпускают интереснейшие научные издания. Журнал, редактируемый Лаури с 1974 года, посвящен одной теме, но теме многогранной и неисчерпаемой. Она явствует из самого названия — «Шон О'Кейси ревью». Среди авторов — профессора-теоретики и критики, писатели и журналисты из многих стран мира. Лаури говорит:

— Наследство О'Кейси огромно. Материалов и исследований, ему посвященных, хватило бы и на ежемесячник. А переплетать вручную не так уж трудно — специальное приспособление, ножницы, клей, пресс — и все. Плюс время и энергия.

В прошлом году лондонское издательство «Макмиллан» пригласило Лаури редактировать новый «Ежегодник Шона О'Кейси». Только что вышла первая книга, а уже вовсю идет работа над следующим томом.

Роберт Лаури — литературный критик, историк, журналист и редактор — посетил нашу страну по приглашению Союза писателей СССР. Ирландец по происхождению, он ироничен и по-американски энергичен. Эта энергия и оптимизм позволяют ему успевать делать очень многое. Степень магистра искусств он получил в университете Хофстра лишь в 1976 году — до этого служил в армии, работал поваром и сторожем, был профсоюзным деятелем на юге США — известно, как жестоко сопротивляются там предприниматели всяким формам организованного рабочего движения. Потом сотрудничал в прессе, в том числе в «Дейли уорлд», куда и теперь регулярно пишет. Лаури подготовил несколько книг о своем любимом писателе: «Шон О'Кейси. Статьи к столетию», «Статьи об автобиографиях Шона О'Кейси», «Буря в Дублине» и другие.

В марте 1980 года он был одним из организаторов мероприятий, посвященных столетней годовщине великого ирландского драматурга, завершившихся многолюдным митингом в нью-йоркском Сити-Холл и научной конференцией в университете Хофстра. Роберт Лаури организовал научную конференцию, посвященную столетию со дня рождения Джеймса Джойса.

Естественно, что Лаури с большим интересом беседовал с советскими специалистами по ирландской литературе. Во Всесоюзной государственной библиотеке иностранной литературы ему подарили книжечку «Шон О'Кейси. Библиографический указатель».

— Какое множество интереснейших работ! Я просто не мог себе представить, что у вас так глубоко и полно изучено творчество О'Кейси. В Америке немало ценных справочных изданий, но такого еще не было.

Лаури знакомит сотрудников «Иностранной литературы» с несколькими выпусками ежеквартальника «Эш-Эйри. Журнал ирландской Америки», который издается Ирландским центром искусств в Нью-Йорке и редактором которого он является уже несколько лет. Здесь печатаются статьи о жизни и культуре американцев ирландского происхождения.

— Последнее время в США наблюдается повышенный интерес к культуре национальных меньшинств, к истокам и традициям национального самосознания той или иной этнической группы,— поясняет гость журнала.— Причин тому много. Американцы — они ведь очень разные. Помимо социального расслоения существует и иное. Есть американские ирландцы, американские итальянцы, греки, немцы, индейцы, черные. Да, они американцы, но они одновременно в чем-то остаются ирландцами, мексиканцами, немцами. Многие пытаются сохранить язык и обычаи своего народа. В каждой этнической группе издаются газеты и журналы, некоторые из них выходят на родных, так сказать, языках, имеются национальные центры, клубы и так далее. Конечно, направления деятельности газет, журналов и центров могут быть диаметрально противоположными в политическом отношении, но такие различия существуют в США повсюду. Особое место занимает афро-американская культура, а также культура индейцев. Ну и, разумеется, играет роль классовый момент. То же самое можно сказать и об ирландском сообществе в США, где возрождается интерес к судьбам «старой родины», к культуре Зеленого острова и ее традициям на американской почве. Отсюда и успех книг ирландско-американских писателей. Возьмите «Год французов» Томаса Фланнэгана, романы Джеймса Кэрролла, Джимми Бреслина. Тут и там возникают все новые ирландско-американские газеты и журналы.

Недавно Роберт Лаури начал издавать и редактировать новое издание «Айриш литерари саплмент» («Ирландское литературное приложение»). В номере — несколько десятков обзоров и рецензий на книги ирландских и ирландско-американских авторов, материалы по тем или иным аспектам культурной и общественной жизни в Ирландии и США.

— Существуют прекрасные традиции левых культурных изданий — «Нью мэссиз», «Мэйнстрим», «Американ дайалог». Сейчас, увы, нет общенационального прогрессивного общественно-литературного издания. Материалы по культуре в «Дейли уорлд» «Политикал афферс» публикуются не так часто и не могут дать полной картины.

Действительно, порой единственным источником американской, так сказать, точки зрения на новую книгу, на то или иное явление в культуре служит «Нью-Йорк таймс бук ревью» и другие подобные издания, то есть «большая» пресса, пресса большого бизнеса.

— Что касается «Иностранной литературы»,— говорит Лаури,— то у нас в Америке нет ничего, что могло бы сравниться с вашим журналом. Впечатляет все: географический охват, тираж, отбор произведений. Недавно вы опубликовали подборку современной ирландской поэзии. И знаете, что меня удивило больше всего? Я предложил бы практически тех же поэтов для публикации! В издательстве «Радуга» меня познакомили со списком авторов готовящегося сборника «Современная ирландская новелла» — у меня возникла та же мысль.

Ровно через неделю после возвращения в США Роберт Лаури напечатал в «Дейли уорлд» свои впечатления от первомайской манифестации в Москве. Когда мимо гостевых трибун на Красной площади проплывали плакаты с призывами остановить гонку вооружений, предотвратить угрозу ядерной войны, он заметил:

— Рейган сделал по крайней мере одно полезное дело. Своей твердолобой позицией, своими воинственными выступлениями он добился обратного эффекта. Многие в Америке и в других странах поняли, прочувствовали подлинный смысл ядерной опасности. Люди смогли по-новому, реалистически взглянуть на положение дел в мире.

— Мы привыкли мерить все огромными расстояниями, тысячами миль,— говорит Лаури, прощаясь.— Но вот будучи в Ленинграде, я беседовал с Юрием Рытхэу. Он рассказал мне о поразительном случае — о том, как однажды он пешком прошел из Америки в Россию. Да, да, где-то там, на островах в районе Берингова пролива. Мне кажется это очень символичным. Зачем искусственно усложнять жизнь и искать кружные пути и в географии, и в политике?

АЛ. ЗЛОБИН

◆

Среди книг

Издано в СССР

ПУСТЬ НЕ ГАСНЕТ ТРУБКА МИРА!..

Генри Лонгфелло. Песнь о Гайавате. Перевод с английского и предисловие И. А. Бунина. Москва, «Правда», 1982.

В этом году отмечалось 175-летие со дня рождения Генри Лонгфелло. И сто лет истекло со дня его смерти. Тираж книг американского поэта в нашей стране давно перешагнул миллионный рубеж. Его читают у нас не только в переводах на русский. Лонгфелло переведен и на армянский, и на белорусский, и на эстонский, и на латышский языки. Поэзия Лонгфелло звучит по-грузински, по-литовски и по-молдавски... Новым, 200-тысячным тиражом издана недавно «Песнь о Гайавате» в бессмертном бунинском переводе.

Ни один из американских поэтов XIX века не имел при жизни такой известности в России, как Генри Лонгфелло. Русские переводы стихов Эдгара По, например, появились в конце 70-х годов, то есть через три десятилетия после смерти писателя. Огромный интерес к творчеству Уолта Уитмена возник в России уже в нашем, двадцатом веке.

Время рождения русской славы Генри Лонгфелло вполне определенно — март 1861 года. Тогда, в третьей книжке знаменитого, основанного еще Пушкиным журнала «Современник», ставшего к концу 50-х годов трибуной передовой России, появились лонгфелловские «Стихи о рабстве». Появились в том самом номере, приложением к которому печаталось Постановление об отмене крепостного права. Переводчиком выступал поэт-революционер Михаил Михайлов, друг и соратник Чернышевского. В журнале публиковался полный цикл, все восемь «Стихотворений о рабстве». По требованию цензуры название цикла было изменено — в журнале он был озаглавлен «Песни о неграх». Сути это не меняло. В те годы слово «негр» стало едва ли не синонимом «крепостного».

Сообщение о том, что редакция располагает уже переведенными стихами Лонгфелло, появилось еще в октябрьской книжке журнала за 1860 год. Ясно, что стихи придерживались до определенного часа, поскольку об этих михайловских переводах можно говорить как о приеме конспирации. Это был беспрецедентный по смелости, ясности и глубине ответ русской революционной демократии на царское «освобождение» крестьян. Ответ со страниц легальной, подцензурной печати. Ответ немедленный и необычный, оказавшийся по существу единственным комментарием редакции к «Манифесту»:

> ...Самсон порабощенный, ослепленный
> Есть и у нас в стране. Он сил лишен,
> И цепь на нем. Но — горе! — если он
> Поднимет руку в скорби исступленной
> И пошатнет, кляня свой тяжкий плен,
> Столпы и основанья наших стен,—
> И безобразной грудой рухнут своды
> Над горделивой храминой свободы!

Словно специально для цензора Михайлов оговорил в предисловии, что перевел стихи «со всею верностью, какой мог добиться». Отступления от оригинала, однако, есть. Примечательные отступления. Во-первых, Самсон у Лонгфелло — лишь «poor», то есть бедный, несчастный; у Михайлова же он — «порабощенный». Совсем малость — союз «и», добавленный переводчиком во фразе «и у нас в стране», дает понять, что речь идет именно о России. Фразы «кляня свой тяжкий плен», тематически связанной со словом «порабощенный», в оригинале вообще нет. Но главное слово в михайловской строфе — «свобода», и оно — в отличие от оригинала — венчает строфу и стихотворение в целом. Это его эмоциональная и смысловая кульминация. И звучит оно у Михайлова иронично, даже язвительно. Подлинное освобождение народа — в революции, в сокрушении всего здания монархического государства.

Стихи Лонгфелло «о неграх» появились в мартовской книжке «Современника». А собственное стихотворение Михайлова, написанное в то же время, по тому же поводу и в той же образной системе:

> О сердце скорбное народа!
> Среди твоих кромешных мук

Не жди, чтоб счастье и свобода
К тебе сошли из царских рук...

О, помни! не без боя злого
Твердыню зла шатнет твой клик.
Восстань из рабства векового,
Восстань свободен и велик!—

увидело свет лишь в советское время.

Стихи, опубликованные в «Современнике», принесли Лонгфелло признание русских читателей. С этого момента переводы его произведений печатаются в России постоянно. И никогда не забывалась неразрывная связь творчества американского поэта с русским освободительным движением. Не случайно среди первых изданий, появившихся в Советской России после Октябрьской революции, были произведения Лонгфелло. Сначала в Москве в 1918 году вышла «Гайавата»; в следующем году в Петрограде — отдельной книжкой были изданы «Песни неволи». Томик стихов Лонгфелло на английском языке имелся у В. И. Ленина в его личной библиотеке в Кремле.

Главы из «Песни о Гайавате» появились впервые также в «Современнике» в апреле 1866 года в переводе Дмитрия Михаловского. (Михаил Михайлов годом ранее погиб на сибирской каторге). Этот номер оказался последним: царское правительство закрыло журнал. Публикацию переводов из «Гайаваты» Михаловский продолжил лишь через два года в другом журнале, «Отечественные записки», возродившем славные традиции «Современника».

Многие русские переводчики обращались затем к «Гайавате» — обращались до тех пор, пока в конце века к переводу знаменитой поэмы не приступил Иван Бунин, писатель с «поистине редкостным даром», как сказал о нем Александр Твардовский.

В одном из писем той поры Бунин сообщал: «Я ведь помешан на Гайавате, я ведь с самого детства сплю и вижу перевести всю эту дивную песню и издать ее и любоваться и сотни раз самому перечитывать ее, если не будет читателей...»

Девять лет вдохновенно трудился Бунин над этим переводом. И вот в 1903 году в издательстве «Знание» Максимом Горьким был опубликован окончательный вариант бунинского перевода «Песни о Гайавате». Издание было прекрасно и по виду — книга включала около четырехсот иллюстраций к поэме американского художника Фредерика Ремингтона. Но тотчас же по достоинству был оценен и бунинский перевод. Русская Академия наук отметила его Пушкинской премией. «Лонгфелло — прелесть», — отозвался о книге Горький. Множество раз без изменений печатался в нашей стране этот перевод. И никто не отважился с тех пор вступить в соперничество с переводом Бунина.

Свое предисловие к переводу «Гайаваты» Бунин закончил словами: «Я работал с горячей любовью к произведению, дорогому для меня с детства, и с полною добросовестностью, этой слабой данью моей благодарности великому поэту, доставившему мне столько чистой и высокой радости».

Завораживающая сила бунинского перевода в том, видимо, и состоит, что и читателю он передает сполна эту «чистую и высокую радость», в целости доносит до него музыку индейских имен и названий, удивительную поэтичность самой легенды, ее вечно мудрые уроки человеколюбия, самоотверженности, добра...

Мы растем и взрослеем, а ощущение праздника, оставшееся от первой встречи с поэмой, не блекнет с годами, и не проходит чувство, что та или иная тема, тот или иной мотив произведения созвучны нашему времени. Перечитанная сегодня, «Песня о Гайавате» особенно близка своей страстной проповедью мира между людьми и между народами, своим призывом закопать в землю орудия войны, найти путь к взаимопониманию, ко всеобщему миру:

Погрузитесь в эту реку,
Смойте краски боевые...
Закопайте в землю луки,
Закурите Трубку Мира!..

В годы маккартизма при экранизации «Гайаваты» в Голливуде сцена «Трубка Мира» была запрещена — она слишком напоминала митинг борцов за мир... В наше время гуманная идея Лонгфелло гибнет на родине поэта до смешного прозаично, но сугубо по-американски: трубки мира в виде дешевых сувениров распродаются на «индейских» базарах рядом с неизменными мокасинами и раскрашенными томагавками...

Один из образованнейших людей своего времени, Лонгфелло с глубоким интересом относился к России, к культуре нашей страны. В его дневниках можно найти восторженные записи о произведениях Тургенева и Толстого, которые тоже знали и высоко ценили творчество американского поэта.

В начале 1877 года Лонгфелло дважды принял у себя дома двадцатилетнего гостя из России — будущего историка и журналиста Юрия Васильевича Арсеньева, который, как помогла установить родословная Арсеньевых, был родственником Михаила Юрьевича Лермонтова.

Американский поэт, по воспоминаниям Ю. Арсеньева, «приветливо выразил удовольствие по поводу знакомства с русским и возможности поговорить о России, которая всегда очень интересовала его». Беседуя с Арсеньевым, Лонгфелло сообщил, что в молодости начинал изучать русский язык, что один из его сыновей побывал в России и много рассказывал ему о ней, что сам он как раз в то время был занят подготовкой антологии англоязычных стихов о России (в следующем, 1878 году этот сборник вышел из печати). Стихи о России писал и сам Лонгфелло, используя при этом знакомые ему русские слова.

Свои воспоминания о Лонгфелло Арсеньев опубликовал в марте 1882 года — в те дни, когда русская печать с большой скорбью писала о смерти выдающегося поэта Америки, у которого, по словам Михаила Михайлова, переводчика «Стихов о рабстве», был «строгий голос твердого гражданского чувства».

А наш современник, замечательный советский поэт Владимир Луговской, в сво-

ем «Слове о Лонгфелло», написанном незадолго до смерти, отмечал: «У нас с американским народом много — больше, чем иногда думают по ту сторону океана,— общих привязанностей, и одна из них — Лонгфелло... Лонгфелло был, есть и будет всегда близким и любимым поэтом для нашего читателя».

И. ПОПОВ

«БЮЛЛЕТЕНЮ» — ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

Двадцать лет выходит в нашей стране информационный сборник «Современная художественная литература за рубежом». Недавно читатели получили его юбилейный, 150-й выпуск. Мы попросили ответственного редактора сборника Г. П. Злобина рассказать об этом издании.

— Георгий Павлович, вы являетесь ответственным редактором сборника с первого дня его существования?

— Да, это действительно так.

— Как возникло это издание?

— Любое начинание возникает, когда появляется общественная потребность в нем. Так вот, к началу 60-х годов в нашей стране утвердилась тенденция углубленно и всесторонне осмыслять мировой литературный процесс. Советская периодика, в первую очередь журнал «Иностранная литература», наши издательства начали широко знакомить читателей с произведениями современных зарубежных писателей. Возникла нужда в специальном оперативном издании, которое информировало бы о новинках зарубежной художественной прозы, поэзии, драматургии, публицистики, критики и литературоведения.

— Кому же принадлежала идея издания?

— Идею создания такого сборника высказала М. И. Рудомино, бывшая в ту пору директором Всесоюзной государственной библиотеки иностранной литературы. Она была замечательным энтузиастом своего дела, инициатором многих важных начинаний. Летом 1961 года в библиотеке была создана поначалу небольшая, всего из четырех человек, группа по подготовке «Бюллетеня» — так и по сей день критики-зарубежники называют между собой наш сборник.

— Сейчас тираж сборника почти 15 тысяч экземпляров, и печатается он в одном из крупнейших издательств страны. А поначалу?

— «Бюллетень» начинался скромной ротапринтной брошюрой тиражом 500 экземпляров. Он был рассчитан на людей, профессионально связанных с новейшей зарубежной книгой, и рассылался в редакции журналов, издательств, в центральные и университетские библиотеки, научные и культурные учреждения.

— Тираж и вид сборника изменились. А содержание?

— Разумеется! Ведь что происходит в литературном деле? Только время отсеивает шедевры от мякины популярного чтива. В повседневной же жизни существуют труднопроходимые толщи текстов, океан книг, иногда зачитываемых до дыр, иногда никем не раскрываемых. Специалисты-книговеды и культурологи утверждают, что в мире ежегодно сходит с печатных станков около пятидесяти тысяч новых художественных произведений. Как ориентироваться в этом безбрежье? Можно, конечно, принять всерьез шутливо-язвительный закон, сформулированный американским писателем-фантастом: девяносто процентов — совершеннейший хлам. Однако и в этом гипотетическом случае остается необходимость выявить оставшиеся десять процентов содержательной литературы.

— То есть сначала проделывается предварительный отбор книг для рецензирования?

— Да, отбор книг, которые характеризовали бы важнейшие стороны и направления литературного процесса в той или иной стране или регионе. Это есть и будет задачей первостепенной. Здесь невозможно обойтись без изучения издательских планов и вестников, текущей критики, национальной библиографии. В то же время ясно, что многие западные бестселлеры, книги, о которых говорят, часто являются скорее фактом социологии или даже экономики, нежели фактом художественной культуры.

— Значит ли это, что характер рецензии в вашем сборнике отличен от аналогичного жанра в других советских изданиях?

— С самого начала сотрудники «Бюллетеня» поставили себе целью выработать свой тип рецензии — короткой, страничек пять, емкой, максимально информативной, такой, где аналитическое изложение содержания сочетается с разбором эстетических качеств и непременной итоговой оценкой книги.

Думается, что редакции в целом удалось выработать такой тип рецензии — во всяком случае она стала основным способом информации, до пятидесяти рецензий в номере. Основным, но, конечно, не единственным. По мере накопления опыта появилась возможность публиковать более развернутые, до пол-листа, обзоры — жанровые, проблемно-тематические или просто обозрения книг одного писателя, из которых вырисовывается его творческий портрет.

— Как же складывается ваш обычный номер?

— У нас есть традиционные рубрики: драматургия и театр, критика и литературоведение, книги для детей и юношества, которые дополняют главную, ведущуюся из номера в номер рубрику — собственно прозу и поэзию. Нередко мы идем на смешанные подборки. Тогда под обозначением страны — а мы придерживаемся географического принципа в расположении материалов — читатель может найти и рецензии на новый роман, и сборник лирических стихотворений, и отклик на только что опубликованную пьесу.

— Какова география «Современной художественной литературы за рубежом»?

— Послевоенный размах национально-освободительных движений, появление на карте мира новых суверенных государств и соответствующие перемены в культурной ситуации потребовали от советской литературной науки окончательного разрыва с живучими традициями европоцентризма. Поэтому с первых же шагов издания было решено не ограничиваться развитыми литературами.

Количественно-статистические методы малопригодны для художественной жизни. И все же давайте откроем указатель за 1981 год. В шести номерах «юбилейного» года отрецензированы книги из 54 стран — от Австралии, Анголы и Афганистана до Ямайки и Японии. Конечно, географический охват по понятным причинам неравномерен. Медленно и несистематично поступают книги из некоторых стран Азии и Африки. Порою ощущается нехватка специалистов.

— Но ведь существует и повышенный читательский, а следовательно, и издательский интерес к литературе той или иной страны, того или иного региона или даже континента. Это обстоятельство вами учитывается?

— Читательский и издательский интерес отражает, как правило, объективный уровень литературы какой-либо страны или региона. Но ведь мы руководствуемся тем же принципом! Поэтому в поле зрения у нас постоянно находятся, скажем, литературы Латинской Америки — интерес к роману «вулканического континента» общеизвестен. Ну и, конечно, крупные западноевропейские литературы — английская, итальянская, французская. Но не только крупные. Скажем, полдюжины материалов о швейцарской литературе дают возможность хорошо почувствовать духовный климат европейской буржуазной страны.

Большое внимание уделяется у нас также литературе США. Конечно, три с половиной десятка «обчитанных» за год книг из обильного книжного рынка США — это капля в море. Но ведь и капля, умело взятая на пробу, передает вкус и цвет океана. Думается, что рецензии на произведения Джона Гарднера, Курта Воннегута, Джона Ирвинга, Трумэна Капоте, Мэри Маккарти, Антара Мбери, Патрика Смита, Стадса Тёркела, Теннесси Уильямса, Лоуренса Ферлингетти, Ирвина Шоу и многих других авторов в совокупности дают правильное представление о пестром противоречивом спектре сегодняшней американской прозы, поэзии, драмы, публицистики.

— Каким образом редакции удается обеспечить такой широкий географический и высокий количественный охват публикаций?

— Сама природа издания такова, что оно не может существовать без живого, заинтересованного участия большого отряда специалистов по литературам многих стран. Только в минувшем году в информационном сборнике выступило более 170 человек.

С теплотой и благодарностью вспоминаю, как помогали «Бюллетеню» советом и делом те, кого уже нет в живых,— Анна Аркадьевна Елистратова, Роман Михайлович Самарин, Борис Леонтьевич Сучков — крупнейшие наши специалисты. И вот что замечательно: наряду с такими знатоками мировой литературы с самого начала активно привлекалась к рецензированию молодежь, только-только пробующая свои силы в критике.

Кстати, сами сотрудники «Бюллетеня» тоже были начинающими специалистами, и надо было видеть, как дружно, споро, я бы сказал — весело шла работа, несмотря на жаркие дискуссии. Каждый номер становился общим маленьким праздником. Да, это была хорошая коллективная школа рецензионной критики! Редко кто из нынешнего среднего поколения «зарубежников» — наиболее, пожалуй, активного и пишущего — не прошел эту школу. И мы стараемся сохранить эти традиции взаимного доброжелательства, творческого духа и коллективизма.

— Прошло двадцать лет. Что нового появилось в статусе издания?

— Качественно новый этап в работе наступил в 1974 году, когда информационный сборник стал выходить в издательстве «Прогресс» (ныне «Радуга») и распространяться как через «Союзкнигу», то есть продаваться в магазинах, так и по подписке — внутри страны и за рубежом. Немалая роль в этом принадлежит нынешнему директору ВГБИЛ Л. А. Гвишиани-Косыгиной. Выходит он шесть раз в год, средний объем номера — 12 издательских листов. Ну а тираж — мы уже говорили об этом— вырос по сравнению с начальным в тридцать раз!.. «Бюллетень» превратился в полновесное критико-библиографическое издание, воспроизводящее результаты первого научного прочтения очень значительной части тех иностранных книг, которые поступают в СССР. В совокупности выпуски сборника можно рассматривать как аналитический справочник по художественной литературе современного мира.

Издано за рубежом

ДНЕВНИК ЗАКЛЮЧЕННОГО ИЗ КАМЕРЫ № 16

Ngũgĩ wa Thiong'o. Detained: a Writer's Prison Diary. London, Nairobi, Ibadan. Heinemann, 1981.

Нгуги ва Тхионго. Задержанный. Тюремный дневник писателя. 1981.

После выхода из тюрьмы хорошо известный у нас выдающийся кенийский писатель Нгуги ва Тхионго [1] поселился в родной деревне

[1] На русском языке выходил целый ряд его произведений и в том числе роман «Кровавые лепестки» (М., «Прогресс», 1981).

Камириитху, вблизи Лимуру, в сорока километрах от столицы — Найроби. Его попытки вернуться на преподавательскую работу в университет потерпели неудачу. Но он не пал духом. Из крестьян Камириитху и окрестных селений писатель создает самодеятельную театральную труппу, для которой пишет пьесу на родном языке крестьян-артистов, на языке кикуйю. Пьеса называется «Мама, спой мне».

Вероятно, противники писателя увидели вызов в том, что после освобождения он вновь начинает заниматься делом, которое послужило прямым поводом для его ареста. С их стороны следует новый удар. Постановка пьесы на сцене столичного Национального театра не получает разрешения. Полиция разрушает построенный крестьянами-артистами и их друзьями театр под открытым небом в Камириитху. Местный вождь требует, чтобы труппа была распущена.

Корреспондент лондонской «Таймс» в Найроби уточняет, что вызвало особое раздражение врагов Нгуги ва Тхионго. По его словам, некоторые критики писателя сочли его произведение «Мама, спой мне» подрывным на том основании, что автор, преувеличивая пресловутые унижения системы принудительного труда, существовавшей пятьдесят лет назад, а также изображая африканцев мучениками в их борьбе за свободу, «может вызвать ненависть между африканцами и белыми».

Были ли неожиданностью эти вздорные обвинения для самого писателя? Думается, что нет. Новые, выпавшие на его долю испытания были логическим продолжением событий, о которых он рассказывает в книге «Задержанный. Тюремный дневник писателя».

О чем же говорится в этом волнующем, страстном произведении? В писательском дневнике сосуществуют две линии повествования. Одна — это рассказ о перипетиях борьбы автора за возрождение народной культуры, об аресте, о тяготах заключения. Вторая — его размышления о национальной культуре, о ее судьбах в современной Кении.

Условия в тюрьме, где одиннадцать месяцев находился Нгуги ва Тхионго, были суровыми. Три недели из каждого месяца заключения он проводит в одиночной камере. Когда он обедает в тюремной столовой, рядом садится надсмотрщик, чтобы никто из заключенных не перемолвился с ним словом. Даже во время коротких прогулок писатель не имеет права разговаривать с другими арестантами.

Это одиночество удушающе действует на Нгуги ва Тхионго. Он пишет: «Писатель нуждается в человеческом общении. Ему необходимо участвовать в схватке активной жизни. Вопреки популярным мифам книга не продукт смелого воображения одной личности, но результат работы многих. Писатель берет на заметку то, что ему подсказывает жизнь, и облекает это в ту или иную форму. Что касается меня, то, работая над книгой, я люблю слышать голоса людей, пашущих землю, кующих металл на заводе, рассказывающих анекдоты в переполненных автобусах, вертящих бедрами в толкучке бара перед музыкальным ящиком или под игру настоящего оркестра людей, вовлеченных в игру любви и ненависти, страха и славы, людей, участвующих в борьбе за жизнь». И все же он переполнен творческими замыслами. Его мечта — написать новый роман, который бы рассказывал о борьбе кенийского народа против неоколониализма.

В конце концов даже в жестких условиях «тюрьмы максимальной безопасности» писатель находит друзей. От одних он узнает новые пословицы, загадки и песни кикуйю, от других — сведения из истории борьбы за независимость, от третьих — о деловой хватке и предприимчивости богатеев Найроби. Воображение и талант писателя получают все новую пищу.

Мысли Нгуги ва Тхионго постоянно возвращаются к делу, от которого он был оторван арестом. Он пишет, что шесть месяцев между июнем и ноябрем 1977 года были самыми волнующими в его жизни. «Я заново узнал родной язык, заново открыл творческую природу и могущество коллективного труда», — свидетельствуют тюремные записи. Чем же был занят писатель все эти месяцы?

Вместе с труппой, созданной крестьянами его родной деревни Камириитху, Нгуги ва Тхионго работает над постановкой своей пьесы «Нгаахика Ндеенда». Его восхищает творческий энтузиазм крестьян, рабочих, сельских интеллигентов, ставших актерами. Его радует, что они вносят дополнения и поправки в текст его пьесы, подсказывают режиссеру, как поставить тот или иной народный танец. Сам театр под открытым небом был смоделирован — сначала на спичках — жителями деревни, и ими же построены сцена, артистические уборные, склады для декораций.

Эта работа, вспоминает писатель, высвободила «поток талантов». У безработного юноши открылся прекрасный голос. Один рабочий пишет на родном кикуйю две пьесы. Хотя никто из самодеятельных артистов никогда раньше не поднимался на сцену, они играют так, что зрители «прирастают к сиденьям». Нгуги ва Тхионго ядовито высмеивает тех, кто утверждает, будто актерами были переодетые в крестьянское рванье студенты, а профессиональный оркестр был приглашен из столицы. «На самом деле, — с гордостью подчеркивает он, — все актеры и музыканты, мужчины, женщины и дети, были из деревни, и они отдали делу четыре месяца сознательного, дисциплинированного труда».

Писателя радует, что этот опыт находит широкий отклик: из многих районов Кении приезжают люди, горящие желанием повторить его у себя. Он еще не знает, что над труппой собираются тучи. Но 17 декабря 1977 года в деревню приходит распоряжение комиссара дистрикта Киямбу. Он запрещает постановку пьесы Нгуги ва Тхионго. А через месяц, 15 января, писателя арестовывают.

Вспоминая в тюрьме эти месяцы работы с крестьянами, Нгуги ва Тхионго приходит к важным выводам. Он понимает, кто может создать, развивая старые традиции, новую, современную национальную куль-

туру. Ему ясно, что в народе — в простых, чаще всего неграмотных крестьянах и рабочих — заключен огромный созидательный потенциал. Но писатель отчетливо видит и силы, противящиеся культурному обновлению страны. Это — группы «компрадорской буржуазии», связавшие свою судьбу с интересами иностранного капитала.

Он пишет в дневнике, что в глазах этих клик «испачканные землей крестьяне не имеют права на театр, который бы верно отображал их жизнь, страхи, надежды, мечты и историческую борьбу, они не имеют права на участие в творчестве даже в собственной деревне. Отныне (то есть после запрещения труппы. — **В. И.**) единственной узаконенной альтернативой оставались принадлежащие иностранцам винные заводы с массовой продукцией одурманивающих напитков и иностранная проимпериалистическая церковь с ее извечным призывом к покорной вере и слепому послушанию».

Конечно, и до заключения писатель много размышлял о судьбах народной культуры. Свидетельство тому — все его творчество. Но в тюрьме он с особой остротой осознает опасность насаждаемого определенными кругами неоколониалистского суррогата культуры. Красноречив один эпизод. В камеру к писателю приходит тюремный священник, напяливший поверх черной рясы мундир надсмотрщика. Он говорит заключенному: «Иногда бог наказывает нас для нашего собственного блага... Например, Мау-Мау... Мау-Мау было божьим наказанием, ниспосланным на кенийцев, чтобы преподать им хороший урок... Плоды этого урока — хорошо заученного!— это устойчивость, в которой мы живем и которой завидуют наши соседи».

«Я с трудом верил своим ушам, — рассказывает писатель. — Движение Мау-Мау, самая славная глава в нашей долгой истории борьбы, для этого человека, надевшего мундир тюремного офицера поверх рясы священника, было всего лишь огромным шамбоком, или плетью, которой бог отхлестал кенийцев, чтобы они почтительно смирились с его волей».

Гневная реакция Нгуги ва Тхионго понятна. Участники мощного антиколониального восстания вписали героические страницы в биографию Кении последних десятилетий. Размышляя о том, почему перечеркиваются и переписываются эти страницы, писатель приходит к горькому выводу. Неоколониалистский культурный суррогат не случайно поддерживается мощными пропагандистскими и иными средствами. Дело в том, что эта псевдокультура неоколониализма является прямой преемницей псевдокультуры белых поселенцев в той же мере, в какой в политическом плане связаны с иностранным капиталом группы африканской буржуазии — преемники бывших колониальных хозяев Кении.

В привычной для него острой и бескомпромиссной манере Нгуги ва Тхионго создает в дневнике коллективный портрет тех, кто претендует на роль духовных лидеров народа. Он замечает: «В самой своей сущности это класс хорошо оплаченных надсмотрщиков, призванных следить, чтобы не ущемлялись иностранные экономические интересы. Из-за рубежа он черпает вдохновение и получает руководство к действию. Эта экономическая и политическая зависимость ясно различима в его подражательной культуре — отростке Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Лондона».

Нгуги ва Тхионго стремится понять, почему некоторые из зачинателей и вождей антиколониального движения с ходом времени перешли в противоположный лагерь. В дневнике он вспоминает о Гарри Туку, основателе и лидере первой в Кении антиколониалистской организации — Восточноафриканской ассоциации. Долгое время Туку решительно выступал за сплочение трудящихся вне зависимости от их этнической или расовой принадлежности на платформе борьбы за независимую Кению. Когда 14 марта 1922 года его арестовывают, улицы Найроби становятся ареной массовых демонстраций протеста. Но девять лет заключения сломили характер Гарри Туку, и он, выйдя на свободу, отрекается от прежних убеждений.

Тем, кто поддается давлению враждебных народу сил, писатель противопоставляет образы истинных патриотов. С большой любовью рассказывает он в дневнике об индийце по происхождению Махане Сингхе, который вырос в крупного политического руководителя в профсоюзном движении. 23 апреля 1950 года на заседании Конгресса профсоюзов в Найроби он выдвигает проект резолюции с требованием полной независимости для стран Восточной Африки, и этот проект был принят. Обращаясь к многочисленной в Кении группе индийских трудящихся, Махан Сингх писал: «Важнейшая задача перед нами — выковать прочное единство среди нас, а также единство между нами и африканцами в общем деле демократического прогресса в этой стране». Одиннадцать с лишним лет проводит Махан Сингх в заключении, но выходит на свободу несломленным. В характере этого замечательного человека автору дневника дороги не только бесконечные мужество, самоотверженность и верность своим убеждениям, а, пожалуй, не меньше — умение преодолеть собственную национальную ограниченность, способность уважать народ иной культуры, иных традиций. Нгуги ва Тхионго прекрасно понимает, как важен интернационализм в Кении с ее смешением глубоко различных по языку и культуре этнических и национальных групп.

Противники писателя нередко обвиняют его в том, что он противопоставляет культуру своего родного народа — кикуйю—культуре других национальностей страны. Дневник доказывает, насколько беспочвенны эти нападки. По мнению его автора, культура Кении «должна отражать всю национальную ситуацию, уходящую корнями в конкретный опыт различных составляющих кенийскую нацию народностей». «Современная кенийская культура, — продолжает он, — будет тогда симфонией, гармонично исполняемой ги-

гантским оркестром из всех национальных общин Кении».

В служении народу видит писатель источник силы литературы и театра. Такое искусство, настойчиво повторяет он давнюю мысль, неизбежно будет патриотическим и глубоко враждебным иностранному господству в любой области народной жизни и сознания.

Тюремный дневник Нгуги ва Тхионго — это свидетельство верности писателя-патриота своим убеждениям. Более того, это свидетельство дальнейшего его возмужания. И не случайно сразу же после освобождения он возвращается к делу, от которого был оторван арестом, — к крестьянскому театру. Уверенный в справедливости своей жизненной позиции, он продолжает борьбу.

В. ИОРДАНСКИЙ

ИТОГ ИЛИ НАЧАЛО

José Donoso. El jardin de al lado. S. A. Barcelona — Caracas — México, Editorial Seix Barral, 1981.

Хосе Доносо. Соседний сад. 1981.

Несколько лет назад в одном из интервью известный чилийский писатель Хосе Доносо, долгое время живший в эмиграции в Испании, говорил: «Меня глубоко волнует тема изгнания. Мне хочется написать роман или несколько рассказов о тех, кто живет в этой стране». Слова эти прозвучали в беседе с сотрудниками популярного тогда мадридского еженедельника «Куадернос пара эль диалого». По всей видимости, за ними стояло уже сложившееся намерение, потому что через четыре с половиной года — а именно этот срок, если судить по датам публикаций, обычно требуется Доносо для работы над новой книгой — писатель выпустил роман «Соседний сад».

Эта книга о чилийцах, живущих вдали от родины, оставляет чувство горечи за искалеченные судьбы, поломанные человеческие отношения, разбитые и рассеянные по всему свету семьи. У книги два эпиграфа. Один: «История,— сказал Стивен,— это кошмар, от которого я пытаюсь пробудиться»,— взят из «Портрета художника в юности» Джеймса Джойса. Другим стало исполненное грусти стихотворение греческого поэта Константино Кавафиса, суть которого — в утверждении невозможности расстаться с родной землей, городом, где вырос, знакомыми улицами — человек всегда носит их в себе

В прошлом преподаватель университета в Сантьяго, сын известного либеральными взглядами сенатора, Хулио после военного переворота с женой и сыном покидает Чили и обосновывается в Испании, в Ситжес, небольшом курортном местечке под Барселоной. Супруги живут случайными заработками (сын уехал в Марокко), пока Хулио пишет роман, в котором рассказывает о шести днях, проведенных в пиночетовском застенке, куда он, несмотря на принадлежность к аристократическому семейству, попал за свои либеральные убеждения и за то, что в его доме несколько дней скрывался родственник-социалист. Книга задумана как обвинение всему режиму, как попытка превозмочь «кошмар истории». Написать ее Хулио считает своим нравственным долгом, хотя прекрасно понимает, что выход книги в свет сделает для него невозможным возвращение на родину. Пока у него есть выбор: официально Хулио не считается политэмигрантом. В своем первоначальном варианте роман отвергнут влиятельным литературным агентом Нурией Монклус. Мы застаем героя в тот момент, когда он берется за доработку книги, для чего приезжает с женой в пустующую летом квартиру Панчо Салватьерра, друга юности, теперь преуспевающего художника, давно живущего в Европе.

В романе «Соседний сад» очень мало действия (исключение составляют две последние главы). Но читается книга напряженно, что достигается за счет сгущенного драматизма, исповедальной искренности повествования. Судьба Хулио Мендеса напоминает судьбу самого Доносо, и автобиографический элемент в книге, конечно, очень ощутим. Интересно, например, что некоторые мысли героя романа «Соседний сад» о задачах искусства и предназначении писателя дословно совпадают с высказываниями Доносо в различных интервью. Мысль автора и его героя мучительно вертится вокруг острых нравственных проблем. Сознание своего гражданского долга и стремление к писательскому самоутверждению — именно в Испании, которая остается книгоиздательским центром испаноязычного мира, хочет Хулио опубликовать книгу — противостоят мысли о невозможности возвращения в Чили, если книга будет издана. Раздумья о том, каким быть роману и быть ли ему вообще, перерастают в раздумья об общественной позиции художника.

Хулио не относится к числу людей, активно противостоящих режиму и готовых пожертвовать всем в борьбе за его свержение. Неприятие военных, захвативших власть на его родине, у него скорее нравственное: он видит, что справедливость попрана и все его существо восстает против этого. Хосе Доносо не показывает в своем романе бойцов чилийского сопротивления — это в данном случае не входит в задачу художника. Он хочет показать ту часть чилийской эмиграции — в численном отношении весьма существенную,— которая, не поднимаясь до активного сопротивления, всей душой ненавидит фашизм; хочет показать внутренние искания и сомнения этих людей; показать, сколько мужества им порой требуется, чтобы не сломаться внутренне, сохранить достоинство.

Эмоциональная атмосфера романа «Соседний сад» тяжела и мучительна. Доносо показывает трагическую судьбу латиноамериканских эмигрантов в Европе, которых даже в Испании, несмотря на языко-

вую общность, не покидает чувство неприкаянности и тоска по родине; показывает трагедию молодого поколения, выросшего вдали от родины, национальных обычаев и традиций. «Бедность, а иногда и просто нищета, одиночество, время, стирающее воспоминания,— они отдаляются и становятся зыбкими... все это могло свести с ума любого». Доносо показывает, что, какие бы глубоко личные причины ни привели человека в эмиграцию и как бы внешне благополучно ни сложилась его судьба, все равно вдали от родины он не может быть счастливым. Даже Панчо Салватьерра, выставки которого с успехом проходят в крупнейших столицах мира, нет-нет да и давит тоска, и он будит своих друзей среди ночи телефонным звонком. На общий для всех эмоциональный и психологический фон накладываются индивидуальные человеческие характеры, переплетение судеб, и в каждой — что-то свое. Так, у Глории — страдание от зашедших в тупик отношений с Хулио, тоска по сыну, ощущение своей ненужности, бессонница, все то, что толкает ее в конце концов на попытку самоубийства. Для Хулио — постоянное нервное напряжение, сомнение в своем призвании, острая ностальгия, никогда не покидающие его воспоминания о родном доме, «свой город ты всегда будешь носить в себе».

Но Хулио вспоминает даже не столько дом, сколько окружающий его сад. Тема сада — одна из самых важных в книге, недаром она вынесена в заглавие. Это развернутая метафора, проходящая через весь роман и соединяющая воедино многие мотивы. Соседний сад — это и символ родного дома, детства; но в то же время и символ недостижимого счастья, мечта о прекрасном, которой не дано осуществиться. Впервые эта тема возникает, когда Хулио из окна квартиры Панчо наблюдает за обитателями соседнего особняка, жизнь которых знойным и душным мадридским летом в значительной степени протекает в саду. Жизнь этих людей представляется Хулио прекрасной сказкой, замкнутым миром, «где говорят на непонятном языке, где иные ценности и где светят другие звезды». Мир этот манит и притягивает героя своей недоступностью. Очень скоро журчание воды, наполняющей бассейн, вызывает у него воспоминания о детстве, прошедшем в таком же саду, который для Хулио все: корни, история, легенды, метафора, место, где сердце находит• приют. Многими невидимыми нитями связан Хулио с родиной, но самая прочная из них — сад, ведь, как говорит герой, «человек не возвращается ради страны, нации, идеи, народа; человек, во всяком случае такой человек, как я, возвращается в небольшое и ограниченное пространство, где душа его чувствует себя в безопасности». Поэтому Хулио так отчаянно сопротивляется по-житейски вполне понятному и разумному желанию брата продать пустующий после смерти матери дом и сад.

Преследующее Хулио ощущение ненужности, чуждости своей всему, что его окружает, порождает у него желание понять себя, определить свое место и предназначение в жизни. Это тоже один из сильных импульсов, побуждающих его работать над книгой. Особенно навязчивыми становятся подобные мысли, когда уже в конце романа Хулио с Глорией попадают в Танжер. Здесь, на ярком восточном базаре, в мире, где поклоняются иным богам и живут по иным законам, Хулио вдруг задумывается об относительности казавшихся ему ранее устойчивыми ценностей: «Что значит здесь, в этом мире, Нурия Монклус? А те, кто исковеркал судьбу нашей страны, что значат они? Да они попросту не существуют в этом мире, и нет нужды бороться против них». Ошарашенный этой мыслью, Хулио поддается искусу затеряться в одной из узких улочек и начать новую жизнь, уйдя от прошлого, от неотвязных воспоминаний и мучительных внутренних поисков. Но сделав такую попытку, он скоро возвращается, поняв утопичность подобных планов,— «свой город ты всегда будешь носить в себе». Причем найти ему дорогу обратно в отель помогает случайно встреченный друг его сына. Развязный, ни во что не верящий юноша, неоднократно заявлявший о полном безразличии к своей родине, кочующий по свету, возвращает Хулио обратно, в его жизнь. Думается, что это не случайная прихоть автора.

Концовка романа «Соседний сад» может быть понята по-разному. В последней главе повествование ведется уже не от лица Хулио, а от лица Глории, рассказывающей спустя год, как развивались события по их возвращении в Испанию. Они приехали в Ситжес, где решили остаться. Хулио отказался от мысли написать роман и смирился с приговором Нурии Монклус. Ему удалось найти работу, и теперь он преподает литературу. Стилистически глава эта резко отличается от всей книги: вместо взвинченно-нервного и тревожного тона Хулио — спокойно-рассудительный, уверенный тон Глории. И совершенно неясным остается, что же это — недостающая последняя глава, которой Нурия Монклус просила Хулио дополнить его роман, или же мы должны отнестись к этому как к своего рода «послесловию» Глории, которая, если верить ее словам, решила сама стать писательницей и выпустила имевшую большой успех книгу? Доносо предоставляет решать этот вопрос читателю. Это не так просто, как может показаться. Роман написан с таким мастерством и изяществом, всегда отличавшими Доносо-романиста, что логика развития характера героя и вся событийная канва вполне допускают оба решения. Недаром испанская критика, много добрых слов посвятившая этому роману, предлагает оба варианта, в зависимости от точки зрения автора рецензии. Конечно, после внутреннего кризиса, пережитого в Танжере, Хулио не мог не измениться. Но каким он станет — отречется ли от своего призвания и нравственного долга, даст ли повседневной рутине засосать себя, или он станет сильнее и увереннее; чем окажется этот кризис для Хулио: итогом или началом — этого Хосе Доносо нам не говорит. Последнее, решающее слово он предоставляет читателю.

Н. МАТЯШ

Из месяца в месяц

БОЛГАРИЯ

НОВЫЙ РОМАН ДИКО ФУЧЕДЖИЕВА

Семнадцать лет назад «Иностранная литература» открыла для советского читателя молодого тогда прозаика Дико Фучеджиева, опубликовав его повесть «Небо над Велекой» (1965, № 6). Сегодня Д. Фучеджиев — один из известных романистов Болгарии, автор таких книг, как «Река» и «Зеленая трава пустыни».

Лучшим произведением прошлого года называет болгарская критика его новый роман «Холодное отдаление». В нем писатель верен основным идеям и темам своего творчества, любви к родному краю, описанному в первой повести.

Действие романа происходит на берегу той же реки Велеки, наряду с главным героем — старым пастухом Браяновцем, одиноко доживающим свой век в горах,— вновь появляются персонажи, встречавшиеся в других книгах Фучеджиева: лесничий Велко, коммунист Слав Грашев, с которым Браяновец ведет задушевные беседы. Писатель описывает не только происходящее сегодня, но и воскрешает в воспоминаниях Браяновца события разных лет, которые, несмотря на желание главного героя остаться в стороне, не могли не коснуться его. Это и антифашистское восстание 1923 года, и приход новой, народной власти в сентябре 1944 года, и преобразования, происходящие в болгарском селе.

Роман «Холодное отдаление», пишет журнал «Септември», является доказательством творческой зрелости Дико Фучеджиева. Это роман-раздумье об уходящем времени и уходящем человеке, который искал уединения, напрасно считая, что может жить в изоляции в соответствии со своими представлениями о жизни. Однако невольно, подчиняясь непонятной внутренней силе, он откликается на перемены в ней и неосознанно следует, хотя и отдаленной «тенью», за людьми, которые, подобно Славу Грашеву, являются носителями новой истины.

Национальный театр имени Ивана Вазова поставил спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Нечаянный гость». Режиссер спектакля — заслуженный артист Леон Даниел. Удаче спектакля способствовала игра замечательных народных артистов Славки Славовой и Любомира Кабакчиева (на фото).

(Журнал «Театр»)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ЗНАНИЕ ИЛИ ВЛАСТЬ?

Две тысячи пятьсот девяносто два земных года длится год на планете Геликония. За это время империи возникают и рушатся, им на смену приходят другие. Жители ее — герои нового научно-фантастического романа Брайена Олдиса «Весна Геликонии» — дети солнца или вечной ночи, в зависимости от того, в какой сезон они родились. «Весна»— первая часть трилогии Олдиса; он работал над ней четыре года.

Рецензент еженедельника «Таймс литерари саплмент» Колин Гринлэнд отмечает, что поначалу Олдис задумал свою книгу как энциклопедию-мистификацию — с научными статьями ученых всех областей — от астрономов до зоологов, посвященными этой вымышленной планете. Но, учитывая законы книжного рынка, Олдис вместо задуманной энциклопедии написал фантастическую эпопею. На планете Геликония есть коммуна Эмбрудок — аналог современного западного государства со всеми его пороками. борьбой за власть, коррупцией и демагогией.

Брайен Олдис принадлежит к числу писателей-фан-

тастов всемирной известности. Его новое произведение отличает глубокое понимание проблем современности. Один из его героев говорит: «Власть, основанная на знании,— залог успеха», но одновременно предупреждает, что превращение науки и научных открытий в предмет торговли в политических целях — губительно.

Гринлэнд напоминает, что главное достоинство Олдиса не его талант, не энциклопедические знания, не его неисчерпаемая энергия и дар воображения, а «неиссякаемая любовь к человеку...».

ВЕНГРИЯ

«ГОРЕЧЬ СЕНТЯБРЯ»

В издательстве «Сепиродалми» вышел сборник избранных рассказов Лайоша Мештерхази «Горечь сентября». Это очередной том Полного собрания сочинений писателя, выпуск которого начался еще при его жизни.

В настоящий сборник вошли произведения разных лет, в том числе и несколько ранних, которые публиковались в сборниках, и те, что публикуются впервые.

«Читатель любит произведения Мештерхази прежде всего за то, что они для него всегда нравственный, этический ориентир, они помогают в разрешении сомнений, в выходе из тупика, в преодолении кризисных состояний»,— пишет на страницах журнала «Критика» Миклош Пакович.

«Внимание Мештерхази неослабно было приковано к самым значительным явлениям общественной жизни. Вопросы, связанные с этой жизнью, он и выносил на суд читателей, которые вместе с героями его произведений участвуют в поиске истины»,— отмечает критик.

В настоящем сборнике критик особо выделяет рассказы: «Преступление Лайоша Мадара», в котором разоблачается сущность тоталитарного фашистского режима в хортистской Венгрии во времена второй мировой войны; «День убийства», воссоздающий атмосферу процесса над секретарями ЦК Коммунистической партии Венгрии Имре Шаллаи и Шандором Фюрштом, вызвавшим волну возмущения не только в Венгрии, а и во многих странах Европы; «Тюбингенский протокол», события которого происходят летом 1936 года в фашистской Германии.

Творчество Мештерхази всегда питала окружающая его действительность, поэтому каждый исторический отрезок времени нашел отражение в его произведениях. В рассказах «Счастье», «Истины» сложность общественной ситуации 50-х годов показана через судьбы героев, которые должны были пройти испытания на прочность своих чувств, своей веры друг в друга.

В последующие годы творчество Мештерхази характеризуется особой сосредоточенностью писателя на личности человека, его внутреннем мире. Мештерхази интересуют мотивы человеческих поступков, об этом рассказы «Тост», «Эндокринойа», повесть «Семейство Зебегеньи».

Критик Кальман Палмаи на страницах газеты «Непсабадшаг» отмечает непримиримость Мештерхази ко всему, что мешало утверждению социалистических принципов в жизни Венгрии, он пишет, что «Лайош Мештерхази всегда выступал против явной или скрытой опасности обуржуазивания, против философии «общества потребления».

Оба критика единодушно подчеркивают, что Лайош Мештерхази счастливо сочетал в себе страстного публициста, проникновенного лирика и яркого художника слова. Настоящий сборник — еще одно этому свидетельство.

ГДР

НОВЫЙ РОМАН ГЕДДЫ ЦИННЕР

Издательство «Дер морген» выпустило новый роман старейшей писательницы Германской Демократической Республики Гедды Циннер (о Гедде Циннер см. «ИЛ», 1979, № 5; 1980, № 9; 1981, № 6).

Как отмечает рецензент газеты «Нойес Дойчланд», в новом романе писательница продолжает развивать проблемы, которыми она занималась в последние годы. Это семья и взаимоотношения в семье, женское равноправие, ответственность перед молодым поколением.

Героиня романа Герлинда Гренцер — редактор издательства, ей около 50 лет. На первый взгляд у нее все благополучно: прочное социальное положение, хорошая профессия, семья, друзья... Но она внезапно ощущает, что жизненная гармония нарушена, ее преследует страх перед надвигающейся старостью. Герлинда

«Лейпцигер театер» показал пьесу Кристофа Хамма «Гатт» по роману Эрика Нойча «В поисках Гатта» (см. «ИЛ», 1974, № 2; 1976, № 6).
На снимке: Дитер Бельман в роли Гатта и Ганс-Иоахим Хегевальд в роли Майсгута.

(Журнал «Театер дер цайт»)

расходится с мужем, пытается создать новую семью, однако не обретает ни счастья, ни покоя. С тяжелым нервным расстройством она попадает в клинику. Постепенно Герлинда приходит в себя и решает писать роман о женщине, пережившей психологическую драму...

Гедда Циннер рассказала в романе не только о судьбе Герлинды Гренцер. Она показала целый ряд интересных людей: это и муж Герлинды, и ее дочь, и подруги, одна из которых играет не очень благовидную роль в судьбе Герлинды, и директор издательства Карл Кантор, разглядевший незаурядный литературный талант Герлинды и помогающий ей в ее начинании...

«Книги Гедды Циннер всегда вызывают живой интерес у читателей,— пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд».— Роман «Решение» затронул интересные и сложные вопросы нашей действительности. Он безусловно найдет широкую читательскую аудиторию и послужит темой оживленных дискуссий».

ГРЕЦИЯ

ТОВАРИЩ ЭЛЛИ АЛЕКСИУ

В афинском театре «Руаял» состоялся организованный ЦК КПГ юбилейный вечер старейшей писательницы Элли Алексиу. Э. Алексиу хорошо известна в Греции не только как замечательный писатель, но и как педагог, журналист, литературный критик, переводчик (переводила, в частности, на греческий язык поэзию Т. Шевченко). Еще в молодые годы вступила в ряды Компартии Греции, принимала активное участие в антифашистском Сопротивлении, за что подвергалась гонениям со стороны реакции. С 1949 года по 1962-й писательница жила в эмиграции, в Венгрии и Румынии, где работала в школах для детей греков-политэмигрантов. Не случайно одно из центральных мест в ее творчестве занимает детская тема.

Первый рассказ Э. Алексиу «Франзескос», посвященный детям бедняков, был опубликован шестьдесят лет назад. Перу Э. Алексиу принадлежит более двадцати романов, повестей, сборников рассказов. Драматические судьбы борцов Сопротивления описаны в романах «Протоки» (1955), «С лирой» (1959), «И так далее» (1964). Роман «Главная линия» (1972), сборники рассказов «Путешествия и перемены» (1962), «И за здравие» (1972), а также произведения последних лет проникнуты высоким гражданским пафосом, духом неприятия зла и фашистской тирании.

На снимке: портрет Элли Алексиу в молодости кисти выдающегося художника Янниса Царухиса.

(Из альбома, посвященного Элли Алексиу).

От имени ЦК КПГ писательницу приветствовал Григорис Фаракос, член Политбюро ЦК, главный редактор газеты греческих коммунистов «Ризоспастис». «Элли Алексиу,— сказал он,— всегда шагала в ногу с нашим бурным временем. Ей выпало большое счастье увидеть всемирно-историческое зарево Великой Октябрьской социалистической революции, которая радикально преобразовала жизнь, саму историю. У писательницы завидная судьба еще и потому, что она была не только свидетелем, но и создателем истории нашей партии. Все это оказало глубокое воздействие на мировоззрение Э. Алексиу, создало прочный фундамент ее литературного творчества, педагогической деятельности, политической борьбы».

«В партию меня никто не агитировал, я сама попросилась,— сказала в ответ на многочисленные приветствия Элли Алексиу.— Ведь ее идеология, ее цели оказались созвучными той жгучей ненависти к эксплуататорам, той человеческой боли, которые годами накапливались в моей душе, а потом вдруг спонтанно полились на бумагу. Болью и состраданием к человеку пишутся книги. Первейший долг писателя — быть с людьми в их радостях и горестях, хранить им верность при любых обстоятельствах. Я всегда стремилась делать это, но тем не менее считаю себя должником простых тружеников, должником партии, должником перед своей работой».

ИНДИЯ

НОВЫЙ ЛАУРЕАТ

Как сообщает пресса, Амрита Притам, выдающаяся поэтесса, удостоена премии крупнейшего издательства «Гьянпитх», которая присуждается за лучшее произведение года, созданное на одном из 15 конституционно признанных языков Индии. По своей престижности премия «Гьянпитх» расценивается как «индийская Нобелевская». Премия присуждена поэтессе за сборник ее стихов «Бумага и парус».

Хотя впервые Амрита Притам выступила как поэтесса в 1935 году, расцвет ее творчества приходится на конец 40-х годов — сложнейший период новейшей истории Индии. Прекрасно зная литературную традицию своего народа, поэтесса щедро использует в своем творчестве формы и средства художественной выразительности, свойственные фольклору. Многие ее стихи стали в подлинном смысле народными песнями. Однако традиция не сковывает поэтессу: проникнутая глубоко гуманистическими идеалами, ее поэзия очень современна.

Поэзия занимает центральное место в творчестве А. Притам, но она известна

также и как прозаик — автор многочисленных рассказов, ряда повестей и романов, нескольких литературоведческих работ и книг мемуарного характера.

ИНДОНЕЗИЯ

«МАСТОДОНТЫ И КОНДОР»

Премьера этой пьесы состоялась 24 ноября 1973 г. в Джокьякарте, одном из исторических центров Явы и революционной столице Индонезии в период борьбы за независимость. Около трех тысяч зрителей собрались в гимнастическом зале «Кридасана», чтобы увидеть постановку новой пьесы крупнейшего индонезийского поэта и драматурга Рендры. Пьесу удалось показать только один раз по особому разрешению генерала Сумитро, шефа Копкамтиба (Оперативного управления по безопасности и порядку), «пошедшего навстречу» студентам Джокьякартского университета. Тем не менее вскоре после представления Рендра очутился под арестом, а после его освобождения руководимой им «Театральной мастерской» было запрещено выступать. Невозможным оказалось и издание на родине как «Мастодонтов», так и других пьес Рендры. И только в прошлом году пьеса впервые была опубликована в Индии издательством «Райтерс уоркшоп бук» в английском переводе известного индонезиста Г. Эйвелинга (Свами Ананда Харидаса). Действие этой пьесы-притчи перенесено в одну из стран Южной Америки, ее главный герой — молодой поэт Хосе Кароста, воплощение народной совести, который неприемлем ни для диктатора страны полковника Карлоса, ни для свергающих диктатора левых экстремистов.

«В противоположность предыдущему десятилетию индонезийская литература 70-х годов почти совершенно не затрагивает вопросов общественной и политической жизни, тогда как произведения Рендры постоянно связаны с этими проблемами, чем и привлекают к себе несравненно большее внимание, нежели другие современные явления индонезийской культуры... В своих произведениях Рендра все дальше уходит от религиозной философии страдания, обращаясь к всеобъемлющему анализу человеческой природы, государственных институтов, методов общественного переустройства и роли художника, интеллигента в обществе»,— пишет Г. Эйвелинг в предисловии к своему переводу.

ИТАЛИЯ

ДОН КИХОТ КОНЦА 60-х ГОДОВ

Таких людей, как Инноченцо Клементи, герой романа Витторио Сальтини «В королевской мантии своей», называют «не от мира сего». Буквально начиненный цитатами из классиков самых разных времен и народов (от греков до китайцев), он живет в мире словесности, которую преподает в провинциальном лицее города Лукка.

Интеллигентный, немного смешной, чистый, как ребенок (имя Инноченцо в переводе значит — невинный, непорочный), он не приспособлен к современной, полной несправедливости жизни. Дон Кихотом называет его рецензент еженедельника «Эспрессо». О столкновении героя с жестокой действительностью — и отнюдь не в образе ветряных мельниц — рассказывается в книге Сальтини. А герой этот, при кажущейся кротости, подобно Дон Кихоту, безрассудно отважен. В предыстории его жизни рассказывается, как он в годы фашизма совершил героический поступок.

В прошлом году Витторио Сальтини выступил со своим первым романом «Первая книга Ли По»—экзотическим, насыщенным приключениями повествованием о средневековом Китае. Роман имел большой успех. Теперь автор обратился к событиям 60-х годов XX века в Италии.

Роман вызвал живой интерес у читателей и критиков. Рецензент еженедельника «Эспрессо» характеризует его как изящный и убедительный, а образ главного героя, раскрытый с такой «пластической и психологической достоверностью»,— как «одно из самых поэтических открытий» современной итальянской прозы.

КИПР

В ИНТЕРЕСАХ СБЛИЖЕНИЯ НАРОДОВ

Показом фильма «Лазал» турецкого режиссера А. Озкентюрка на Кипре завершилась кинонеделя дружбы, в которой приняли участие кинематографисты Кипра, Греции и Турции. Неделю подготовил и провел киноклуб г. Никозии при содействии Всегреческого Союза кинокритиков. Отличительной особенностью кинонедели явилось официальное участие в ней министерства культуры Греции. Заведующий отделом кино министерства Я. Мордзос огласил на церемонии открытия недели приветствие министра культуры Греции, известной актрисы Мелины Меркури. В нем, в частности, говорится: «На протяжении веков наши народы пережили немало жестоких столкновений. Но пролитые реки крови должны не разделять нас, а объединять. Ведь очевидно, что без мира и сотрудничества ни Греция, ни Турция, ни Кипр не смогут жить счастливо. И народы наших стран знают, что им делить нечего, и хотят жить мирно и дружно, как братья. Выражаю уверенность в том, что кинонеделя дружбы, организованная киноклубом г. Никозии, явится заметным вкладом в борьбу сил мира и прогресса...»

Находящийся в эмиграции известный турецкий актер и режиссер Йылмаз Гюней в послании участникам кинонедели отметил: «Мир между нашими народами можно обеспечить только путем ликвидации социальных корней национальной вражды».

Приветствия министерства просвещения Кипра, ряда политических партий

Фильм Йылмаза Гюнея «Дорога», удостоенный Золотой пальмовой ветви на 35-м Каннском фестивале, повествует о судьбе пяти заключенных, отбывающих каторгу на острове в Мраморном море. «Эта картина,— как отмечает французский критик С. Лашиз,— многоголосый крик возмущения нетерпимым отношением к человеку где бы то ни было и, в частности, в Турции».
На снимке: кадр из фильма.

(Газета «Юманите»)

страны были проникнуты искренним стремлением к взаимопониманию, сближению народов трех стран, к развитию плодотворного сотрудничества.

В рамках кинонедели дружбы в кипрской столице, а также во многих городах и селениях острова состоялся широкий показ фильмов стран-участниц. Были организованы встречи с известными актерами, режиссерами, кинокритиками, были прочитаны лекции по истории кинематографа трех стран, состоялись дискуссии о путях развития современного киноискусства.

сик национальной литературы. В фильме использованы немногочисленные кинокадры, а также фотографии, рисунки, относящиеся в основном к последнему периоду жизни Вальехо. Картина стала результатом совместной работы перуанских и венесуэльских документалистов. Она будет показана и в других латиноамериканских странах.

На снимке: портрет Сесара Вальехо работы Пабло Пикассо.

(Журнал «Боэмия»)

ПЕРУ

ФИЛЬМ О СЕСАРЕ ВАЛЬЕХО

Перуанское телевидение сняло документально-публицистический фильм, посвященный выдающемуся поэту Перу Сесару Вальехо. Основные съемки картины происходили в Трухильо, в пятистах семидесяти пяти километрах к северу от перуанской столицы, где в местечке Сантьяго-де-Чуко 90 лет назад родился клас-

ПОЛЬША

ПОСЛЕДНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЯРОСЛАВА ИВАШКЕВИЧА

В издательстве «Чительник» вышел сборник последних произведений Ярослава Ивашкевича. В нем собраны рассказы, эссе, очерки.

«Читая эту книгу, особенно сейчас, когда знаешь, что она замыкает творчество самого значительного представителя нашей литературы, что она последняя,— пишет рецензент «Трибуны люду», — открываешь в ней все новые и новые глубины и новые грани и вновь с особой силой чувствуешь, кого мы потеряли, когда прервалась работа замечательного писателя над последним, незаконченным очерком».

ПАМЯТНИК СТАРОМУ ДОКТОРУ

Память о Старом Докторе, как называют выдающегося педагога и писателя Януша Корчака, высоко чтут в Польше.

Недавно в Зеленой Гуре воздвигнут памятник, где Корчак представлен в окружении детей. Рядом с памятником установлены каменные таблицы, на которых выбит текст из книг Старого Доктора. Сюда приходят дети, чтобы принести цветы автору «Короля Матиуша I» и других прекрасных книжек, написанных для них.

СИНГАПУР

ИНТЕРВЬЮ СУРАТМАНА МАРКАСАНА

Малайский язык официально является государственным языком Сингапура, однако малайцы составляют лишь около 15% населения этого многонационального государства.

В интервью, данном корреспонденту малайзийского журнала «Деван састра», Суратман Маркасан, председатель местной организации малайскоязычных писателей АСАС-50 (поколение писателей пятидесятых го-

дов), указал на ряд проблем, стоящих перед его товарищами по перу. По его словам, спрос на малайскоязычную литературу уменьшается, что объясняется повышенным интересом сингапурцев к образованию на английском языке, поощряемым правительством. Через 5—10 лет в Сингапуре не останется уже школ с преподаванием на малайском и других местных языках. Утешаться остается лишь тем, что малайский, китайский и другие языки будут также обязательными в англоязычных школах.

Связи с литераторами соседних стран очень важны для малайских писателей Сингапура, организовавших первую встречу литераторов Нусантары. Так называется обширный регион, включающий, наряду с Сингапуром, Малайзию, Индонезию и Бруней, где преобладает малайский (индонезийский) язык.

НЕСТАРЕЮЩАЯ МЕРИДЕЛЬ

Известность пришла к Мериделъ Лесюр в конце 20-х годов, когда на страницах американской прогрессивной печати стали появляться ее первые рассказы и очерки. Повесть «Конь» (1934) укрепила ее славу одной из самых талантливых писательниц «красного десятилетия». Потом о Лесюр забыли — точнее, постарались забыть: в мрачную пору маккартизма ее книги были внесены в черные списки «подрывной» литературы. Но писательница не пала духом, продолжала писать. Ее романы, рассказы, мемуары долгие годы ждали своего часа.

В конце 70-х творчество Мериделъ Лесюр вновь привлекло к себе широкое внимание. В течение последних нескольких лет вышли одна за другой пять книг ее прозы. А в начале этого года нью-йоркское издательство «Феминист пресс» выпустило книгу «Пора зрелости. Избранные произведения 1927—1980». В книгу вошли лучшие образцы публицистики и художественной прозы писательницы, которой уже минуло восемьдесят.

В связи с появлением этой книги еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью» поместил очерк о творческом пути Лесюр. Уже с первых своих шагов в литературе она решила стать своего рода летописцем трудовой Америки. В ее произведениях органично сочетаются репортерская зоркость и поэтическая эмоциональность, и жанр их порой трудно определить — то ли лирический репортаж, то ли публицистическая проза. Ее рассказы, написанные во время Великой депрессии, как кадры кинохроники, запечатлевают «злое отчаяние 30-х» — длинные очереди голодающих за порцией дарового супа, толпы безработных, ночующих у дверей бирж труда, опустевшие горняцкие городки и заброшенные фирмы.

Сквозь всю свою жизнь Лесюр пронесла твердую веру в торжество социалистических идеалов. Борьбе за их осуществление она посвятила все свое творчество. Ее социалистические убеждения были поистине выстраданы. Оттого она с несгибаемым упорством отстаивала эти убеждения и в тяжелые годы депрессии, и в лихолетье маккартизма, и в вихре массового общественного подъема 60-х годов. Оттого она по-прежнему верна им и сегодня.

ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ СО ЗРИТЕЛЕМ

Американская газета «Интернэшнл геральд трибюн» сообщает о том, что работа над фильмом по роману У. Стайрона «Софи делает выбор» (главы из которого публиковались в журнале «Иностранная литература», 1981, № 1), подходит к концу. Фильм должен выйти на экраны в декабре.

Автор сценария и режиссер картины—Алан Пакула. До сих пор он был известен как постановщик многих нашумевших фильмов (таких, как «Убить пересмешника» по знаменитому роману Харпер Ли, см. «ИЛ», 1963, № 3, 4, и «Вся президентская рать», в основу которого лег роман-репортаж об Уотергейте Б. Вудворда и К. Бернстина). А. Пакула задумал поставить этот фильм, увидев анонс о романе, и купил права на его постановку, когда книга была еще в гранках. Это было в 1979 году, задолго до того, как роман Стайрона «Софи делает выбор» продержался в списках бестселлеров 47 недель. Картина снималась главным образом в Бруклине и Манхэттене, лишь сцены детства Софи и события в Освенциме — в Югославии.

На снимке: кадр из фильма «Софи делает выбор». В роли Софи — Мерил Стрип, в роли Натана—Кевин Клайн.

(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)

Пакула взялся за эту работу, потому что роман оказался очень близок его мироощущению. Он послал свой сценарий Уильяму Стайрону, в котором тот сделал несколько поправок. Картина будет озвучена по-польски и по-немецки, а субтитры будут английскими.

«Очень редко в жизни случается быть так увлеченным работой, как увлечен я ею сейчас,— говорит А. Пакула.— Я долго сомневался — имею ли право брать на себя такую ответственность, но в конце концов решился, сказав: господи, мне же придется потратить на этот фильм несколько лет жизни. Как прекрасно провести несколько лет жизни именно таким образом!»

ГОРЕСТНЫЙ ПОРТРЕТ

После четырех лет цензурных передряг на экраны Парижа вышел фильм Мишеля Драша «Ги де Мопассан». Предыдущие картины этого режиссера не отличались ни погоней за модой, ни стремлением к коммерческому успеху. Достаточно упомянуть фильм «Элиза, или Настоящая жизнь»— экранизацию романа Клер Эчерелли (см. «ИЛ», 1971, № 7), рассказывающий о жизни трудящихся иммигрантов во Франции в годы алжирской войны. Теперь же, по отзывам кинокритика Ф. Морена, режиссер воссоздал парижские салоны конца XIX века где блистал писатель, ставший знаменитым сразу после появления «Пышки», «Жизни», «Милого друга». Достаточно сказать, что эти сцены потребовали не менее 700 костюмов. Но подлинная суть фильма не в изображении светской жизни, это встреча с писателем в возрасте сорока одного года, за два года до его кончины, когда болезнь, подтачивавшая его здоровье уже десять лет, неумолимо прогрессировала. Он не в состоянии дописать роман «Завтреня», у него ухудшается зрение, он страдает от мучительных головных болей, теряет память. Мопассан трезво оценивает свое положение и решает покинуть столицу и друзей, предчувствуя худшее — потерю рассудка. Его сопровождает преданный слуга Франсуа.

После припадка безумия Мопассана возвращают из Канн в Париж, в клинику, где он умирает 6 июля 1893 года в одиночестве, разбитый параличом, вдали от всех.

Удаче фильма, как отмечает пресса, способствовала талантливая игра Клода Брассера, исполнителя роли Мопассана.

ФРГ

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ БЕСЕДУЕТ С ОФИЦЕРАМИ БУНДЕСВЕРА

В интервью газете «Унзере цайт» известный западногерманский публицист и писатель Гюнтер Вальраф рассказал о новой теме, над которой сейчас работает. Тема эта непосредственно связана с проблемами борьбы за мир. Вальрафу удалось провести ряд откровенных бесед с офицерами бундесвера, расквартированными в одной из южногерманских областей.

«Не стану рассказывать, как мне это удалось,— говорит писатель,— потому что мои товарищи в других местах еще продолжают эту работу. Офицеры не знали, кто я такой. Если б они знали, они б не говорили со мной так откровенно. Мне опять пришлось играть чужую роль, чтобы узнать их настроения, мысли, намерения...

Они о войне говорят как о деле,— продолжал Вальраф,— и мне стало ясно, что после 1983 года, когда американцы разместят на нашей территории ракеты «Першинг-2», опасность войны станет скорей вероятной, чем невероятной... Они, правда, говорили, что военные действия ограничатся лишь Европой. Утешительно, не правда ли?»

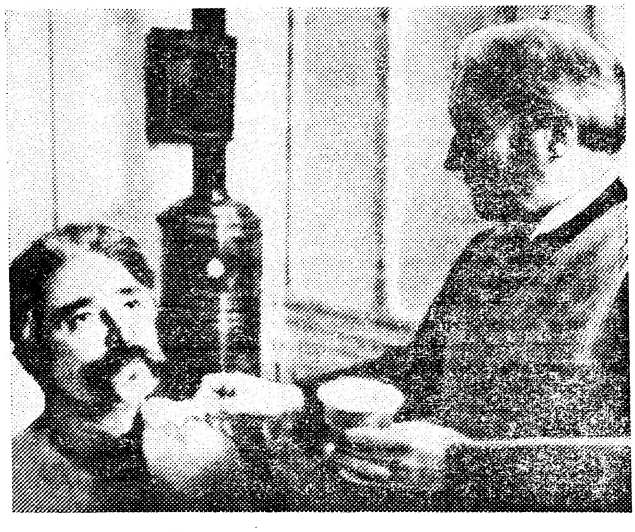
В умонастроениях многих западногерманских офицеров писатель видит «полную капитуляцию разума и гуманности». Это, по его словам, грозит «уничтожением человеческой цивилизации». «Они рассчитывают ситуации как ограниченные до идиотизма специалисты, как технократы, лишенные чувств и воображения. Вот что меня особенно ужаснуло. Они чувствуют себя просто исполнителями приказов... Причем это отнюдь не воинствующие фашисты, нет. Но они рассуждают почти как роботы».

Вальраф рассказывает далее об одном пилоте, который уже много лет знает свою цель на случай войны. «Это город на западе Советского Союза. Пилот регулярно отрабатывает свое боевое задание, летая на Сардинию. Это примерно такое же расстояние... У других пилотов другие цели, другие города».

Писатель считает необходимым и важным распространить на бундесвер влияние прогрессивных, демократических сил. «До сих пор мы оставляли эту важную область консерваторам, реакционерам, а сами от бундесвера отворачивались... Почему, собственно?.. Это огромная тема, ею могли бы заняться как раз молодые писатели».

На снимке: кадр из фильма «Ги де Мопассан», в роли Мопассана — Клод Брассер, в роли слуги — Жан Карме.

(Газета «Юманите»)



ЭКВАДОР

«ИЗ НОЧИ И ТУМАНА»

Так озаглавлена рецензия на последнюю книгу эквадорского писателя Рауля Переса Торреса «В ночи и тумане», удостоенную премии в жанре рассказа на литературном конкурсе «Каса де лас Американас» в 1980 году и ныне продолжающую привлекать внимание критики.

«Герои этой книги — простые люди, обездоленные обществом, в котором жестокость и печаль, насилие и страдание человеческое стали повседневным явлением. Писатель запечатлел облик народного бытия в тех странах Латинской Америки, где нависла угроза наступления фашизма на гражданские права трудящихся»,— отмечает рецензент журнала «Каса де лас Американас».

Название новой книги Р. Переса Торреса — «В ночи и тумане»— символично: в нем использованы слова из романа известного кубинского писателя Алехо Карпентьера «Весна священная» о порожденной германским фашизмом трагедии любви. И потому заглавие книги, отмечает рецензент, звучит как напоминание о реальной опасности дальнейшего распространения фашизма в Латинской Америке.

Тема любви объединила восемь рассказов сборника. Однако история несбывшейся любви, получившая оригинальное художественное воплощение в рассказе «В США тебе найдут применение», оборачивается разоблачением пагубных последствий эмиграции латиноамериканцев в Соединенные Штаты. «Это правдивая книга о крушении сокровенных надежд ее героев и вместе с тем о неприятии ими существующей действительности, которое в лучших рассказах перерастает в протест, обнаруживая тем самым глубинный оптимизм книги»,— подчеркивает рецензент. И не случайно ее открывает рассказ «Моя кузина Марта», беспощадно обличающий узаконенную реакционной военщиной систему каждодневной слежки и доноса. Мотивом нарастающего сопротивления народа силам реакции пронизан рассказ «Это случилось во вторник...»— о многотысячной забастовке трудящихся и варварском убийстве ее участников.

«Рассказы Р. Переса Торреса преисполнены любви к простому люду и гражданского мужества,— писал известный уругвайский писатель-публицист Эдуардо Галеано.— В них ощутимо биение пульса нового поколения, которому есть что сказать, ибо ему присуще стремление жить без иллюзий, даже если приходится расплачиваться преждевременной смертью или помешательством... Эти рассказы — свидетельство глубокой тревоги писателя».

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 06.09.82. Подписано в печать 13.10.82. А 08353. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая, 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч-изд. л. 28,69.

Тираж 449 000 экз. (1-й завод: 1—400 000 экз.). Зак. 3110.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Хельмут Беттенхаузен (ФРГ). «Быть или не быть»

Цена 1 руб. 80 коп. ИНДЕКС 70394